

ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 4/99

- **Дина Рубина**
Последний кабан из лесов Понтеведра
Испанская сюита
- **Новелла Матвеева**
Круговращение дня
Стихи
- **Теймураз Мамаладзе**
Здравствуй, осел!
Краткая энциклопедия забытых игр...
- **Владимир Дегоев**
Мирянин
Имам Шамиль по ту сторону войны и политики
- **Федор Тютчев**
Вы — мои единственные корреспонденты в Москве...

4'99

«ДН» — 60 лет

Нет в человеке более благородного, возвышенного и вместе с тем полезного чувства, чем дружелюбие, дружба, друг...

Нет лучшего названия журнала, назначение которого сближать людей, призывать к миру, сотрудничеству, дружбе и любви посредством художественного слова.

Я давно связан с журналом «Дружба народов» — в прошлом как автор, в настоящее время как читатель — и знаю, что свое изначальное святое предназначение он выполнял и выполняет с честью.

Поздравляю журнал и всех ныне работающих и бывших его сотрудников с юбилеем. Желаю успехов в благородной деятельности во имя дружбы народов и любви между людьми.

Всегда ваш и с вами Чабуа АМИРЭДЖИБИ

*Тбилиси
14.02.99*

Поклон и поздравления. Пусть флагманы СНГ наконец-то поддержат линейный корабль «Дружбы народов». И пусть экипаж больше не услышит: «Пожалеть я тебя пожалею, но рубля я тебе не подам».

Юрий ДАВЫДОВ

Не так часто можно включиться в юбилей, не испытывая неловкости от необходимости испытывать эмоции. А тут все так естественно: журнал, с которым ты вместе рос, который придавал тебе силы, — и ко всему радостному, что он давал, — сюрприз: этот самый журнал позвал к себе, сказав простые и самые необходимые слова: «Мы ждем». Конечно, наверно, полагается сказать об общественной роли «Дружбы народов», о влиянии на... и т. д. Но об этом — другие, с которыми заведомо согласен, а я — о маленьком открытии, сделанном для себя: оказалось, журналы, как театры, похожи на людей, в них работающих. До чего же приятно было в темных и тесных комнатах редакции встретить светлых и щедрых на талант людей.

Они устали и умны. Несут себе вахту, не давая журналу пропасть в полном рифов и опасностей подводных течений бушующем море сегодняшней неразберихи.

Я верю им. Верю в правильность их курса. При нынешнем дефиците друзей, на которых можно положиться, это немало. Спасибо.

Адольф ШАПИРО

ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

4'99

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Коллективу редакции 3

Проза и поэзия

Татьяна РИЗДВЕНКО. Отроковица Пушкина зовет... *Стихи* 4
Дина РУБИНА. Последний кабан из лесов Понтеведра. *Испанская сюита* 8
Новелла МАТВЕЕВА. Круговращение дня. *Стихи* 82
Константин ПЛЕШАКОВ. Рассказы 86
Юрий КРИВОРУЦКИЙ. Вехи памяти. *Стихи* 104

Частные воспоминания о XX столетии

Теймураз МАМАЛАДЗЕ. Здравствуй, осел! *Краткая энциклопедия забытых игр, кинолент, забав и развлечений* 107

Публицистика

Армен ЗУРАБОВ. Возвращение к будущему 139
Людмила СИНИЦЫНА. Жена тополя 150

Нация и мир

Владимир ДЕГОЕВ. Мирянин. *Имам Шамиль по ту сторону войны и политики* 165

Мысли вслух

Владимир ПОЗНЕР. По ком звонит колокол? 186

Критика

Владимир ЛЕОНОВИЧ. Продолжение диалога.
Памяти Игоря Дедкова 188

Книжный развал

Андрей ТУРКОВ. В защиту поэзии и поэтов 197
П. БАСИНСКИЙ. Юроды и уроды 199
Игорь КУЗНЕЦОВ. Глазами постороннего 201

Из литературного наследия

Федор ТЮТЧЕВ. Вы — мои единственные корреспонденты в Москве...
Вступительная статья и публикация Г. Чагина 203

Эхо

Десять лет, которые растрясали мир. Хроника «Дружбы народов»:
1989—1999. *Рубрику ведет Лев Аннинский* 222

Summary 224

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В 1999 году
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.

Институт «Открытое общество» выкупает
4 239 экз. журнала «Дружба народов» и безвозмездно
направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ.

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Владислав ЗАЛЕЩУК, Наталья ИГРУНОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Геннадий АЙГИ, Василь БЫКОВ, Алла ГЕРБЕР,
Юрий В. ДАВЫДОВ, Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Иван ДЗЮБА, Александр КЛЯЧИН,
Михаил КУРАЕВ, Валентин КУРБАТОВ, Теймураз МАМАЛАДЗЕ, Грант МАТЕВОСЯН,
Геннадий ЛИСИЧКИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Константин ЩЕРБАКОВ, Бронислав ХОЛОПОВ,
Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ

Читателям журнала «Дружба народов» Коллективу редакции

Журналу «Дружба народов» исполняется 60 лет. Я уверен, что даже в самом его названии заложен большой смысл. Верный своему призванию, журнал последовательно проводит курс на сближение народов, на развитие интеграционных процессов, на преодоление недоверия и отчуждения.

Эта миссия журнала особенно важна сегодня. Она способствует активизации тех добрых чувств, которые традиционно, на протяжении многих лет соединяли мастеров культуры разных национальностей, подтверждая заинтересованность России в обмене и взаимообогащении духовными ценностями.

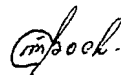
В разные годы журнал возглавляли мастера, вошедшие в блестящую когорту литераторов, оставивших свой след в отечественной и мировой литературе: Борис Лавренев, Алексей Сурков, Сергей Баруздин. Это наша слава, наша история.

За 60 лет на страницах журнала были опубликованы сотни произведений, составляющих золотой фонд многонациональной культуры. Среди них книги К. Симонова и Ю. Трифонова, А. Рыбакова и В. Тендрякова, В. Быкова и А. Адамовича, О. Гончара и Ю. Смуула, М. Слущикса и С. Межелайтиса, Б. Окуджавы, Н. Думбадзе, Г. Матевосяна и Я. Кросса, Р. Гамзатова и К. Кулиева, Г. Гуляма и Й. Друзэ. Это лишь небольшая часть замечательных мастеров, творчество которых неразрывно связано с «Дружбой народов». За минувшие 60 лет журнал стал одним из самых ярких и авторитетных российских литературно-художественных ежемесячников.

Особенно радует и внушает уважение то, что журнал и сегодня бережно продолжает развивать и сохранять свои традиции, поддерживает и укрепляет отношения с писателями государств СНГ и Балтии. По сути дела — сегодня «Дружба народов» стал уникальным литературным изданием в России, ставящим своей программной целью поддержание всего исторически сложившегося творческого пространства.

Желаю читателям журнала радости открытия новых талантливых авторов, а коллективу редакции сил и здоровья в работе во имя благородной цели — Дружбы народов.

Ваш благодарный читатель,
Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств—участников Содружества Независимых Государств



Е. С. СТРОЕВ

Редакции журнала «Дружба народов»

От всей души поздравляю коллектив редакции журнала «Дружба народов», его многочисленных читателей, истинных ценителей художественного слова с 60-летием этого замечательного издания.

Сегодняшнюю литературу невозможно представить без произведений поэтов и прозаиков бывшего Советского Союза, здесь роль «Дружбы народов» поистине неопределима.

Желаю Вам продолжать лучшие традиции многонациональной литературы во благо сближения народов и культур, во имя духовного совершенствования будущих поколений.

Председатель Государственной Думы



Г. Н. СЕЛЕЗНЕВ

Татьяна Риздвенко

Отроковица Пушкина зовет...



* * *

Скудеет день. Бледнеет млеко жизни.
Нам недолили воли и вина.
Куда деваться и моя ль вина,
что так фигово сделалось в Отчизне?..

Откуда скорбь в осеннем кислороде —
ужели это преющей листвы
последний выдох? — оторопь травы,
наказанной за преданность природе?

Бездонна лужа. К плоским небесам
прибиты бесконечные вороны.
Мир в состоянии вечной обороны
становится себе противен сам.

Последнее румяное дитя,
его мамаша умыкает в Прагу,
являя безрассудство и отвагу,
по воздуху стремительно летя.
Так ветер гонит листья и бумагу
и воет, вихри снежные крутя.

1998

* * *

Рябиновая гроздь сама идет в ладони
продажным воробьем, прекраснотупым пони.
Я тотчас оценю доверие предмета,
влияние зимы и отголосок лета.
Куда бы и себя пристроить виновато,
в какой-нибудь Торжок, где между стекол вата
с лежащею на ней примятой мишурою,
с морозами вовне и внутренней жарою.
Так требует душа уюты и покоя,
бесполого кота под левою рукою.
...Пущай себе висят рябиновые грозди,
как красная икра, как хохот на морозе,
пусть горечь естества переменяя в сладость,
внушают простакам естественную радость.

1998

* * *

Раздавленных кротов, лягушек,
застывших бабочек сухих —
вот понаделано игрушек
для слабоумных и слепых.

По большаку летит машина,
кругом поляны и леса,
дурная сельская собака,
крича, взлетает в небеса.

Вот трясогузка трясогузку
целует в приоткрытый рот,
и их в объятиях друг друга
на небо Боженька берет.

В слезах оленьих и собачьих,
в холодной влаге лягушат,
в пыльце оранжевой и белой
машины гладкие спешат.

Гляди на трупики и тушки,
на жуткое богатство поз,
идиотической печали
предайся посреди берез.

Скомандуй вслух: «Задраить люки!
Ладони мокрые воздеть!
Для небольшой, ничтожной муки
сердца тугие отпереть!»

1998

* * *

Отроковица Пушкина зовет,
фарфоровое блюдечко торопит.
Дух Пушкина не хочет, не идет,
выплевывает жалкую приманку.
(На самом деле все совсем не так:
здесь Пушкин повсеместно и повсюду,
на кухне тихо двигает посуду,
тревожит шторы, шевелит башмак.)
Отроковица, полная огня,
то замолчит, то к Пушкину взывает.
Зачем ей Пушкин, ладно б кто другой!
О, дерзость воспаленной малолетки!
А явится — что станешь делать, дева? —
над яблоком запнувшаяся Ева?..
Себя предложишь для любви и муки?
Ему протянешь розовые руки
и радостное ровное лицо,
как наливное спелое яйцо?
(Друг Пушкин, насладись победой,
спиритку юную отведай.)

Июньской ночи наважденье,
неслышный шепот, блюдце, свечи.
Отроковицы, словно печи,
раскалены от напряженья.
И Пушкин здесь, но он не станет
мизинцем блюдечко толкать
и вспоминать порядок букв,
от коих начал отвыкать.

1998

Осеннее безнадежное

Дрожит корзина мокрых веток.
Дрожат четырнадцать таблеток.
Где взять количество воды,
чтоб утопить таблетки эти,

чтоб утолить болезни тела,
чтоб утолить любовь к себе.
...Сиротство бродит в атмосфере,
как бражка бродит под столом.

— Ах, как жилось в СССРе! —
сказал мужчина за углом.
Не поддавайся этой сирой,
густой и кислой пелене.
Завидуй прачкам и кассирам —
они сегодня на коне.
Сегодня небо голубое —
как настоящее оно,
как будто смотришь дорогое

американское кино.
Как будто первое апреля,
тебе наврали все, кто мог,
и ты лежишь в своей постели,
собравшись в розовый комок.
Твои дежурные таблетки
застыли в лузах и пазах.
Твои никчемные победы
утопили в пиве и слезах.

1998

* * *

Квартирная хозяйка — бог войны.
Бок о бок мы живем под ейным оком.
Все наши тщанья, радости и сны
свернулись в этом вареве жестоком.

Вот день кислотный, следом — щелочной,
как много в атмосфере сволочной
богатой энергетике бесплатной.
Как много места в комнате квадратной.

...Дай повод для юродства — я совью
кудрявые густые арабески.
Вот я в каморке жидкий кофий пью,
вот в руки мне вонзаются железки.

Квартирная хозяйка, кто ты есть?
Как в душу твою темную пролезть
и встретить там процентщицу-старуху
иль бледную худую потаскуху?

Воображенье русское гнедое
все мчит мое сознание молодое
туда, где мне увидеть подвезло,
как бьются об заклад добро и зло,

где нас унизят и озолотят,
где птицы нам на голову слетят,
где — когти глубже острые вонзай-ка! —
прелестница — квартирная хозяйка.

1998

* * *

Неосторожность не любви, но страсти...
Ах, ваши снасти, ваши фортеля.
Вот вечность пролегла от слова «здрасьте»
до места, где раскопана земля.

...Примите ванну. Поцелуйте Анну.
Постель готова — вон ее квадрат.
Не правда ль — смесь борделя с лазаретом:
температурный лист у райских врат.

Диагональ дивана будет Анна,
ее рельеф нехожен и горист.
Волнующая строгость постановки
смущает карандаш и тешит лист.

А в тридцать шесть она дитя изъяла,
и вдруг ее не стало в пятьдесят.
Зачем на вас, как мишура на елке,
вериги эти зыбкие висят?..

При чем тут смерть и страсть, вино и сера,
при чем тут вы, прохожий человек,
зачем слеза, наперсница страданья,
смущает глаз и жжет изнанку век.

1998

* * *

В довольно странном месте этом
лежу на животе,
вообразив себя поэтом
с крылами на хвосте.
Кругом людские персонажи
взволнованно идут
на замороженные пляжи,
на зимний пруд.
Затем обеда перестрелка —
бифштекс и молоко,

внизу паркет,верху — побелка,
ты думаешь — легко?
Ночами панцирные сетки
взлетают и гудят,
любви мельчайшие объедки
из форточек летят.
Тепло, светло и равнодушно
гляжу окрест,
как это свойственно старушкам
и лучшим из невест.

1997

Дина Рубина

Последний кабан из лесов Понтеведра

Испанская сюита



Камни их сохранили величие, люди — нет.

Вторая Книга Царств

Часть 1

«← Да, вы правы, — повторил он. —
Бывают ситуации, из которых самый
Достойный выход — самоубийство.
Только говорить об этом нельзя.
— А... как же?
— А молча, — сказал он. —
По молчаливому уговору.
Если совсем приперло».

Иисус Христос. В личной беседе

Глава 1

Сладкогласно поющий хуглар,
Находчивый и беззастенчивый,
Бродит, коротко стриженный,
И отлично знает свое дело.

«Кантиги Святой Марии» (13—14 вв.)

Моя должность, в сущности, называлась «Дина из Матнаса». Я так и представлялась, когда телефонными звонками собирала на концерты-лекции местных пенсионеров: здравствуйте, вас беспокоит Дина из Матнаса. (Вас беспокоит дурочка из переулочка, Саша с «Уралмаша», Дунька с водокачки, халда с помойки.) Это была половина ставочки такой — координатор русской культурной жизни.

Например, я обеспечивала стариков легкой классической музыкой. Программы были не из утомительных: «Сентиментальный вальс» Чайковского, «Полонез» Огинского, «Хабанера» Кармен, «Турецкое рондо» Моцарта...

Они слушали так, что сердце радовалось. Хлопали, требовали биса. После концерта обступали меня шумной толпой, благодарно галдели.

* Журнальный вариант.

Культура культурой, доложу я вам, но эти полставочки обернулись каторгой почище валки таежного леса, и не только потому, что еврейские старики народ нелегкий, но и потому, что обнаружили еще кое-какие обязанности, сваленные на меня руководством Матнаса.

Как вам это словечко, кстати? Матом нас он послал...

А в переводе на русский — Дворец культуры и спорта.

Я туда случайно попала, и если вдуматься — все в моей жизни происходит абсолютно случайно.

Просто мне позвонила Милочка, которая работала в этой должности. Она в то время стояла родить. Есть в иврите такой идиоматический оборот. Когда человек совсем уже собрался, подготовился к чему-то важному. Например, говорят: «Он стоит жениться» — какая точность, какой синтез смысла и образа!

Так что Милочка совсем уже стояла родить, то есть ползала последние дни, то и дело останавливаясь и отдыхая. С ее лица никогда не сходила гримаска ленивой истомы. Невозможно было представить, как она с эдаким лицом собирается рожать. Ведь эта работа требует от исполнителя, как правило, прямо противоположной гримасы.

Словом, позвонила Милочка и спросила, не хочу ли я заместить ее на те три месяца отпуска, что полагаются после родов. Работа плевая, добавила она, полставочки, тысячи две в месяц.

И я согласилась.

Обстоятельства мои на земле предков сложились таким образом, что я веду жизнь шабашника — сезонного рабочего. Иногда выезжаю на заработки в другие земли, где бывшие мои соотечественники и одноязычники еще жаждут слышать русскую речь. Время от времени нанимаюсь на какую-нибудь случайную работенку, что тоже не так просто, ведь я — человек без профессии, языков ихних не разбираю, да и трудиться по-людски не очень-то приспособлена.

Но когда я стою родить очередное свое литературное дитя, судьба волевым решением освобождает меня от сезонных работ — вдруг выгоняют из газеты или еще откуда-нибудь, где я получала ежемесячно свои неизменные две тысячи шекелей. И я переживаю, конечно, и бессонными ночами думаю — где и чем добыть средства на пропитание семье, а между тем очередное литературное дитя уже прет из меня на свет Божий, разрывая утробу, страшная гримаса тяжелых родовых усилий месяцами не сходит с моего лица. И вот уже новорожденный роман вылизан моим шершавым языком и пристроен в какой-нибудь журнал, где поднимается на слабые ножки, ковыляет прочь уже без моей помощи и уходит все дальше, дальше, пока не убегают... навсегда.

И тогда мне обязательно звонят. И предлагают полставочки какой-нибудь пустяковой работенки, например должности координатора русской программы в городском Дворце культуры и спорта.

... — А что еще я должна делать?

— Ну, экскурсию организуйте им раз в месяц, к Мертвому морю. Пусть мозоли попарят... — Милочка удобней устроила живот на коленях, лениво и мягко поправила упавшую на лоб прядку.

Мы сидели в лобби Матнаса, в ожидании встречи с замдиректора. Милочка привела меня знакомить.

— Еще есть матери-одиночки, их тоже надо пасти, публика требовательная... Есть молодежный клуб, где отдельной группой — десятка три омерзительных подростков из России — пьют, сквернословят, травку покуривают.

— С ними тоже надо что-то делать? — испугалась я.

— Нет, у них есть свой координатор, Люсио. Но иногда полиция требует списки.

Мне захотелось немедленно покинуть этот гостеприимный дом.

— А вот, обратите внимание, как раз и Люсио!

В двери Матнаса вкатился уморительно смешной человечек. Он переваливался с боку на бок, энергично притоптывая ножками, а коротенькими ручками как бы отталкивался от невидимых стен по бокам.

— Забавный... — пробормотала я, провожая взглядом человечка и пытаясь понять — кого он мне напоминает. — И вы хотите сказать, что с такой-то внешностью он — координатор молодежной группы? Тех самых проблемных подростков?

— Вообразите, дети его очень любят. Он большой шутник, артист, забавник, мастер на все руки... Да не волнуйтесь, все будет хорошо, — говорила Милочка с гримаской ленивой истомы. — В сущности, все они милые. Только не отлынивайте от заседаний коллектива. Каждый четверг, в девять. Это очень важно. Сидите и не вмешивайтесь. Кто бы с кем ни сцепился — не лезьте разнимать. И, главное, ничему не удивляйтесь. В сущности, все они быдло. Пойдемте, я кабинет ваш покажу. Мне его Таисья выделила от щедрот душевных.

— Таисья — это координатор? — с ученической понятливостью уточнила я.

— Нет, это директор консерваториона.

(Консерваторион! — дуновение времен римского владычества на этой земле: не театр, а «театрон», не музей, а «музеон». Цезарион! Иродион! — жажда величия пространств у пленников крошечных земельных наделов. Консерваторионом здесь называется музыкальная школа. Впрочем, забегаю вперед, скажу, что консерваторион Матнаса насчитывал двести пятьдесят учеников — хозяйство по нашим масштабам немаленькое.)

И мы стали подниматься на второй этаж, останавливаясь чуть ли не на каждой ступеньке, переводя дыхание.

Где-то наверху кричали истерзанным низким женским голосом. Внезапно крик обрывался и кто-то вступал убеждающе ласковым тоном. Похоже, шла тяжелая разборка между двумя женщинами — абсолютно разными по возрасту, характеру и воспитанию.

Когда мы поднялись еще на один лестничный пролет и до нас стали доноситься отдельные слова, я смутилась.

— Ну, скажи, ну, давай! Сука, су-ука дол-ба-ны-я-а!! Не квартира тебе! Не квартира, а хер тебе в глотку-у!!

Затем — секундная тишина и успокаивающее, даже баюкающее контральто:

— А в legato — третьим и четвертым пальчиком попеременно, и локоток чтобы не опускался, и плечико не задирать. Обязательно, детка, проследи...

И — без паузы:

— Заткнись! Заткнись, я сказала! Зат..! Зат..! Пи-ида-ар!

И вновь — тишайшее умиротворенное журчание, так что и слов не разобрать.

— Это кто? — спросила я ошалело.

— Таисья, — улыбнулась Милочка.

Дверь на второй этаж была открыта настезь, как и дверь кабинета напротив. Там, за большим столом, сидела женщина с лицом молодого орла и вела беседу сразу по двум телефонам. В одну трубку она ревела и клокотала, зажимая другую ладонью, затем меняла трубки, тембр голоса, выражение лица. Ноги ее при этом под столом ходили ходуном — приплясывали, притоптывали, постукивали одна другую, словно она отпихивалась от назойливого шкодливого домовенка, щиплющего за икры.

Наше появление в дверях не произвело на нее никакого впечатления. Глядя сквозь нас испуганными черными глазами, она продолжала надрывно вопить в трубку желтого телефонного аппарата:

— Забудь свои вонючие мечты! А насчет квартиры — отсосешь у дохлого бедуина! Не бросай трубку, сука, я еще не все сказала!

И, приоткрыв ладонь на трубке серого телефона, нежнейшим тоном:

— Нашла чем писать? Пиши, детка: Черни «Искусство беглости пальцев»... Детонька, при чем тут «искусство беглых китайцев»? Слушай внимательно, золотко, диктую...

Остаюсь, сказала я себе. Передо мной сидел мой персонаж в совершенном, очищенном, абсолютно пригодном к употреблению виде. Ни тебе

контрасты усиливать, ни тебе ненужное отбрасывать, ни тебе лексику индивидуализировать. Бери его, хватай, лелей и записывай, благодари судьбу за подарок.

Она швырнула одновременно трубки обоих телефонов, упала головой на стол — так что я испугалась, не разбила ли она лицо, — и громко, горько и вдохновенно зарыдала.

— Таисья, ну... — Милочка обошла ее со спины, налегла своим большим животом, приподняла ей голову. — Ну, хватит... Кто станет читать его безграмотную писанину!

— Она гра... грамот-ная! — взвыла Таисья, мотая головой из стороны в сторону. — Он нанял Гришку Сапожни-кова на редакту-уру!

Постепенно вырисовывалась следующая ситуация.

У Таисьи есть папа. Папочка, папуля. Ты знаешь, что такое — восточный папа? Она всю жизнь ноги ему мыла. А он колотил ее, как бубен на свадьбе. Но она терпела — ведь папа, родной любимый папа...

(Остаюсь!!)

И вот, понимаешь, надоело. Во-первых, этот старый пидор бьет мать. Но и это бы еще ничего. Во-вторых, хочет отобрать у матери квартиру, — но это он отсосет у дохлого бедуина, у Таисьи есть адвокат, который вставит папе такое, что папа всю оставшуюся жизнь сидеть не сможет. А в-третьих, он написал книгу, где порочит ее, родную преданную дочь, самым гнусным образом. Например, пишет, что свою квартиру Таисья достала из ширинки второго мужа.

(Остаюсь, остаюсь!!)

— А Гришка, Гришка — су-ука-а! Он же был мне как брат, ближе брата!

— Так заплати ему за более глубокую редактуру, — посоветовала Милочка. — Пусть перепишет текст до неузнаваемости.

Таисья притихла, обеими ладонями вытирая мокрое лицо. Достала бумажную салфетку, громко и трезво высморкалась.

— Это — мысль, — проговорила она деловым голосом.

Отвлекусь на секунду: больше я о папе не слышала никогда. Ни о папе, ни о книге, которую он написал, ни о квартире, на которую претендовал. Это может показаться странным, но такова природа Таисьиного характера, ее творческая манера каждое утро заново строить сюжет своей жизни. Она как бы говорила себе: с этим все, отыграно. Сегодня у меня будет вот что: любимая подруга, с которой пройдены огонь, вода и общие мужики, умирает от рака. И я подниму на ноги всех врачей «Хадассы», я достану такое лекарство, которым лечат только президента Америки, я выбью для ее сыновей такую пенсию, о которой они и не мечтали...

После чего никто и никогда не слышал более ни о покойной подруге, ни о ее матери, ни о последнем взгляде, обращенном в морскую даль.

Наступало новое утро, сочинялся новый сюжет.

— Тая, вот, это — Дина, — сказала Милочка, — она меня замещать будет. Помоги советом, не дай в обиду, защити, если что...

Таисья достала пудреницу, открыла ее и принялась сосредоточенно выворачивать верхнее веко, гоняясь за упавшей ресницей. При этом ее красивое лицо обрело еще большее сходство с молодым орлом.

— Ты вот что, советую, — сказала она, — приклейся к моей заднице и всюду таскайся за мной. Я тебя живо введу в курс дела.

Глава 2

Вечернее низкое солнце все реже блещет на перевалах. Временами из боковых оврагов и ущелий, из-за скал и известковых бугров дует ветер — порывистый, как дыхание горячечного. И только топот копыт раздается в гробовой тишине окрест, в скалах вдоль извилистого дна Вади-эль-Хот. Отсюда начинается дебрь самая дикая, — говорит один старинный паломник. — Эта дорога есть древняя, проложенная самою природою. Иосиф Флавий упоминает о дикости ее. Невступно через два часа от Иерусалима мы поднимались на гору, на

вершине которой видны остатки хана¹, или гостиницы Благого Самаритянина. Это место называлось издревле Адомим, или Кровавое, по причине частых разбоев, здесь происходивших...» И глубокая тоска охватывает душу на этой горе, возле пустого хана, при гаснущем солнце... На этой «середине пути», который считался путем в преисподнюю, плакал сам прародитель, лишенный Эдема...

И. А. Бунин. Пустыня дьявола

Который год живу я в «пустыне дьявола», на середине пути в преисподнюю, и, признаться, ничего более отрадного для глаз в жизни не видала.

Наш городок, вознесенный на вершину одного из самых высоких перевалов Иудейской пустыни, напоминает поднебесный мираж, возникающий перед путником в неотразимом обаянии белокаменных стен, черепичных крыш, ярко-травяных откосов, террас, балконов, лесенок, венецианских окон, башенок и арок. С нарочитой декоративностью новеньких пальм и ненарочитой прелестью двадцатилетних сосен, с рядами старых олив на каменных террасах, с развалинами монастыря Мартириус византийской эпохи, — городок молод и полон очарования.

Эта картинка могла бы и приторной показаться, если б не отрешенное величие пустынных гор вокруг, покрытых грубой шкурой убогого кустарника.

Здесь каждый дом по-своему напоминает рыцарский замок. Жаркий засушливый климат и режущий свет пустыни диктуют архитектурные решения: жалюзи, навесы, узкие, как бойницы, окна спален.

Здание Матнаса тоже напоминало крепость — приземистый безыскусный замок с четырехугольной цитаделью, с хозяйственными постройками вокруг — не конюшни, но бассейн, не склады, но спортивные площадки.

(Существовал и естественный ров — неглубокое ущелье, или, как называют это здесь, «вади», через который до недавнего времени был перекинут мост — не подъемный, конечно, но все же, все же... Правда, после того, как в одну из его опор врезался самосвал, груженный бетонными блоками, мост, сообразуясь с причудливыми правилами местной техники безопасности, пришлось снять с опор и отволочь подальше.

Он так и лежит брюхом на земле, на въезде в город — как кит, выбросившийся на берег, или как парусник, вынесенный на мель, озадачивая приезжих своей откровенной постмодернистской нефункциональностью.)

А если учесть, что здание Матнаса нависало над дорогой и снизу, — подпертое высокой каменной стеной, казалось одиноким и отделенным от жилых массивов, — сходство его с замком усиливалось.

Впрочем, моему шелудивому воображению дай легонько коленом под зад — оно и покатится с горы, как брошенный снежок, обрастая по пути бог знает каким сором.

Первый мой рабочий день в Матнасе выпал на четверговое заседание коллектива. Вот написала «заседание коллектива» — и, чувствую, — не то. На иврите эта еженедельная фантазмагория называлась «ешиват цевет», и хоть убейте меня, а это — при буквально точном переводе — все-таки означает совсем иное. Другое звуковое наполнение смысла, а следовательно, и ассоциативных пазух воображения.

Случалось ли вам в детстве до одури играть в «слова»? Когда наперегонки ты пытаешься выжать из какого-нибудь длиннющего кудрявого причастия — как из выкрученной жгутом прополосканной простыни последние капли влаги — еще два-три коротеньких словца, еще междометие! (Долгие дождливые вечера на застекленной дачной веранде. Немыслимые интеллектуальные усилия над словом «коллективизация». И были, были гиганты, выуживающие из этого слова фразу «или Ицик взял кота?!») А после

¹ «Хан» — сооружение «вроде каменного сарая», — поясняет И. А. Бунин в «Пустыне дьявола».

машинально крутишь каждое мамино, мимоходом брошенное, слово, выкраивая из него бессмысленные лоскуты.

Местное звуковое пространство — ивритская языковая среда — для моего бедного русского слуха навечно озвучено двояко. Первородный смысл слова накладывается на похожее звучащее, но подчас противоположное по смыслу слово другого языка — так два случайно наложенных друг на друга кадра (техническая неисправность фотоаппарата) образуют некую фантастическую картинку. С детства отлитые в причудливую форму воображения контуры слова расплываются, образуя дополнительные зрительные, слуховые и ассоциативные обертоны. Рождается странный гибрид другого измерения, влачащий за собою длинный шлейф иносмысловых теней...

Я поднималась по лестнице на второй этаж и вдруг услышала за собой дробный топот. Так бежит по лесу дикий кабан. Оглянувшись, я увидела карлика Люсио. Он и вправду был на удивление похож на кабана: сдвинутые к переносице створки заплывших глазок, широкие ноздри, срезанный подбородок. Люсио явно догонял меня, молча, сосредоточенно, не окликая. Я остановилась.

— Эй, привет!

— Привет... — сдержанно ответила я. И гундосый голос, идущий как бы через ноздри, и кабанья голова, привинченная к нелепому тельцу хромого поросенка, — вызывали у меня неопределенное, но настойчивое чувство опасности.

— Ты у нас теперь занимаешься этими... русскими? (Он сказал «олим», как и положено, так на иврите называются новые репатрианты. «Оле» — единственное число обезумевшего от перемены мира вокруг немолодого интеллигента. А также молодого и неинтеллигента, а также всякого, кого подхватил этот ураган, проволочк черт-те куда и поставил вверх ногами. Оле. Оле-лукойе, горе луковое, оля-ля, тру-ляля... «Оле!» — выкрик зрителей — одобрение испанской танцовщице, выгибающей спину в страстном фламенко. А во множественном числе — «олим».)

— Да, занимаюсь «русскими», — осторожно подтвердила я, пытаюсь понять — откуда катится несомненная и уже неотвратимая опасность.

Он смотрел на меня без выражения тусклыми серыми глазами, снизу вверх. Один рукав свитера почему-то натянул на кисть руки и поддерживал ее.

— Очень приятно. Я — Люсио. — И стал выпрастывать для рукопожатия руку из длинного рукава черного свитера.

Я дико заорала (что для меня не типично: в мгновения испуга я цепенею) и кинулась бежать вверх по лестнице — меня пронизывали разряды обморочного омерзения и ужаса; продолжая орать, споткнулась о ступеньку, упала, ушибла локоть о перила.

Люсио ласково смеялся, продолжая протягивать мне вслед мертвую, изъеденную могильными червями, кисть руки с длинными желтыми когтями, — тускло отвечивал перламутровый обрубок кости на запястье, как оборванные провода, болтались веревки обглоданного сухожилия, и — ... нет, это уже вотчина кинематографа, я бессильна.

Карлик смеялся, его двойной подбородок нежно подрагивал. Наконец умолк, бережно спрятал свой сюрприз поглубже в рукав и, пританцовывая, стал спускаться.

Я взбежала на второй этаж, в ужасе крича:

— Тая! Та-ая!! Та-а-ая!!

В этот утренний час коридор консерваториона был пуст и темен.

— Чего ты орешь? — раздалось из-за какой-то двери.

— Тая, где ты?!

— Да здесь, в учительской.

В соседней двери провернулся ключ, и Таисья открыла. Она была по пояс голой. На обеих ее ладонях лежали богатейшие груди. Так узбек на рынке держит в каждой руке по золотистой увесистой дыне, приговаривая: «Диня сладкий пакпай, диня сахарный, миед!!»

— Заходи быстрее, я после аэробики моюсь. У нас тут — имей в виду — по четвергам в восемь аэробика. Ну, само собой, вспотеешь, как лошадь, дай, думаю, вымя прополосну... Ты тоже ходи на аэробику, нервы укрепляет.

— Тая... там этот... карлик..!

— Э-эй, милка моя, да ты вся трясешься. Испугалась? Он тебе что — свежеобрезанный хер демонстрировал?

— Н-нет... Отрубленную руку мертвеца.

— А-а... Со мной он, знаешь, как знакомился? Приятно, говорит, работать вместе с такой роскошной женщиной. Хотелось бы рассмотреть коллегу поближе, говорит, вот только затруднения у меня некоторые в интимной сфере...

Разговаривая, Таисья с усилием ворочала под вялой струей воды в раковине свои тяжелые груди. Так прачка полощет в реке тяжелый пододе-
яльник.

— Ага, некоторые, говорит, затруднения... И задирает этот свой черный свитер, что вечно у него под коленями болтается. Я глянула..! Знаешь, я в жизни много чего видала, но тут чуть в обморок не хряпнулась. Представь: торчит из штанов огромный окровавленный хер, абсолютно натурально обрезанный минуто назад...

— Да что ж это за безобразие! — крикнула я. — Кто он такой?

Таисья обеими руками отжала над раковиной грудь и, сняв с вешалки полотенце, стала энергично растирать свое хозяйство. Так рачительный крестьянин купает в реке коня.

— Так он же, милка моя, по профессии театральный художник, бутафор! Работал в юности в знаменитом Барселонском театре «Лицео». Несколько сезонов подрабатывал в Амстердаме, в музее мадам Тюссо. Вообще, Люсио Коронель — штука непростая. Между прочим, из какого-то старинного испанского рода — ты порасспроси, он расскажет, он любит об этом трепаться. Там какая-то жутко романтическая история, то ли с привидениями, то ли с грабежом. Что-то криминальное — если, конечно, не врет. А врать и придуриваться — мастер! Вот увидишь — чего он вытворяет у нас по четвергам. Не обращай внимания. Люсио — паскудник, конечно, отчаянный пересмешник, но подлец он не самый большой. Ты ведь еще с директором не знакома?..

Таисья повесила полотенце на крючок, сняла со спинки стула огромный роскошный бюстгальтер с лиловыми кружевами:

— Глянь, какой я себе навымник купила. Угадай, почему?

— Таисья, а что, директор — тоже фрукт, вроде этого Люсио?

Продолжая стоять с голыми грудями, которые, как два молочных поросенка, выпавших из мешка и ослепших от света Божьего, тихо шевелятся, поводят замшевыми розовыми пяточками сосков, но уже готовы вскочить и, хрюкая, разбежаться в стороны, Таисья любовно и задумчиво рассматривала новый бюстгальтер.

— Двести восемьдесят шекелей, — похвасталась она, — положение обязывает. Все-таки я руковожу людьми, у меня семнадцать педагогов, двести пятьдесят учеников... Пора прилично одеваться.

Так же энергично и сосредоточенно принялась она впихивать и упаковывать своих поросят в это и в самом деле монументальное сооружение, напоминающее одновременно и балдахин и попону.

— Альфонсо? — спросила она и вдруг кивнула на лежащий передо мной журнал мод: — А вот он, наш красавец жеребец.

На глянцевой обложке журнала, чуть ниже названия, была помещена фотография манекенщика с несказанно обаятельной улыбкой. Сидя в кресле явно антикварного толка и небрежно перекинув ногу на ногу, он демонстрировал вечерний костюм: черный смокинг, ослепительная рубашка, бабочка и великолепная трость в правой руке. В левой он сжимал оправленную в золото, с инкрустацией из слоновой кости, курительную трубку.

Я вопросительно взглянула на Таисью.

— Подрабатывает, — объяснила та. — Каждый крутится, как умеет... Ну, пойдём, там уж все собрались...

Как вспоминается сейчас, я ожидала чего угодно, только не того, что увидела.

А увидела я застолье. Середина зала, где обычно проводились культур-

ные мероприятия, была освобождена от стульев, несколько столов сдвинуты буквой «Т» и уставлены одноразовыми тарелками и пластиковыми баночками с тем привычным набором еды, которая в первые дни приезда казалась разнообразнейшей и вкуснейшей, но вскоре надоела до оскомины: несколько сортов белого и желтого сыров, маслины, невыносимо острые соленья, творожки разной степени жирности и несколько видов баклажанных салатов — от крупно нарезанных, жаренных в томатном соусе, до молотых и приправленных майонезом. Несколько бутылок желтенького и оранжевого питья с явно искусным привкусом разведенного концентрата и канистра неперменного израильского «шоко» — любимого напитка нации.

Вокруг стола кто-то уже сидел, энергично жуя и при этом энергично жестикулируя в разговоре, кто-то прогуливался, перегибаясь над столом и выхватывая с тарелки маслину или огурчик.

Отовсюду покрикивали:

— Дуду, передай мне тарелку! стакан! Ави, хочешь хлеба?

Жевали все. Сначала я думала, что застолье — необходимая расслабляющая и объединяющая прелюдия к дальнейшим рабочим спорам и обсуждениям. Впоследствии убедилась, что это не что иное, как тотальное непрекращаемое жранье, вечное жевание, левантийский пищеварительный перпетуум...

— Не зевай, — сказала Таисья, придвигая мне тарелку и наливая «шоко» в одноразовый стаканчик, — все сметут, гады, оглянуться не успеешь.

Я попыталась расспросить ее на предмет — кто там в малиновом берете, но Таисья сказала сурово:

— Молчи и ешь. Я все тебе со временем объясню. Главное, не лезь ни во что. Твое дело маленькое: ты Милку замещаешь. А то сядут на голову и поедут — дороги не разберешь.

— Кто поедет? — спросила я.

— А вот увидишь, — сказала она, энергично намазывая на хлеб толстый слой белого мягкого сыра.

Наконец в двери зала вскочил — зрительно это именно так и выглядело — высокий человек, в котором я сразу узнала давешнего манекенщика с обложки журнала мод. Две-три секунды он обозревал собравшихся за столом — так завоеватели бросали первый взгляд на Иерусалим с вершины горы Скопус — и спешил: неторопливо направился к той части стола, которая представляла собой перекладину буквы «Т». За ним поспевали две секретарши и — тощенькая, сутулая, на голенастых подростковых ногах, с круглой стриженной головой пятиклассника — Адель, замдиректора по финансам.

В дальнейшем все, без исключения, четверговые заседания цвета начинались с этого внезапного появления-вскакивания Альфонсо в дверях.

Да, это был тот самый человек с обложки журнала — красавец лет тридцати восьми, безупречная модель; у него были все данные, чтобы стать идолом Голливуда. Рыцарственно красив, словно откован природой по давно забытой, но вдруг случайно найденной форме, по какой в средние века ковали сюзеренов и королей.

— Ну вот, — сказала мне Таисья, пока директор усаживался и с ласковой, поистине прелестной улыбкой кивал то одному, то другому, кто протягивал ему тарелку, стакан, баночку с салатом. — Сейчас он устроит «рабочую переключку раказим» и ты начнешь потихоньку врубаться.

— Что такое «раказим»?

— Координаторы. Балда.

— И мы здесь все — «раказим»?

— Ну да. Козлы рогатые.

— Хеврэ!¹ — воскликнул Альфонсо, пристукнув ладонью по столу.

В эту минуту заколыхалась портьера на дверях зала, зашевелилась, приподнялась, затанцевала... Из-за портьеры выкатился Люсио, обиженно

¹ Товарищи (*иврит*).

подвывая что-то вроде «всегда без меня, все без меня, никто Люсио не ждет, все съели, ни крошки бедному не оставили...» — совершенно ясно было, что он прятался там и выжидал, пока соберется вся компания.

Он выписывал вокруг стола кренделя, Альфонсо смотрел на него, откровенно любуясь, — так смотрят на своего пострела, шалуна... Впрочем, было еще что-то в этом взгляде, как показалось мне в ту минуту — тщательно скрываемая опаска.

Люсио подскочил к директору, заведя руку за спину и приговаривая: «Поделись с Люсио, дай кусочек вкусненький!» — сунул под нос Альфонсо свой утренний сюрприз, который так меня напугал.

Тот отшатнулся, перекоксился, плюнул и... захохотал. Выхватил у Люсио злополучную кисть и поднял повыше, любуясь, прицокивая и приглашая полюбоваться всех. Дамы кривились, хихикали, отмахивались от мерзости, выполненной с таким мастерством. Очевидно, привыкли. Только одна — высокая и тонкая, как хлыст, с черными глазами на худощавом, очень холодном лице, взяла карликову поделку в руки, осмотрела и спросила:

— У кого это ты отгрыз, Люсио?

— У твоего дружка, Брурия, — мгновенно ответил он, — у которого ты грызешь кое-что другое.

За что сразу же схлопотал легкий подзатыльник от начальства.

— Хеврэ!

Альфонсо отодвинул от себя тарелку и воссел — я иначе не могу обозначить эту гордую посадку. Как же он был хорош! — густые пепельные волосы, красиво распадающиеся на лбу, крупные чеканные черты лица, вообще: некоторая даже излишняя в лице чеканность, разве что ускользящий взгляд каштановых глаз несколько контрастировал с этими, выбритыми до голубоватого отлива, литыми формами.

— Хеврэ, времени нет, это заседание будет непривычно кратким.

Надо сказать, в дальнейшем директор всегда провозглашал напряженную работу в сжатые сроки, все заседания с первой минуты он объявлял «непривычно краткими» — и все они растягивались на долгие часы. Посудите сами: во-первых, все раказим должны были высказаться, доложить о результатах работы за неделю, о планах работы на будущее. Все это прерывалось бесконечными и ожесточенными перепалками, потому что, как правило, недоделки и упущения в работе одного были причиной — действительной или мнимой — недостатков и упущений в работе другого.

И все вместе они не стоили выеденного яйца.

На первом моем заседании, например, произошел скандал по поводу увольнения некоего неизвестного мне Дрора, координатора спортивных программ. Началось с того, что Альфонсо объявил о его увольнении торжественно-скорбным, но тем не менее начальственным тоном. Как выяснилось в дальнейшем, подобный тон действовал на коллектив Матнаса как окрик дрессировщика на зарвавшуюся рысь. Обычно в такие минуты наступала тишина. И только двое в этой тишине отваживались вставлять замечания или возражения: Люсио — на правах баловня-шута и Таисья — на правах невменяемой правдолюбивы. К тому же статус директора консерваториона давал ей некоторые административные преимущества перед остальными обитателями Матнаса.

— Послушай, Альфонсо, я Дрору — не сват и не брат, — начала она.

— Так вот и молчи! — живо и жестко отозвался тот.

— Но так не поступают! Дождись, по крайней мере, пока его выпишут из больницы!

— Таисья! — повысил голос Альфонсо. — Я не прошу у тебя ни совета, ни указания! Я еще пока здесь директор.

— Ну и что, что ты директор? — бесстрашно возразила она. — Дрор работает в Матнасе двенадцать лет, тебя тогда и в помине не было. Человек перенес три инфаркта, а ты его увольняешь, когда он еще из больницы не вышел.

— Та-ись-я!!

Но она уже закусила удила. Глаза наполнились влагой, голос — надрывной хрипотцой.

— Да люди ли мы?! — воскликнула она, оглядывая коллег. — Наш товарищ, который не может сейчас ни слова сказать в свою защиту, прикован к больничной койке... Он лежит, беспомощный, под капельницами, и никто из врачей не знает — как долго он протянет!.. И в это самое время его коллеги спокойно соглашаются выкинуть беднягу на улицу, оставляя его детей без куска хлеба! — Голос ее сорвался, она замотала головой и зарыдала, выкрикивая что-то бессвязное о гуманизме, о солидарности и о смерти под забором...

Продолжая громко рыдать, Таисья вскочила, лягнула стул, так что он опрокинулся, и выбежала из зала.

Я ошалела от этой, столь стремительно развернувшейся, сцены. В ту минуту я верила, что присутствую при экстраординарном скандале, в результате которого произойдут некие тектонические сдвиги. Тем страннее выглядели совершенно будничные, я бы сказала, рабочие физиономии остальных членов коллектива. Люсио делал вид, что спит: положив голову на стол, тихо, но внятно похрапывал. И эта кабанья голова на столе, и сидящие вдоль стола люди страшно напоминали мне что-то, чему я пока не могла подобрать название.

Перешли к обсуждению следующей темы — кажется, закупки инвентаря для спортзала. А я сидела и думала — что теперь будет? Уволят ли Таисью за этот бунт, вернут ли неизвестного мне Дрора... А может быть, Альфонсо, поняв, что допустил непростительный промах в работе, уйдет с занимаемой должности «по собственному желанию»?

Спустя минуты три возвратилась посвежевшая Таисья, невозмутимо подняла стул, села рядом. Я искоса поглядывала на ее румяную умытую щеку.

— Вообще-то его можно понять, — вдруг спокойно сказала мне Таисья по-русски, кивнув на директора. — Дрор всегда был херовым работником. Последние девять месяцев вообще не появлялся в Матнасе.

— Но ведь три инфаркта подряд? — спросила я осторожно. — Бедняга, совсем молодой мужик...

Таисья достала платок и высморкалась.

— Ничего удивительного, — отмахнулась она, уже прислушиваясь к дискуссии за столом, — пьянки, наркотики, бляди... — И вдруг с полуслова включилась на иврите в обсуждение проблемы: — ... а я считаю недопустимым позволять подросткам... — И дальше совсем уж для меня неразборчиво: не по словам, по смыслу дела.

... На этом же заседании я была представлена коллективу: Дина, замещает Милу, наша новая «рокезет» (маркиzet роковой на козе рогатой).

Мне все улыбнулись, я всем кивнула.

Потом Альфонсо заговорил о творческом подходе к работе каждого члена коллектива. Он повторял то и дело словосочетание, которое приблизительно можно было перевести как «полет фантазии». Получалось, что с этим полетом у всех раказим дела обстояли неважно.

— Давайте же помечтаем! — приглашал он требовательно, и с каждой фразой голос его отвердевал, как бывает в споре, когда неприятный тебе собеседник несет вздор и не желает вслушаться в твои доводы. В полнейшей согласнейшей тишине всего коллектива директор Матнаса все повышал и повышал голос.

В красивых длинных пальцах он вертел чашку с витиеватой надписью, и я безуспешно пыталась издали прочесть — что там написано.

Альфонсо все распаялся и распаялся, и по мере его возгорания остальные сникали, притихали, сонно застывали лица, замирало все вокруг.

— Ущелье — наше богатство, а мы не используем его! Нет фантазии, никто не знает — что с ним делать. А вы попробуйте спуститься в ущелье и прислушаться к музыке пустыни! Приложите мозги! А если их у вас нет — идите прочь! Вам нет места в Матнасе! Займитесь чем-нибудь другим. Точка! Я вас всех к черту — уволю!! — вдруг заорал он, на мой взгляд, несколько неожиданно.

Тем удивительнее показалась мне реакция коллег: все словно уснуло, во всяком случае, сонно прикрыли глаза, будто вопли хозяина действовали на них гипнотически. А красавец накалялся все пуще, кричал куда-то вдаль, впрок, для острстки. Его широкие, красиво развернутые плечи вздыбились, жилы вздулись на высокой загорелой шее, глаза, как пишут в таких случаях, «метали громы и молнии», правда — в неопределенном направлении. В его громогласном, перекатывающимся оре были навалены — как барахло на захламленном чердаке: полет фантазии, ущелье, ответственность перед населением, подготовка к празднику, огромные деньги туристов, музыка пустыни, музыка Генделя, я поснимаю вам головы, точка, суть вопроса, шевелите мозгами.

Во всяком случае, так это выглядело в моем воображении, немало потрясенном этим первым заседанием коллектива.

— Все должны спуститься в ущелье! — воскликнул он наконец.

— Зачем? — спросила я озабоченным шепотом у Таисьи. Она отмахнулась, мол, — потом!

— Но ведь какой-то идиот уже открыл там живой уголок, — это подала голос Брурия. Странно, как такие яркие черные глаза могли оставаться столь холодными.

— Так вот и надо думать — что с этим делать. В ближайшие несколько дней мы совершим экскурсию в живой уголок, — продолжал Альфонсо, успокаиваясь, — и вы обязаны приложить мозги к этому месту! Точка! Я призываю всех раказим спуститься в ущелье! (Всем рогатым козлам — пасть в кизилowych рощах!).

Я осторожно оглянулась — цвет Матнаса дремал с открытыми глазами. Вязкая одурелая тишина застывшего полдня зудела в ушах.

И тут на балконе тоненько всхлипнул, заплакал ребенок... кто-то невидимый стал его успокаивать, подсвистывать, ласково, умиленно гулить. Вдруг кто-то третий вскрикнул: «Ай-яй-яй!», запричитал, заохал, будто палец прищемил; застонали, заойкали сразу четверо и взвыл грубый, хамский, глумливый бас, оборвал на хрипе; кто-то захихикал...

Таисья оглянулась на мое ошарашенное лицо и пробормотала:

— Это ветер, не бойся. Тут такие концерты бывают — куда тебе твой шабаш!

Что такое ветры Иудейской пустыни, я и сама знаю. В иную ночь проснешься от воя и дребезжания стекол, кажется — еще минута и нас снесет вместе с крышей прямехонько в преисподнюю (да и лететь недалеко — тут, за соседнюю горку). Но то, что творилось в недавно отремонтированных трубах системы центрального кондиционирования Матнаса, то, как изошренно озвучивались щели, прорези, прорехи и щербины, нельзя было назвать завыванием ветра. Каждый раз это обрушивалось на меня внезапным шквалом, оглушало, пугало, истязало и глумилось...

Часа через три, когда, наконец, Альфонсо иссяк, все мы были отпущены восвояси. Проходя мимо чашки директора, я взяла ее в руки и прочла надпись. На белом фаянсовом поле витым красным шрифтом значилось: «Трудно быть скромным, когда ты лучше всех».

Надо ли говорить, что в первый же рабочий день я составила подробный и разнообразнейший план работы: концерты, экскурсии, лекции, творческие вечера и заседания сразу трех клубов: географического, женского и «клуба трех поколений». В перспективе предполагался выпуск шестнадцатиполосной газеты на русском языке.

Дня через три после первого заседания коллектива секретарша Отилия — крепкая женщина в ковбойке и джинсах — объявила мне, что директор ждет меня в его кабинете на собеседование.

Я поднялась в свою комнату, свернула в трубочку плод моего должностного рвения — план мероприятий на три месяца и явилась пред начальством.

Альфонсо покручивался в кресле и смотрел на меня чуть ли не с

умилением. На компьютерном столике лежал журнал мод, тот самый, с его фотографией.

Он так рад, что именно я замещаю Милочку, он уверен, что именно я подниму культурную работу на подлинно высокий уровень. Он не сомневается, что я уже обдумала стратегию и тактику работы и подготовила план, который он с удовольствием выслушает.

Да, разумеется, у меня все готово — я развернула лист плавным, но snоровистым движением герольда, выкрикивающего на городской стене приказ герцога.

Вот, пожалуйста, на ближайший месяц: концерт классической музыки. Экскурсия на Кинерет. Лекция косметолога: подтяжка и укрепление отвисающей кожи щек. Кожи — чего? Ах, я неправильно выговорила слово. Ко-жи щек. Пробежала пальцами по своей правой щеке. Потом показала левую.

Красавец милостиво кивнул мне. Очень полезно, очень увлекательно. Что еще? Взгляд его карих глаз все время убегал в сторону обложки журнала, к своему изображению.

Еще, продолжала я, заседание географического клуба — остров Мадагаскар, а также встреча с известным писателем Рабиновичем, автором многих романов.

О, это очень, очень интересно, он слышал об этом замечательном писателе. Мадагаскар — это тоже очень развивает. А еще?

А еще — надеюсь, Альфонсо понимает всю важность задуманного мной проекта — я пригласила известного психолога для проведения курса лекций о взаимоотношениях трех поколений в семье.

— Ну, а еще?

Я замаялась. Для скудной зарплаты, положенной на три месяца, перечисленные мною увеселения выглядели более чем бравурно.

— Еще... — пробормотала я, глядя на чеканную — в контражуре — великолепно посаженную на высокой шее голову, — еще я предполагаю организовать выставку-продажу картин русских художников, живущих в нашем городе.

И вздохнула с облегчением: вовремя же эта славная мыслишка забрела мне в голову.

— Фантастика! Bravo! — Он восхищенно заломил руки, потом легонько придвинул к себе журнал и как бы рассеянно уставился на свою фотографию...

— Ну... а если помечтать, еще, еще?

Чего ж тебе еще, тоскливо подумала я, где ты денег на это все возьмешь? А вслух сказала:

— Хорошо бы провести конкурс красоты, — абсолютно уверенная, что сейчас он отбросит журнальчик и холодно осведомится, не сошла ли я с ума.

— Гениально! — он лучезарно улыбнулся. — Ну, а еще?!

Маньяк, поняла я внезапно, сумасшедший. Кто его посадил на эту должность? Мне вдруг захотелось проверить свое открытие.

— А еще... — осторожно проговорила я, — хотелось бы при Матнасе организовать яхтклуб и в будущем устраивать соревнования яхтсменов.

Выговорила это и замерла. Даже безнадежно сумасшедший должен по крайней мере поинтересоваться — где именно в Иудейской пустыне я собираюсь проводить соревнования яхтсменов.

Но Альфонсо откинулся в кресле, мечтательно задрал к потолку кудрявую голову.

— Гран-ди-о-о-зно..! — простонал он.

Глава 3

К о у к с. Как! разве они живут в корзинке?

Л е з е р х е д. Они лежат в корзинке, сэр! Ведь они маленькие!

К о у к с. Так это и есть ваши актеры? Вот эта мелюзга!

Л е з е р х е д. Актеры, сэр, и еще какие! Не хуже других! Правда, они годятся только для пантомимы, но я говорю за них всех.

Я принялась за работу с ученическим рвением. За любую работу я принимаюсь обычно с ученическим рвением, ибо знаю заранее, что весьма скоро это рвение иссякнет. Нет, я не ленива. Я глубоко и безнадежно бездеятельна. Это единственно естественное для моей психики, любимое и, к сожалению, недоступное времяпрепровождение. Поэтому всю жизнь я ищаю и произвожу впечатление гудящей пчелы.

Итак, я принялась за работу: объявила даты и маршрут двух ближайших экскурсий, пригласила выступить на будущий четверг профессиональных музыкантов — молоденькую певицу и старого величавого концертмейстера, старательно написала крупными буквами объявления и полдня бегала по всему городу по жаре — развешивала их.

К тому же я распространяла билеты, что сразу сделало мою жизнь непереносимой: пенсионеры звонили мне домой с рассвета до полуночи и за билетами заходили примерно в эти же часы, по пути, совершая прогулку для лучшего пищеварения.

Весь этот ад продолжался дней пять, пока Таисья не сказала:

— Что ты бегаешь с билетами, дура? Побереги себя. Отдай какой-нибудь старухе и пообещай шекель с каждого проданного билета. Когда ты усвоишь простую, как глоток, истину: оле тебе за шекель в чистом поле воробья загоняет.

Перед первым концертом я ужасно волновалась, словно самой предстояло петь «Хабанеру» Кармен, объявленную в программе. Я обзвонила всех доступных, ходячих и внемлющих пенсионеров: «Здравствуйте, вас беспокоит Дина из Матнаса». — «А?! Говорите громче!» — «Дина из Матнаса!!» — «Ну, так что вы хотите?» — «Хочу пригласить вас на концерт классической музыки». — «Чего вдруг?!»

Давненько не слышала лирико-колоратурного сопрано такого глубокого, нежно-чувственного тембра, как у этой девятнадцатилетней девочки. И никогда не встречала столь полного слияния голоса с внешним обликом певицы: сильное гибкое тело лосося в открытом, облегающем платье темно-серебристого цвета.

Когда на бис пела она «Хабанеру» Кармен, страстно устремляясь всем телом вперед, — черные кудри то наклонялись, закрывая белый профиль, то взлетали, открывая агатовый глаз. Любовь — дитя, дитя свободы, законов всех она сильней...

Старый профессор, заслуженный артист России, высокий, седовласый, сутуло элегантный в своем черном смокинге, при бабочке, милостиво кланялся моим старикам...

В другой раз я решила позвать пенсионеров на просмотр видеofilmа. Но вместо роскошной английской мелодрамы по ошибке принесла из видеотеки порнофильм с садо-мазохистскими изысками. На мое счастье, в тот вечер на просмотр явились только двое — чета почтенных профессором-медиков. Обнаружив чуть ли не с первых кадров неувязочку по теме, я целомудренно ахнула, бурно извинилась и бросилась выключать телевизор.

— Нет, отчего же, оставьте, — возразила Мария Иосифовна, в прошлом — один из лучших хирургов-гинекологов Ленинграда. — Вдруг чем-то новеньким порадуют.

Минут тридцать они — старые, седые — внимательно следили, как блестящие от пота, голые актеры гонялись друг за другом с разнообразными орудиями пыток в руках.

— А почему они не приступают к коитусу? — громко, как все глуховатые люди, спросил профессор супругу. — Я был бы давно готов.

— Очевидно, у него замедленный мошоночный рефлекс, — спокойно отозвалась Мария Иосифовна.

После того вечера я окончательно решила ограничить развлечения своей престарелой паствы концертами легкой классической музыки.

На заседаниях коллектива Таисья спокойно вслух говорила со мной по-

русски. Это придавало происходящему дополнительное измерение. Делало остальных фоном.

— Посмотри, как он ест, — говорила мне Таисья, рассматривая сидящего напротив карлика Люсио. — Не дай Боженька увидеть такое беременной женщине.

Тот и вправду ел, странно и непроизвольно подмигивая, — очевидно, было это вызвано раскоординированностью лицевых мышц. Один глаз его закрылся, другой, полузакрытый, смотрел вбок.

Вообще, когда он ел, казалось, что рука невидимого кукловода, изнутри распялив на пальцах его лицо, выкручивает губы, сворачивает на сторону нос, подергивает кадык и сводит щеки к подбородку.

Так же холодно и точно Таисья комментировала действия Альфонсо, особенно когда тот впадал в монаршую ярость.

Вообще, это была самозаводящаяся динамо-машина. Для того чтобы он раскалился добела, не нужно было никакого постороннего повода, вроде чьей-то неосторожной реплики или неверного движения. В пылу монолога мелькнувшая мысль выводила его на какую-нибудь, неприятную для него, тему, и тогда неожиданно для окружающих — и потому особенно необъяснимо и страшно — он взрывался и орал.

(Кстати, многие деятели из разных стран, приехав на эту землю, берут себе псевдонимы. Но здесь это называется — вернуться к своим корням.) Впервые услышав фамилию Альфонсо, я улыбнулась: на русский она переводилась как Человечный. Альфонсо Человечный, не больше, но и не меньше.

Интересно, что израильтяне, будучи в сфере материальной людьми вполне практичными, в сфере эмоционально-идеологической продолжают, в сущности, строить коммунизм.

Ну что ж, евреи, как известно, издревле отличались идеологическим упрямством.

Идея плавильного котла, основательно проржавевшая, здесь до сих пор наполняет гордым ветром сердца кибуцных энтузиастов. До сих пор высшей точкой слияния аборигенов со свежей еврейской кровью считается дружное пение сохнутовских песен под нестройный аккордеон.

Вообще, культурная израильская аура в ее массовом варианте грешит двумя притопами и тремя прихлопами под раздувание мехов большого доброго сердца.

Я помню это пение в первые недели после приезда, на курсах обучения ивриту.

Бывшесоветские циники, обалдев, боялись переглядываться, чтобы не прочитать в глазах друг друга собачью тоску перед культмассовыми увеселениями еврейских рабочих и крестьян.

Так что Герцьель и теперь живет всех живых...

Да и что взять с государства, где до сих пор в ходу революционное словечко «мандат»? А логика — наука греческая, говорил Жаботинский, евреям без надобности.

Иногда Альфонсо и произносил что-то вполне в революционном роде: «Мы говорим "город" — подразумеваем Матнас, а говорим "Матнас" — подразумеваем город!!»

Кажется, он был искренен, вот что самое страшное.

В такие минуты за столом наступала тишина. Не потому, что его боялись. Хотя боялись, конечно, но так, как боятся буйных припадочных: лучше не возражать, а то сейчас стол перевернет, чашки побьют...

— О, — злорадно вступала Таисья шелестящей скороговоркой спортивного комментатора. — Сейчас начнется... Обрати внимание: буря начинается с легкой зыби в бровях... как бы — с удивления... Смотри, сейчас одна бровь начнет подниматься...

Действительно, сначала на приветливом и прекрасном лице Альфонсо появлялось некое светлое непонимание, невинная оторопь, правая бровь, шевельнувшись, приподнималась...

— Выше, выше... «ах, так вот как обстоят, оказывается, дела!» — удивление возрастает. — «Как это могло случиться?! Ведь я дал нужные указания!» — все это Таисья проборматывала в холодном азарте у меня над ухом. — А теперь внимание: брови на грозной высоте, рот полуоткрыт, кулаки сжаты: удивлен, потрясен, разгневан...

— Хеврэ!! — вопил Альфонсо. — У меня нет слов! Я удивляюсь, хеврэ!!

— Дивлюсь и бачу манду собачью, — вторила Таисья негромко, безынтонационно.

— Если город не подготовлен к празднику — будет сокрушительный провал! — продолжал вопить Альфонсо. — Все пропало!!

— Ну да, — ровно вступала Таисья, — лопнула манда, пропали деньги...

— Или вот этот, — она глазами поводила в сторону Шимона, человека с полукруглой спиной в тренировочном костюме. Нельзя было вообразить себе ничего менее спортивного, чем этот координатор спортивных программ. — Что он тебе напоминает, этот мучной червь? Молчи, я скажу: непропеченный коржик. Обрати внимание: рот всегда полуоткрыт — запущенные с детства полипы... Он неглуп, но ленив чудовищно. Вообще, все здешние обитатели характерны тем, что занимаются именно делом, в котором ни черта не смыслят.

К примеру, Ави... Да не пялься ты так в открытую! Искоса, искоса... Ну какое, скажи, он может иметь отношение к бассейну, если плавать не умеет? Тихо, не вопи. А ты думаешь, что Альфонсо умеет руководить или понимает хоть что-то в управлении хоть чем-то, скажем газовой конфоркой или домашним тапочком? Или тебе кажется, что Адель смыслит что-то в финансах? У нее, если я не ошибаюсь, даже аттестата об окончании школы нет...

Под монотонное бормотание Таисьи я рассматривала Адель со стриженным затылком пятиклассника, в круглых очках в металлической оправе. Адель всегда жевала резинку и на заседаниях коллектива задумчиво время от времени выдувала небольшой пузырь, после чего указательным пальцем подбирала с губы лопнувшие ошметки и запихивала их в рот...

— Однажды я сдуру поехала с ними на ежегодную пасхальную экскурсию. Всего пересказывать не буду — ты испугаешься, но только одно, самое невинное: знаешь, как загасил костер муж Адели? Он расстегнул штаны и под общий одобрительный хохот помочился в огонь. Все были жутко довольны. Говорю тебе: нравы здесь вполне средневековые... Давид, наш завхоз, парень неплохой, порядочный, но молоток, который всегда при нем, ничем, поверь, от его головы не отличается... За ним обычно по Матнасу блатаются, как лунатики, два арабских мудозвона — Сулейман и Ибрагим, братья из соседней деревни, Азари. Постоянно в состоянии медитации. Упаси тебя Бог послать их за плоскогубцами. Не вернутся никогда... Ну, Отилия, девка душевная, простая, любит порядок... да не пялься ты так на них, на вот, съешь лучше пирожок...

— А теперь глянь на эту гранд-даму... — она кивала на Брурию. — Как спину держит, а? Сколько патетики в этой неподвижности! Люблю я тоже этих баб, которые, вынося мусор, держат спину, будто фламенко танцуют... Гляди, как она смотрит на хозяина.

— А что, у них роман?

— Да разуй глаза, простота святая! Она ж влюблена в него, как кошка! Все стережет — чуть он зазеваётся — цап-царап и унесет его в коготках к себе в норку. Но он бдительный. У старых холостяков, знаешь, яйца намылены.

— А он что, не женат?

— Кто — он? Один, как желтый огурец в осеннем поле...

— Странно, такой красавец... И она — яркая женщина... была бы стильная пара...

— Что значит — была бы? Он дерет ее на каждом углу, как кот помойный. Про это все знают. Сколько раз их заставляли! Вон, спроси у Отилии... Прямо здесь, в Матнасе.

— Странно... Почему — в Матнасе? Что — ни у нее, ни у него квартиры нет?

— Ой, не вдавайся, милка моя, — взмолилась Таисья, которой я мешала

слушать происходящее и, следовательно, полноценно в нем участвовать. — Если вдаваться в этот сумасшедший дом, можно самой спятить... У них какая-то длинная запутанная история. Оба они из Испании, как и Люсио. Но сюда вроде приехали из Аргентины, а любовь крутили там еще... Кажется, даже жили вместе... Но однажды — так Брурия рассказывала Шоше из социального отдела, — однажды он сорвался и поехал сюда, вроде как на несколько дней, вроде родственников отыскал. Ну, она ждала-ждала там, в Аргентине, полгода ждала и приехала сюда, его разыскивать. Найти-то нашла, сунулась вместе жить, да не тут-то было. Он от нее туда-сюда, туда-сюда... Явно какая-то баба есть, а вот кто — поди угадай. И вот уже сколько лет ни то ни се, ни два ни полтора... Мучит ее, мучит... Смотри, как высохла...

— А есть здесь приличные люди? — спросила я однажды у Таисьи.

Она обвела хозяйским оглядом стол. Все вяло жевали под угрюмый повист ветра.

— Да, — сказала она серьезно. — Мы с тобой.

Глава 4

Человек — существо разумное, смертное, умеющее смеяться.

(Ноткер Губастый, 11 в.)

Дней через пять жарким утром наш директор Альфонсо поволок весь цвет Матнаса на экскурсию в ущелье. Уже миновал Судный день, прошла неделя праздника Кушей, а благословенного в этих местах дождя все не было. Гладкое дно эмалированной кастрюли стояло в вышине.

Поговаривали, что, если через несколько дней небеса не разверзнутся, равнины объявят пост и в синагогах начнутся моления о дожде.

Ленивой цепочкой мы подтягивались к краю горы, с которой полого вниз уходила тропа в ущелье. На всех были нахлобучены соломенные шляпы, кепки, панамы, каждый нес при себе бутылку с водой.

Альфонсо сиял: пастух выгонял свое стадо на горные пастбища. Он возглавлял процессию, то и дело оборачиваясь и выкрикивая очередную фантастическую глупость. Казалось, еще минута — и он заставит всех петь хором походную песню про картошку, а сам будет дирижировать. Таисья плелась рядом со мной и в полный голос отпускала по-русски замечания.

— Ему же не черта делать, понимаешь, — говорила она, отпив воды из бутылки и подобрав указательным пальцем россыпь капелек на верхней губе. — Мужик здоровый, молодой, красавец, полон сил, кот помойный. А его посадили в Матнас — хером груши околачивать.

— Кто посадил? — спрашивала я рассеянно, не в силах вдаваться в бюрократические хитросплетения, в которых она ориентировалась так же свободно, как родовитый испанский гранд в генеалогическом древе своей семьи.

— У него «спина» в Управлении Матнасами... — хмуро глядя в спину начальства, говорила Таисья. — Хотя, если постараться, можно свалить гада.

— О, это будет грандиозно!! — оборачиваясь, восклицал Альфонсо. Он был в легкой голубой маечке, обтягивающей великолепно развитую грудь. — Я предвкушаю музыку Баха среди этих пустынных гор!! К нам будут стекаться на концерты толпы туристов из Франции, Англии, Америки!! Мы заработаем мешки денег!!

Тут впервые у меня мелькнула странная мысль... да нет, тень мысли, дуновение мысли. Просто некий летучий образ проплыл перед моими глазами...

Вот так, подумала я, и тамплиер, восклицая религиозные лозунги, вел свою братию в крестовый поход на нашу разоренную землю — отвоевывать у

сарацин гроб господень. Мешки денег и гроб господень. Мелькнуло и померкло. Дребезжание жарких паров Иудейской пустыни.

Поскольку с нами был и Люсио, спокойно пройти этот поход в ущелье никак не мог. Началось с того, что, ступив на тропу, карлик якобы споткнулся и кубарем покатился вниз, на ходу сшибая других. При этом он визжал как резаный. Но странное дело: подпрыгивая, валясь опять на землю, катясь, как веретено, вереща и вопя, он вроде бы не ушибся. И когда поднялся, деловито отряхиваясь, физиономия его сияла злорадством. Всем остальным пришлось похуже. Брурия, упав, подвернула ногу.

— Идиот!! — закричала она с ненавистью непропорциональной событию. К тому же это слово звучит на иврите в абсолютно одесском варианте, — несколько раз Брурия выкрикнула: «идьет, идьет!!» — поджимая ногу и закатывая глаза от боли.

Люсио, не оборачиваясь, помчался вниз, на ходу крича:

— Дорогая, ты будешь цаплей в нашем живом уголке!

Тогда я впервые подумала, что «наших испанцев» связывают, возможно, отношения давние и не вполне коллегиальные.

То, что называлось живым уголком, открылось неожиданно слева, под горкой. Небольшая территория, откусанная от горы ковшом экскаватора, была огорожена зеленым заборчиком. Под навесом в неглубоком бассейне плескалось с десяток уток и лебедей. Важно волочил павлин по тени свой хвост, как полусложенный испанский веер. В двух больших загонах метались козы и косули, в дощатом сарае перекиривали друг друга петушки разных пород.

По утоптанной глине двора прогуливались осел и кряжистый мохнатогой пони.

— Вот оно, величие ущелья! — закричал Альфонсо. — Вот оно, величие человеческого разума, победившего мать-природу!

И как воплощение человеческого разума, победившего мать-природу, к нам вышел из дощатой пристройки очень смуглый, кряжистый, как пони, кибуцного вида человек, хозяин всей этой живности. Моше. Он и оказался бывшим кибуцником. Синие глаза в глубоких морщинах.

Что-то мне все это страшно напоминало, и когда Моше почтительно звал всех под навес, где на деревянных столах стояли уже бутылки с кока-колой, орешки на тарелках, обдутые сухим ветром пирожки с картошкой, — когда он зазывал всех, протягивая руки приглашающим жестом, — я еще не нащупала, не напала на след, меня еще не ослепили две-три детали...

И только когда Люсио, вспрыгнув на скамейку, отхватил зубами кусок пирожка в поднесенной ко рту руке Альфонсо, а тот, захохотав, шлепнул его по загривку, — я остолбенела, замерла, залюбовалась мгновением, осветившим весь сюжет, поняла — где я, кто я, ощутила в ладони крестовину с повисшей на нитях куклой-марионеткой...

О, наслаждение у г а д а в ш е г о, доступное лишь нюхачу вроде меня, шастающему по задворкам чужих кухонь! Вот оно, вот оно — куклы-марионетки, и все у меня в корзинке: достану какую захочу и разыграю спектакль. Но что я представлю?

Рыцарский двор — вот что это будет!

Мгновенно возникли перед моими глазами наши четверговые заседания за длинным столом — ни дать ни взять рыцарское застолье.

Вот что все это было: славный рыцарь Альфонсо, сеньор, со всем двором выехал на охоту в своих угодьях. При нем телепался умный, нервный и злой шут Люсио, так напоминавший мне карликов великого Веласкеса; тут были и благородные дамы, и знатные господа, и прочие вассалы... И каждому, каждому из нас — дворни — можно было подыскать занятие и должность при дворе сеньора Альфонсо.

Вот Ави, «блюстителю бассейна», опрятный человек. Аккуратно выбритое смуглое личико, отглаженная рубашка с короткими рукавами и

неизменная папочка под мышкой: что за счета, о Боже, что за списки, что за должники бассейна томятся в этой папке?

Завхоз Давид, славный малый, — то с молотком, то с плоскогубцами в руке, с карандашом за ухом — кем мог он быть при дворе сеньора Альфонсо — конюшим? Смотрителем ружейных мастерских?

Сутулый длинный Шимон, похожий на непропеченный коржик — кто он при господине? Лекарь? Писарь? Повар? Дворецкий?

И многие дамы в свите — Отилия, Брурия, высокородная дама Адель, юные девицы Жаклин и Шушана, вечно перешептывающие сплетни Матнаса, и прочая мелкая шушера — всем им найдется занятие и место при дворе...

Ну, а я-то, я, — кто я и что в этом, полном челяди, замке? Всем чужой пришелец — трувер? трубадур? миннезингер? хуглар! — находчивый и беззастенчивый, отлично знающий свое дело и готовый покинуть владения сеньора, как только его ненасытному воображению наскучат обитатели замка...

А может быть, это — соколиная охота в полях? Вот он, красавец сокол — целое состояние! — сидит у сокольничего на руке, одетой в кожаную перчатку. Под кожаным колпачком упрятана голова птицы. Загонщики скачут по полю во весь дух, поднимая дичь — зайцев, лис, птиц... Еще мгновение — и с головы сокола снят колпачок, он взмывает в воздух, несколько мгновений, распластанный, висит, оглядывая округу, и камнем падает вниз, на жертву, терзая ее когтями и клювом.

Нет, это — загонная охота в лесах, на берегу реки, на огороженном участке. Туда уже запущены звери из хозяйского зверинца, завезенные из южных стран: две пантеры, лев... Знатные вельможи занимают места в хорошо укрепленных убежищах. Трубит рог. Оглушительно лают псы, вопят загонщики. Обезумевшие от криков животные бегут, бегут... и попадают под рогатину или копые или под тучу стрел из арбалета...

И вот уже добыча поделена, охотники на привале...

И Моше, похожий на лесничего из «Жизели», выходит встречать своего господина.

... Моше почтительно выслушивал восклицания Альфонсо, время от времени вставляя свою единственную просьбу: ему важно было, чтобы Матнас распространял по школам субсидированные билеты на посещение этого крошечного зоопарка.

— О чем ты говоришь! — перебивал Альфонсо. — Мы организуем здесь концерты классической музыки! Здесь будут звучать Бах, Гендель, Моцарт!

В этот миг осел, привязанный к деревянным столбам навеса, задрал голову, отфыркался и закричал, раздувая ноздри, истошным ором молодого самца. Его вопль катился по ущелью, как железнодорожный состав, грохочущий на стыках рельс.

— Это Гендель, — проговорил серьезно Люсио, дождавшись, когда смолкнет эхо. — Бах — тот помощнее будет...

Он отрешенно глядел вдоль по дну ущелья, куда прокатился ослиный икающий рев, — так смотрят вслед уходящему поезду. Его асимметрично оплывшее лицо со срезанным подбородком, стекающим в жирную шею, сейчас не казалось мне отталкивающим — это был миг, когда я поняла, что Люсио, пожалуй, умнее не только своего господина, но и всей этой своры бездельников и прихлебателей, ошивающихся в комнатах, коридорах и службах Матнаса — белого приземистого замка на отшибе городка.

Глава 5

Другие ж в менестрели подрядились
И добывали хлеб веселой песней,
За это их никто не обвинит.

(Вильям Ленгленд. Видение о Петре Пахаре. 1362 г.)

Часов в пять вечера обычно раздавался грохот, топот и гогот, визг, вой и сотрясение стен.

— Мотеки идут, — говорила Таисья обреченно. — В белом венчике из роз впереди — Иисус Христос.

Процессии «мотеков» всегда возглавлял Люсио, как и все их оглушительные забавы. Надо отдать ему должное — Люсио был прирожденным вожаком, любимым атаманом жалких, наглых, жестоких и несчастных существ, какими бывают, как правило, подростки от двенадцати до восемнадцати лет. Что-то он различал в их душах, помогая не только укрыться от этого безжалостного мира, но и совершать из своего укрытия внезапные набеги, подчас опустошительные.

На всех этажах, на площадках, во всех закутках Матнаса можно было наткнуться на облепленного душераздирающими язвами или окровавленного, с разверстой раной во лбу, семиклассника, который с восторженным воем предстал перед вами во всем великолепии бутафорского мастерства Люсио.

Они его обожали.

Как-то, проходя мимо раскрытых дверей «молодежной» комнаты, я подсмотрела, как Люсио показывал — именно показывал — группке подростков бой быков.

— Пробило четыре! — восклицал он. — Время корриды де торос! Публика заполняет ряды, на солнечной стороне блестят потные лица, в тени дамы накидывают на плечи шали и шарфы... Вот играет кларин: ту-ту-ту-ур-р-р! — Люсио приложил ко рту свернутую в трубочку ладонь и изобразил звук рожка настолько точно, что я осталась досматривать спектакль.

— Сначала — пасейльо! — под звуки пасадобля на торжественный парад на арену выходят матадоры. Их расшитые блестками костюмы шестнадцатого века, их «трахе де лусес» пересверкивают на солнце. За ними следуют их квадрильи: три бандерильеро — в красно-золотых плащах, три конных пикадора и прочая прислуга — моносабыос, ведущие лошадей пикадоров; мулильерос, которые потом уволокут бычью тушу, и прочие: пунтильерос — он убивает быка кинжалом, есть еще пеон — пеший тореро...

Президент корриды взмахивает белым платком, это сигнал: через бычьи ворота на арену выгоняют быка. Вот оно, начало кровавой драмы, ритуал и таинство, величественный танец человека с быком, извечная любовь, которая всегда кончается смертью.

Они встретились — тореро и бык, испанский боевой бык — яростное, страстное, аристократическое животное. Его кровь охранялась в течение многих столетий для корриды де торос, он чистокровный боец — торо браво! — и рожден для того, чтобы нападать!

Перед ним человек — хрупкий, мужественный и напряженный, — он готов ко всему, он величайший мастер убийства и будет вести этот танец: итак, классический прием — вероника. Следите — быка выводят на середину арены — пара вероник, еще пара вероник и — полуоборот — медиа вероника! — бык развернулся, он готов, он в ярости, но матадор исчез, в бой вступают пикадоры...

Это был смелый бык — рыжеватая шкура, «асарахадо», он презирал смерть, он бросался в атаку вновь и вновь... Но он устал, он уже обвешан бандерильями, он выжидает... собирается с силами... И вот он, звук трубы — последний, третий, великий акт драмы. У матадора в руках только шпага и мулета. А бык опасен, он уже выучен этим боем, он знает правила игры... Итак, тореро проведит фаэну... Йорам, что такое фаэна?

— Шляпа..? — неуверенно предположил щупленький Йорам.

— Сам ты шляпа! Фаэна — запомните, балбесы, — это набор приемов с мулетой. Вот она, мулета! — он тряхнул свитером. — Величиной лишь вполовину плаща. Запоминайте основные приемы с мулетой: деричасо — я шпагой расправляю ткань, поворачиваем так... так... и... левой рукой натурель, шпага при этом в правой... Затем — следите! ремате, пасе де печо — я вывожу быка из-за спины и — направо..!

Все эти плавные и одновременно молниеносные движения мулетой я, конечно, не раз видела по телевизору в многочисленных передачах об Испании. Но никогда на меня это не производило столь завораживающего

впечатления, как в тот момент, когда из-за створки полуоткрытой двери я глядела на маленького смешного увальня, чертовски талантливо играющего корриду за всех!

— Последний, отвлекающий маневр мулетой, последний смертельный короткий прыжок отважного животного и — а-а-а-!!! (продолжительный вопль на трибунах) — шпага между лопатками быка!! Он падает. Он умер! Слава быку!! Слава великому тореро!!

Люсио кланялся, поворачиваясь во все стороны и глядя вверх, на воображаемые трибуны. Подростки хлопали, свистели... Он их перекрикивал.

— Публика машет платками, это означает особую честь — отрезать быку ухо! Йорам, ты хочешь отрезать убитому быку ухо?

— А яйца отрезают убитому быку? — спросил Йорам.

— Отрежь себе, — посоветовал ему Люсио, тяжело дыша.

Он продолжал кланяться и посылать кому-то на невидимых трибунах воздушные поцелуи. При этом не умолкал ни на мгновение...

Кроме того — для школьников средних классов — Люсио вел кукольный кружок, для спектаклей которого сам делал перчаточных кукол, изготавливал маски из поролона, обеспечивая бесконечными и разнообразными безумствами свою оголтелую паству.

... Однажды в супермаркете случайно я стала свидетелем встречи Люсио с бывшим «мотеком» — двухметровым солдатом в форме морской пехоты.

Они увидели друг друга в просвет между продуктовыми полками и, одновременно опустив на пол пластиковые корзины, ринулись мять и тискать один другого. Морской пехотинец, нежно облапив Люсио, раскачивал его, как ребенок — неваляшку, они гоготали, раскидывали руки, любуясь друг другом, восхищенно качая головами, и вновь бросались обниматься...

Тогда я впервые подумала, что, вот ведь, и этот урод способен вызвать благодарную любовь.

Как же я была потрясена, когда узнала, что у Люсио есть жена! И не какая-нибудь цирковая карлица, а самая обычная, вполне миловидная женушка с маленькими изящными ступнями, обутыми в плетеные босоножки на высоком каблуке. Странной казалась только ее безадресно блудливая улыбка, откровенная настолько, что дорого и со вкусом одетая женщина выглядела непристойно.

У нее был прелестный профиль: чистая невысокая линия лба, короткий, с едва обозначенной горбинкой нос и четко и нежно вылепленные валики губ и подбородка. В фас же она была похожа на деревянную деву Марию, какие в старину украшали носы кораблей. На резную деву Марию с выпуклыми глазами.

Впервые я увидела ее на одном из четверговых заседаний. Она приотворила дверь, мимолетным рысьим прищуром обвела зал, махнула кому-то и отпрыгнула. Тотчас вскочил Люсио и засеменил вперевалочку к двери.

— Жена, — объяснила Таисья, проследив мой внимательный взгляд. — Ну, что вылупилась? Жена, жена... Думаешь, если росточком не вышел и рожа на боку, так и женилка не работает?

Сквозь стеклянные двери видно было, как нежно он обнял ее. Мельком взгляд мой зацепил директора: Альфонсо сидел, опустив глаза и быстро кивая. Казалось, он внимательно слушал Ави, перечисляющего — какие новые льготы пользования бассейном он подготовил для пенсионеров.

Я готова была поспорить, что Альфонсо не слышал Ави. На какой-то миг мне даже показалось, что ему не по себе: лицо посерело, тяжелые веки опущены.

И еще, мне показалось, что Люсио намеренно демонстрировал семейную идиллию. Но зачем? Странно, во всей этой абсолютно «легальной» сцене (жена забежала на минутку передать супругу то, что забыла отдать утром) таилось воровское, тайное и даже преступное, как если бы дон Себастьян де Морра, знаменитый карлик кардинал-инфанта Фердинанда, посягнул на любовь одной из прелестных фрейлин.

Глава 6

И все-таки самой колоритной фигурой в Матнасе была, конечно же, Таисья.

Основополагающим принципом ее жизни было: неукоснительное достижение и торжество собственноручной справедливости.

Когда в шестнадцать лет отец избил ее стулом, так что все лицо заплыло одним огромным синяком, она убежала к тетке (дело происходило в Карачаево-Черкессии) и сказала ей:

— Сватай меня, выйду за первого встречного.

Недели через три синяк сошел, и утром, возвращаясь из магазина с бидоном молока, она увидела две машины, подкатившие к дому.

Расплескивая молоко, она — ребенок в меховой шапке-ушанке подбежала к первой машине, красному «москвичу», заглянула в окошко и спросила звонко:

— Ой, а вы к нам, наверное?

Ее приехали сватать две семьи одновременно. Смушенная тетка зазвала всех в гостиную, стала рассаживать, хлопотать, готовить угощение.

Один из женихов — парень лет двадцати, на вид хрупкий, как статуэтка, сидел в уголке дивана, сведя черные густые брови и не поднимая глаз. Стеснялся. Зато другой — мужчина лет тридцати пяти, совсем старик, обстоятельно курил, спокойно и внимательно рассматривая спящую на кухню и обратно девочку.

Когда все расселись в гостиной и тетка подала чай, пирожные и изюм с орешками, Таисья потихоньку выбежала в прихожую, где на вешалке висела одежда женихов — плащ и куртка, и там прижалась лицом к каждой вещи поочередно, втягивая запахи детскими ноздрями.

Запах плаща — он принадлежал старшему, «старику», — показался ей роднее.

Так она впервые вышла замуж.

Затем в ее жизни перемелькало много всякого — два несчастных брака, бешеный гнев отца, переезды из города в город, бездомье, ночевки с двумя маленькими детьми в парке на скамейке и, наконец, отъезд в Израиль в конце семидесятых.

История — золушкиного покроя, не без феи в образе местного народного заседателя. Он знал Таисью еще по ее скандальному разводу со вторым мужем — игроком, шулером, талантливым тунеядцем, — за которого она долго выплачивала долги всем, кто приходил и требовал.

Ехал народный заседатель поздно вечером с судебного заседания на своей машине и увидел Таисью, бегущую куда-то со свертком в руках. А бежала она в городской парк, вешаться — в свертке бельевая веревка, купленная в «хозтоварах» на последние семьдесят копеек. Жить больше сил не было никаких, да и негде, из дому отец выгнал навсегда, к тому времени похолодало, ночевать на вокзале или на скамейках в парке, с детьми, было холодно и опасно.

Утром она пристроила детей в «дом ребенка», а вечером уже собиралась качаться в петле над скамейкой в городском парке, чтоб больше — ни холодно, ни стыдно, ни больно...

Народный заседатель тормознул, приоткрыл дверцу и пригласил Таисью в машину.

— Вам куда? — спросил он, косясь на сверток в ее руке, откуда свешивался крученый конец веревки.

Она молча махнула — мол, вперед, туда, куда-нибудь...

— А что это у вас? — он кивнул на сверток.

— Так... — сказала она сдавленно. Он остановил машину.

— Тая, — проговорил он, — поверьте старому человеку: пройдет много лет, и вы оглянетесь на этот день с улыбкой.

Тогда она упала головой на руки и, захлебываясь слезами, рассказала ему всю свою жизнь. Он слушал ее, не перебивая (старая лысая фея, Николай Семенович, никогда вас не забуду, дорогой, пусть земля вам будет

пухом!), развернул свой «москвич» и повез Таисью в общежитие то ли медработников, то ли химиков. Пристроил. А через несколько дней вызвал к себе, поговорил о том о сем и вдруг, понизив голос, сказал:

— Слушайте, Тая, вы же по еврейской линии — чего вам не рвануть отсюда вообще?

— Куда? — испуганно спросила она.

— В Израиль, — сказал он просто. — Счастья попытать, а?

Она показывала мне карточку на выездную визу: молодая, худая, с длинной шеей и молящими черными глазами, на обеих руках по младенцу — сын и дочь.

Народный заседатель оказался прав — сказочный принц ждал ее именно здесь, среди этих камней и иссушающего солнца... но не сразу, а после нескольких лет изматывающего мытья чужих квартир, еще одного несчастного замужества, рождения третьего ребенка, после нескольких лет преподавания музыки в заштатном Доме культуры, в крошечном поселении на задворках Иудейской пустыни.

В конце рабочего дня она возвращалась в Иерусалим, на машине своего коллеги Миши — пропойцы-ударника. Уроки он проводил в туалете, поскольку места было мало — Дом культуры занимал несколько комнаток в сборном домике на вершине лысой горы. Целый день из туалета доносился рокот барабанов, гром литавр. На один из унитазов Миша клал чистую картонку, резал на ней сало, хлеб, помидоры, наливал в чашку водки и весь день попивал.

По обратной дороге — петлястой горной тропе, несколько расширенной для машин, — Таисья дрожала как осиновый лист: никогда нельзя было знать, сколько водки выпито Мишей за сегодняшний день.

Ну а в одно прекрасное утро... нет, в один дождливый мерзкий день в конце ноября, на одном из очередных идиотских семинаров по повышению квалификации, после длинных докладов нескольких безмозглых чиновников от культуры, в баре гостиницы «Рамада-Ренессанс», куда с горя и тоски позволила себе зайти, выпить чашечку кофе, продрогшая Таисья, — ее и увидел корифей челюстно-лицевой хирургии, профессор «Хадассы», легендарный в своей области Рони Шварц. В тот день он назначил там встречу своему коллеге из Бостонского госпиталя.

Отогревшись горячим кофе, Таисья достала сигарету, закурила, улыбнулась самой себе и оглянулась по сторонам. За соседним столом сидел немолодой прекрасный принц и зачарованно смотрел на нее блестящими карими глазами в паутинках морщин...

Ну и, наконец, в одно прекрасное утро, которое последовало за этим вечером в баре, Таисья проснулась в небольшой, но чрезвычайно уютной его квартире в Рехавии. Прекрасный принц, одетый, как положено в сказке, в роскошную домашнюю куртку с бархатными отворотами, сидел у нее в ногах и смотрел на Таисью, как смотрят на больного ребенка.

Убрав ладонью волосы с ее лба, он сказал тихо:

— Дитя мое, ты спала, как загнанный зверь... Ты вздрагивала и стонала во сне... Кто гнался за тобой все эти годы..?

С того дня профессор Шварц так и жил, не сводя с Таисьи блестящих карих глаз в паутинках морщин.

... Ко мне она привязалась всей душой, называла дубиной стоеросовой и беспрестанно учила жить с грубоватой нежностью. А я всегда позволяю своим будущим персонажам маленько поучить меня жизни и даже провоцирую их на это.

Было истинным наслаждением наблюдать за Таисьей, когда она беседовала по телефону с теми, кто ей дорог. Каждые час-полтора осуществляла телефонные налеты на свою квартиру, опрокидывая на младшенького, третьего, уже ко всему привычного, ушаты кипящей нежности.

— А мамочка тебя лю-у-бит, — завывала она в трубку, — а мамочка тебя за тухес уку-у-усит.

Ей не мешало то обстоятельство, что напротив нее в этот момент сидел педагог, которого она увольняет. Кстати, перед тем как его уволить, она — уверяла Таисья — проплакала всю ночь. И я ей верю: плакала.

Так она уволила когда-то ударника-алкоголика Мишу, в машине которого натерпелась столько страху. Уволила его сразу после того, как музыкальному кружку был дарован статус «консерваториона», а самой Таисье — статус его директора.

— Ты, это... — сказала она жалостливо. — Не в том дело, что педагог ты херовый, Миша. А вот, закладываешь и... кроме того, милка моя, сало жрешь. А что это за пример для неокрепших душ?

Миша вытаращил водянистые глазки в красных веках.

— Так ты ж! — пролепетал он. — Ты ж сама хвалила... Говорила — свежее, душистое...!

Была она человеком беспредельной ласковости к тем, кого любила, — неистойвой матерью, любящей женой, преданной подругой — и индийского хладнокровия к снятию скальпа с врага. Вообще, я еще не встречала такого могучего и разнообразного словарного запаса, такого широчайшего разброса диапазона — от матросской матерщины и грузчицких прибауток до выражения чувств таких нежнейших тургеневских переливов, что слезы наворачивались.

«Шварцушка» — она произносила нежно, как «скворушка».

По сути дела, Таисья была гениальным управленцем. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что, доведись ей стать премьер-министром этой маленькой безалаберной страны, Таисья в считанные месяцы навела бы образцовый порядок. Но, увы, в управление ей пятнадцать лет назад досталось только музыкальный кружок с двенадцатью учениками.

Конечно, она вырастила это убогое хозяйство до престижного консерваториона в двести пятьдесят учеников. Управленческий темперамент Таисьи (как и завоевательский инстинкт Альфонсо) требовал расширения полномочий, владений, числа подданных. Таисья считала, что пришло время организации двух оркестров: камерного и струнного, а также сводного хора всех пяти школ городка.

Кроме того, она не прочь была подмять под себя балетный и танцевальный кружки, которыми вообще-то руководила Брурия.

— Она танцует фламенко, подумаешь! — говорила Таисья. — В прошлом году мы были со Шварцем в Испании, поверь — это все дутые мифы, красивые легенды. Точно как здесь у нас. Взять эту корриду... Сколько о ней написано, Боже! Ну, были мы со Шварцем на корриде. Противно вспомнить. Ничего героического. Забой быков, вот и все. Мой дядя Фима сорок лет работал на Бакинском мясокомбинате в забойном цехе, и никто не считал его тореадором.

Поговорки, присказки, непристойные частушки прилипали к ней, как прилипают ракушки к днищу океанского брига.

Описывая внешность неприятной ей особы, она добавляла мимоходом: «а волос на голове — что у телушки на мандюшке». Когда однажды я попробовала заступиться за провинившегося и грозно казненного педагога, Таисья, сверкнув глазами, сказала:

— Ну, ты, Плевако! Не долби мне «Му-му», для этого есть Герасим...

В другой раз, узнав, что я люблю холодец, варила его всю ночь, а наутро везла в автобусе через весь город. И заставила меня съесть сразу всю тарелку в учительской. Сидела, пригорюнившись, смотрела, как я ем, и приговаривала: «Девочка моя, мое бедное дитя...»

(Мы были ровесницами.)

Но иногда она произносила нечто эпическое по самому ничтожному поводу, тревожа глубинно-библейские видения моей крови. «Не хотел он ребенка из-под нее», — произнесла она однажды, рассказывая об одной

несчастливой семье, и грустно добавила: «Когда мужчина не любит женщину, он не хочет и ребенка из-под нее...»

Меня потрясла могучая пастушеская простота этого образа: ягненка из-под овцы, ребенка из-под женщины... На мгновение я представила прама-терь Рахель на корточках, вторые сутки выкряхтывающую стоны сквозь искусанные губы, а за войлочным пологом шатра — бледного Якова, ожидающего блаженной минуты, когда он примет на руки своего Иосифа, возлюбленного сына из-под возлюбленной жены...

Глава 7

Охотничий рог приглашает на смерть кабана
Высокородный вельможа тешит свой двор охотой
С ним знатные гости, и слуги, и егеря
Трещотки, и копыя и стрелы и арбалеты...

И вот он бежит, бежит, бежит, бежит —
Последний кабан из лесов Понтеведра...

Дрожат в предвкушении своры охотничьих псов
Загонщики воют, кричат, оглушительно лают собаки
Охотничий рог приглашает на смерть кабана
Стрела в арбалете, и копыя в руках, и чаща во мраке

И он выбегает из мрака на свет, и бежит.
Последний кабан из лесов Понтеведра...

(Испанская песня, 17 в. Галисия)

В один из изматывающе жарких дней, вечером — я уже заперла кабинет и отнесла ключ в секретариат — меня в лобби окликнул Люсио. Я вначале не заметила его — он сидел в кресле, наматывая на палец чей-то длинный белокурый локон. Подавив в себе инстинктивное желание драпануть как можно быстрее и подальше, я остановилась, ожидая — ведь он мог выкинуть любую штуку.

Нет, на этот раз он был устало спокоен, подчеркнуто предупредителен — маленькая просьба насчет подмены дней, — я, если согласна, отдаю ему свой четверг владения залом — он мне средю.

Разговор длился несколько мгновений, — он стоял передо мной, машинально продолжая наматывать на палец локон, — чей, о Господи? — потом поблагодарил подчеркнуто сердечно, кивнул и засеменял косой своей походочкой к выходу. Посвистал и вдруг негромко запел на испанском.

Я ускорила шаги и догнала его на выходе. Несколько минут нам было по пути, мы шли по дорожке мимо цветущих кустов олеандров, и он напевал эту тревожную, скачками, мелодию — как будто сочинил ее кто-то, кто поднимался вверх по обрывистой тропке. Я шла рядом.

— Что ты поешь?

— Так, песня одна. Старинная испанская песня.

— А как это переводится на иврит? — спросила я.

— Слушай, — сказал он, усмехнувшись, — какая разница? Разве можно перевести с родного языка на другой так, чтобы хоть приблизительно передать — как ты это чувствовал и слышал в детстве, как ты это представлял себе?

Я промолчала.

— Ну, ладно, — сказал он, — в общих чертах: это старинный напев, о том, как испанский гранд выезжает на охоту... стрелять кабанов. А в его владениях они уже не водятся, понимаешь? Остался последний кабан. И вот его загоняют, и он бежит, бежит — последний кабан в этих лесах, в лесах Понтеведра — на севере Испании, — он бежит, он смертельно ранен в бок.

— И что же? — осторожно спросила я.

— Ничего, — сказал он, — больше ничего. Он бежит со смертельной раной в боку — последний кабан из лесов Понтеведра.

— И все? — спросила я. — Об этом песня?

— Об этом, — ответил он, усмехаясь. — У нас в Испании длиннющая канте хондо может состоять из трех фраз о том, как тебя бросил возлюбленный и как болит твое сердце.

— Правда, — согласилась я. — Перевод — всегда потеря.

Несколько мгновений мы еще молча шли рядом вдоль высоких кустов олеандров.

— Это песня о родовом проклятье, — вдруг сказал Люсио. — О проклятье моего рода.

Сейчас начнет врать, поняла я. Кажется, Таисья именно об этом и предупреждала. Ну что ж, валяй, выворачивай карманы...

— Глубокая рана в боку — вот наша смерть, — сказал он просто. Забавно переваливаясь, шел вдоль кустов, отводя рукой ветви.

— Один из моих предков на охоте преследовал вепря, в азарте погони оторвался от остальных и пропал. Нашли его через день, мертвого, со страшной раной в боку — очевидно от кабаньего клыка. Судя по кровавому следу, он долго полз, выполз на поляну и умер от потери крови...

— Его внук, граф Фернан Энрико де Коронель, владелец колоссальных земельных угодий, замков и прочая, отличившийся в битве при Рокруа, был известен тем, что слишком уж злоупотреблял правом первой ночи, подчас растягивая эту ночь на длинные недели, заставляя распаленного жениха скрежетать в ярости зубами. Он и доигрался в конце концов: один из женихов подстерег графа на тропинке, когда тот возвращался на рассвете в замок, и заколол его рогатиной, забил, как дикую свинью. Под утро графа нашли слуги — он все-таки выполз к воротам замка, но умер от ужасающей раны в боку. И поделом, правда?..

Я вежливо промолчала, уже угадывая в сюжете смутно знакомые очертания.

— Через поколение, — продолжал он, — эта смерть настигает мужчину из моего рода. Последним был мой дед. Он в молодости порвал с семьей, ушел из дома, бродяжничал по всей Испании, прибился учеником к знаменитому тореро Мигелю Альваресу и вскоре сам стал известен, любим и удачлив. Именно он переступил родовые устои и женился на девушке из семьи марранов. Моя бабка в канун каждой пятницы зажигала в подвале дома свечи, укладывалась в постель и ни разу в субботу не появилась в церкви... А деда нашли однажды на рассвете на дальнем пастбище, где выращивали быков для корриды. Он там часто бывал, но за каким чертом — восклицала бабка — понадобилось тащиться туда ночью? Загадка... Он выполз к шоссе и был еще жив, когда его подобрали, но минут через двадцать умер от большой потери крови. Угадай — что было у него в боку?

Я проговорила задумчиво:

— Глубокая рана от бычьего рога?

— Именно, — удовлетворенно подтвердил он.

В эту минуту я уже понимала, что он рассказывает мне сюжет «Собаки Баскервилей». Ну что ж, бродячие сюжеты — основа основ как литературы, так и искусства вообще. Люсио, значит, был своим, из нашего цеха. Интересовало меня только одно — какая часть из рассказанного им была правдой. Маленький граф де Коронель начинал мне нравиться.

— Ну а следующий на очереди я, — продолжал он, и я согласно кивнула. — Знаешь, вот как сидишь в приемной у зубного врача и каждую минуту ожидаешь, что из кабинета раздастся: «Следующий!» — и в очередной раз сработает проклятье раненого вепря.

— Так это — устное семейное предание? — спросила я. Мы давно уже стояли с ним на развилке, где должны были разойтись в разные стороны.

— Почему же устное! — живо возразил карлик. — Вполне даже письменное. — Его асимметричное лицо, маленькие серые глазки были, пожалуй, не лишены своеобразного обаяния. — Я вывез сюда чуть ли не единственное достояние нашего обедневшего рода — старинную рукопись XVII века, родовые хроники, написанные монахом Антонио де ла Пенья из

монастыря Виста Алегре, того, что между Вильягарсиа и Падроном. Он входил в наши владения. Приходи как-нибудь, покажу. Я люблю гостей...

— Спасибо, — сказала я, — как-нибудь зайду... Действительно, история мистическая...

— Мис-тичес-кая!! — Он почему-то расхохотался, словно его позабавило это, мною подобранное, слово. — Еще какая мистическая! Но самое мистическое в этой истории то, что мужчины, на которых падает проклятье вепря, и сами несколько похожи на него, а? — Он подмигнул мне, скосил к переносице маленькие глазки и вдруг захрюкал — страшно натурально.

Ужас несомненного его сходства с дикой свиньей, доведенного этим хрюканьем до леденящего подобия, на считанные мгновения лишил меня способности двигаться.

Минуты три еще я стояла среди кустов олеандров, озадаченная и раздраженная тем, что карлику во второй раз удалось меня одурочить.

Глава 8

Смех и увеселения растлевают душу монаха страшными страстями... Смех уничтожает блаженство, которое дается скорбью сердца. Смех делает душу беспокойной и грешной. Смех лишает человека упования на Бога, предает забвению смерть и страдания.

Древнегрузинский сборник «Поучения отцов» (I—II вв.)

Кроме живого уголка, столь причудливо и бесполезно уютившегося в безлюдном ущелье, был еще один объект, занимавший беспокойный и бестолковый ум нашего директора.

Археологический комплекс не так давно раскопанных развалин древнего византийского монастыря на самой макушке нашей горы не давал ему покоя.

— Я требую от вас интеллектуальных усилий! — вопил Альфонсо на заседаниях коллектива. — Полета фантазии — вот чего недостает вам! Шевелите мозгами: шутка ли — в двух шагах от нас такое богатство! Монастырь пятого века с дивно сохранившейся мозаикой, с огромными водяными цистернами, в которых бог знает что можно устроить!

Кончилось тем, что в один из дней Люсио явился на четверговое заседание в полном облачении хасида, в черной шляпе — как выяснилось — с двойным дном в высокой тулье. Когда на повестке дня вновь замаячил монастырь Мартириус и Альфонсо уже открыл рот для очередного призыва шевелить мозгами, в черной шляпе, как в шкатулке, откинулась круглая крышка и изнутри, извиваясь, полезли розово-серые пиявки. При этом карлик сидел с отрешенным видом, не реагируя на восторженно-пугливый визг женщин.

— Смотри, они шевелятся! — кричала секретарь Отилия. — Из чего ты сделал этих червячков, дьявол?!

— Это мозги, — невинно отвечал Люсио. — Я ими шевелю... — Поднял руки и пошевелил накладными пальцами в черных перчатках.

... Разумеется, дружный цвет, подгоняемый неугомонным Альфонсо, совершил прогулку и по территории раскопок древнего монастыря.

Альфонсо сбегал в каменную сторожку при входе и каждому раздал цветные брошюрки на английском.

— Экскурсовода сегодня нет, но это не препятствие! — бодро заявил он. — Я сам стану экскурсоводом, и, ей-богу, вы увидите, что это не так уж плохо... Так... мы находимся в... — он стал вертеть карту, — это запад или восток, а?

— Ну, вот же! — встряла Таисья. — Вот же, стрелки указывают начало экспозиции.

— А, да! Внимание, хэвр! — он опять остановился, изучая английский текст. — Грандиозно!! Я ведь всего этого не знал! Этому цены нет!!

Мы стояли под солнцем, переминаясь с ноги на ногу. Таисья прикрывала голову папкой по учету новых учеников музыкальной школы.

— Да чтоб тебе лопнуть на этой жаре! — выдохнула по-русски. — Пошли дурака Богу молиться, он яйца себе отдавит.

— Ага! — наконец воскликнул директор. — Перед вами остатки монастыря четвертого века нашей эры, который носил имя деятеля христианской церкви, иерусалимского патриарха Мартириуса. Это, надеюсь, понятно?

— Чтоб вот так посреди рабочего дня рыскать по развалинам давно сгинувших гоев?! — вставила Отилия.

— Цыц, хеврэ! Это не развалины гоев, Отилия, это наше национальное достояние... Так вот, монастырь возвышался над главным путем из Иерусалима в Иерихон... Путь, между прочим, как был, так и есть... Когда-нибудь, в двадцать восьмом веке, кто-нибудь будет гулять по развалинам нашего Матнаса имени меня... Ну вот... что тут еще написано? Монастырь был окружен обширной сельскохозяйственной территорией, а поливали они ее из запасов воды, хранившейся в больших цистернах, с которыми сейчас мы ознакомимся...

— Они внизу, под нами, — подал вдруг голос Шимон, и все разом повернули к нему головы: в кои веки Шимон хоть что-то знал.

— Я подрабатывал здесь на раскопках, когда был студентом. Пошли, покажу.

И тут совершилась очередная летучая драма, действие, ужас, леденящая комедия, о которой долго еще вспоминали в Матнасе.

На окраине монастырского двора Шимон разыскал по памяти ржавую железную крышку люка.

— Вот, — сказал он, — это ход в цистерны, а внутрь ведет железная лесенка, и можно спуститься, только осторожно, глубина подвалов огромна.

Альфонсо немедля кинулся крышку поднимать. Она не поддавалась.

— Странно, — проговорил задумчиво Шимон. — Она всегда была открыта. Да и замка нигде не вижу.

Они поднатужились оба, пытаясь оторвать крышку от земли. И в этот момент она поддалась, образовалась щель, из которой пахло спертым влажным воздухом подземелья. И в этой щели вдруг показались объединенные до кости пальцы с длинными желтыми когтями и донесся утробный, впрочем, дружелюбный голос:

— Давай подсоблю!

Альфонсо уронил крышку и отпрыгнул в сторону, дамы завизжали, бросились врассыпную, все, кроме меня: я узнала любимый экспонат карлика. Видно, тот, мой первый испуг стал естественной прививкой против его проделок.

— Это же Люсио! — крикнула я.

Действительно, выходка Люсио на сей раз перешла все мыслимые границы. Он и сам почувствовал это. Откинул изнутри крышку люка, подтянулся и сел на край, щурясь от солнца.

— Кретины, у вас ни грамма воображения, — миролюбиво сказал он.

В нескольких шагах от меня подвывала и буквально приплясывала от злости Брурия.

— Сбросьте его туда, кто-нибудь!! — стонала она. — Сдохните, закройте крышку и завалите камнями!

Внутри цистерн никто, кроме Альфонсо, не решился лезть. Я только заглянула и ахнула — два высоченных сводчатых нефа подпирались по центру рядом квадратных колонн. Струящийся полумрак скрывал истинные размеры гигантского подвала.

— Какая тут глубина? — спросила я Люсио.

— Метров десять—двенадцать, — пробормотал он. — Хочешь спуститься?

— Да нет, в другой раз.

— Здесь здорово, — сказал он. — Боже, как здесь здорово. Сохраняется прохлада от прошлогодних дождей. Вот бы где я хотел умереть. — И сразу спохватился, смутившись, очевидно, слишком серьезным своим тоном, и добавил шутливо: — Тени монахов оведали бы меня полами своих черных сутан...

Минут через пятнадцать Альфонсо выбрался из подземелья, отряхивая брюки и энергично растирая ладони.

— Это истинное богатство! — крикнул он. — Здесь мы организуем музей трех религий. Восковые фигуры с лампочками в глазницах будут глядеть из каждого угла! Богатый турист сможет сфотографироваться с нашим предком Авраамом, с лихим сарацином и Ричардом Львиное Сердце!! Нас завалят мешками денег, стоит только пошевелить мозгами!

Затем мы поплелись по остальным объектам, и Альфонсо с брошюровкой в руках оборачивался к нам, как дирижер к хору:

— А тут — комплекс построек, окруженных высокой стеной. Некогда окруженных... Направо! Нет, налево — приют для паломников, часовня, баня и конюшни со стойлами для лошадей и ослов...

И направо и налево тянулись все те же нагроможденные серо-желтые камни.

— В центре северного крыла монастыря большая оштукатуренная пещера, перестроенная в крипту.

— Что такое крипта? — спросила Таисья.

— Там, где хоронили, — сказал Шимон.

— Вот эти гои, — возмутилась Отилия, — где едят, там и хоронят.

— ... Входом в нее служила лестница из нескольких ступеней, — продолжал Альфонсо. — Ну, где это заведение? Шимон, за что тебе здесь зарплату платили?

— Кажется, вон там, — неуверенно показал Шимон в сторону небольшой горбатенькой землянки, куда и вправду вели несколько стертых каменных ступеней из ноздреватого иерусалимского известняка.

— Вот! — торжественно поднял палец Альфонсо, нашел нужное место в брошюрке. — Тут написано, что в этой пещере покоились среди прочих священнослужителей три монаха — Георгиос, Иоханнес и Элпидиус. Об этом говорит нам частично поврежденная надпись над входом. Это та самая пещера, в которой до постройки монастыря жил сам Мартириус.

Я огляделась... камни, камни... ни деревца, ни дуновения воздуха.

А ведь этот монастырь упомянут в византийской хронике Кирилла как крупнейший в Иудейской пустыне.

Странно представить, что когда-то здесь текла деятельная жизнь, растлались вокруг огромные сельскохозяйственные угодья, добывалось оливковое масло... Паломники со всех земель находили здесь место на постоялом дворе и клон сена для ослов и лошадей. Проезжие гистрионы — певцы, канатоходцы, жонглеры, сочинители баллад, — устремляясь на Север, к рыцарским замкам Галилеи, жили здесь по нескольку дней и даже недель, забавляя монахов своим искусством.

Как их звали-то? Я нашла в брошюрке это место на английском: Георгиос, Иоханнес и Элпидиус, три монаха... Почему времени было угодно оставить только эти три имени, три летучих знака, три иероглифа для движения губ, для шелеста едва слышных звуков... Почему оно стерло другие имена, оставив лишь эту строку — Георгиос, Иоханнес и Элпидиус... ?

Когда изнуренная жарой публика потребовала милосердия, Альфонсо повел всех к выходу, приговаривая:

— Если б не я, вы бы так и жили под боком у великого памятника культуры, не зная — что это такое. А вот теперь вы знаете, где живете!

Перед выходом с территории раскопок он в последний раз поднес брошюрку к глазам и прочел заключительную фразу:

— Монастырь был разрушен и заброшен после завоевания Палестины арабами в VII веке нашей эры.

Через неделю Советом мудрецов Торы был объявлен пост. Во всех синагогах начались моления о дожде.

Я возвращалась из Иерусалима домой на рейсовом автобусе. Люблю эти кондиционированные паланкины, плавно кружащие тебя по съездам желтых

слоистых холмов. Люблю, когда в просветах между горами неожиданно крутанется, как на сценическом круге, наш городок на горе, так похожий на замок за крепостной стеной, зависнет в небе на те несколько мгновений, пока автобус мчит по короткому прямому отрезку шоссе и вновь исчезнет за горкой. Люблю прохладное бездумье этого неудержимого скольжения вниз, вниз, к долине Иерихона.

Соседка, дремавшая весь путь от Иерусалима, проснулась и, лениво покопавшись в сумке, достала журнал мод. Я скосила глаза и подавилась мешком: с обложки в прыгучем беге застыло мчался на меня с теннисной ракеткой в руке мой директор Альфонсо.

Миг броска к летящему мячику, ракетка — продолжение руки, великолепные мускулистые ноги, раскоряченные в естественной присядке спортсмена. А шея! Ах, черт возьми, мне всегда нравилась его чуть длинноватая, юношеская на вид, шея.

Буквально в тот же миг я увидела эту глянцевою шею за стеклом автобуса и даже сморгнула от неожиданности.

Мы стояли в пробке обычной в это время дня. Так что красная «Субару» моего директора, притертая к нашему автобусу, видна была сверху более чем подробно. И вот там-то, на загорелой шее Альфонсо лежала маленькая пухлявая ручка и нежно перебирала пальчиками волосы на его затылке. Мне даже и наклоняться не надо было, чтобы понять — кому эта ручка принадлежит. Все движения этой женщины, жены Люсио, были пухляво вихляющими, хотя ее нельзя было назвать полной.

Словом, эта ручка откровенно хозяйничала на шее моего директора. А сам Альфонсо, то и дело закидывая голову, терся затылком об эту руку.

Затем женщина подалась к нему, мягко тронула губами подбородок, прикрыв свои выпуклые глаза резной девы Марии. Он обернулся к ней, свободную правую руку опустил на ее колено, и ладонь его привычно скользнула вверх по ее ноге...

Я в смятении отвернулась.

Сначала подумала — что за бред? К тому времени я уже знала, что эти двое — двоюродные брат и сестра.

Потом ощутила всю пошлость этого сюжетного хода: с сиденья автобуса я, невольно наблюдающая мимолетные, отнюдь не родственные ласки директора и его маленькой кузины.

А впрочем, подумала я, вполне банальный поворот сюжета какой-нибудь средневековой испанской новеллы.

Хотелось мне того или нет, а семья стремительно развивающегося сюжета уже сидело в безумной почве моего воображения, рука нащупывала привычно крестовину марионетки, и как ни отмахивалась — я уже не могла не думать об этих двоих в красной «Субару», украдкой ласкающих друг друга.

Глава 9

...Ангел дождя... наводит облака и тучи,
чтобы пролились они дождями.
Дожди же украшают землю плодами.
Да не задержатся они из-за долгов наших.

Молитва о дожде

За два месяца моей деятельности по обслуживанию «русских» культурными переживаниями я попривыкла и к замку с его залами, консерваторионом, смотровой площадкой на башне, двумя подземными этажами, патио, лоджиями, балконами и переходами; привыкла к его обитателям и гостям, стала неплохо ориентироваться в идеологическом жаргоне, да и сама порой весьма к месту стала употреблять его...

Я воспринимала все эти слова и фразеологические обороты так же, как

советский человек воспринимал в бытовой речи всевозможные «райкомы» «горсоветы», «Узниипроекты» и «Уралмаши». Нужно лишь условиться о том, что стоит за той или иной бессмыслицей, и все сразу проясняется.

Приблизительно раз в месяц Альфонсо устраивал семинар для коллектива Матнаса с привлечением чиновников Министерства образования и Министерства абсорбции.

Темы семинаров были самыми разнообразными и всегда для меня неожиданными. Например, один из них был посвящен правильной ходьбе и назывался: «Вы идете? Идите! Но — правильно!»

Другой был посвящен психологическим проблемам в коллективе и назывался «Учитесь улыбаться вовремя!».

— Да, это прекрасный совет, — пробормотала Таисья.

Третий носил название: «Матнас — обществу, обществу — человеку». Приглашенный из министерства лектор — пожилая крашеная тетка, похожая на учительницу младших классов, не умолкая ни на мгновение, поворачивалась то вправо, то влево, — очевидно, изображая из себя то самое общество, которое берет что-то у Матнаса, а передает — человеку.

Израильяне, особенно чиновники, занятые в системе образования, щечечут бойко, как птицы в лесу, и на мое несчастное ухо — почти так же бестолково. Те слова, которые ухо улавливало, вырывало из водопада речи, напоминали советские пионерско-лагерные речевки сороковых годов.

Помимо лекций на семинарах обычно проводились какие-то странные профессионально-психологические игры. Играющие делились на группы, у каждой был девиз. Они бегали по залу и быстро писали что-то на доске — кто быстрее и точнее... Эти толстые взрослые люди... мне было страшно жаль их. Они понятия не имели о КВН — игре моей советской, задавленной, талантливой юности.

При всей бравурности и энтузиазме в существовании нашего замечательного общественного учреждения звучала в басах и некая унылая тема: Матнас сидел в вечных, безвылазных долгах государству. Поэтому на каждом четверговом заседании выступала Адель — замдиректора по финансовой части. Она упорно призывала к сокращению нашего бюджета.

На иврите это звучит как «такцив» — было что-то воробыно-ругательное в этом перестуке-пересвисте, в этом «так вашу растак» и «цвиу-у, цвиу-цвиу-цвиу!».

На каждом четверговом заседании под вой и свист ветров Иудейской пустыни звучал бюджетный пересвист. Это несколько контрастировало с вечными призывами к «шевелению мозгов», и «давайте помечтаем!» нашего Альфонсо, и, вместе с тотальным жраньем, с постоянно накрытыми в замке столами, с бесконечным выбрасыванием денег на идиотские семинары, создавало плотный фон безумия.

Самым забавным на наших четвергах было поминутное верещание мобильных телефонов. Мужчины носили это чудо прогресса в заднем кармане брюк, так и ходили с оттопыренной ягодицей, кто с правой, кто с левой. Едва раздавалось свиристение, все укоризненно оборачивались — так, словно это сам владелец телефона издавал непристойный звук. Тот вскакивал, как ужаленный, и, зажав ладонью трубку, суетливо семенил в дальний угол зала, где, приткнувшись к стенке, — словно мужчина, отошедший к дереву справиться малую нужду, — что-то бормотал.

Заплывшие жирком поясницы здешних мужчин (национальная черта) не были приспособлены к удержанию брюк на должном уровне. Штаны сползали.

Подтяжки! Вот чего катастрофически не хватало на этой земле, текущей молоком и медом...

И только к ветрам Иудейской пустыни я никак не могла привыкнуть. Проклятая засушливая зима бесновалась, выла, визгливо хохотала... О, каким блаженством для измученного слуха показался бы ровный шум ливня!

Начиналось обычно часам к одиннадцати утра убаюкивающим шумом

морского прибоя по шуршащей гальке. Минут через пять рокот бегущих валов сменялся рокотом возбужденной черни на площади там, за стенами замка. Затем все обрывалось, наступала страшная тишина, тишина осуществления заговора.

Вот тихонько захныкал на балконе ребенок — так плачут дети, когда у них поднимается температура, и сразу некто стал успокаивать, невидимый кларнет завел, закружил на пианиссимо «Полет шмеля», и вдруг вой голодного шакала оборвал музыку. В шорохе тишины кто-то зашептал, словно договаривался начать разом, — и разом взвыли, загоготали, завизжали, как дюжина чертей.

Представляю, как страшно было по ночам такими зимами схимнику Мартириусу в его мрачной пещере.

На заседаниях страшно хотелось спать. Вообще, хотелось заспать эту выжженную ожиданием зиму. Меня морочила дрема... реальность смещалась, я повисала, расплывалась в миге между ирреальностью сна и реальностью яви, балансировала на острие этого мига, растянутого до часов, дней, годов — до конца, как мне чудилось, — жизни.

Тяжелое сонное око мое заплывало вязким светом пустыни, сгущалось мутное марево полдня, рама окна растворялась, и медленно и тяжело, как парусный фрегат, сновидение выносило меня за пределы Матнаса.

Так мне приснилось однажды, что я иду по узкому дну высохшего без дождей ущелья и удивляюсь воплощенной мечте Альфонсо: вверх по склону поднимаются среди колючек, меж кустарниковых жестких мочал деревянные скамьи. Значит, думаю я, он добился своего и все-таки засобачит здесь концерт классической музыки.

И вдруг не слишком далеко, но и не так чтобы рядом, в третьем снизу ряду скамей я заметила сидящего сгорбленного человека. И по мере того, как приближалась, все неотвратимей понимала — кто это сидит. Потому что он в точности повторял свою позу на картине художника Крамского: сцепленные костистые руки, опущенные плечи, босые ноги и устремленный в землю взгляд, полный смертной тоски.

Я заметалась. Признаться, не ожидала. Хотя — если не здесь, то где же? Самое естественное для такой встречи место, подумала я злорадно. А что — не на метро же «Теплый стан». Какое мне дело, сказала я себе смятенно, я иду себе мимо, меня не касаются все эти идолы чужих религий.

И все-таки мучительно, до сердцебиения захотелось с ним заговорить — вот оно, воспитание российской культурой. Да ведь он же на арамейском, небось, говорит, пронеслось у меня в голове, или все-таки на иврите, а? И в этот момент, уже почти мимо пройдя, я обернулась и сухими губами спросила его по-русски:

— Вы позволите задать вам вопрос?

И он поднял на меня детские зеленые глаза в сеточках морщин и сказал по-русски устало и доброжелательно:

— Задавайте, сестра.

Прост, подумала я, абсолютно в образе. Сестра — в каком смысле? И с трудом проговорила:

— Вот вы в ваших... сочинениях неоднократно высказываетесь против права человека на самоубийство.

— Это не я, голубчик, — мягко возразил он, — я лишь повторяю один из запретов нашей с вами веры.

— Положим... и все-таки, большинство населения планеты знакомы с некоторыми постулатами нашей веры в вашей... э-э... интерпретации... Так вот, не кажется ли вам, что в жизни человека бывают минуты, когда наиболее достойным выходом...

И тут истошно заголосил петух в живом уголке за поворотом горки.

— Вы правы, — сказал он спокойно и грустно. Я обратила внимание, что длинные его рыжеватые волосы спутанны и откровенно грязны. Сухая пыльная кожа лица и рук была сероватого оттенка. Ну да, подумала я, он же сидит здесь около сорока дней. Вот почему никак не прольются дожди... Предложить ему подняться со мной в город, вымыться, поесть? Я судорожно

стала вспоминать — есть ли что-то в холодильнике. Неважно, яичницу бы с колбаской зажарила. Но во всей его позе было нечто такое незыблемое, извлеченное, так сказать, из просторов вечности, что я заробела.

— Да, вы правы, — повторил он. — Бывают ситуации, из которых самый достойный выход — самоубийство. Куда дальше ходить — вот я. Если б знал, что из всего этого выйдет..! Да, — он встрепенулся... — тогда эта легенда об Иегуде Иш-Крайоте — не перевертыш ли, по Фрейдю — моей собственной посмертной тоски и сожаления?.. Воистину говорю вам: отношения со своим возлюбленным народом выясняйте при жизни. А не сможете — повесьтесь. Только вслух об этом — нельзя.

— А... как же?

— А молча, — сказал он. — Если совсем приперло. Но: вслух — ни слова!

— Благодарю вас, — растроганно сказала я и двинулась дальше, но, пройдя шагов десять, вернулась. Он сидел, все так же понуро уставясь в землю, на грязные босые ноги, и когда я вновь заговорила, с такой же смиренной готовностью поднял голову.

— Знаете, я тут немного пишу... — бормотала я в сильном возбуждении, проводя наждачным языком по нёбу пересохшего рта, — и хотела бы кое-какие ваши высказывания взять в качестве эпиграфа, если вы не возражаете.

— Берите, — разрешил он вяло.

— Но... можно на вас сослаться?

— Да ради Бога! — отмахнулся он.

— А... как же... как писать?

— А так и пишите, — сказал он, — «Иисус Христос. В личной беседе».

Я молча кивнула, попятилась, и пошла, и пошла, и была разбужена ласковым и страшным окликом Альфонсо.

Рыцарь Альфонсо Человечный, ослабившись, хищно выглядывал своего провинившегося холопа. Впрочем, меня трудно взять голыми руками. Я уже знала его слабое место — нежно пульсирующую глупость самовлюбленного моллюска в красивой твердой оболочке раковины.

— Ты хотела предложить что-то по этому вопросу?

— Да! — сказала я, не представляя ни в малейшей степени — о чем у них тут шла речь. — Я давно уже предлагаю открыть при Матнасе пункт психологической помощи потенциальным самоубийцам.

— Помощи в осуществлении? — спросил Люсио, подмигивая.

— В предотвращении. — сухо ответила я. И проснулась окончательно.

Часть 2

Актерам и всем тем, кто отдает себя в собственность толпы, не к кому взывать, как только к тени обидчика.

«Саксонское зеркало», 13 в., кн. 3

Глава 10

В джостре... задача состоит в том, чтобы выбить противника из седла.

«Рыцарская энциклопедия»

Время от времени, как истинный рыцарь, Альфонсо предпринимал крестовый поход против кого-то из членов муниципалитета. Ко времени моего появления в замке была уже закончена главная война Алой и Белой розы — двухлетняя тяжба Альфонсо с отделом городского просвещения за обладание бассейном и двумя спортивными залами. Война закончилась полной победой рыцаря Альфонсо: бассейн и спортивные залы перешли в ведение Матнаса. Очевидно, в верхах, в Управлении Матнасами, у Альфонсо и правда была, как говорит Таисья, «спина».

Как истинный рыцарь, Альфонсо рвался к расширению своих владений. Так, на период моего гостевания в замке он явно готовился к двум

крупным походам — завоеванию ущелья с живым уголком и захвату территории монастыря Мартириус.

Кроме того, подозрительно часто заговаривал о красоте и заманчивости для туристов бедуинского становища.

В ущелье, по другую сторону от живого уголка, жил своей размеренной жизнью большой клан «хозяев пустыни» — несколько старых брезентовых палаток, списанных за ненадобностью из армии, и две-три жестяные кибитки рядом с загонем для коз и овец. Соседство было мирным и в общем-то полезным: город обеспечивал многих отцов семейств куском хлеба, получая взамен дешевую рабочую силу.

— Давайте помечтаем! — раскачиваясь на стуле и упокоив затылок на сцепленных ладонях, начинал Альфонсо. — Представьте себе туристов, которые по дороге к Мертвому морю на часок заворачивают к нам — отведают настоящего бедуинского завтрака. Брурия может разучить несколько бедуинских танцев, установим дежурство по варке настоящего бедуинского кофе на огне... Можно совместить это с семинаром по правильному использованию богатств пустыни. К нам поплывут мешки денег!

— А бедуинов куда денем? — насмешливо интересовалась Таисья.

Альфонсо раздраженно отмахивался, он не любил мелочного уточнения деталей. Его манили планы грандиозных завоеваний.

Но попутно он развлекался охотой на кабанов в собственных угодьях.

Я уже рассказывала, как пал жертвой незнакомый мне Дроп, координатор спортивных программ.

С некоторых пор стало очевидным, что рыцарь Альфонсо строит козни против Таисьи. И это было его роковой ошибкой. Ибо Таисья не только не боялась директора, не только презирала его, но и сама не прочь была размять косточки в настоящем рыцарском поединке — кажется, он называется «джостра»? Таисья и сама любила помечтать, только, в отличие от Альфонсо, тщательно анализировала все детали и учитывала варианты развития событий.

Она давненько подумывала — как славно выглядела бы ее платежная ведомость, если б она получала зарплату директора Матнаса.

— А Альфонсо? — встревала я в самый разгар ее мечтаний.

— Отдохнет, — хладнокровно отвечала она.

Началось с того, что, подготавливая рекламу работы всех кружков на будущий год, Альфонсо умолчал музыкальную школу, а ведь нашей музыкальной школой — выпестованным Таисьей коллективом — мог бы гордиться даже и не такой городок.

Кроме того, директор систематически отказывал Таисье в закупке двух флейт, трех мандолин и одной органолы.

Дети не могут полноценно заниматься, объясняла мне Таисья, задерживается их духовный рост, и чувство прекрасного во всей полноте неподвластно их воображению.

— Ла-адно.! — бормотала она, сладко и могуче потягиваясь в кресле, а в это время под столом каблучки ее туфель отчебучивали жигу. — Вот увидишь, он отсосет! Отсосет у дохлого бедуина! Он приползет ко мне просить место уборщика в Матнасе. Все, конец пришел моему ангельскому терпению.

К этому времени они с Альфонсо уже не разговаривали, и даже не здоровались, предпочитая обращаться друг к другу через третьих лиц. Случилось это после грандиозного скандала на одном из четверговых заседаний, когда Таисья публично обвинила Альфонсо в бесчестном поведении и намеренно затирании консерватории.

Альфонсо возопил — ты лжешь, бесстыдная! Она в ответ взвилась таким фейерверком, что весь цвет зажмурился.

В самый взрывоопасный момент я взглянула на Люсио, сидящего рядом с Альфонсо, и чуть не подавилась: положив руки на стол, он невозмутимо

поигрывал кончиком ослиного хвоста, который тянул из-под скатерти якобы со стороны нашего директора, — вся мизансцена не оставляла места для иного толкования. Обнаружив рядом со своей тарелкой кончик ослиного хвоста, Альфонсо в припадке ярости разбил свою чашку «Трудно быть скромным, когда ты лучше всех».

«Где ты раздобыл ослиный хвост?» — спросила я Люсио после заседания. «Это не ослиный хвост, — сказал он спокойно, — вам, дуракам, со страху почудилось. Это ремень от моего рюкзака, вот». Действительно, это была всего лишь грубо плетенная серая веревка, но к кончику ее он удивительно ловко привязал кусок какого-то пушистого меха.)

Таисья торжествовала. Она написала подробную докладную в Управление Матнаса. Содержание ее сводилось к тому, что она не находит более возможным работать под началом нынешнего директора.

Альфонсо тоже написал яростную докладную в Управление Матнаса. Содержание ее сводилось к тому, что он не находит возможным дальше работать с директором консерваториона.

Обе докладные «ушли наверх» — как уходят в небо ядра, пущенные из литых железных пушек. Оставалось только ждать, чье ядро попадет в цель?

Целыми днями Таисья сидела на телефонах: звонила мэру города, с которым лично была знакома, обсуждала кое с кем будущие действия.

— Эли, дорогой мой, — глубоко и звучно начинала она после обычного ритуала долгих и сердечных забот о здоровье самого мэра, его очаровательной жены (мне, прикрыв ладонью трубку: «редкостная мерзавка!») и пятерых его детей (следовал подробный перечень имен: а как там мой любимец Рами — он еще рисует? Нет? Перешел на шахматы? А Тали — она стала настоящей красавицей, слушай, давай познакомим ее с моим старшим, а? Не боишься породниться со мною, Эли, а? Ну, так давайте встретимся семьями, давно не виделись...), — после долгой кадрили, на мой неопытный слух — бесполезной и утомительной, следовали две-три невинные фразы вроде:

— Ай, не спрашивай. Душа кровью обливается, говорю тебе откровенно: один из крупнейших Матнасов в стране отдан в руки манекенщику. Какой авторитет может быть у директора, который на всю страну рекламирует собственные яйца?

... Все зависит от радиуса подготовки боя, объясняла она терпеливо. Бой выигрывается только при тщательной подготовке. Во-первых, точный план сражения и — не торопиться. Поверь мне — сначала авиация. Потом артиллерия. И только потом — рукопашный и — штык в живот!

А мои концерты легкой классической музыки привлекали все большее число благодарных слушателей. Музыкальные коллективы — дуэты, трио, квартеты уже сами находили меня — оказывается, среди музыкантов прошел слух, что у нас п л а т я т! Я и в самом деле платила приличные деньги: за неделю до концертов раздавала, по совету Таисьи, билетные книжечки двум летучим старушкам, и они распространяли их среди публики со скоростью света. С каждого проданного билета старушка имела шекель.

Как известно, много прекрасных музыкантов прибило к нашему берегу последним прибоем эмиграции. Я рада была, что могу подкормить хоть немногих.

После нескольких особо удачных концертов беспокоить меня стало только одно обстоятельство, свойства скорее мистического, чем анекдотичного: в программе каждого концерта так или иначе присутствовала «Хабанера» из оперы «Кармен». Как правило, подавался этот номер в заключение, на «бис».

То пожилой кларнетист, отыграв сложнейшую сонату Брамса, выдавал «Хабанеру» в переложении для кларнета, о котором я прежде и не слыхивала.

То молодой виолончелист — гордость ансамбля «Струны Средиземноморья», уже откланявшись, вдруг — счастливый вниманием не отпускающей его публики и вроде бы неожиданно для себя самого — усаживался вновь и густая страсть «Хабанеры» волнующими хриплыми стонами виолончели

заполняла зал. У любви, как у пташки, крылья, законов всех она сильней. Меня не любишь, но люблю я — так берегись любви моей!

Словом, это было наваждение, как будто в стенах Матнаса обитал беспокойный призрак, непременный жилец всех рыцарских замков, бесплотный меломан, питающий слабость именно к этой арии из оперы Бизе, неведомым мне образом заставляющий каждого выступающего исполнять на бис полюбившиеся ему рулады.

Во всяком случае, призраки по Матнасу ошивались. И дело тут было не только в «Кармен».

Ящички...

В секретариате, у одной из стен был установлен стеллаж с множеством закрытых маленьких ящичков, похожих на ниши в крематории. На каждом написано имя работника Матнаса. Именные ящички служили главным коммуникативным путем между обитателями замка.

Представьте, что к четвергу вам необходимо установить для концерта микрофон в зале. Вы встречаете в лобби завхоза Давида — славного малого в круглых очках, с жидким седоватым хвостиком на голове, — и говорите: «Дуду, не забудь, милый, подключить в четверг эту хреновину для музыкантов».

Он вам отвечает: «Положи письменный запрос в мой ящик».

Существовала и некая негласная форма самого обращения. «Приветствую Давида!» — писала я. Затем отступала строчкой ниже, чтобы интонационно отбить саму просьбу. «Прошу установить микрофон в зале к приезду артистов (дата, точный час)». Отступаю строчкой ниже: «Заранее благодарю». Еще строчка: «Дина, рокезет». И внизу в специальной графе — моя личная подпись.

Можно вообразить, до какого бешенства доводила меня эта чиновничья куртуазность. Однако вскоре, когда я поняла — кто они все такие, я и с этим ритуалом смирилась, а иногда сама в азарте сочиняла идиотские запросы, на которые было трудно или даже невозможно ответить.

Например, перед тем как везти моих пенсионеров на экскурсию в Эйлат, я написала завхозу следующее послание:

«Приветствую Давида! В связи с выездом на юг группы «Золотой возраст» хорошо бы обеспечить в этом районе легкую облачность без осадков. Заранее благодарю. Дина, рокезет».

Кстати, в ящичках я путалась — маленькие, плоские, плотными рядами они заполняли стеллаж, пестрели в глазах именные наклейки... я частенько влезала по ошибке в чужие владения — как, бывает, толкнешь в длинном, плохо освещенном коридоре гостиницы дверь в свой номер, а там... ах, простите ради Бога!

Мой ящичек был зажат между отделениями Брурии и Люсио.

Как-то я забежала в секретариат — закинуть Давиду очередное послание — с просьбой размножить программку концерта, а заодно посмотреть — не лежит ли в моем ящичке такое же развесистое указание от Альфонсо.

Словом, я открыла свой ящик, достала исписанный бланк и прочла: «Дон Люсио, сладкий! Ночи страсти пролетают так быстро! Не уезжай больше, не оставляй свою женушку одну!»

Несколько мгновений я пыталась понять, как это попало в мой ящик, потом обнаружила, что опять вломилась в чужой гостиничный номер, где занимались любовью, били друг другу физиономии и вскрывали от отчаяния вены...

Меня спросила о чем-то секретарь Отилия, я судорожно сунула лист в карман пиджака, что-то ответила и вышла.

И минут пять болталась по лобби Матнаса в смятении.

В моих руках находилась подлая анонимка, предназначенная карлику, который, не ведая ни о чем, возвращался сегодня из трехдневного похода по Галилее с группой подростков. Что делать? Вернуть ее на место? Порвать? И кто мог написать это подметное письмецо?

Таисья, конечно, ненавидела Альфонсо и с огромным удовольствием — как говорила она — намотала бы его потроха на его собственный... впрочем, это очень грубо даже для моего вполне раскованного повествования. Нет, Таисья не пощадила бы Альфонсо. К тому же она была виртуозом придворных интриг, а когда раскидывала орлиные крылья, ни о каких правилах игры вообще не приходилось вспоминать. Но... Таисья не стала бы убивать неприятеля чужими руками, тем самым лишая себя упоения собственноручной справедливостью. Таисья назначила бы карлику встречу или позвонила бы ему и сказала: Люсио, бедняга, должна тебя огорчить. Пока ты там пендюхаешь по горам Галилеи со своими недоделками, твоя шлюшка напропалую крутит со своим братцем.

Вот что сказала бы Таисья.

Но она ничего не знала об Альфонсо и его сестричке. Хотя, конечно, смешно было предполагать, что, кроме меня, об этих отношениях не знает никто. Городок с ноготок, живем тесно, любим пылко, скандалим громко...

Нет, это почерк Брурии, Брурии, смертельно влюбленной в рыцаря Альфонсо.

Как же она узнала — выследила их? А может, знала давно?

Странно, что я так разволновалась, что мне вообще есть дело до их ничтожных интрижек... Но маленький Люсио стоял перед моими глазами, похожий на карликов Веласкеса, например на дона Себастьяна де Морра. Кабанья голова, привинченная к телу хромого поросенка. Я вспомнила, как нежно он обнимал свою женушку, чувствовала тяжелое дыхание участников загонной охоты, их сдавленные азартом крики, трубящий за деревьями охотничий рог...

Тщательно порвала листок на множество мелких частей и выбросила в урну.

Глава 11

Если под «бездной» мы разумеем великую глубину, то разве же сердце человеческое не есть бездна?

(Августин)

Ветры ревели и плакали, выли, завывали бессильно на балконах, открытых площадках и в патио Матнаса. Иногда мне казалось, что к реву и стону стихии примешивается чей-то тихий всхлип за плечом. Я часто оборачивалась: никого.

Промчались суматошные ханукальные каникулы, десять дней, заполненные индейскими воплями «мотеков», их ошалелой беготней по лестницам, комнатам и подвалам, их дикими забавами. Повсюду можно было наткнуться на довольного балбеса с каким-нибудь приклеенным уродством на роже, с небрежно торчащим из-под брючины копытом, с головой козла или петуха.

Оцепенелый ужас первого мгновения заключался в чертовски мастеровитом исполнении всех этих сволочных накладок, поддевок и надставок. Люсио был гениален в своем искусстве.

— Из чего ты варганишь всю эту мерзость? — полюбопытствовала я как-то.

И он не отшугился, а подробно и увлеченно стал объяснять технологию — если я помню правильно, сначала снимал форму с части тела при помощи порошка для протезирования зубов, потом отливал в полиуретане, затем доводил до нужного впечатления скрупулезным обезображиванием... Главное — выбрать материал, соответствующий образу, «работающий» на него, остальное — дело чистого исполнения.

— О, это проще простого, — повторял он, — сущие пустяки.

После Хануки рыцарь Альфонсо совсем обезумел. Он застоялся, он

рвался в новый поход — но вот куда? Что затевал его алчный ничтожный умишко? Пока зима свистящими ветрами гоняла по холмам Иудейской пустыни комья спутанной сухой травы, Альфонсо менял костюмы и обличья на обложках журнала мод: то представлял беззаботным кибуцником в простом, но не лишенном некоторого изящества джинсовом комбинезоне: стоял на фоне трактора, держа в руках гаечный ключ; то располагался в кресле перед новейшей модели компьютером — в неброском свитерке дорогой фирмы, то, напружинив мускулы, рекламировал мужское белье, и тогда весь коллектив Матнаса вынужден был любоваться кварцевым загаром его втянутого живота и корректным холмиком под кальсонами.

Каждый четверг он обрушивал на свой дремлющий застылый двор новую, безумную идею.

Концерт классической музыки в ущелье, по соседству с живым уголком, сменял музей трех религий в подвале монастыря Мартириус; неожиданно всплывал умозрительный проект обсерватории (обсерваториона!) Иудейской пустыни на крыше Матнаса, где будет действовать кружок юных астрономов. Заповедник бедуинского быта с небольшой и недокучливой отарой овец, которую можно было бы стричь в подвале Матнаса, а из шерсти вязать оригинальные скатерти на субботний стол.

— Чем не заработок? — восклицал он. — Давайте помечтаем!

Мучил его воображение и бесхозный мост на въезде в город. Никак он не мог сообразить: к чему приспособить эту, нужную в хозяйстве, штуку? Наконец придумал развернуть вдоль перил транспарант «Добро пожаловать в наш город — город цветов и солнца!».

(«Незнайка в Солнечном городе», — мрачно откомментировала Таисья.) И мост, вернее, обрубок моста, окрыленный этим дурацким транспарантом, стал похож на корабль, бороздящий каменные просторы Иудейской пустыни.

Еще одна идея обуревала его в течение целых трех недель: публичное живописание огромного панно на городской площади, на фоне которого будет происходить какое-нибудь публичное действо.

— Какое, к примеру? — спросила Брурия.

— Публичное совокупление, — хладнокровно подсказала Таисья.

К слову о городской площади.

Я чувствую настоящую, хоть и несколько запоздалую, необходимость познакомить читателя с топографией нашего маленького, но весьма плотно и разнообразно спроектированного городка.

Как и во всяком уважающем себя городе, у нас есть обширные жилые массивы, небольшой, но очаровательный парк на склоне горы, засаженный кипарисами, пиниями, соснами и невысокими деревцами, цветущими дважды в году пунцовыми цветами, похожими на раструб граммофона. Лужайка, окаймленная дико разросшимися лиловыми кустами бугенвилей, в центре некое сооружение, к которому молодые мамы приходят гулять с детьми.

Это скульптура из меди, выполненная в реалистической и даже скрупулезно натуралистической манере: темно-бронзовый слоненок, лежащий на круглом постаменте. Большие уши, хобот подогнут, глаза полузакрыты. (Мама, он умирает? Нет, радость моя, он лег поспать...)

На отшибе, за парком, стоят асбестовые домики полиции и социальных служб, на въезде в город шикарная бензозаправочная станция с паршивой забегаловкой «Бургерхауз», над которой плакат — «Лучший гамбургер в вашей жизни вы съедите здесь!».

Наконец, есть торговая площадь.

Полукруглыми ярусами она поднимается к площадке с небольшим фонтаном, из каменной спринцовки которого иногда летними вечерами вялым прутиком вихляется вода.

Там же целыми днями, особенно по вечерам, роятся тучи ребятишек, фланирует безалаберная домашняя толпа с младенцами и инвалидами в колясках. На нижнем ярусе этого циркообразного сооружения почта, банк,

несколько продуктовых магазинов, городская библиотека и супермаркет. Если подняться выше, можно посидеть за столиком в пиццерии Нисима или заказать шварму у Коби. Тут же можно на каждом углу выпить чашечку кофе, съесть мороженое, продолжая глазеть на публику, расслабленно снующую по своим надобностям.

На третьем торговом ярусе влачит свой хилый бизнес хозяин цветочного магазина — сумрачный господин с сильным американским акцентом; рядом — крошечный зоомагазин, настолько тесный, что зимой и летом уже пятый год на моей памяти снаружи висит сетка с огромным изможденным попугаем за 14 тыс. шекелей. Зоомагазином владеют два брата, и если проходишь мимо или вдруг забредешь туда — поглазеть на рыбок в аквариумах вдоль стен или купить для своего пса ошейник против блох, — всегда можно услышать, как старший говорит младшему: «Шрага, не долби мне мозги!»

Попугай, с тускло-лиловым оперением и оловянным клювом, большую часть своего свободного времени совершает непристойные челночно-нырятьельные движения. Таисья уверяет, что последние лет тридцать жизни он провел в одном из номеров какого-нибудь недорогого борделя.

— Почему недорогого? — поинтересовалась я.

— Обрати внимание на небогатый ассортимент услуг, — и она кивнула в сторону мерно припадающей к жердочке птицы.

Попугай очень похож — впрочем, это неоригинально — на хозяина магазина. Сходство усугубляется тем, что время от времени он повторяет ту же фразу, тем же усталым безнадежным голосом. «Шрага, не долби мне мозги», — повторяет он, не оставляя своих стараний, и в интерпретации одинокой, все хлопочущей птицы картина мира предстает и вовсе уж безотрадной.

Далее по кругу идут — аптека, лавка сувениров, магазин игрушек и здание муниципалитета.

Здание муниципалитета — это, положим, сильно сказано. Просто в одном из домов на площади несколько квартир на первом этаже отданы под кабинеты чиновникам муниципалитета.

Вот там-то, на маленькой площади с круглым усопшим фонтаном, и решил устраивать представления наш сиятельный сеньор.

— Мы просто обязаны использовать пространство города! — кричал Альфонсо. — А иначе — что мы здесь делаем? Если у вас не варят котелки, скажите мне, и я уволю вас к чертовой матери!

Я спала. Я засыпала почти сразу после появления-вскакивания Альфонсо в дверях зала, отключала сознание.

На очередном обсуждении монастырской темы мне приснились три монаха.

Георгиос, Иоханнес и Элпидиус приснились мне живые и полные сил. Они работали на маслодавильне — дружные, потные, в соломенных шляпах, коричневых подоткнутых сутанах, в плетеных сандалиях на босых ногах. Я даже во сне слышала этот запах рабочего мужского пота.

Небольшой ослик мерно ходил по кругу, вращая ворот. Тяжелое каменное колесо медленно катилось, давая масла.

Мутное оливковое масло скудным ручейком струилось по шершавому каменному желобу археологических развалин, сквозь трещину стекало на землю, не впитываясь в каменистую почву. Георгиос, Иоханнес и Элпидиус не замечали бесполезности своих усилий.

Георгиос, худой и жилистый грек с глубокими носогубными складками, расходящимися от крыльев носа к бритому, блестящему от пота подбородку, работал как осел — не останавливаясь, не поднимая головы. Он раскладывал давленные масла по плоским корзинкам, плетеным из пальмовых ветвей, и ставил одну на другую под пресс.

Невысокий и полный Иоханнес налегал на деревянный рычаг, раздавался долгий натужный звук — то ли его тяжелое дыхание, то ли скрип ворота.

Время от времени Иоханнес разгибался, снимал свою соломенную

шляпу и машинально обмахивался ею, обнажая красную апоплексическую лысину.

Элпидиус был совсем мальчик — рыжеватые усики, большие карие глаза, несколько рыжих, блестящих от пота волосков на подбородке так не ладилась с аккуратно и, должно быть, совсем недавно выбритой тонзурой на макушке, — когда он наклонился, чтобы подтащить к Иоханнесу полную корзину маслин, шляпа упала и откатилась, он побежал за ней...

Волны света прокатывались над серебристыми кронами олив, в женственных изгибах их стволов чернели пухлые влагалища дупел. Три монаха — Георгиос, Иоханнес и Элпидиус — работали на монастырской маслодавилне.

И первое золотистое масло медленно просачивалось сквозь тесную вязку корзин еще до того, как опускался пресс.

Стойте, хотелось крикнуть мне им, это же — «шемен катит»! — но и во сне я спохватывалась, что оно им без надобности — первое золотистое масло, «шемен катит» — лишь оно считалось пригодным для возжигания Храмового Семисвечника...

Месяца два меня донимал по телефону художественный руководитель города Ехуда.

— Здравствуйте, вас беспокоит Бенедикт Белоконь из Ехуда (Дина из Матнаса, Саша с Уралмаша, Вениамин из Туделы). Мы имеем огромную программу на все вкусы. Мы выступаем по всему миру.

— Где, например? — спросила я

— Ну, в Ашдоде, в Ашкелоне...

Я отвечала — оставьте телефон, я вам позвоню. Меня одолевали жуткие подозрения.

— Что такое Ехуд? — спросила я как-то у Таисьи. Она ответила мрачно:

— Ехуд — это Егупец.

Как это ни смешно и ни стыдно, но чуть ли не каждый день я стала заглядывать в ящичек карлика — воровато оглядываясь. Вдруг обнаружила, что втянута в интригу на роль ангела-хранителя, хотя по роду занятий мне следовало бы удовлетворяться ролью греческого хора...

На исходе отпущенных мне трех месяцев работы в Матнасе как-то утром позвонила Милочка. Я поздравила ее с сыном, и минуты три мы обсуждали преимущества местных родильных палат перед советскими. Я, с Божьей помощью, на родине дважды рожала, удовольствие это помню отчетливо, есть что порассказать слушателям неробкого десятка. Милочка поахала, повздыхала... потом проговорила как-то ненавязчиво:

— А я вот, звоню: не хотели бы вы остаться в Матнасе навсегда?

Я ответила ей, что слово «навсегда», вне зависимости от контекста, обычно повергает меня в ужас.

— И потом, мне неудобно... а как же вы?

Милочка опять вздохнула и сказала:

— А я, знаете ли, как подумаю, что опять надо каждый день всех их видеть... у меня молоко пропадает!

Довольно часто я оставалась в Матнасе допоздна — перед концертами или экскурсиями приходилось обзванивать местных жителей.

В пустом Матнасе бродил только сторож Иона — старый курдский еврей. Часам к десяти он включал телевизор в лобби, садился в одно из кожаных кресел и засыпал. В сущности, забраться в здание и пройти мимо Ионы в любое крыло замка с любой целью было плевым делом.

Закончив работу часам к десяти, я запирала дверь своего кабинета, затем дверь консерваториона, а там уже Иона выпускал меня на улицу, позвякивая за моей спиной связкой ключей.

Мы желали друг другу доброй ночи, и в сухой томительной тьме я медленно брела до дома, всегда останавливаясь на гребне горы, там, где она изгибается холмой жеребенка, и подолгу глядя сверху на гроздя золотых и голубых огней Иерусалима.

Так, однажды я поздно ушла из Матнаса, но, уже дойдя до дома, поняла

вдруг, что забыла ежедневник с важными телефонами. Утром мне предстояли две встречи в Иерусалиме, а продиктованные в телефонной беседе адреса остались в ежедневнике. Делать было нечего — я вернулась. Иона впустил меня не сразу, он уже спал под завывание полицейских сирен и хлопанье выстрелов в телевизоре. Поднявшись наверх, с удивлением обнаружила, что дверь на второй этаж отперта (я точно помнила, что запирала ее минут двадцать назад).

Войдя в кабинет, я даже свет не стала зажигать — фонарь за окном освещал стол и лежащий на нем прямоугольник забытого ежедневника.

Еще минута, и мне осталось бы запереть дверь кабинета и затем — дверь второго этажа... но за стеной в соседнем классе я услышала музыку настолько недвусмысленную, настолько знакомую сегодня всем подросткам, в отсутствие родителей гоняющим по виду порнофильмы, что мне сначала показалось — это Иона на первом этаже просто переключил каналы...

Нет: страстно озвученная любовная агония, восходящая все круче, все стремительней к пику смертельного блаженства, хлопотала за стеной, в двух шагах от меня.

Я замерла... Тут, под эту какофонию любви самое бы время было улизнуть, не дознаваясь — кто там настолько несчастен, что, кроме узкого стола в тесном классе музыкальной школы, любить друг друга им негде. Но через мгновение наступила провальная тишина, так что звуки моих шагов разлетелись бы по всему замку. Я не в состоянии даже была притворить дверь — она скрипела. Так и стояла, не двигаясь, за дверью, откуда просматривался отрезок длинного коридора...

Потом за стеной отрывисто и грубо заговорила женщина, не на иврите — на испанском. Это был низкий голос Брурии, ее взрывные интонации. Она и на иврите-то говорила протяжно, словно проговаривала речитативом текст поминальной молитвы, а на испанском ее голос звучал сдержанным рыданием. Несколько раз повторила одну и ту же фразу, так, что я поневоле запомнила: «си Диос кьере!»... И каждый раз ответом на это была тишина. Немного спустя прозвучал голос Альфонсо — судя по тону, он вяло огрызался. Минут пять она настойчиво и страстно что-то втолковывала ему, он бормотал, бормотал... вдруг выкрикнул остервенело длинную фразу на испанском, и тогда она засмеялась издевательски и вдруг проговорила тягуче, на иврите:

— Не лю-у-би-ишь, Альфонсито? Зато твой проказник, твой маленький сморщенный проказник так любит, так любит меня.! Смотри, как он смеется, как расправляется навстречу, стоит мне протянуть к нему...

Раздался звук шлепка — то ли пощечина, то ли ударили кого-то по протянутой руке. Голос Альфонсо:

— Оставь меня! Убирайся! Шантажистка!!!

Она засмеялась — страшно, холодно...

— Да, я шантажистка! И знай, что, если ты бросишь меня, я убью и тебя, и твою ведьму! И не своими руками, не своими руками: ты знаешь — на что из-за нее способен нано!

— Мерзавка, шлюха!! — крикнул он иступленно.

Хлопнула соседняя дверь, Альфонсо пробежал по коридору, Брурия выскочила следом.

— Шлюха не я, не я, а та, кто держится сразу за два... — она выругалась, привалилась к стене и заплакала, сотрясаясь всем телом и обнимая ладонями голые плечи. До меня доносился еще не просохший сладковато-водорослевый запах любовного пота, я видела маленькую левую грудь с лунным бликом на голубоватой коже. Несколько секунд Брурия стояла так, монотонно приговаривая, приборматывая что-то по-испански... Вдруг ее передернуло от холода; она вернулась в класс и минут через пять, уже одетая, легкими шажками пронеслась по коридору.

Я села в кресло и зачем-то сидела в темноте еще минут десять...

По колеблющейся шторе пробежали пугливые волны, словно за занавеской прятался призрак. Длинным павлиньим хвостом на потолке распласталась тень от ближайшего дерева. Мягко перебежали по темным углам привидения, горестный ветер без конца начинал и бросал начальную фразу

старой испанской песни, которую напевал Люсио, — песни про охоту на последнего кабана в далеких лесах Понтеведра.

Я спустилась в секретариат и повесила на гвоздик ключ от консерватории. В цепеняще ярком свете полной луны именные ящички показались мне оссуариями, хранящими пепел чужих страстей...

Долго в тот вечер я стояла на гребне горы, всматриваясь в трепетание звезд и в дрожащие струи огня на шоссе. Мир содрогался в вечных родовых муках ежесекундного проталкивания бытия сквозь родовые ходы Вселенной.

— Гомада... — произнес кто-то за моей спиной. Я обернулась. Это был один из «моих» пенсионеров, Владимир Петрович, старый геолог, профессор, задумчивый и тихий человек.

— Любуетесь Иерусалимом, — сказал он. — Знаете, ведь здесь стоял когда-то Бунин, Иван Алексеевич... Да-да, перечитайте его записки паломника. Стоял здесь, на одиноком пустынном холме... очень у него здорово про это написано. Про тоску, которая охватывает сердце на этом месте... Вообразите себе эту местность столетие назад — мрак, запустение, одни только козы да бедуины... А сейчас, вон, сколько огней!

Миндалевидные лампы фонарей, загорающихся в сумерках, похожи — давно я заметила — на мандаринные дольки, которые в детстве, на елке во Дворце железнодорожника, я выживала из бумажного пакета с намалеванным на нем синим дедом-морозом и такими же разлапистыми ветвями елей и бережно клала на язык, высасывая кисловатый божественный нектар.

— Владимир Петрович, что за слово вы до этого произнесли?

— Гомада? Есть такое геологическое понятие, горячие камни, — пояснил он. — Все великие цивилизации возникли на горячих камнях. Греция, Рим, Вавилон, Иудея. А уж три великие религии прожарены на сковородке Иудейской пустыни до запекшейся взаимной ненависти...

И он кивнул туда, где огненные соты Иерусалима истекали янтарным медом огней.

Глава 12

Что означает, Иеронимус Босх, этот твой вид, выражающий ужас, и эта бледность уст? Уж не видишь ли ты летающих призраков подземного царства? Я думаю, тебе открыты и бездны алчного Плутона, и жилища а д а, если ты мог так хорошо написать твоей рукою то, что сокрыто в самых недрах преисподней.

Доменик Лампзониус. Стихи «Портретам нескольких знаменитых живописцев Нижней Германии», гравированным Иеронимусом Коком (197 г.)

Воевать Таисья умела и любила. Будучи уверена в победе, готовила тылы на случай отступления. Так, предваряя все боевые действия, в первую очередь она договорилась с главой муниципалитета о выплате ей двойного выходного пособия, если все-таки с Альфонсо расправиться не удастся.

Теперь, придя на работу, я заставала Таисью над планом сражения. Буквально: это был лист бумаги с переплетающимися разноцветными линиями, петляющими между цветными кружками.

— Если пидор идет к Арье и требует меня убрать, — бормотала она задумчиво, ведя черную линию «пидора» — Альфонсо — из кружка под названием «Матнас» к кружку под названием «Министерство абсорбции», — тогда я звоню Давиду Толедано и прошу принять меня немедленно. — Ее рука с карандашом вела красную нить из кружка «Таисья» в синий кружок «Министерство просвещения».

— Тогда Давид звонит Арье — они в Ливанскую войну корешевали в одной палатке, — и тот вставляет пидору клизму. (В черный кружок «пидора» вонзался ее красный карандаш.) — «Пидор, — говорит ему Арье, — кто ты вообще такой? Иди рекламируй трусы на своей сухой заднице. Таисья, — говорит Арье, — наша гордость, а созданный ею консерваторион — кузница еврейских талантов. Стада диких хвостатых мотехов заходят в двери консер-

ваториона, а выходят оттуда приличными людьми, знающими, кто такой Моцарт. А ты кто такой? Ты можешь только орать на несчастных подчиненных и разводить демагогию!»

Таисья возбуждалась, вдохновлялась, говорила за Арье, бубнила за Альфонсо, страстно выкрикивала свои предполагаемые реплики. Я, сидящая напротив нее, соответственно превращалась то в Альфонсо, то в саму Таисью, то в Арье — министре и депутата кнессета.

Это был поистине театр сражения.

Вывалив умозрительному «пидору» все, что она о нем думает, Таисья успокаивалась, удовлетворенно вытаскивала зеркальце и восстанавливала прихотливый рисунок своих решительных губ.

— Тогда он уяснит себе — кто здесь грамофон запускает, — говорила она, закрашивая вишневою помадой губы. — Он, понятно, приползет мириться, станет ноги целовать, а я... Слушай, — она поднимала голову от зеркальца, откидывалась к спинке кресла, — если он повинится — добивать его или не стоит?

В такие моменты с нее можно было писать портрет знатной испанской сеньоры, наблюдающей за поединком со своего балкона.

— Не стоит, — малодушно решала я.

— Добью! — со зловещим восторгом решала Таисья.

И январь просвистал сухими хрипящими ветрами. Повсюду летали вздутые полиэтиленовые пакеты из продуктовых лавок, висли на голых кустах, на рогатках деревьев... Проклятье зимней засухи застыло над землей. Серое пустое небо несло над колючими гребнями гор, удерживая должданную влагу. Несколько раз за эти недели принимался капать дождик, но быстро иссякал, как урина изможденного жаждой почечного больного...

Я уже привыкла к обитателям замка, они уже не вызывали во мне ни оторопи, ни злости, ни даже грусти. Я научилась понимать их, да и сама примелькалась со своей чуждостью к любого рода идеологической деятельности.

В этом, как ни странно, я была похожа на братьев Сулеймана и Ибрагима.

В отличие от вечно бегущего куда-то с озабоченным лицом завхоза Давида, его подсобные арабы всегда были погружены в нирвану. Чаще всего их можно было застать в кухонном закутке, они варили кофе и певучегортанно обсуждали свои неспешные дела. Глупо было приставать к ним с просьбой подвинуть в зале инструмент или расставить стулья.

Они отвечали, доброжелательно улыбаясь, — мы с Давидом сейчас в спортзале или: а мы с Давидом в бассейне.

В глубине души я одобряла такую позицию: хорошая собака никогда не пойдет к чужому.

В Матнасе к Сулейману и Ибрагиму относились как к своим, и на праздники — на Новый год и на Пасху — они наравне со всеми получали традиционные подарки: какую-нибудь никому не нужную салатницу или косметический набор фирмы «Ахава».

Однажды я присутствовала на трогательно пылком обсуждении сугубо политического вопроса: «наши арабы» не смогли участвовать в ежегодной ханукальной экскурсии из-за того, что армейские власти не выдали им положенные жителям территорий пропуска для передвижения за «зеленой чертой».

Они, конечно, и ехать не собирались — на что им сдались эти революционные еврейские глупости! И все-таки весь цвет принципиально, как один, отказался от экскурсии в знак солидарности с арабами.

Надо было видеть детски трепетные лица всей этой, как говорила Таисья, «шоблы», надо было видеть эти, блестящие от праведного гнева, глаза, послушать эти благородные речи!

Меня неизменно восхищает вечная неумная страсть моего народа к социальной справедливости. И это — единственная черта, которую я в нем ненавижу. Мне кажется, в этом нет противоречия.

Кстати, меня-то и забыли пригласить на ханукальную экскурсию. Но об

этом никто не вспомнил. И правильно: ведь арабы, при всей вековой вражде, были тут «своими», а я, при полной амниции гражданских и политических прав, была в своей лояльности бесконечно чуждым существом в этом краю овечьих отар и зарослей мирта, среди олив и багровых маков, на «горах бальзамических»...

В один из этих четвергов Люсио явился на заседание коллектива одетый в костюм, при галстукe, сдержанно сияющий. Он поставил на стол большую круглую, перевязанную голубой лентой коробку, при виде которой все даже слегка отодвинулись от стола. В коробке невинного кондитерского вида могло быть все, что угодно: тщательно отделанная голова вампира с оскаленными клыками, да и другие не более аппетитные части тела, могла быть разная омерзительная живность — от змей до скорпионов... словом, зная фантазию и мастерство карлика, все держались от коробки подальше.

Но в ней оказался самый обыкновенный торт. Чтобы рассеять опасения коллег, Люсио тут же собственноручно нарезал его на множество равных кусков.

— Хэвре! — проговорил он, продолжая улыбаться счастливой кривой улыбочкой. — Только что мы были с женой у доктора. Поздравьте: мы ждем ребенка.

Коллектив взвыл, заулюлюкал, захлопал в ладоши. Мы с Таисьей переглянулись.

Зачем ему понадобилось это коллективное празднование едва наметившейся беременности его женушки?

Я перевела взгляд на Альфонсо. Поверх стола они с Брурией напряженно глядели друг другу в глаза. Так в известной игре двое детей держат натянутую веревку, пока третий скачет через нее.

Бледное лицо Альфонсо было распялено в умоляющей улыбке, — так растянуто на пальцах вышиваемое крестиком лицо Мадонны...

Вдруг Брурия резко встала и отошла к окну покурить. Она долго стояла ко всем спиной, и эта тонкая, как лук прогнутая, спина танцовщицы, сигарета в подрагивающих пальцах, копна густых рыжих волос, забранных вверх, олицетворяли неведомую мне, почти книжную испанскую скорбь...

Сейчас не могу ответить себе — почему я не рассказала Таисье о сцене, нечаянным свидетелем которой стала поздним вечером в замке? Почему не поделилась своими соображениями о жене Люсио и рыцаре Альфонсо? Почему вообще я, с моей бесстыдной страстью к сюжетным ходам, подаренным жизнью, не обсуждала с Таисьей историю отношений «наших испанцев»? Возможно, Таисья могла бы кое-что прояснить и даже, с присущим ей аналитическим подходом к любой проблеме, распутать все узлы...

Сейчас я нахожу только один ответ: Таисья вышла воевать против Альфонсо, и кони уже рыли копытами землю, подняты были забрала — еще чуть-чуть, и протрубит герольд, соперники устремятся навстречу друг другу: столкновение треск ломаемых копий...

Противники были равны. Любое тайное знание об Альфонсо усилило бы позиции Таисьи, позволило ей использовать ситуацию, заранее определило бы исход поединка.

Так неужели же я не хотела победы Таисьи? Хотела, конечно. На джостре, как и на любом соревновании, всегда болеешь «за своего». Но не до такой степени, чтобы нарушать правила игры.

Так неужели же я была всего лишь азартным зрителем, всего лишь сторонним наблюдателем, всего лишь бродячим трувером, хугларом, гостившим в замке, — сегодня он здесь, а завтра — ищи-свищи, и он уже в дороге, он по пути к владениям других сеньоров, о которых сложит другие свои баллады..?

Неужели по проклятой сочинительской натуре я могла сочувствовать лишь своему брату — жонглеру, канатоходцу, шуту?

Ведь любой сочинитель до известной степени — канатоходец. Например, в этой моей «испанской сюите», осторожно переступая по сюжету с пятки на носок, балансируя для равновесия с какой-нибудь убедительной

деталью в руках и стараясь не смотреть в бездонную пустоту подо мной, я ежесекундно рисковую разбиться в лепешку — изображая, скажем, Испанию, в которой никогда не была. И эта смертельная опасность — единственная реальность во всей фантазмагории моей бродячей жизни.

Примерно на это же время пришелся городской скандал с обнаружением группы торговцев и курцов марихуаны. Полицией были произведены обыски в нескольких квартирах, выяснилось, что среди подростков давно распространена травка. Многие курили, а были и такие, кто приторговывал.

Нас с Люсио таскали по нескольким совещаниям, пару раз мы являлись с понурыми физиономиями в полицию, где нам показывали новые списки вполне симпатичных ребят, покурывающих травку.

Альфонсо рвал и метал, бился с пеной на губах на четверговых заседаниях, требовал от нас каких-то решений.

— Я требую решений! Требую решительных действий!

(Вот в эти-то дни я и заскучала впервые. Мои беглые записи, завязь повествования, набухали током живой жизни, однажды даже — на занятиях по повышению квалификации, заметив, как вдумчиво жует Альфонсо пирожок с картошкой, — я ощутила в себе первый толчок этого нового моего ребенка, а придя домой, отключила телефон и долго писала, и забыла включить телефон наутро, поэтому пропустила важное совещание. Это значило только одно: пришло время вынашивать и рожать дитя в страшных муках, с перекошенным лицом, то есть весьма скоро Судьба должна была позаботиться о том, чтобы меня выгнали с работы..)

Вся эта история с наркотиками неожиданно не то что сблизила, но как-то объединила меня с карликом. На нас обоих орали, нас обоих куда-то посылали, несколько раз мы с ним сидели вдвоем в кабинете, беседовали с растерянными родителями того или другого юного правонарушителя. Я служила еще и переводчиком: среди курцов марихуаны оказались и «русские» подростки.

Как-то утром мне позвонила секретарь Отилия, сообщила, что соединяет с Альфонсо. Я вздохнула и приготовилась к потоку бурлящей начальственной глупости.

— Итак, — сказал Альфонсо, — я жду от вас проекта.

— Какого проекта? — спросила я и сразу поняла, что оплошала.

Как я могу спрашивать, орал он, о каком проекте идет речь, когда день и ночь должна думать о мерах борьбы. Мы с Люсио просто бездельники, если можем спокойно спать, в то время как имя нашего прекрасного города треплут в средствах массовой информации. Если у нас не варят котелки, он уволит нас обоих немедленно! Или в течение двух дней мы представим проект по борьбе с подростками, курящими марихуану, или мы свободны от занимаемых должностей. Или-или! Я молча слушала, стараясь запомнить интонацию.

— Ты поняла? — спросил он спокойнее.

— Но Люсио болен уже два дня.

— Так иди к нему домой! — сказал он нетерпеливо. — Заодно проведешь. Совсем не участвуешь в дружбе коллектива.

И я поплелась к Люсио. Разумеется, предварительно позвонив.

Неожиданно для меня карлик моему звонку обрадовался.

— Ну, приходи, приходи, — сказал он, — травки покурим, у меня свежая припасена. Он хочет проект? Он его получит.

Квартира, в которой Люсио жил со своей женушкой, оказалась вполне уютной, хорошо и со вкусом обставленной и выглядела бы, пожалуй, слишком респектабельной, если б не развешанные по стенам, разбросанные по тумбочкам и столам всевозможные уродства. С люстры свисали человеческие внутренности, выполненные, как и все, что он делал, с фантастическим мастерством и жизнеподобием.

— Так как насчет травки? — Он подмигнул, выдвинул ящик стола и протянул мне бумажную коробку с явно самодельными сигаретами.

— Это марихуана? — уточнила я.

Он кивнул, закуривая:

— Отличная вещь. Гораздо здоровее для организма, чем алкоголь. Угощайся.

— Нет, спасибо.

Он сделал вид, что удивился. Вытаращил свои кабаньи глазки.

— Не употребляешь наркотики?

— Употребляю, — сказала я, — но более тяжелые: я пишу книги.

— Ладно! — воскликнул он, потирая руки. — К делу! Если не хочешь курева, так, по крайней мере, сварю тебе кофе. — И добавил невинно: — Иди мой руки. Ванная по коридору направо.

И я, дура, пошла зачем-то мыть руки в ванную, хотя с таким же успехом могла сполоснуть их под кухонным краном.

Зайдя в ванную, я не вскрикнула — просто обмякла и шатнулась к стене, продолжая смотреть на повесившегося Люсио. Черт возьми, ведь поняла все в следующую секунду, да и знала давно — на что он способен, но ноги отказывались слушаться, и я тихо опустилась на пластиковый табурет.

Он повесил самого себя, он смастерил свое удушье с такой доподлинной силой, что сердце замирало: свернутая шея, закатившиеся глаза, посиневшее лицо качались в полуметре от меня. И только слишком легкие, слишком маленькие ступни безвольно висящих ног намекали на подделку.

Минуты через две я поднялась, обошла висящую куклу и долго тщательно мыла руки, медленно приходя в себя, не желая видеть мерзавца. Он развесил и разбросал по квартире свои экспонаты, готовясь к моему приходу. Не живет же он так, в самом деле, — со своим повесившимся двойником. Да и его беременная жена — ведь она нормальный человек? Или все-таки ненормальный?

— Ну, что ты там возишься? — крикнул он весело из кухни. Я мстительно молчала, продолжая в пятый раз мылить ладони. Через мгновение по коридору протопали его шажки и в зеркале рядом с синюшной физиономией удавленника я увидела встревоженное лицо карлика.

Наши глаза в зеркале встретились.

— Извини, — проговорил он, смутившись, — извини, пожалуйста...

— Ты — большой мастер! — сказала я искренне. — С твоими руками да с твоим воображением — гнить в этом Матнасе, с этими мотеками...

Я знала, что он будет тронут моими словами, но не предполагала, насколько: он чуть не прослезился. Прости, прости еще раз, он знает, что я испугалась, но он не со зла, просто в этом вонючем городке нет, на самом деле, никого, кто мог бы оценить уровень того, что он делает. Только «русские», понимающие — что такое истинное творчество...

— Ну так как насчет кофе? — перебила я.

Едва он разлил кофе по чашечкам, зазвонил телефон и Люсио жадно схватил трубку. Его заплывшие глазки посветлели, стали вдруг беззащитно-детскими, он залепетал, не стесняясь меня, по-испански, таким явно интимным тоном, что я отвернулась, словно застала его раздетым...

Несколько раз он повторил нежно: «Миамор, миамор...» и дважды: «Рекурита»... Иногда вставлял ивритские слова и даже фразы, как многие, кто давно живет здесь и в быту частенько переходит на иврит. «Так поздно? — жалобно спросил он. — Почему? Нет-нет, я буду ждать тебя с обедом. Возьми такси, миамор, не думай о деньгах...» И опять что-то по-испански, чуть ли не умоляя.

Он положил трубку, несколько секунд смотрел перед собой странным остановившимся взглядом, и в течение этих секунд взгляд его темнел, мрачнел, он усмехнулся каким-то своим мыслям.

— Где Альфонсо? — вдруг спросил он жестко. Мне бы стоило сделать вид, что я не поняла вопроса, например спросить: в каком смысле — где? И почему я должна знать, где в данный момент находится его родственничек, черт бы побрал весь ваш клан..? Но я ответила сразу, легко, без напряжения — как всегда, когда врала:

— В Матнасе. Я только что оттуда. У него встреча с каким-то строительным подрядчиком.

И — сразу спало напряжение, он повеселел, стал угощать меня фруктами и маленькими фигурными вафлями с шоколадной начинкой...

Да, конечно, говорил Люсио, он мечтал бы уехать не только из этого городка, но вообще — в Европу. Может быть, в Америку, не исключено, что и в Голливуд. У него уже есть опыт работы в кино... Но жена... она очень привязана к стране, к этому городу... к брату... (Еще чашечку, с кардамоном? — нет, не отказывайся, ты не представляешь, как я варю кофе с кардамоном)... Ну, ты знаешь, конечно, что Альфонсо — двоюродный брат моей жены, ее единственный родственник? Причем долгие годы они были разлучены и чудом здесь встретились... А она очень дорожит родственными связями... Ее буквально с места не сдвинешь... Ну а Альфонсо, конечно, не мыслит своей жизни без Матнаса. Человек он большого размаха и здорового честолюбия... Ты же знаешь, как он увлечен идеями... — карлик поднял на меня глаза и осекся. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Он желчно усмехнулся.

— Ты же знаешь этого идиота! — сказал он.

— А на родину ты не хотел бы вернуться?

— В Испанию..? — Он довольно долго молчал, засыпая в джезvu какую-то травку, колдуя над крошечной порослью огонька в конфорке... — Я там бываю время от времени. Вот, в прошлом году работал над декорациями к новой постановке «Кармен» в «Лисео» — пригласили по старой памяти... Но и в Испании я не могу оставаться долго — там уже все другое, чужое, особенно в центре, в Мадриде — другая жизнь, за последние годы слишком многое изменилось — люди, нравы, даже одежда...

Во времена моего детства, — сказал он, — женщины почти всюду, не только на юге — носили черное, это было принято. О, я еще помню школьные годы, эти бесконечные шествия со свечами в сумерках к мощам святых... Сейчас Испания — просто западная страна. И это, разумеется, неплохо...

Да, неплохо! — повторил он. — Хотя мы, гальегос, не любим перемен. Мы неторопливы, хитры, подозрительны, не жалуем чужих...

Да-да, я знаю, как ты представляешь себе Испанию: кастаньеты, веера, коррида... Я — с севера... Галисия — вот что меня успокаивает: север Испании — холодный, ясный и наши леса — дубовые, буковые, ясеневые леса... Чем севернее, тем мрачнее. Даже серый камень домов как будто темнеет — ближе к Бургосу вообще все вокруг навевает мрак средневековья... Туда хорошо приехать ранней осенью, пожить два-три дня на побережье, в какой-нибудь приморской деревушке — Моанье или Санхенхо, встать пораньше, побродить среди людей на утреннем торге: прилавки ломятся от морской живности, все бледно-серо-розовое, влажное, блестящее, пахнет морем! Можно посидеть в рыбном ресторане — знаешь, как готовят у нас жареных осьминогов!

Если тебе придется бывать когда-нибудь на севере, зарули в «Каса Солья», это в провинции Понтеведра, если взять по шоссе на Ла-Тоха. Там подают божественную камбалу с моллюсками в светлом соусе, а на десерт, если повезет, — фильоас — это блинчики с кремом. А в Виго, в ресторанчике «Эль Москито» готовят жареного козленка... Сейчас не везде можно найти на севере настоящую галисийскую кухню. А что касается, например, аррос де вьейрас (это рис с моллюсками и рачками) — как следует его готовят только в «Пуэсто Пилото Алькабре»... Боже, мой север! как я люблю идти вдоль каменных оград, у нас ими обносят клочки земли, и встречать этих прямых статных старух в черном, с косой в руках, обернуться и долго смотреть — как бредут они за повозкой, груженной сеном.

А утром под солнцем серая песчаная коса на Ла-Тоха переливается, как гигантская створка перламутровой раковины...

Испания — серьезная страна, — сказал он вдруг и улыбнулся... — Просто там у людей совершенно другое чувство юмора. Там нельзя шутить так, как шутят, скажем, в Италии. И это — во всем. Например, в Италии распятый Иисус — это тридцатилетний красавец. В Испании страшные распятия... Мы догадались, что если он дважды падал на крестном пути, то

должен был расшибить себе колени. Поэтому сплошь и рядом на кресте он — с разбитыми коленями, с содранной, свернутой шкуркой кожей, избитый, измученный... Это опасная страна, опасные люди...

Здесь, — продолжал он, — среди местных крикунов, принято орать друг на друга, размахивая руками перед самым носом, но носа так и не коснуться. Там не так... Там каждое движение, каждый жест исполнены сокровенного смысла, истолковываются самым опасным образом. Тебе приходилось видеть фламенко? Нет, не то, что показывает ученикам наша великолепная Брурия, и не туристический вариант для богатых американцев. Настоящее фламенко надо смотреть в Андалусии. Вот тогда бы ты поняла — что великие традиции этого искусства научили испанцев внимательно относиться к движениям человеческого тела... А плечи! Ты знаешь, как умеет говорить плечами настоящая испанка?

(Тут я вспомнила, как он показывал ребятам бой быков.)

Я смотрела, как его небольшие красивые руки сноровисто приготавливают кофе, как ловко и даже любовно он берет предметы, как точно ставит на плоскость стола и как все вокруг послушно этим рукам; по тому, как он брал предметы, казалось, что и кофейник, и изящные чашечки, и конфетницу с выгнутыми, как лепестки цветка, краями сделал именно он. Вдруг увидела, какой это уютный домашний человек; он был хозяином пространства, неуловимо и ненавязчиво его создавал, вдруг обнаружила, что мне хорошо, славно тут сидеть и слушать его, с удивлением ощутила в себе необыкновенное расположение к этому маленькому, некрасивому, но чем-то притягательному человеку.

— Вот Лорка писал: «В Испании мертвый человек гораздо мертвее, чем в любой другой стране мира...»

А у нас, в Галисии, вообще к смерти относятся... как бы это тебе объяснить... по-дружески, что ли, на равных.

— Умер-шмумер, лишь бы был здоров? — спросила я.

— Приблизительно. Но с гораздо большим уважением. Смерть, понимаешь ли, это настоящее торжество духа, это... К сожалению, — Люсио досадливо пощелкал пальцами, — у меня не хватает иврита объяснить тебе более... вдохновенно, красочней, страшнее!.. Недалеко от Сантьяго, в округе Ньевес, каждый год 9 июля все те, кто спасся от смерти, надевают саваны, ложатся в гробы, а их родственники обносят их вокруг церкви Рибартеме.

— Зачем? — недоуменно спросила я.

Он задумался... Положил на стол ножик, которым разрезал фрукты, нервно потер ладонями колени.

— Может быть, подразнить старуху? Хотя вообще-то считается, что они возносят святой Марте благодарность за спасение... Ты знаешь, я с детства над этим думал. Вернее, когда стал подрастать — всегда думал о смерти. Мне кажется, настоящие мужчины должны жить так, словно каждую минуту они готовы принять ее в объятия, как подружку. И еще... еще мне кажется, что художник... ну, я имею в виду человека, что видит толпу не изнутри, понимаешь..?

— Понимаю, — торопливо сказала я, — дальше..!

Он испытующе взглянул на меня, помолчал.

— Так вот, мне кажется, — медленно проговорил он, — что художник сам должен сочинить сюжет своей жизни, любви, смерти... точно так же, как сочиняет он его для своих персонажей. Великий художник ведет на ниточках, как послушных марионеток, не только своих героев, но и... свою смерть. Ах, черт возьми, послушай, как жалко, что ты не понимаешь испанский! — воскликнул он в отчаянии.

— Как жалко, что ты не понимаешь русский, — тихо возразила я.

И еще раз за эти два часа зазвонил телефон, опять Люсио нежно и потерянно бормотал что-то в трубку, перемежая иврит с испанским. Когда спрашивал он умоляюще, скоро? Через полчаса? А когда же — через час? Ну приходи же скорей, мучача...

Я спохватилась и поднялась со стула. Он положил трубку и посмотрел на меня растерянно, сиюсья вернуться к разговору.

— Посиди еще! — попросил он. — Час, полчаса... Я еще тебе расскажу что-нибудь...

Не хочет оставаться один, бедняга, поняла я.

— Погоди! — воскликнул он, метнулся куда-то в глубину квартиры и через минуту вернулся с двумя перчаточными куклами. Обе они были надеты на его руки. Одна: рыжая кудлатая башка, кривая физиономия, отдаленно напоминающая самого Люсио, другая — прелестная головка, в которой нетрудно было узнать резные черты его жены.

— Ты надоел мне, надоел! — вдруг сказал женский голос откуда-то из-под его локтя. Я вздрогнула от неожиданности, потому что Люсио почти не раскрывал рта.

— Любовь моя, я же не прошу ничего особенного! — умоляюще прохрипела рыжая башка. — Только видеть тебя, только видеть.

— Господи, как же ты мне надоел! — взвизгнула куколка. Длинные ее ресницы хлопали, рот растягивался в жалкой улыбке. — Видеть тебя не могу! Я, застыв, смотрела на это представление.

Он разыгрывал настоящую драму-объяснение, кажется, он так погрузился в выяснение своих, глубоко личных, отношений, что и не замечал меня...

Как же ему плохо, думала я, если он решился на этот спектакль передо мной, посторонним, в сущности, ему человеком.

Прелестная резная куколка становилась все невыносимей, говорила все визгливей, стонала от ненависти, принималась плакать... Кукла-мужчина торопился выговориться, мучительная горечь звучала в его голосе...

— А помнишь, а помнишь, миамор, в Тюильри, нашей первой весной в Париже, мы увидели ничего калеку с баночкой, в которую он собирал милостыню... Он обходил разморенных весенним солнышком людей, которые сидели на стульях вокруг фонтана. И кое-кто бросал ему несколько сантимов. Так он доковылял до пары влюбленных, они сидели друг напротив друга... Она поставила стройную загорелую ногу на его стул, и он гладил, гладил, гладил ее голень, самозабвенно массировал икру нежными круговыми движениями... Нищий остановился рядом с ними, тряхнул баночкой и смотрел, смотрел — как тот, другой, гладит эту нежную гладкую ногу, а тот все гладил ее и прижимался щекой к ее колену, ни на кого не глядя...

— Ну и что?! — крикнула истерично куколка. — Что ты хочешь сказать этой дурацкой сценой?

— То, что я — нищий, который годами смотрит на ваши ласки, нищий, которому не полагается ничего, кроме жестяной баночки с несколькими жалкими грошами... Любовь моя, когда человеку ничего не остается — ему остается только смерть...

— Я... пожалуй, пойду, Люсио, — пробормотала я... — Извини, у меня, правда, в Иерусалиме на пять назначена встреча.

Он стянул кукол с рук, вздохнул.

— Конечно, — сказал он легко, — конечно, иди!

Уже стоя на остановке автобуса, я вспомнила, что мы с Люсио так и не написали проект по борьбе с марихуаной в нашем прекрасном городе.

Когда автобус объезжал пестрящую цветами, огромную клумбу на выезде из города, я вдруг увидела красную «Субару» Альфонсо. Она притормозила на секунду, из дверцы бочком выскочила легкая, почти девичья, фигурка жены Люсио; оправив плащ, она неторопливо пошла по тротуару. А красная «Субару» поехала дальше и на развилке свернула к Матнасу.

Только тогда я поняла, что Альфонсо, так ловко блокировавший карлика моим присутствием, никогда не потребует от нас никакого проекта.

Глава 13

Тяжелая непотребная страсть к той, что ребенком он держал на коленях, лишила его разума, осторожности и рыцарской чести.

*Монах Антонио де ла Пенья,
«Хроники замка Коронель» (17 в.)*

В разгар битвы за независимость консерваториона, после особенно удачного свидания с влиятельным лицом из Министерства просвещения, Таисья неожиданно укатила в отпуск.

— На недельку, — сказала она, — перекур в мордобое. Пусть отвиснет на канате.

В то утро она была особенно занята: одного педагога принимала на работу, другого — распекала за результаты экзаменов, за третьего хлопотала по телефону — необходимо было добыть очередь на операцию для его престарелой тетки. Все это перемежалось звонками в разнообразные министерства, компании, сапожные и ювелирные мастерские по самым неожиданным поводам.

В два часа ей позвонили из «Хадассы» с сообщением, что воды отошли, и она умчалась присутствовать при родах своей немолодой педагогини, которую в прошлом году впервые выдала замуж на тридцать пятом году жизни.

Вернулась в Матнас она только к шести часам, взмокнувшая и взерошенная.

— Малец, четыре двести, — сообщила с порога, обмахиваясь папкой, — ну, приехала я вовремя, потому что эти бляди в белых халатах с испугу решили ее кесарить. Так я им объяснила — как лично каждого из них я буду кесарить, если они коснутся скальпелем брюха моей Галки. И что ты думаешь — мы с ней маленько потужились и часа через два родили отличного мальчика.

Все, — сказала она, — сейчас молчи! — хотя я и так не могла вставить ни слова. — Мне нужен час — написать проект по созданию двух камерных оркестров...

Но уже минут через двадцать отложила ручку, сладко потянулась и, достав пудреницу, принялась наводить глянец.

— Угадай, куда едем? — подмигнула она, прорисовывая черной кисточкой красивый изгиб верхнего века. — В Испанию. На север, в Сантьяго-де-Компостела. За медным си... стерцием императора Тита, того, что наш Храм разрушил. Монета 8 года нашей эры, жутко редкая, так как правил этот пидор только три года — Бог его за нас наказал. Во всяком случае, лет десять назад она стоила пять тысяч фунтов стерлингов. Шварц вчера мне втолковывал — что там на аверсе, что на реверсе, — я, конечно, не врубилась.

Не помню, писала ли я, что Шварцушка владел едва ли не самой крупной в стране частной коллекцией древних монет и печатей. Скрупулезный в своей страсти нумизмат, глубочайший знаток истории всех когда-либо существовавших монетных дворов, он срывался с места при первом же известии, что где-то по случаю или на аукционе можно приобрести ту или иную древность со славным горбоносым или бородастым полустершимся профилем. Накануне он получил письмо от испанского нумизмата, с которым переписывался уже пятнадцать лет. Тот сообщал, что случай представился, и профессор Шварцушка решил немедленно ехать.

— Расценивай это как командировку, — сказала Таисья, — еду собирать компромат на пидора.

Я усмехнулась. Таисья иногда поражала меня какой-то наивно-первозданной верой в исполнение всех своих желаний.

Так, она свято верила, что выиграет миллион шекелей, для чего аккуратно раз в неделю покупала один билет лотереи «Лото».

— Таисья, — сказала я, усмехнувшись, — Испания — большая страна, там не все знакомы друг с другом.

... Она позвонила через неделю, ночью, часу во втором — все мое семейство, включая собаку, было погружено в самый целительный сон. Я вскочила на звонок и, как всегда, обмирая от предвкушения страшных известий (война? убийство премьер-министра? землетрясение в Новой Зеландии? инфаркт у папы?) — натыкаясь спросонья на косяки и от испуга теряя на ходу тапочек, схватила трубку.

— Вот ты ухмылялась, да, — раздался у меня в ухе ее неуместно деятельный голос, — не верила в мою настойчивость и последовательность. «Большая страна, большая страна!»

— Где ты, черт возьми? — спросила я в темноте, ставя босую ступню на мохнатую спину подбежавшего пса.

— Только с самолета, в квартиру вошли, я еще в пальто... Шварц! — крикнула она мне в ухо и перешла на иврит: — Стяни с меня сапоги, моя радость! — И вновь перейдя на русский, пыхтя (я физически чувствовала, как Шварц с трудом стягивал с нее тесные сапоги): — Вот принципиально не буду рассказывать по телефону, но предупреждаю: ты слохнешь от восторга.

— Монету, что ли, добыли? — спросила я.

— Да хрен с ней, с монетой, — сказала она и повесила трубку.

Наутро я услышала историю невероятных, неслыханных совпадений, никак и ни при каких условиях не могущую произойти и все-таки произошедшую с Таисьей.

Началось с того, что Шварц потерял шляпу. Да-да, проезжая по знаменитому Римскому мосту через реку Миньо в провинции Оренте, с него слетела шляпа. В Оренте они выехали на денек погулять, уже после совершения удачной сделки. Монета была зашита у профессора в трусах, так что за нее не волновались. Ну а шляпу же не пришьешь к голове. (Я ему говорила: Шварц, придержи шляпу, снесет!) Ее и сдуло резким северным ветром прямо в воду... Безумно жалко: шляпа шикарная, купили весной в Лондоне, очень Шварцушке шла, но не прыгать же за ней в воду... Время холодное, север Испании, у Шварца большие уши...

— Короче, — взмолилась я.

Короче, Таисья немедленно потащила его покупать новую шляпу. Оренте, понятно, не столица, городок небольшой... За углом они увидели подвалчик, над входом в который висела вывеска с забавным быком в цилиндре.

Хозяин магазина, горбоносый медлительный старик, стоял за прилавком и ковырял в зубах зубочисткой. (Таисья, с присущей ей манерой произносить слова в собственной транскрипции, сказала: «зуботычкой».)

Над головой его висела картина-примитив, при виде которой Шварц закачался и стоял минут пять, любясь: в гробу, аккуратненько сложив маленькие ручки на груди и разведя острые носки туфель, лежал тореадор. В головах гроба, закинув руки в истоме медленного танца, стояла с веером Кармен. Над гробом страшной клыкастой головой завис... кабан. Хотя бык по сюжету уместней. Картина была нелепа и прелестна в своей надрывной сентиментальности.

Словом, Таисья стала примерять Шварцу шляпу за шляпой и все браковала — они сидели на его голове, как тот цилиндр на бычьей башке, на вывеске. Хозяин молча следил за сметающей все шляпы с прилавка сеньорой и продолжал сонно ковырять в зубах.

Наконец полюбопытствовал сухо:

— Сеньор из Лондона?

Дело в том, что по синему свитеру Шварца вышито на груди черной ниткой: «Лондон».

— Нет, сеньор не из Лондона.

— А откуда сеньор?

— Из Иерусалима.

Старик выпрямился, воссиял, развел руками: проснулся.

— Сеньор! — воскликнул он торжественно. — На свете есть три великих города: Иерусалим, Рим и Сантьяго-де-Компостела!

Тут, откуда ни возмись, и бутылочка хереса, и стулья появились. Расселись, разулыбались... Шварц переводит, он же, мой пупсик, шесть языков знает, испанский вполне свободно...

Старик, как выяснилось, прожил всю жизнь в Сантьяго-де-Компостела. Сюда, в Оренсе, переехал десять лет тому, после смерти одинокого брата, от которого и остался этот шляпный подвал. Жалко было продавать налаженное дело. Жена умерла, сын с семьей в Бургосе, такие дела... А он всю жизнь мечтал хоть глазком взглянуть на Иерусалим, помолиться в храме гроба господя нашего Иисуса... О, сеньор, если б я мог просить вас поставить от моего имени свечу в храме...

К сожалению, именно эту скромную просьбу господя из Иерусалима выполнить не могут: они принадлежат другой конфессии. Можно ли полюбопытствовать — к какой, если это не покажется нескромным?

— Отчего же, — сказал профессор Шварц спокойно, — мы евреи.

Тут со стариком чуть кондрашка не приключилась. Он счастлив, что может засвидетельствовать сеньору и сеньоре глубочайшее почтение к этому древнему народу, с которым так тесно связана история его любимой Испании... Между прочим, ни один испанец не может поклясться на распятии, что в его жилах не течет толика еврейской крови. Да-да, против правды не пойдешь...

— Многие из нас до сих пор в субботу сказываются больными и не знают — почему это делают. Многие семьи почему-то зажигают в подвале дома вечером в пятницу свечи. Не помнят — зачем. Просто так делали прапрабабушка, и прабабушка, и бабушка, и мама...

Словом, старичок проникся и расчувствовался и отпускать их не хочет. Представился как дон Хуан — что, согласись, тоже звучит по-оперному для нашего уха... Хорошо сидим, херес потягиваем...

А вот, кстати, говорит, не знаете ли вы случаем такую семью в Иерусалиме... как же их фамилия? Ах, говорит, дона Меира дочка, конечно, взяла фамилию мужа, а вот фамилии малыша он не помнит. ... Господя улыбаются? Он понимает — Иерусалим большой город, невозможно всех знать... А жаль — он бы хотел услышать, как сложились там их судьбы, неужели Альфонсо так и не отыскал своей Рахели?

— Понимаешь, я сперва не среагировала на это имя, — возбужденно рассказывала Таисья. — Мало ли! У них там Альфонс на Альфонсе сидит и Альфонсом погоняет... Потом меня как дернуло: А ну-ка, Шварц, говорю, расспроси старикана об этих ребятах подробнее. Ну и... Слушай, это просто какое-то либретто оперы, нет, серьезно!

Некий почтенный фармацевт, дон Меир Бакши, появляется в тамошних краях годах, так, в шестидесятых. Вроде из Гранады, но особо не откровенничает. Говорит, что вдовец, и правда, при нем двое детей — мальчик лет восьми и малышка двух лет. Мальчик — сын, а вот девочку он называет племянницей, мол, вся семья его несчастной сестры погибла (тут старик Хуан не мог вспомнить точно — при каких обстоятельствах, чуть ли не угорели во сне: неисправность в дымоходе или что-то вроде этого), вот он и усыновил малышку, — родная же кровь...

Так что этот самый дон Меир открывает небольшую аптеку и живет себе с детишками достойно и прилично. К нему ходит убирать и готовить свояченица дона Хуана. И так вот они замечательно, даже пасторально живут-поживают (знаешь, как пролог в опере, пока в один прекрасный день — а как раз в этот день свояченица пришла к дону Меиру прибрать и постирнуть кое-что — в дверях дома не появляется некая сеньора — молодая, очень смуглая женщина и с воем бросается хозяину в ноги. Нашла, кричит, наконец я вас нашла... И не обращая внимания на постороннего человека, умоляет смертельно бледного дона Меира позволить ей взглянуть на ребенка.

Словом, когда минут через пять опомнившийся Меир выпроводил прислугу, та уже успела о многом догадаться по бурным репликам как с той, так и с другой стороны.

Как она поняла, женщина имела к Меиру самое непосредственное отношение, как, впрочем, и к девочке. В разговоре несколько раз он истерично выкрикнул: «Я заплатил! я тебе заплатил сполна, оставь нас в покое!» Ребенок-то, девочка, была ему — так получалось — никакой не племянницей, а дочерью, хоть и незаконной.

Вроде что-то у него было с этой женщиной, то ли работала она у него после смерти жены, то ли просто случайная связь — дело темное... Ну и

забеременела она. А сама из южных, откуда-то из-под Кадиса, да еще, кажется, цыганка. Видать, жениться он на ней не собирался, дождался, пока родится ребенок, ну и заплатил, чтобы женщина исчезла. Да. Деньги-то она взяла, конечно, и ушла, но время от времени все же появлялась и, видно, очень дону Меиру осточертела. Бог 'его знает — почему он так не хотел, чтобы девочка узнала — кто ее мать... Может, потому, что женщина была из цыган, а евреи — так дон Хуан слышал — не любят, чтобы материнская кровь в ребенке была чужой...

Так вот, дон Меир, видать, бежал с детьми на север, в Сантьяго-де-Компостела. У нас не юг, конечно, евреев здесь испокон веку — раз два и обчелся. Общины нет, синагог тоже... думал, что заметет следы. А женщина их все-таки нашла. И то сказать, сеньоры,— почему мать не может видеть своего ребенка?

С другой стороны — кто этих цыган поймет: может, она и в этот раз деньги вымогала? Во всяком случае, больше ее никто не видел — наверное, дон Меир откупился навсегда...

А дети росли, симпатичные такие ребята. Девочка смугленькая, бойкая, а мальчик, Альфонсо — тот вообще красавец. Парочка на загляденье, и всегда вместе, всегда они за ручку, всегда в обнимку... Да... Говорят, маленькая ложь ведет за собой большую... Может, если б парень знал, что, выходит, она ему единокровная сестра, не случилось бы этого позора, этого несчастья бедному дону Меиру...

А вышло так, что он застучал их в оррео — это наш галисийский амбар, такой, приподнятый на сваях, чтоб грызуны не забрались. Они забыли втащить внутрь лестницу. Вот по этой лестнице дон Меир и понял, что в оррео кто-то есть. Парню было тогда восемнадцать, девчонке — четырнадцать... Но настоящий ужас пронял дона Меира до печенок, когда выяснилось, что у девчонки растет живот.

Времена тогда еще были строгие, аборт запрещены — куда от позора деться? Заметался он, как загнанный зверь, и пришлось ему открыться моей свояченице, потому что подруга ее — пусть на небесах пошлет ей Господь блаженство — была опытной акушеркой, многих страдалиц выручала; она-то все и устроила тайно, недорого, без шума, и девушка выкинула плод... Да... Дон Меир ходил как безумный, совсем поседел — ну, что ты будешь делать, беда какая... Парня своего, Альфонсо, он сразу услал в Аргентину — у него там еще со времен кризиса один старый приятель держал компанию, поставляющую в Испанию зерно и мясо. И запретил сыну возвращаться домой. Даже письма писать запретил. Словом, разлучил голубков навсегда. Моя свояченица рассказывала, как дон Меир плакал, рвал на себе волосы, приговаривал, что сам виноват во всем, и называл девочку цыганским отродьем.

А года через три он стал хиреть, чахнуть, продал аптеку... У бедняги оказался рак...

Тут Таисья сделала паузу, вынула из сумки два бутерброда с сыром и сказала:

— Антракт, милка моя. Конец первого действия. Зрители шаркают по фойе и пристраиваются в две длинные очереди: в буфет и туалет. Пошли в учительскую, перекусим...

В учительской домовитая Таисья держала холодильник, микрогаль, посуду, электрический чайник. Так что загнанные жизнью учителя, поспевая, как зайцы, с одной работы на другую, перед уроком успевали еще перехватить бутерброд.

— Включи-ка чайник, — велела Таисья, вываливая на тарелку из кулька сладости. — Глянь, какие испанские сласти привезла.

Мы заварили чай, и, помешивая сахар в чашке, я заметила:

— Ну что ж, обстоятельства, конечно, неординарные, но должна тебе сказать, что и во времена нашего с тобой отрочества у нас на родине подобное встречалось, увы, чаще, чем представляли себе чиновники гороно.

— Тогда слушай дальше! Действие второе открывается арией некоего малыша, чуть ли не карлика, да и рожа на боку, — давно и безнадежно влюбленного в юную Рахель.

— Люсио, — сказала я.

— Вот именно. Я же тебе говорила: охрентеть можно.

Так вот, наш Люсио, судя по всему, руководил студенческим театром в университете в Сантьяго, а девушка училась на каких-то курсах при университете.

Не знаю — как там они познакомились, но только влюбился он смертельно. Он же забавный и порой бывает обаятельным. Ни на шаг от нее не отходил, влип по самую макушку.

Но, думаю, девчонка все-таки и в страшном сне не могла представить себе его мужем. А между тем дон Меир все загибался и загибался. Тогда Люсио на правах друга поселился в доме и превратился в самую настоящую сиделку для старика. И мыл, и стряпал, и за продуктами, и... да ты же знаешь, он на все руки мастер: какое-то кресло старику смастерил с рычагами. Оно тебе и кресло, и машина, и горшок, и чуть ли не самолет... Так, во всяком случае, дон Хуан рассказывает. И вот однажды, буквально уже на смертном одре, призывает умирающий свою дочь и нашего будущего координатора молодежных программ и самым недвусмысленным образом благословляет этот брак.

— Как?! А она?

Таисья замолчала, задумчиво нарезая ножичком яблоко.

— Трудно сказать... Она, надо полагать, запугана отцом. Подозреваю, что он взял с нее страшную клятву. Пригрозил, умолял, заклинал... ну, знаешь, эти оперные штучки. А может, — чем черт не шутит, — может, ей и нравился Люсио? Ты учти, он — человек-фейерверк, яркий, настырный, да и мужик, судя по всему, не из последних... мало ли, росточком не вышел! Пушкин, вон, малец-мальцом, а всех вокруг перетрахал. Маленькие, они, знаешь...!

— Ну, дальше...

— А дальше — вот такая штука. Отец взял с них обоих слово, что они уедут жить в Израиль. Знаешь, у старых евреев на краю могилы всегда просыпается желание всех близких услатить в Израиль. Ну и они уехали буквально через месяц после его смерти... Распродали все и, кстати, ту самую картину с кабаном и мертвым тореадором в гробу, которой Шварц так залюбовался... Картинка — догадываешься, чьей кисти принадлежит?

— Люсио, конечно. Торговать ее не пробовали? — спросила я.

— Просили, старик ни в какую. А жаль. Шварц прямо влюбился в эту картину. Странно, почему там вместо быка — кабан изображен? Жутковато, знаешь... Я с самого начала думала — кого этот кабан мне напоминает? Пока не поняла: наш художник его с самого себя срисовал. Не буквально, конечно, но до дрожи напоминает... А представь его лицо, если б я эту картину приволокла на «ешиват цветет»?

— Значит, в третьем действии оперы меняются декорации... — проговорила я задумчиво. — Пальмы, сосны, городок в Иудейской пустыне...

— Да-с, появляется главный герой. Звучит большая выходная ария.

— «Я посрезаю вам го-о-оловы!» — запела я мягким чувственным баритоном, и Таисья подхватила своим чудесным меццо-сопрано:

— «И если не варят у вас котелки...»

Тут в учительскую заглянул преподаватель по классу скрипки Боря, и мы разом умолкли. Таисья взглянула на меня насмешливо:

— Да, милка моя, куда от главного героя деться? Он о смерти отца узнал. Не сразу, но узнал. Сейчас, думает, приеду, получу свою милку и никто уже нас не разлучит. Приезжает... милки нет, адреса нет, надежды найти ее — нет. Старик говорит — очень Альфонсо тосковал по отцу... Все выспрашивал — не оставляла ли сестренка какого-нибудь письмеца. Так и уехал, огорченный, назад, в Аргентину. Старик говорит, что упоминал не то что о семье, но вроде женщина там у него была... И тут звучит ария Брурии... Да нет, пожалуй, ариетта... Она, бедняга, в его жизни больше чем на ариетту не тянула...

— Погоди! — сказала я. — Но Альфонсо все-таки здесь. Все они здесь. Как же он ее разыскал, сестричку, что ли?

— Выходит, разыскал... — кивнула Таисья. — В этой стране разыскать кого хошь — раз плюнуть. Надо только встать на табуретку и крикнуть погромче... Я теперь понимаю, ребенок из-под этой женщины, которому так радуется бедняга Люсио, имеет к нему такое же отношение, как и ко мне...

И вновь меня заворожила пастушеская красота этого образа: ягненок из-под овцы, ребенок из-под женщины...

— А ведь Люсио не дурак, ой не дурак! — продолжала она. — И поверь мне — человек он нешуточный, даром что шута играет. К тому же, в отличие от них от всех, он испанец, испанец до мозга костей...

Она поднялась, взяла со стола наши чашки и, подойдя к раковине, принялась с усердием мыть их посудной губкой.

— Судя по всему, — проговорила она, — финал оперы досмотрим из первых рядов партера.

Я молча наблюдала за ней. Словно почувствовав мой взгляд, Таисья обернулась, несколько мгновений смотрела мне в глаза и вдруг твердо:

— Нет, милка моя. Плохо же ты меня знаешь! Слишком много в жизни били меня, да и я многих била, чтоб сейчас пойти на этот легкий выигрыш. Нет, я в драке по яйцам не бью. Я Альфонсо и без того низвергну...

Она вытерла со лба брызги сгибом кисти.

— И знаешь... я как-то по-другому на него взглянула. Он, конечно, низкий, неверный человек, но... любить умеет! Как умеет любить эту свою судьбинную женщину! Тайно, страстно, воровато, коварно! — Она всхлипнула, слезы покатались из глаз, как это бывает только на киноэкранах. — Любит, попирая прах отца!

Таисья стояла у посудной раковины, рыдая над несчастной любовью своего заклятого врага, любуясь этой неистребимой страстью и преклоняясь перед ней.

— Север Испании... — сказала она. — Нет. Жить бы я там не взялась...

Часть 3

Как бы я хотел забыть лицо твое, изменница!
Твое темное лицо, обезображенное предательством.
Твои ненавистные глаза, источающие злобу...
Твои брови, как две змеи жалящие в сердце.
Твои губы, оскверненные лживой клятвой.

Как бы я хотел забыть лицо твое, изменница!
Но лишь прикрою веки — передо мной, как живые, —
Твой светлый лик, осиянный смертными муками,
Твои ясные глаза, источающие любовь, как мед,
Твои поющие брови — пара воркующих голубей,
Твои нежные губы, шепчущие слова страсти...

Кровь твоя, пролитая моей рукой, давно остыла.
Душа моя, убитая твоей рукой, давно остыла.
Лишь память, ненасытная память,
Как коршун, терзает. Не дает мне забыть лицо твое, изменница!

Испанская песня, 17 в., провинция Андалусия

Глава 14

Приближался Пурим. Коллектив Матнаса готовился к празднику в точности так, как коллектив Дворца железнодорожников готовился, должно быть, к энной годовщине Великого Октября. По четвергам, надувая жилы на шее, Альфонсо рвал и метал, требуя от каждого координатора плана подготовки к Пуриму, список мероприятий и экскурсий.

— Каждый житель нашего города должен чувствовать себя вовлеченным

в праздник! — кричал он, выстукивая ладонью по столу ритм фразы. — Житель города — участник карнавала!

Через каждые два-три слова он упоминал этого усредненного «жителя», что на иврите звучит как «тошав».

— Вша-а в кало-оше,— лихоманил за балконом ветер и срывался на присвистывающую скороговорочку: — Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка!

Предстоящий карнавал будоражил воображение нашего директора. Он заставил завхоза Давида связаться по сотовому телефону с одним из иерусалимских театров насчет костюмов. После длительного выяснения отношений с зав.костюмерным цехом Давид доложил, что костюмы нам могут выдать только такие, что не заняты в спектакле на этой неделе.

— Какие же? — нетерпеливо крикнул Альфонсо.

— Какого спектакля? — уточнил в телефон Давид и, прикрыв трубку ладонью, сообщил: — Какой-то «Сид... тореадор», кажется.

— «Сид Кампеадор», — сказал Люсио. — Это спектакль из рыцарских времен. Латы, шлемы, бутафорские мечи... Нормально.

— Отлично! — воскликнул Альфонсо. — Устроим колоссальное представление. Стойте! Мы разыграем сами спектакль из рыцарских времен. О, это гениальная идея! Люсио, ты напишешь пьесу, и мы все разучим роли. Я буду в главной роли этого... этого...

— Сида Кампеадора, — подсказала Брурия насмешливо.

— Да! Ты будешь знатной дамой, Люсио — моим шутком, а вы все — моими придворными... — Он обвел коллектив Матнаса торжествующим взглядом ввалившихся глаз: — Наконец-то повеселимся!

А меня продолжал донимать Бенедикт Белоконь из Ехуда.

— Вы упорно манкируете нашим замечательным художественным коллективом! — кричал он в трубку. — Нам рукоплескали Маалот и Кирьят-Арба, Беэр-Шева и Офаким!

— А сколько человек в вашем коллективе?

— Со мной — пять!

— М-м-м... Каковы ваши условия?

— Нести людям счастье! — крикнул он, произнося это слово как «шасте».

— Вы меня не поняли. Каков гонорар за ваше выступление?

— Та никакого ханарара! — заорал он. — Мы выступаем бесплатно!

Я смутилась. Вот тогда бы мне и заподозрить неладное...

— Но позвольте... Одна только дорога из Ехуда и обратно обойдется вам...

— Та у меня микроавтобус! Повторяю, нам ничего от вас не нужно. Наша цель — дарить людям шасте.

— Ну... хорошо, — промямлила я. — Не хотите ли приехать на Пурим? У нас торжественный вечер с легким угощением.

Предложила дату осторожно, готовая к отказу. Дело в том, что ни один уважающий себя музыкант или артист не соглашался выступать на таких закусочных вечеринках среди столиков, за которыми мои общительные деды булькали кока-колой, шуршали обертками вафель и переговаривались свистящим полукашлем.

— Нам все годится! — заверил меня Бенедикт Белоконь. — Искусство принадлежит сами знаете — кому.

Поединок между Таисьей и директором Матнаса клонился, похоже, к ее победе. То ли «спина» в верхах, на которую опирался наш директор, несколько притомилась от тяжести его хамских выходов, то ли сказались бойцовские качества Таисьи, но только недели за две до Пурима Альфонсо вызвали «Куданадо», и «Ктонадо», по-видимому, объяснил ему, что увольнение Таисьи обойдется Матнасу в такую копеечку (в связи с ее долгой беспорочной дружбой с «Кемнадо»), что дешевле уволить самого Альфонсо.

Тот бился, кричал, что ни при каких условиях не должна остаться строптивая Таисья в пределах его владений. «Я или она!» — восклицал он.

Ему, видно, намекнули: кто.

Из секретных источников Таисья стало известно, что «спина»-защитница нашего директора вызвала его на ковер и конфиденциально вломила по самые гланды. А напоследок, грозно кивнув на страницу услужливо развернутого перед ним секретаршей журнала мод, покровитель якобы сказал: «И сколько можно всенародно задом вертеть в разных штанах? В твоём возрасте уже надо выбрать: молодежь воспитывать или гандоны рекламировать...»

Изображая в лицах эту беседу, Таисья добавила, что в наше время одно не исключает другого, а, возможно, даже способствует.

И рыцарь уполз в свой замоклизывать раны после джостры.

— Хватит, — убеждала я Таисью. — Он наказан. Видишь, утром даже кивнул тебе.

— Кивнул?! — вскидывалась она. — Пусть знает, как со мной связываться: я его уделаю так, что ему кивать будет нечем! Выведу всех на демонстрацию!

— На какую демонстрацию? — Я поживалась. Это слово до сих пор вызывает во мне танковые майские ассоциации.

— А вот не желаю больше работать под его началом. Я выведу консерваторию из-под Матнаса. Это будет отдельная организация со своим счетом в банке. Вот тогда, милка моя ненаглядная, запишу я тебя уборщицей, и будешь ты под моим руководством жить-поживать и горя не знать... Протрешь там-сям окошки, махнешь туда-сюда тряпкой... Он тогда увидит, пидор, кто ему приносил настоящий доход, но поздно будет...

Глава 15

Глаз развращается, ухо позорится,
И вообще нет слов для всей этой непристойности.

Иоанн Златоуст

Дня за два до праздника, согласно замыслу Альфонсо, из больших деревянных щитов рабочие стали сбивать на площади перед Матнасом сцену, где юные участники театральной студии должны были разыгрывать Пуримшпиль.

Вечером в шесть тридцать мои принаряженные ветераны стали подтягиваться к Матнасу, а к семи со своей художественной хеврой должен был прикатить Бенедикт Белоконь из Ехуда.

Как обычно, завхоз Давид помогал мне расставлять в зале столы, застилать их одноразовыми скатертями и расставлять одноразовые стаканчики, пироги из супермаркета, бутылки со сладким столовым вином.

Его арабская команда — братья Сулейман и Ибрагим носили по лобби стремянку, делая вид, что сейчас начнут что-то вкручивать. Или выкручивать.

Мелькнула в лобби возбужденная Таисья, крикнула мне:

— Готовься!

— К чему? — встревоженно спросила я вдогонку.

Но она лишь рукой махнула, выбежала на улицу, и сразу я увидела, как к недостроенной сцене подкатил белый микроавтобус и из него выпрыгнул головастый, рукастый, ногастый и языкастый Бенедикт Белоконь.

Из микроавтобуса посыпалась его бригада — несколько человек обоего пола. Почему-то и я подбежала, и даже мои пенсионеры заспешили к Белоконю.

Наконец, мне удалось увести в зал и публику и артистов, одних рассадить за столиками, других запихнуть за кулисы, где они задорно переругивались и передевались.

Бенедикт Белоконь в это время возил по сцене пианино. Навалась на инструмент всем телом и не обращая внимания на публику, он долго ездил

из одного угла сцены в другой, отбегая, примериваясь, соскакивая вниз, опять вспрыгивая на сцену. Потом стал советоваться с ветеранами.

— Ото так — нормалек? — кричал он в зал.

— Нормалек! — кричали ему с мест. — Двинь чуть левее! Нет, дальше, дальше! Да не туда!! Стой, куда заехал?!

— Ну, что? — спросила я, подойдя. — Начнем, пожалуй?

К порядку проведения концертов моя публика уже привыкла. Нет, не скажу, что Московская филармония, но пристойность и даже некоторая академичность соблюдались: дорогие друзья, продолжаем цикл наших музыкальных вечеров... Сегодня в программе музыка такого-то и сякого-то. Исполняют заслуженный артист Сякой Сяковский, аккомпанирует солистка Таковая Таковойнич...

Моя верная гвардия слушала и хлопала, благожелательно улыбаясь.

На этот раз мне и рта раскрыть не дали.

Одернув свитер и закатав рукава, Белоконь поднял крышку инструмента, уселся на табурет и, ни слова не говоря, извлек своими красными клешнями два бодрых домажорных аккорда.

Мне стало дурно.

В юности — так получилось — я случайно закончила консерваторию, то есть моего образования хватило, чтобы вообразить — что будет дальше. Но, забегая вперед, скажу, что и воображение мое оказалось робко академичным.

— Мы приехали к вам, люди, показать — на чем стоим! — запел полуречитативом Белоконь, аккомпанируя себе все теми же аккордами и отсчитывая такт ногой в огромном солдатском ботинке. Далее в том же духе, вполне в рифму, он тем же полуречитативом объяснил-пропел, что они — артисты из Ехуда, «шастая людям принесли»...

— Итак! — он снял руки с клавиатуры, перейдя на прозу. — По мере выхода артистов вы познакомитесь со всей нашей бригадой. Пока представлю лишь себя. — Он набрал воздуха в легкие, взял торжественную все ту же домажорную тонику: — Пройдя репатриацию, и воду и огонь, пред вами появился Бенедикт ваш Белоконь! — При этом он щелкнул каблуками солдатских ботинок и тряхнул несуществующим чубом.

Публика захлопала. Я закрыла глаза.

Все дальнейшее я слышала словно издалека, лишь иногда приоткрывая глаз, то один, то другой, давая им передышку. Так тебе и надо, твердила я себе горестно, ты сразу все должна была понять по его голосу. Была уверена, что старики хлопают из вежливости, а после концерта линчуют меня на площади, останки сожгут, а пепел развеют по ветру.

Между тем аплодисменты нельзя было назвать жидкими.

Пенсионеры наливали себе вина, оживленно переговаривались, смеялись идиотским, рифмованным островам Бенедикта и дружно подпевали знакомым мелодиям. Концерт набирал силу. Постепенно выяснилось, что знакомыми остались в песнях только мелодии, слова же пересочинил один из артистов, бородатый в вязаной кипе — их бригадный поэт.

Перед этим он объяснил свою, как он сказал, «позитию».

— Берем романс «Хари, хари, моя звезда!» — предложил он, вперясь в публику горящими глазами. — Его же ж любой дурак может спеть! Нет, вы сначала осознайте себя частью еврейской культуры, пропустите через сердце всю скорбь своего народа, а потом — пойте!

Отступил на шаг, трагическим кивком дал знак Белоконю, оседлавшему табурет, тот грянул три аккорда, и поэт в вязаной кипе — он оказался также басом — затянул проникновенно:

— Хари, хари, моя звезда, звезда Сио-о-на милая!..

Я тихо выкатилась из зала. Прикрывая за собой дверь, слышала:

— И над моей еврейскою могилою, хари, хари, моя звезда...

— Ну, как концерт, — спросил завхоз Давид, пробегаая с молотком в руке, — бэседэр?

Я жалко кивнула. Остальное слышала из-за двери, когда приближалась

к ней, в надежде, что концерт подходит к концу. Но он все длился. Белоконь изрыгал какие-то частушки на еврейской подкладке, хлопая клешней по клавиатуре, а ботинком по полу. В щели между занавесками на стеклянных дверях зала я видела, как водворилась на сцене певица — врачиха в блузке, руки лодочкой вперед, как будто собирается нырнуть в воду с борта катера.

«Все, что было, все, что ншло, все давным-давно уплыло...» — подпевали ей с мест пенсионеры. — «Все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело...»

Врачиха задержалась на сцене дольше других, очевидно считалась гвоздем программы. Затем опять водворился Белоконь, который на мотив «Дорогая моя столица» пропел что-то вроде (во всяком случае, это своими ушами я слышала из-за двери):

«Дорогие мои айды, я привязан к вам всей душой!»

Зал подпевал и, кажется, даже импровизировал стихи вместе с поэтом.

«Дорогие наши дети! — кричал он, дирижируя рукой.

(Дальше неразборчиво, пенсионеры заглушали.)

Перед вами мы в ответе,

Жаль, что заработок мал!»

Конца этому светопреставлению не предвиделось. И вдруг мне послышалось, что в зале объявили «Хабанеру!» Я ринулась к щели в занавеси, не веря своим ушам.

— «Еврейская хабанера!» — повторил Белоконь. — Как вы можете убедиться, друзья, мои профессионалы и с классикой на «ты»!

«Хабанере» он тоже аккомпанировал. Теми же тремя аккордами.

Пошатываясь, я вышла на воздух, и тут на меня чуть не налетела Таисья. Она неслась вперед, поигрывая возле бедра невидимой камчой. За ней поспевала группа родителей учащихся консерватории, человек тридцать.

— Готова?! — крикнула мне Таисья.

— Абсолютно, — пробормотала я.

Она ринулась в зал, я — за ней.

Рванув на себя стеклянную дверь, Таисья ворвалась в зал с криком:

— Все на площадь!!

— Что случилось? — спросила я.

— Все на демонстрацию!! — тяжело дыша, воскликнула она, делая публике зазывной жест типа «айда!».

— По какому поводу?

— Пробил час! Пришло время доказать этому пидору — кто здесь грамплеер запускает.

— Тая, ты с ума сошла? — спросила я кротко. — У нас тут концерт легкой классической музыки.

И тогда художественный руководитель Бенедикт Белоконь снял клешни с клавиатуры и восторженно закричал:

— Ребята, присоединимся к побратимам! Поможем отстоять!

Хевра из Ехуда хлынула из-за шатких фанерных кулис, а из-за столиков повалили дружные, раскисшие от еврейских романсов, от совместного творчества и сладкого вина пенсионеры. Устремились за Таисей к выходу, а Белоконь, приобняв на ходу ее плечи, спросил доверительно:

— За что стоим?

— За отделение консерватории от Матнаса! — страстно воскликнула она.

— А! — сказал он. — Дело хорошее...

Я стояла у дверей Матнаса обескураженная и притихшая. Поодаль, как в пьесе «Вишневый сад», продолжали стучать молотками рабочие, собирающие из щитов сцену для завтрашнего спектакля. В наступивших сумерках мандаринные дольки фонарей наливались изнутри электрическим соком.

Странное ощущение владело мною: меня вдруг покинуло чувство, что я сочиняю эту пьесу, веду на ниточках этих кукол. Пропала магия совпадений, чудесное ощущение нитей, которые ты перебираешь пальцами, прядя пове-

ствование. Я вдруг ощутила себя не автором собственной повести, не хозяином переносного театрала, а лишь одним из ее второстепенных персонажей, осознала ничтожность своих сил, смехотворность притязаний.

... Знала ведь, говорила я себе, что ничего хорошего от хевры из Ехуда не дождешься. Из какого странного азарта я все-таки вытащила этих кукол из корзинки на свет божий, вернее, на свет рампы?

Повернулась и побрела домой.

Возле моста меня догнал Владимир Петрович, взял под руку.

— Ну, что ж вы так бежали! — сказал он укоризненно. — Насилу догнал.

— Владимир Петрович, простите, если можете, — сказала я, не глядя на старика. — Не предполагала всего этого безобразия.

— Ничего, — примирительно сказал он. — А людям понравилось.

— Но ведь им и Дебюсси нравится?

— И Дебюсси, — кивнул он, — и Дебюсси нравится. В этом-то и штука... Перед этим-то, милая, всегда художники руки опускали — перед всеядностью толпы.

Молча мы взбирались по дорожке вверх, к той площадке, с которой открывался вид на Иерусалим. И опять, не договариваясь, остановились — так притягивали и не отпускали эти огни на темных далеких холмах.

— Вдохните глубже, — проговорил старик, не шевелясь. — Чувствуете — запах шалфея? Эти блекло-сиреневые цветочки на кустах — шалфей иудейский. А там вон, по склону вниз, растут кусты мирта вперемежку с ладанником белым. Библейский ладан извлекали из этого растения. Вдохните, вдохните глубже, ощутите эту горячую, пахучую тьму гомады... Вообразите, ведь точно так здесь пахло ночью, когда монахи Кумрана вкладывали свои свитки в огромные кувшины и оставляли в пещерах, тут, в двух шагах от нас. На что они надеялись? Что когда-нибудь мы прочтем их молитвы, почувствуем их гнев, их благодать? — Он вздохнул и проговорил с непередаваемой любовью в голосе: — Прекрасно! все прекрасно!

— Что прекрасно? — раздраженно спросила я. — Бенедикт Белоконь с его «Еврейской хабанерой»?

— И Бенедикт Белоконь прекрасен, — тихо и внятно сказал он. — И этот воздух, и эти холмы, и Бенедикт Белоконь, который приперся бесплатно «радовать людей», наверняка влез в долги, чтобы купить свой подержанный микроавтобус. Он дурак и пошляк, но он прекрасен, как прекрасна жизнь... Любуйтесь жизнью.

Я мрачно отмахнулась.

Он помолчал. Ветер распахивал и запаховал серебро олив на склоне холма. Алмазная крошка огней осыпала вдали холмы Иерусалима.

— Умейте любоваться жизнью, — повторил он. — Если б вы знали, как нежно пахнет мыло, сваренное из человеческого жира... Такой тонкий и в то же время сильный запах, — продолжал он, — что если б я открыл здесь коробочку — изящную такую керамическую коробочку, — то вы бы за десять шагов почувствовали этот запах... Я держал коробочку с таким мылом в руках, когда мы освободили Равенсбрюк... И с тех пор не терплю никакого парфюмерного запаха. Для меня это — запах смерти. Понимаете? Ни жена моя, ни дочь никогда, бедные, из-за меня не пользуются духами...

Так что, дружок, умейте любоваться жизнью, как бы она не выглядела, каким бы потом и пошлостью от нее не разлило...

Глава 16

Сеньор, я играл на виоле перед вами в вашем замке; вы ничего не дали и не расплатились со мной.

Это подлость! Клянусь девой Марией, я к вам больше не приду; моя котомка худа и пуст кошелек мой.

Песня трувера Колена Мюзе, 12 в.

Я проснулась от звонка и несколько мгновений лежала, не понимая — звенит ли у меня в голове от дикой головной боли или все-таки это телефон. Часы показывали семь сорок пять — для меня уже время деятельное.

Я подняла трубку, цепenea от перекатывающейся боли в левом виске и затылке.

Это была Таисья — победительная и устремленная в будущее.

— Чего мычишь? — спросила она.

— Дождь будет... Домолились...

— У приличных людей голова болит с перепоя, а у тебя — от всяких глупостей, — сказала она и стала рассказывать о вчерашней демонстрации.

Какая я балда, что не пошла со всеми вместе, лишилась такого зрелища, такого удовольствия! И так все удачно сложилось: по дороге на городскую площадь к ним присоединялись кучки, толпочки и большие группы празднующихся граждан, которые при виде гарцующей Таисьи носом почуяли зрелище и, возможно, добычу (я подумала: вот так шайки разбойничьего сброда присоединялись к воинству Христову во время крестовых походов).

— Слушай, как пригодились твои мудозвоны из Ехуда! — восклицала Таисья, хохоча и захлебываясь от возбуждения. — Они стали петь хором, а этот их долбанутый руководитель дирижировал. Угадай, что они пели!

— Интернационал, — сказала я, чтоб она от меня отстала.

— Точно! — заорала Таисья.

— Не может быть... — пробормотала я.

— Почему? Ты же их видела. Так что, к муниципалитету подгрести уже очень приличной толпой ну, и само собой, стали скандировать.

— Что именно? — с любопытством спросила я.

— Ну, как что! «Долой власть Матнаса!», конечно! А твой Белоконь быстренько раздобыл где-то огромный кус картона и жирными фломастерами написал: «Отпусти консерваторион мой!» Глупость, конечно, но, надо признаться, в самую масть. Этот дядечка отлично ладит с толпой. Не удивлюсь, если на ближайших выборах в Русской партии он одержит сокрушительную победу.

Минут через пять к ним вышел Эли Куниц в своих крагах и мотоциклетной куртке, испещренной «молниями», и спросил Таисью — к чему весь этот шум, когда она могла бы все решить с глазу на глаз в его кабинете. На что Таисья отвечала, что сыта по горло его обещаниями и только воля народа может сдвинуть с мертвой точки ее, в сущности, такое простое дело.

Как раз в это время рабочие чинили фонтан, и в самый драматический момент он дал вдруг ослепительную пятиметровую струю, залив всю площадь.

Мокрые детишки визжали от восторга, толпа ревела. Не говоря уже о том, что старый попугай из зоомагазина вопил, не переставая: «Шрага, не долби мне мозги!» — а сам из последних сил долбил свою жердочку.

Короче, мы организовали то самое публичное действие с живописанием плакатов, к которому полгода нас тшечно призывал Альфонсо.

Ты ж понимаешь, сказала Таисья, Эли ничего не оставалось делать, как дать добро на развод Матнаса с консерваторионом, с дальнейшим разделом имущества, то есть разделом бюджета! («Цвиу-цвиу-цвиу-цвиу!» — зашелкало, засвистало у меня в ушах. — «Так вашу так, перетак и растак!»)

Альфонсо еще ни о чем не знает, продолжала Таисья, у него с сочинением пуримского спектакля дел по горло. Представляешь — карнавал затевает, костюмы, канделябры, то, се... Вот так петух бегаёт по двору, еще не зная, что голова у него отрублена...

В этом месте Таисья перевела дух и проговорила умиротворенным тоном:

— Да, слушай! Еще одна новость: ты уволена.

— Как?! — воскликнула я. Так бы вскрикнул пресловутый петух, обнаружив, что голова у него не на месте. Тысячи видений пронесли за секунду в моем мозгу: после концерта хевры из Ехуда на меня нажаловались пенсионеры и... но кто же ночью стал бы этим заниматься? Впрочем, когда мое небесное начальство принимало решение освободить меня от занимае-

мой должности, то за земным начальством — будь то ночь или день — дело обычно не задерживалось... — Как уволена! Кем?

— Мной! — гордо ответствовала Тая. — Я ведь тоже уйду из Матнаса. Я вчера ночью позвонила Шимону Толедано и распорядилась, чтоб и тебя... того.

Я молчала, пытаюсь сквозь тянущую свинцовую боль разобраться в своих душевных движениях.

— Таисья, — сказала я наконец, — так скифы в одном кургане хоронили своих вождей — вместе с женами, лошадьми и любимыми координаторами русской культурной жизни.

— Не журился, милка моя, — со слезной нежностью в голосе проговорила эта удивительная женщина. — За фальшивой слезой Бог сиротской не видит. Разве ж я брошу свое бедное дитя? Я унесу тебя с собою в... (сквозь треск и помехи в трубке мне послышалось не то «в министерство культуры» не то «в терции синекуры», не то «в тесные шуры-муры»... и то, и другое, и третье могло быть святой правдой)...

Я совсем ослабла от боли в башке, от всех этих неожиданных обстоятельств, от того, что, честно говоря, не готова была к такому крутому повороту событий: слишком много коммунальных счетов лежали, готовые к оплате в самый недвусмысленный срок.

— Но на карнавал мы с тобой сегодня явимся! — воскликнула Таисья. — Как ни в чем не бывало. В конце концов, праздник!

— Я — пас, — мрачно буркнула я.

— Ничего, съешь таблетку, встряхнись и пойдем крутить хвостами. Я уже распорядилась, чтобы Давид нам с тобой оставил два костюма. Мне — костюм молочницы из Бретани: знаешь, белый чепчик, красный корсаж, сиськи наружу — прелест!

— А мне? — спросила я не без тайного любопытства.

— Тебе — тоже по теме. Какая-то хламида с колпаком, вполне живописная, и что-то вроде лиры... В общем, не то Гомер, не то Садко, не то еще какой-то прохвост.

Я выглянула в окно — со стороны Средиземного моря через хребет Масличной горы волочились тяжелые слоистые тучи. Мигрень моя, первая за эту зиму, обещала сильный молодой дождь, какими здесь славится обычно февраль.

Между тем отовсюду — из дворов, из парка, со стороны торговой площади он — уже неслась музыка, колотили в тарабуку пацаны, взрывались хлопушки, выстуривая в воздух фонтанчики конфетти.

Ребятя, традиционно наряженная в костюмы Мордехая, Амана и царицы Эстер, трещали пластмассовыми трещотками и грызли треугольные коржики «уши Амана».

Сегодняшнее торжество — по распоряжению нашего директора — должно было торжествовать целый день: Матнас держал вахту с утра до вечера. К семи часам начинался грандиозный карнавал: в город приезжали приглашенные певцы, фокусники, жонглеры на ходулях, и прочая, и прочая колоссальная растрата средств муниципалитетом.

За несколько дней были расписаны дежурства по соблюдению порядка. Нам с Таисьей выпадало с трех до четырех торчать на площади: как раз на это время театральная студия Матнаса готовила ежегодный Пуримшпиль. Почему-то предполагалось, что соберутся все жители города.

Когда, проглотив третью болеутоляющую таблетку, я добрела до Матнаса, там всюду шло веселье: издали я услышала дробный топоток по деревянному настилу сцены и монотонное бормотание гитары.

Пробившись сквозь гомонящую толпу к помосту, я остановилась в изумлении: танцующей Брурии аккомпанировал на гитаре не кто-нибудь, а сам Альфонсо. Расстегнутый ворот мягкой фланелевой рубашки не стеснял сильной шеи, рукава закатаны до локтей, нога свободно перекинута на ногу

и на колени оперта гитара так естественно, так свободно скользит гриф ее в ладони, словно он и не выпускал никогда эту гитару из рук.

Хуэрга, по всей видимости, была в разгаре: Альфонсо Человечный вышел в народ.

Брурия, тонкая как хлыст, одетая в испанское, синее в мелкую белую крапинку платье, плясала сосредоточенно и страстно: собственно, это был не пляс, а бухгалтерия любви.

Быстрый и сложный перестук каблучков и ступней вдруг обрывался, она замирала, подняв руку вверх, обернув к себе ребром ладонь, словно в следующую секунду собиралась взмахнуть ею, рассекая себя надвое. И вновь мелькающие движения ступней ног в неуловимой связи со скупыми выразительными руками как бы вращали ее тонкое тело вокруг невидимой оси, возвращали к центру земли, тяготели к ней. Ритм все убыстрялся, Альфонсо хмурился и зловеще улыбался, увеличивая обороты танца.

Я видела незримую связь между их руками, казалось, что руки их переговариваются — то ластятся друг к другу, то друг друга отталкивают.

Это равномерно вздымающееся дыхание танца напомнило мне ход корабля, преодолевающего тяжелый бег волн, мощно и неуклонно рассекающего их, ход корабля, на носу которого плывет резная деревянная дева Мария, лицо которой отнюдь не напоминало узкое смуглое лицо Брурии. Был некто третий в сосредоточенном безумии танца, некто третий, невидимый, стоял между этими двумя, не давая ни на мгновение забыть о своем существовании.

Меня тронули за рукав, я обернулась: рядом стоял Люсио. Он крикнул на сцену: «Оле! Оле!» и принялся выстукивать ритм ладонями. Потом поставил ногу на нижнюю ступеньку и стал отхлопывать ритм рукой по колену. Лицо у него было странно неподвижным, внимательным, даже напряженным. Почти таким же, как лицо Брурии.

— Правда, здорово? — спросила я, почему-то волнуясь.

— Неплохо, — кивнул он.

— Я не знала, что Альфонсо так хорошо играет на гитаре.

— Он способный, — ответил Люсио, и мы замолчали.

Вокруг многие уже хлопали и выкрикивали «Оле! Оле!», Брурия металась, замирала, вскидывала руки обручем над головой... Альфонсо скалился в улыбке, Люсио тяжело глядел на них обоих — и вдруг от этих троих на меня пахнуло застарелой, спертой ненавистью. Музыка обнажила ненависть, содрала покровы со старой раны.

Вдруг Люсио вспрыгнул на сцену и, взяв из рук Альфонсо гитару, запел — сначала без аккомпанемента, потом изредка отбивая по струнам ритм горловой тягучей мелодии. Он даже не пел ее — выговаривал хриплым шершавым голосом, в котором словно пересыпалась мелкая галька. И движения танцовщицы изменились: она застывала, приподняв плечи, прислушивалась, предугадывала следующий удар по струнам и, метнувшись в сторону, взорвавшись пересыпающимися ударами каблучков, всплеснувши юбками, застывала.

... Когда они спрыгнули со сцены, все захлопали, одобрительно засвистели и Давид врубил динамики на полную мощь — над площадью Матнаса разносились песни известных израильских певцов. Мимо меня быстро прошли Брурия и Альфонсо.

— Сейчас! — услышала я ее надрывный, как всегда на рыдании, голос. — Ты объявишь это всем сейчас, иначе — я не знаю, что я сделаю!

Он огрызнулся по-испански длинной нервной фразой. Судя по всему, был чертовски зол. Брурия подалась к нему, повисла на локте, и, всплеснув рукой, словно отряхиваясь от нее, Альфонсо закончил в бешенстве:

— ... и выставишь нас обоих на посмешище!..

Собственно, до объявленного Пуримшпиля оставалось еще полчаса, мне нечего было делать на площади. Я зашла в лобби Матнаса, где Люсио давал своим артистам последние наставления.

— О чем эта песня, что ты пел? — спросила я его. Он отмахнулся — старая песня, про любовь, про измену.

— Переведи! — попросила я. Он нацеплял на долговязого подростка парик и бороду Мордехая.

— Ну-ка, пригнись, длинный, — приказал он, и парень послушно присел на корточки.

— Песня? — спросил Люсио. — Она ему изменила, он ее, конечно, убил. Но забыть не может. Понимаешь, мечтает забыть ее лицо — и ничего с собой поделать не может: только закрывает глаза — ее лицо перед ним, как живое, прелестное юное лицо...

— Ничего себе, — сказал длинный. — Он же ее убил, и он же ее любит, ничего себе штучки.

— А ты думал, — проворчал Люсио, — как у вас сейчас: с тем переспала, с этим переспала, потом все дружно идут в кино, где она встречает третьего, который ей по-настоящему нравится.

Тоненькая девочка лет четырнадцати в костюме царицы Эстер подбежала к нам.

— Люсио, может, мне надставить грудь? — волнуясь, спросила она. Люсио, завязывая на штрипках бороду Мордехая, хмуро взглянул на девушку.

— С чего ты взяла, что Эстер была дойной коровой? — буркнул он.

Девочка обиделась.

— А чем же она завоевала Ахашвероша?

— Высоким айкью, дорогая! — сказал Мордехай и заржал.

— Заткнись, тебя не спрашивают!

— Ладно, — сказал Люсио, — у вас есть двадцать минут, расслабьтесь, повторите роли.

Появилась Таисья — роскошная, великодушная после вчерашней победы. Налетела на меня, сграбастала в объятия.

— Милка моя! — воскликнула она. — Не тушуйся, все будет хорошо. Я все отменила!

И опять я взволновалась, с надеждой подумав, что, может быть, Таисья отменила наши увольнения и я в следующем месяце опять получу свои жалкие, но благословенные две тысячи шекелей...

— Отменила все на фиг вообще! — бесшабашно воскликнула она тоном, каким Господь мог бы сообщить своим серафимам об отмене сотворенного им на прошлой неделе мироздания.

— А конкретно? — осторожно спросила я.

— Ну, подумай, дурья башка: на черта мне этот консерваторион, я в него и так пятнадцать лет жизни вбухала! До пенсии на этих обезьян бесхвостых хрячить? К черту!

— А... что же теперь?

— Да вот, думаю, не открыть ли нам с тобой эксклюзивное агентство по прокату артистов?

— Прокату кого? — тупо переспросила я.

— Ну, всей этой шоблы — музыкантов, артистов, писателей...

— ... жонглеров, фокусников, фигляров, игроков... — пробормотала я.

Таисья заглянула мне в лицо, ласково похлопала ладонью по щеке.

— Ну, именно.! Сейчас люди — знаешь — какую капусту на этом варят! Соглашайся, милоч. Ты у меня станешь художественным руководителем программ, сама будешь выступать, а? Как этот Бенедикт Белоконь... Шварцпушка дает нам начальный капитал... И мы с тобой помчимся продавать этот лежалый товар... по разным городам-странам..!

В зале Давид с Сулейманом и Ибрагимом уже расставляли столы как обычно — буквой «Т». На столах стояли бутылки с красным сладким вином, салаты в пластиковых упаковках, треугольные пирожки «уши Амана». Коллектив Матнаса готовился к своему карнавалу в интимном кругу.

За ширмами были навалены театральные костюмы, к каждому прищиплена бумажка с именем работника Матнаса.

В зале крутились все: кто костюм примерял, кто развешивал гирлянды

из сверкающей разноцветной фольги, кто стол украшал. Уборщица Ира суетливо подтирала влажной тряпкой все, что ей под руку попадалось.

В дальнем конце зала у окна стояли Альфонсо с Брурией. Она курила, коротко и часто поднося сигарету ко рту, он что-то неслышно настойчиво повторял — судя по движению губ и однообразным кивкам головой. Вдруг она тряхнула своей рыжей копной волос, отрывисто засмеялась и он, схватив ее за руку, притянул к себе. Но Брурия вырвалась, легко взбежала по трем ступенькам на сцену и крикнула в зал:

— Хеврэ, с праздником!

Хеврэ бодрым разнообразием отвечали что-то подходящее.

— Я хочу объявить вам, что у нас с Альфонсо сегодня тоже свой маленький праздник: мы решили пожениться!

Все захопала, Ави свистнул, Отилия рядом со мной проговорила: «Наконец-то!» А мы с Таисей молча переглянулись.

Шимон выстрелил хлопушкой, Давид включил магнитофон.

И только выражение лица Люсио было невозможно передать: он стоял с непроглоченным куском за оттопыренной щекой. Его маленькие кабаньи глазки были широко раскрыты. Он переводил взгляд с Брурии на Альфонсо, и в этом, беззащитно читаемом, взгляде были и облегчение, и недоверие, и ненависть... и страдание...

Вдруг он гикнул, вспрыгнул на стул, крутанулся в воздухе, бросился перед Альфонсо на одно колено и, раскинув руки, вскричал:

— О, сеньор! Примите наши искренние, искренние, искреннейшие... !

Альфонсо усмехнулся, сделал какой-то небрежный, отодвигающий жест ладонью и сказал:

— Друзья мои, это пуримский розыгрыш. Браво, Брурия, детка! — И захопал в ладони, и послал на сцену воздушный поцелуй. Его желваки на скулах дергались коротко и сильно.

В зале все растерянно умолкли, и каждый засуетился, делая вид, что занят чем-то своим. Брурия — одинокая, тонкая, в замечательной красоте испанском наряде, продолжала стоять на сцене. Кровь отлила от ее щек настолько, что и без того бледная кожа казалась серой.

Вдруг она сухо улыбнулась и, одними губами проговорив: «О,кэй!..» — мягко спрыгнула со сцены и пошла к выходу.

— Эй! — крикнула она, воздев руки и не оборачиваясь. — Все на Пуримшпиль! Начинаем представление! Люсио, где твои артисты?! Играем вечную пьесу про то, как Эстер обвела царя вокруг пальца!

Глава 17

Потому и назвали эти дни «Пурим» — по имени «пур» — «жребий».

Свиток Эстер

На площади, в закутке за сценой уже нетерпеливо переминались, подпрыгивали, задирали друг друга артисты. Люсио с ходу врвался в их разноразную толпочку, строго покрикивая и поправляя то сбившуюся чалму на чьей-то голове, то скособоченную бороду.

Публика, толпящаяся на площади, уже посвистывала, выкрикивала нечто поощрительное, изнемогала от ожидания.

Люсио прыгнул на сцену.

— Уважаемая публика! Сейчас юные участники театральной студии при Матнасе покажут вам небольшой Пуримшпиль, который они сами и сочинили. Прошу тишины и снисхождения!

И торопливо сошел со сцены, чтобы успеть нацепить на себя атласный халат и величавую курчаво-ассирийскую бороду — он играл в этом самодельном спектакле царя Артаксеркса, или, по-нашему, Ахашвероша.

Заиграла музыка: отчаянно дудели в жестяные дудки три пятиклассника, еще трое колотили в разной величины тарабуки. Получалась, впрочем, довольно забавная и — если можно так выразиться — довольно гармоничная древневосточная какофония.

Торжественно широко вышагивая, вышли два глашатая в чалмах, с накладными носами и бородами, развернули свитки.

— Граждане, внимание! Натяните рейтузы — действие происходит в городе Сузы! — проорали они хором.

— Царь мидийский! — выкрикнул один. — Хрен персидский! — звонко провозгласил другой, и дружно: — А-хаш-ве-рош!

Себе выбирает не пару галош:
Царицу Вашти казнил он сплеча!
Видали такого вы хохмача?
По всей империи народ веселится:
Царь выбирает новую царицу!

И далее что-то в этом роде. Разумеется, я перевожу очень приблизительно. Это был типичный Пуримшпиль, с его рублеными стихами-выкриками в рифму, с его высмеиванием ситуации, подтруниванием над героями. Веселились не только артисты — от души веселилась публика: местное население — благодарный материал для подобных утех. Зрители сразу включаются в действие, отпускают дельные остроумные замечания, подчас даже в рифму — в иврите это не очень сложно.

Итак, повествователей было двое, и они, то по очереди, то соединяясь, бодро катили тележку рассказа по рельсам примитивных рифмованных строк. По ходу дела на сцену выскакивали худенькая вертлявая Эстер, долговязый, словно аршин проглотивший, Мордехай, не желающий склонить выю перед злодеем Аманом (которого играл очень одаренный мальчик — коротышка, упругий как мячик, с очаровательной рожицей, которую не удалось испортить зловещим гримом).

Царя играл сам Люсио. Было истинным удовольствием наблюдать, как он — опытный и талантливый актер — намеренно тушевался, успешно сливаясь в игре с юными артистами. Он играл, как все эти подростки, как вообще принято здесь играть: завывая строчки, надрывая голосовые связки и поминутно протягивая к зрителям руки, словно приглашая их принять участие в действии:

— Лишь только Эстер распахнула глаза,
У царя полетели все тормоза:
Велит он немедленно пир прекратить
И как можно быстрее перины стелить!

После особо ударных реплик, знаменующих какой-нибудь поворотный момент истории, все действующие лица замирали на несколько секунд, как на иллюстрации в старинной книге. Очевидно, таков был замысел режиссера — подчеркнуть древность незамысловатого сюжета этой истории.

В одну из таких немых сцен и встряла Брурия.

С самого начала представления она стояла рядом со сценой, недалеко от меня. Изжелта-бледная, то потирала руки, то обнимала себя за плечи, словно хотела согреться. Надо полагать, она знала текст пьесы, наверняка по должности присутствовала на репетициях. Вне всякого сомнения, ждала определенного момента.

Когда почтенный Мордехай, сжимая руки Эстер, страстно убеждал ее в углу помоста покориться судьбе и не раскрывать царю того обстоятельства, что она еврейка; когда они застыли в немой картине — Эстер, воздевшая к небу руки, и Мордехай, смиренно склонивший голову, — в это самое мгновение раздался громкий, срывающийся голос Брурии:

— Так Мордехай отдал царю сестру, с которой, кстати, спал.
Но это не беда: мужчины поступают так всегда.

Наступила заминка. Артисты смешались. Люсио, мгновенно побледнев, — что особенно было заметно по контрасту со смоляной курчавой бородой, — опустил голову. Так опускает голову владыка, когда ему сообщают о разгроме его армий. Со стороны казалось, что он задумался, замер под взглядами растерянных ребят, молча спрашивавших его — можно ли продолжать действие после непонятной и неожиданной выходки Брурии.

Публика, вытянув шеи, как по команде обернулась туда, откуда раздавалась реплика. Многие, возможно, решили, что по действию Пуримшпиля положен некий оппонент, заранее заготовленный «голос из зала». Впрочем, этот голос из зала публике явно не понравился.

Да, да, существуют некоторые, скажем так, интимные комментарии к свитку Эстер, согласно которым девушка была не только воспитанницей своего по одной версии дяди, по другой — брата Мордехая, но и его суженой. Но на протяжении более чем двухтысячелетней истории они воспринимались простыми людьми крайне негативно. И это понятно: можете что угодно говорить о нравах того времени, можете приводить в пример праотца нашего Авраама, который дважды смирялся с тем, что Сарру брал в жены тот или иной местный царек... все-таки почтенного еврейского мудреца, члена синагории и прочая, прочая — Мордехая традиционно принято считать воспитателем сиротки Эстер.

Народ любит девственниц — героинь, героически жертвующих девственностью во имя его же — народа.

За эти несколько мгновений, стоя в тесноте толпы, я вдруг смятенно поняла, почему с некоторых пор чувствовала к Люсио не просто симпатию, нет: братскую общность участи. Мы были с ним товарищи, мы оба были — жонглеры, фигляры, игрецы, канатоходцы, беззастенчивые хуглары; по-разному, но оба мы отдавали себя в собственность толпы, и обоим нам не к кому было звать, как только к тени обидчика...

После минутного замешательства Люсио поднял голову, едва заметно кивнул ребятам, и действие покатило дальше.

И вот уже злодеями брошен жребий, и проклятый Аман склоняет царя истребить всех евреев, и вот уже царь рассылает гонцов с роковым приказом во все провинции, ко всем народам подвластной ему империи, и вот уже Мордехай, разодрав на себе одежды и надев власяницу в знак поста и траура, велит царице Эстер идти к царю Ахашверощу и просить за народ...

Все это нагнетание известного сюжета сопровождалось яростной колотьбой по тарабуке, истощным дудением в жестяные дудки.

История катилась дальше: Эстер устраивает пир, на который приглашает царя вместе с Аманом.

— О, повелитель, на пир приходи
И Амана, Амана с собой приводи!

Выскочили опять два «сказителя». Когда надо было объяснить действие или сэкономить время, они быстренько в рифму проговаривали то, что режиссер не считал нужным играть.

На пиру, в разгар веселья, Эстер раскрывает царю глаза на злодеяния Амана. Царь в бешенстве выходит, а Аман бросается в ноги царице — умолять о пощаде. В это время возвращается царь:

— Ах, негодяй, предатель, тупица!
Раз меня нет, ты кадришься к царице?!

И по сигналу с обеих сторон помоста к Аману бросились стражники, накрыли лицо его платком и поволокли вон...

Глядя на это, я почему-то обмерла: да, приговоренным к смерти закрывали лицо. Но почему это так на меня подействовало?

Я видела, как осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания, пробирается в публике Альфонсо. Он подкрадывался к Брурии, — она, натянутая как струна, подтанцовывая от нетерпения и судорожно, истерично вскидывая голову, чтобы видеть происходящее на помосте, ждала следующего момента подключиться к действию. Бог знает, что еще она собиралась выкинуть.

— Повесим злодея Амана! — хором вскричали евнухи.

Вновь грохот тамбуринов, натужное сипение дудок, стрекотание трещоток. Дети на площади, поняв, что спектакль подошел к концу, взрывали хлопушки.

Актеры выстроились в ряд для последнего хорового припева:

— Пурим! Пурим! Пусть катятся века:
Из нашего рассказа не выпадет строка!
Да здравствует Эстер!
Да славен Мордехай!

И тогда вновь прозвучал истеричный голос Брурии. Она выкрикнула, перекрывая аплодисменты:

— Беременна Эстер, но Мордехай спокоен:
Мамзер их вырастет
в царских покоях!

Выкрикнув это, она закрыла лицо руками и, шатаясь, наталкиваясь на людей, побрела прочь. На нее налетел Альфонсо, схватил за руку, так что она вскрикнула от боли, и потащил к машине.

Музыка еще играла, публика еще хлопала и свистела, артисты кланялись, а Люсио уже исчез. Он исчез мгновенно, прямо в костюме, как будто, спрыгнув со сцены, провалился в преисподнюю.

Брошенные им ребята минут тридцать еще бродили по Матнасу в гриме, заглядывали в комнаты и спрашивали всех:

— Люсио не видали? Люсио не здесь?

Потом и они разбежались кто куда: на городской площади давно уже шел концерт приглашенных певцов, отовсюду неслась музыка, жонглеры на ходулях перебрасывались цветными палицами чуть ли не через всю площадь.

Темнело, скоро должен был начаться ежегодный фейерверк. Радостная суматоха нарастала. Торжественно по улицам города ехал грузовик с платформой, на которой, покачиваясь, стояли плохо привязанные огромные лупоглазые куклы пуримских героев. За грузовиком бежала толпа, все смешалось — музыка, свист, гороховая грохочущая россыпь тамбуринов, сипение дудок, пулеметные очереди трещоток.

Процессия медленно проехала мимо Матнаса и повернула в сторону городской площади. Шум не то чтобы стих, но несколько отдалился.

Поднялся пыльный ветер, крепко, как упряжь, натягивая рвущиеся прочь по небу тучи.

Глава 18

Ты насытился позором больше, чем славой,
так пей же и ты, и шатайся...

(Из текстов Кумрана)

Между тем в зале Матнаса все было готово к интимному празднику в узком кругу.

Мы с Таисей деловито облачились в костюмы. Красный корсаж, как на блюде, подавал публике богатейшие груди Таисьи. Белый чепец кружавился

вкруг ее каштановых кудрей. Черная, в красных цветах, юбка разбежалась от талии немислимим количеством складок. Я залюбовалась Таисьей и вдруг поняла, что ни один из дорогих ее пиджаков, ни одна блузка от Версаче не идут ей так, как этот театральный, сшитый на живульку, простодушный наряд молочницы из Бретани.

Дерюжку до пят, которая мне досталась, я просто накинула поверх свитера. К ней прилагался плащ с большой серебряной застежкой, высокий островерхий колпак и нечто вроде лютни с пятью обвислыми струнами. На лицо я натянула тривиальную черную маску «домино» и осталась вполне довольна своим видом.

В честь праздника столы были застелены белыми скатертями. В центре красовалось блюдо с зажаренной целиком индюшкой — это расстаралась Отилия.

На столах расставлены были привезенные из театра канделябры. Ави, в каких-то странных, обтягивающих ноги панталонах, в матерчатых остроносых туфлях, суетился, вставляя в канделябры толстые свечи.

— Что здесь, собственно, происходит? — спросила его Таисья.

— Альфонсо распорядился устроить все в соответствии с костюмами рыцарской эпохи, — пояснил Ави. — Велел, чтобы усаживались за стол ровно в восемь, а он появится позже. Вроде какой-то сюрприз готовит. Шимон, зажигай!

Шимон выглядел анекдотично в коротком, опушенном по подолу беличьим мехом кафтане, в красных чулках на тощих ногах, в каком-то странно нахлобученном бархатном берете с торчащим из него полуоципаным пером павлина.

Когда свечи были зажжены, Давид погасил лампы.

Ави, со скользящими тенями на аккуратном смуглом личике, наклонился к Таисье и сказал:

— А Брурия... видела, что она сотворила? Ну зачем, зачем, ей-богу?

Он вздохнул и покивал укоризненно.

— Ну, Брурии, положим, самой сейчас кислотовато, — заметила Таисья. — А где все они, кстати?

Он пожал плечами.

— Ну, садитесь уже! — воскликнула Отилия. — Она ж совсем остынет...

— Подашь в бухгалтерию счет на оплату индюшки, — сказала Адель. Она была одета монахиней и в этом костюме вдруг приобрела новые неожиданные черты, казалось, ее стриженная голова обработана парикмахером с учетом именно черного капюшона. — Вы не поверите, хеврэ, во сколько Матнасу обойдется этот праздник...

Она первой уселась за стол, и все остальные быстро расселись по местам в том порядке, в каком все мы обычно сидели на четверговых заседаниях.

Нежно мелькали, бились над свечами язычки огня, тоненько тянул свои причитания ветер, все притихли, разглядывая друг друга, словно пытаясь догадаться о чем-то тайном, а теперь вот, сегодня, неожиданные костюмы и мерцающий свет свечей открыли и разоблачили эти маленькие и большие, смешные и трагические, отвратительные и унылые тайны.

В сладостном оцепенении я смотрела на застылый рыцарский двор, на застолье придворных. Именно эти, горящие в канделябрах, свечи, эти костюмы, эту глубокую тьму по углам зала представляла я каждый четверг под завывание ветра.

Правда, сейчас все носило бугафорский характер, но если уж разобраться: разве наше воображение — не есть бугафория в чистом виде? Да, на столе не деликатесы из лебеда и павлина и не зажаренный целиком дикий кабан, но на роскошном блюде возлежала самая настоящая отличная индюшка, на которую устремила изголодавшиеся взгляды челядь славного рыцаря Альфонсо...

Паленой шкурой вечного бродяги я вдруг почувствовала напряжение, тревогу в зале. Слишком готово все было для начала пьесы. Слишком ждали все выхода главных действующих лиц.

Отилия сноровисто разделала индюшку и стала раскладывать куски по

тарелкам. Пока Давид и Шимон разливали вино, Ави пытался прочесть что-то в листках, которые он все время вертел и перелистывал.

Наступило странное замешательство, будто никто не знал — что надо делать с тарелкой, полной еды.

— Ну! — воскликнула Отилия. — Или мы ее холодной станем есть?

Все по-прежнему молчали в колеблющемся свете свечей.

— Нет, скажите мне, что это за причуда, — продолжала она, — что мы, праздная свой народный праздник, должны ждать еще каких-то идиотств. Начинайте есть, хеврэ, ну!

— К черту! — вдруг проговорил мрачно Шимон. — Хватит с меня! Я включаю свет.

Но его остановили, опасаясь непредсказуемой ярости Альфонсо.

— Ешьте, ешьте, — приговаривал Ави. — Выпьем за праздник. Сказано же — все по... — Он достал листки, разложил на столе, возле тарелки. — Вот: все по сценарию.

— Давайте, пока хозяина нет, мы не по сценарию — выпьем за праздник, — вздохнув, проговорил Ави, — как сказано у нас в ТАНАХе: «Дайте вина огорченному душой! И пусть он выпьет, и забудет о своих страданиях, и не вспомнит о своей бедности!»...

Булькнуло вино в наклоненной бутылке.

— Но, Ави, в другом месте у нас в ТАНАХе сказано: «Вино глумливо!» — возразил Шимон.

— Что я в них люблю, — громко, через стол сказала мне по-русски Таисья, — дураки-дураками, — но какой прочный библейский фундамент!

Я тоже уплетала жареное мясо за обе щеки. Головная боль к тому времени почти совсем прошла, значит, вскоре должен начаться дождь. Свою бутафорскую лютню я положила на колени, но от неловкого моего движения она соскользнула на пол, издав протяжное дребезжание.

Я наклонилась за лютней и провела пальцами по струнам. Звук получился странный, но не струнный, а какой-то скорее волыночный: глухая волынка с короткими дребезжащими вздохами.

— Сейчас я стану услаждать весельем ваши сердца! — несколько неожиданно для себя самой сказала я.

И стала перебирать эти струны в самых непреднамеренных комбинациях. Дикая, заунывная, неулловимо средневековая музыка заполнила зал: бряканье, всхлипы, стоны...

Люди за столом притихли, пугливые тени шарахались вдоль стен в такт мельтешению огоньков на столе. Язычки огней вились над канделябрами, тянулись тонкими багровыми лезвиями вверх, валились набок, колыхались, и так же нервно, прерывисто вздыхали по углам призраки, шелестели подолами теней.

И в эту минуту звук рога надсадно прорезал просторы замка, как будто великан долго и трубно прочищает нос. Давид и Отилия даже вскочили с мест. А я так просто на секунду предположила, что опущен подвесной мост и сеньор возвращается в замок с охоты на кабана.

Из лобби Матнаса распахнулась дверь и — торжествующий, в бутафорских латах, верхом на осле, одолженном из живого уголка, в зал победоносно въехал рыцарь Альфонсо.

На нем был пластинчатый готический доспех, а на голове — шлем «Басинет», или, как их называли в Германии, «Собачья морда».

В одной руке он держал большой норманнский щит, в другой — меч с массивным набалдашником на рукояти.

Публика онемела. Шоковая тишина шелестела в зале, шевелились язычки огней, шепотом чертыхнулась Отилия.

(На этот раз рыцарь Альфонсо Человечный перешел некую культурную границу. Евреи всегда тщательно отделяли в быту существование человека от существования животных. Даже сегодня содержание в квартире такого близкого человеку, такого одухотворенного существа, как собака, среди израильтян встречается куда реже, чем среди нашего брата, «выходца».)

Въехать на осле — пусть даже во время карнавала — в зал, где сидят и празднуют пурымскую трапезу, было вопиющим нарушением всех правил приличия.

— Да, — сказала мне Таисья по-русски, ее прекрасные половецкие глаза горели восторгом, — этого костюма он еще не демонстрировал.

Это был не директор, привычный и надоевший всем крикун-начальник; не вздорный фантазер, бездеятельный, кипучий и бездушный; не манекенщик, которого зачем-то природа наградила великолепным сложением и лучезарной улыбкой.

То был рыцарь Альфонсо Человечный: его суровый чеканный профиль, широкие плечи, длинные руки с сильными кистями и вся суховатая поджарая фигура словно созданы для этого, единственно подходящего ему, одеяния. Как хрустальная туфелька пришлось впору изящной ножке Золушки, так взятый напрокат театральный готический доспех тютелька в тютельку пришелся директору Матнаса.

— Эй, вассалы, челядь моя! — весело проорал рыцарь Альфонсо. — Почему не приветствуете своего господина?! Герой Испании Сид Кампеадор въезжает в замок на своей славной кобылке Бабьке! Ави, черт возьми, ты так и не прочел сценарий, бездарь?!

Ави вскочил, размахивая листками, достал очки...

— Ладно, садись! — велел господин, слез с осла, привязал его к трубе кондиционера и, сняв шлем, сел к столу.

— Трапеза продолжается! — воскликнул рыцарь.

— Альфонсо, давай я включу свет, — попросил Шимон.

— Трапеза продолжается! — повысил голос сеньор. — Шимон, сядь, болван, и не порть мне карнавал. Почему вы не умеете самозабвенно веселиться, идиоты? Благородная дама Отилия, не хочешь ли усладить мою душу беседой о поэзии?

— Чего это? — испугалась Отилия. — Альфонсо, ты попробуй индюшку.

Тут Ави встрял со своими бумажками:

— Альфонсо, тут написано: «услаждает душу рыцаря беседой благородная дама Брурия»...

— Брурия больна! — оборвал его рыцарь. — А вы, придурки, не могли найти замену?

Он сам налил себе вина, положил на тарелку еды. Видно было, что ему крайне неловко в этом одеянии. Он был раздражен, встревожен, и, повидимому, только какие-то, им самим для себя установленные, правила приличия заставляли его доигрывать сегодняшний спектакль до конца.

Осел в зале для культурных мероприятий был настолько неуместен, что никому кусок в горло не лез.

Даже невозмутимая Адель спросила в замешательстве:

— Альфонсо, во сколько нам станет прокат осла?

Но рыцарь лишь отмахнулся от своего казначея.

— Музыка! — воскликнул он вдруг. — Я не слышу музыки! Где хуглары, жонглеры и игрецы, которым я дал приют в своем замке, — неужели и они, неблагодарные, откажутся усладить слух рыцаря?

Я затеребила струны своей бутафорской лютни, готовясь на ходу приформатывать какую-нибудь рифмованную чепуху — моего иврита на это хватило бы... Но перебил меня сам Альфонсо.

— Почему вы дохнете со скуки! — спросил он грозно. — Посмотрите на ваши унылые морды — как будто вас насильно заставили облачиться в карнавальные костюмы, как будто сегодня не праздник, в который нам запеведано веселиться до упаду... Где мой любимый шут Люсио?

И сразу же после этих слов...

Да-да, я понимаю, что все это выглядит шитым белыми нитками фокусом, но, скорее всего, именно этих слов, — а они, вероятно, присутствовали в сценарии, который, возможно, сам он и писал, — из-за портьеры вышла темная фигура в тяжелых латах, сделанных так здорово, что выглядели они как настоящие, в отличие от явно театрального костюма Альфонсо.

Это был отличный максимилиановский доспех, выполненный с кропотливой точностью. Я обратила внимание, что над шлемом «армэ» даже колыхались разноцветные перья плюмажа. В руке он сжимал короткий острый меч, холодно блеснувший сталью в свете канделябров.

Я же испытала мгновенный острый страх: увидела поворотную точку сюжета, с которой действие неотвратимо несетя к концу. Таисья даже не подозревала, какие пророческие слова она произнесла, когда пообещала мне, что финал пьесы мы досмотрим из первых рядов партера. При всем своим таланте — поняла я — он не мог изготовить этот прекрасный костюм за несколько часов. Он делал его все эти дни подготовки к празднику. Значит, готовился к последнему бою.

Сначала никто не понял, что это — Люсио. Что-то такое он сделал, что казался выше своего роста. И только когда заговорил...

— Скажи, о благородный рыцарь, — раздался спокойный голос из-за забрала шлема, — может ли шут вызвать своего господина на поединок?

— Ты что — рехнулся? — вспыхнул Альфонсо. Он растерялся, кажется, сначала даже испугался, и этот его испуг не прошел не замеченным для всех нас. Люсио же — я уверена! — наслаждался сполна первыми секундами этого липкого страха. Впрочем, через мгновение Альфонсо взял себя в руки.

— С какой стати ты идешь вразрез со сценарием! — крикнул он. — Мы же договорились! Ты... ты должен надеть костюм шута, и все! Ты же прицепил поющие бубенцы, приготовил волюнку — где все это? Где куплеты, которые ты сочинил на днях? Спой всем — они подохнут со смеху! Ты — шут, понимаешь, шут! В моем замке не бывать двум сеньорам!

— Это правда. — неожиданно насмешливо ответил Люсио. — Тем более мне ничего не остается, как только вызвать тебя на поединок.

— Ты что..! Спятил? Да ты совсем одурел, их де путта! — Альфонсо вскочил, он был в полном смятении. — Из-за чего?

— Из-за прекрасной дамы, конечно же! — подхватил шут, переодетый рыцарем. — Ну-ну, мой господин, а ты, видать, со всеми своими претензиями на вечную смену костюмов сам не слишком-то способен к перевоплощениям?

Он говорил необыкновенно звучным, завораживающим голосом.

Так он и звучал, его голос — я впервые услышала, как мастерски Люсио владеет интонацией, жестом, паузой. Впервые я поняла — как чертовски он талантлив, каким выдающимся актером, режиссером, художником мог бы стать, если б не его любовь к маленькой изящной женщине с блудливой полуулыбкой на глянцево лице резной девы Марии.

— Смелее, ну! Смелее в роль входи, ведь ты сеньор, ты благороден! Тебе сразиться в поединке за честь твоей прекрасной дамы...

Продолжая декламировать то ли из какой-то пьесы, то ли собственного сочинения вирши, Люсио поигрывал своим коротким мечом и приглашающе делал выпады в сторону Альфонсо.

— Ау, сеньор! Да ты, никак, трусил! Так что же — дама без присмотра и без охраны, а? Я, пожалуй, прикарманю ее, тем более что по закону она мне и принадлежит. No vale!

Альфонсо вскочил, отбросил легкий пластиковый стул.

— Пошел к черту! — заорал он, тоже хватая бутафорский меч. — Ты мне осточертел со своими сволочными штуками! Жалкий комик, шут, ничтожество! Nano! Ты мне... ты мне жизнь сломал! Я... ненавижу тебя!! Я тебя убью!!

Он кинулся на Люсио и плашмя треснул его по голове своим фанерным оружием. Тот отпрыгнул и захохотал. И с этого мгновения они перешли на хриплый, короткий, яростный испанский...

Все мы давно уже вскочили со своих мест и жались по стенам, беспомощно наблюдая эту нелепо театральную и все-таки подлинную сцену. Мы с Таисьей оказались по разные стороны зала.

— Хватит! — крикнула она. — Прекратите!

И заметалась, пытаясь выбраться из зала, — вызвать полицию, но не смогла пробиться к дверям.

Они уже дрались, не обращая внимания ни на кого вокруг. Станным образом, оба они почему-то не решались сцепиться по-настоящему, в тесной

мужской кулачной драке. А может, им мешали костюмы. Во всяком случае, они остервенело лупили друг друга бутафорским оружием, тяжело дыша, выкрикивая по-испански все, что каждый из них держал при себе много лет. Это было и страшно, и дико, и смешно — словно в вывернутой наизнанку пьесе по роману Сервантеса — Рыцарь Печального Образа дрался со своим верным оруженосцем. А привязанный осел понуро перетаптывался у стены.

Никто не мог понять — что происходит. От взмахов мечей, от беготни, хриплых выкриков и тяжелого дыхания свечи погасли, стало темно и душно, пахло прогорклым дымом свечей, потным испуганным животным. Дико взывал на балконе ветер, а в середине зала металась тень двух рыцарей в карнавальных костюмах.

— Да разнимите их! — опять прокричала Таисья. — Господи, мужики, ну что вы стоите — Давид, Шимон, хватайте их, растаскивайте!

В этот миг Люсио коротким взмахом меча проткнул норманнский щит Альфонсо, и тот вдруг качнулся, тонко вскрикнул, прынул в сторону и ринулся из зала. Люсио бросился за ним — они выбежали на пустую площадь, и длинноногий Альфонсо стал быстро удаляться в сторону развалин монастыря. Люсио бежал за ним, на ходу срывая с себя доспехи, замедляющие бег. Через несколько минут они промелькнули — один за другим — на горке, откуда я обычно любовалась видом Иерусалима (две черные смешные фигурки на фоне тяжело и вкось несущегося неба), затем пропали.

Все мы, весь цвет Матнаса, выскочивший следом на площадь, растерянно смотрели им вслед.

— Надо их догнать! — волнуясь, говорила Таисья. — Догнать, пока не поздно...

Ави махнул рукой:

— Пусть выпустят пар, это давно копилось. Ну, подерутся!

— Подерутся-разберутся, — задумчиво сказал Шимон.

— Они ничего не понимают, дурачье! — в сердцах бросила мне по-русски Таисья. — Пойду-ка позвоню в полицию. Плохо дело, милка моя!

Шелестя крахмальными юбками, она побежала к лестнице на второй этаж.

Вдруг неподалеку ахнула пушка, и все мы вздрогнули и задрали головы. Из яркой рубиновой завязи в черном небе мгновенно расцвели и прыснули вниз гранатовые косточки. Не успели первые огни стечь по глянцево-черному небу алыми дорожками, как вновь ахнула пушка и бирюзовые клубни завертелись, вспыхнули, растеклись по небу. Так хлопья снега ударяют о стекло и бессильно стекают мокрыми дорожками. Один за другим раздавались удары, после которых со всех сторон неслись восторженные крики, свист, вой, — и в небе, внахлест взрываясь миллионами разноцветных брызг, чередовались все новые и новые развесистые пиротехнические клюквы.

— Ну, я по горло сыта этими гойскими развлечениями, — с досадой проговорила Отилия. И ушла в зал — переодеваться, убирать со стола.

Вскоре появилась заплаканная Таисья.

— Их поищут, — сказала она. — А я позвонила Шварцу, чтоб приехал, отвез меня домой. Все, отвеселилась.

Минут через десять явился Моше из живого уголка — забрать арендованного на час ослика.

Вместе с Давидом и Ави мы помогли Отилии привести в порядок зал, и я потащила домой прямо так, не сняв с себя долгополой дерюги, в высоком островерхом колпаке, повесив лютню на плечо.

На въезде в город, под музыку джаз-банда недвижно плыл, рассекая каменные волны гомады, мост-корабль, то пропадая во тьме, то озаряясь вновь, и трепещущий на ветру транспарант вспыхивал под огнями салюта и золотым, и красным, и зеленым парусом...

Эпилог

Мне же хочется отправиться в ад, ибо в ад идут отменные ученые, добрые рыцари, погибшие на турнирах... Туда же идут прекрасные благородные дамы, что имеют по два или по три возлюбленных, не считая их мужей; туда идут игрицы на арфе, жонглеры и короли нашего мира.

«Окассен и Николетта»

Люсио нашли на дне пустой водяной цистерны монастыря Мартириус.

В парке еще играла музыка, жонглеры, манипулируя тарелками и цветными обручами, ковыляли на ходулях меж группами детишек и взрослых, в воздухе носились надутые серебристо-фиолетовые сердца, шары, разрисованные потешными рожами.

Еще поминутно ухала пушка, посылая в черное небо сверкающие лилии, розы, гвоздики и астры; еще гремели и вспыхивали фейерверки, но уже мчались, разрывая воем праздник, машины полиции и амбуланса.

И вдруг хлынул дождь, настоящий дождь, первый настоящий дождь в эту засушливую, зашорканную наждачными ветрами зиму.

Всю ночь хлестал косой ливень, полоскался тяжелый водяной парус, бурлили реки на тротуарах, утробно хлюпали водосточные трубы. Всю ночь по слоистому темному небу продолжался безумный бег дымных туч.

На рассвете дождь стал стихать. Небо прояснилось, высветлив мокрый камень домов... В городском парке, в окружении фиолетовых кустов бугенвиллий, среди ярко-зеленой, в мельчайших брызгах, травы, подогнув хобот и расстелив уши, уютно лежал на круглом постаменте блестящий темно-бронзовый слоненок...

Гигантская, идеальной формы и красоты радуга одной ногой стояла в ущелье, а другой ступала куда-то вдаль, за Иорданские горы. И в леденцовом витраже ее венецианского окна сквозили колокольня «Елеонской обители» и башня университета на Скопусе.

Потом и она стала таять, медленно тонуть, погружаясь в воздушные пучины, и вскоре они сомкнулись над ней... Светлейший перламутр неба засиял чистыми тонами кобальта голубого...

Итак, Люсио нашли на дне пустой водяной цистерны монастыря Мартириус. Говорили, что он сорвался с железной лесенки и — судя по глубокой рваной ране, — падая, напоролся боком на, в сущности, тупой бутафорский меч.

Долгое время меня упорно преследовало желание спуститься туда и поискать — но что? Какие следы могла бы найти я во влажной темноте подвала?

Нас всех вызывали в полицию и беседовали с каждым. Да, показали все, у «наших испанцев» произошла ссора, да, немножко подрались. Но у Альфонсо, как выяснилось, в момент смерти Люсио имелось безусловное алиби: он сидел в квартире у Брурии, куда прибежал в состоянии страшного возбуждения, плакал всю ночь и пил бренди. И та это подтвердила.

Это было последней удавкой, накинутой сильной женщиной на рыцарственную шею нашего жалкого директора: месяца через полтора они тихо вернулись вдвоем в Аргентину, откуда и прибыли несколько лет назад.

(Что касается жены Люсио, спустя месяца два после происшествия она разрешилась мертвым ребенком. По-видимому, говоря высоким слогом — а могучий рельеф земной коры в нашей местности к этому располагал, — Всевышний не захотел ягненка из-под этой женщины...)

Вялое расследование тянулось недели три, пока не заглохло: «спина» Альфонсо в последний раз мобилизовала все свои мышцы.

Следователь задавал дурацкие вопросы, например — за каким чертом малышу приспичило лезть в подвал монастыря?

— Ему там нравилось, — сказала я.

— Нравилось?! — вытаращил глаза офицер полиции.

— Ну да. Однажды он сказал, что хотел бы там умереть.

Так что следствие остановилось на версии «несчастный случай».

Могло ли быть такое? Наверное, могло. Но мне бы хотелось думать, мне бы хотелось представить... словом, мое проклятое кровожадное воображение рисует маленького нелепого человечка, разрываемого непереносимой тоской, ревностью и отвращением к себе.

Гордый мой товарищ, — он не взывал к тени обидчика, он погнался за нею, а настиг самого себя.

Трагический герой, жонглер, канатоходец, шут — он сочинил балладу своей жизни, своей любви, своей смерти и неукоснительно следовал сюжету. Ловко управляя крестовиной страшной марионетки, он вел на ниточках собственную смерть к последнему прибежищу.

Я вижу трех монахов, склонившихся над бедным телом в струящемся полумраке старой водяной цистерны, и верю, что Георгиос, Иоханнес и Элпидиус, обходившие владения своего монастыря, в личной беседе, по молчаливому уговору позволили ему уйти из этой мучительной жизни.

И он ушел, он покинул ее, он бежал. Бежал со смертельной раной в боку — последний кабан из лесов Понтеведра.

1996—98 гг.

Иерусалим

Новелла Матвеева

Круговращение дня



Овсяные гусли

I. Попутчики овса

В луче — аквамарин, как под линзой,
В тени — как голубое молоко,
Не связанный с драчливцем и подлизой —
Слепящим сорняковым рококо,

Осуществляет он свой шепот звонкий.
Лишь — мессершмиттом — свалится оса
В серебряное курево овса,
Да муравей протопает сторонкой,

Да василек индиговый (синей
Всего, что синей!) из седых корней
Вдруг прорастет, — запутавшись, однако,

В лучистых стеблях, — потому: как раз
Неизобилен у святого злака
Навязчивых попутчиков запас.

II

Синюю песню подснежника
Жаворонок озеленил.

Иван Киуру. Ода жаворонку

Тем красочнее музыка, чем строже
Звук выверен, доходчивости для,
Чем реже краски, тем они дороже
Овсяным далям пасмурного дня.

Но «инструмент» овса не обееструнен:
На что ему горячий тон трясин?
На солнце он, как лунный камень, лунен,
А к сумеркам — своею синью синь.

Но, радугами дым овса осыпав,
Кто там журчит? Кто (вечный тип из типов)
Из чаши, запрокидываясь, пьет?

Живое божество или пичуга?
То жаворонок, — маленький пьянчуга,
А чаша ему — целый небосвод!

Черемуховый вечер

...Как будто пропали. И снова
Возникли на повороте...
А вот обронили два слова
О жалости к дикой природе...
Но все-таки, так или этак,
Сломали по несколько веток...

Диск солнца спускается в зелень,
Малиновой дымкой повитый.
Деревья собой потемнели,
И в воздухе жук басовитый
Летает, как эльф. (Но, пожалуй,
Эльф опытный, эльф —
возмужалый!)

А люди, как духи на взлете,
Тропинками белыми бродят.
Но мысли о сне и дремоте

И в голову им не приходят,
И даже сюжеты из быта
Звучат в их устах — не избито.

Черемухи рыхлые хлопья
О снеге напоминают,
Но только дыханьем; лишь только
благоуханием — т а ю т.
И сладостно таянье это
В начале цветущего лета.

Задерживаются на платях,
На шляпах соломенных — грозди...
Но думать силком удержать их
В пространстве и времени —

бросьте!

Цветы не бывают иными.
И что ты поделаешь с ними?

9 августа 1998

Яблоня Шекспира

I. Каких еще свидетельств?

Кто спал под яблоней, которую потом
Селяне разнесли на щепки-сувениры?
(«Кто следующий, — как спросил бы Штейн, — в Шекспиры», —
Чтоб пусто не было на месте на святом,

Но и... святых там чтобы не было?) Придиры!
Кто с кучей бражников, доподлинных при том,
Всю ночь кутил на спор, а утром клял трактиры?
Кто, крепко выпавшись на дерне золотом

И потянувшись всласть, как выпрямленный куст,
Вдруг сочинил куплет (оставшийся в анналах)
О местностях кривых и пьянках небывалых?
(Кто «выдумал» сей стих для «выдуманных» уст?),

Кто ПЕРЕПИЛ БЫ ВСЕХ, — будь он Мечта и Сказка?
Но он был п о д л и н н ы й и... потерпел фиаско.

17 августа 1997

II. Народное признание

Нет бэконовской яблони, поверь!
И ретлендовской тоже не нашли.
Нет больше и шекспировской теперь,
Но только потому, что разнесли

На памятки! И даже корень сгнил
У старого священника в ларе!
Ты скажешь: «Это кто-то сочинил»?
Ан речь пойдет не об одном «врале»!

Тебе придется обвинить во лжи
С десяток тех, с кем чарочку распил
Поэт — живьем! При ком стихи сложил;

Их сыновей. Их внуков. Их гостей,
Раздергавших на миллион частей
Альков зеленый тот, где спал Шекспир.

Август 1997

III. Припозднившиеся

Не будь захожий путник — из великих,
Кто стал бы вслед его превозносить?
И яблоню, в чьих тенях мирно-диких
Он спал, — на талисманы разносить?

Незловивым и непредубежденным,
Нормальным современникам видней, —
С КЕМ их свела простая смена дней, —
Чем плутам, ч е р е з т р и с т а л е т
рожденным!

Но, их послушать, так у них в руках
История! Им кажется: чем дале
Отъехали, тем зорче увидали
Зазор на шляпке желудя... (В веках!)

И топают ногой, полны протеста,
Всем, наблюдавшим ВО-ВРЕМЯ¹ и С МЕСТА.

Август, 1997

О воровстве

Уж если сказано: «Кто лжет — не существует»,
То что сказать про тварь, которая *ворует*?

Необитаема ничтожества обитель.
Но если лжец — *нигде*, еще *нигде* — грабитель.

Бывают виды лжи и несуществованья,
Которым и мудрец не подберет названья!

А где названья нет, там нет и наказанья.
Лишь честному даны
Жизнь,
Имя
И терзанье.

Ноябрь, 1998

Авторитеты

Кто бьет дубьем, кто палкой, кто кастетом.
Кто вора, кто коллегу, кто — слугу.
А этот — нас. Чужим авторитетом.
Давайте не останемся в долгу!

Довольно! Я представить не могу,
Чтоб вещей разум, солнцу равный светом,
Стал... кочергой, балясиной! Предметом
Для деланья из ближнего — рагу!

Что ж гений? — антикварная дубина?
(Глаза из яшмы? Ротик — два рубина?
Шипы на месте носа и волос?)
Отрадно быть художником, поэтом.
Но эка доблесть! — быть *авторитетом*
И непрестанно бить кого-то в нос!

Лето 1972

Круговращение дня

Темь схлынула. Рассвет прозрачно-зрячий
В полуулыбке тайного огня
Не тратил сил, но справился с задачей
И высек блеск из каждого кремня.

За кругом круг — подобно кольцам пня —
Зной раздвигал пределы. Тем богаче
Кусачесть лета (стрелами апачей
Незримых!) иззаношила меня.

Закат горячий из своих плавленен
Сначала бурыми, как шоколад,
Но черными затем деревья вывел...

Ночь. Искрою мерцает спутник в сини;
Там, за нагромождением прохлад,
Затерянный в космической пустыне.

Август 1997

Константин Плешаков

Рассказы



Поживший принц

ЖСР

Шел седьмой час вечера, и на ступенях мавзолея Махмуда Второго сидели мальчишки.

Солнце валилось за Чемберлиташ в багровом весеннем дыму, и остроногие тени мальчиков на глазах вытягивались все дальше на восток, в сторону серого Мраморного моря. Только Аллах ведал, что делали дети на Чемберлиташ каждый вечер в этот час, но только они не гремели ящиками с сапожной ваксой, не зазывали в лавку с красными коврами и не тянули прохожих за рукав взглянуть на мавзолей Махмуда Второго — Махмуда Второго, на погребении которого, как сообщает соответствующая надпись на саркофаге, плакали даже враги — последние, впрочем, от неудержимой радости. Они вертели головами, как стайка щеглов, сплевывали под ноги, болтали и курили. В окружении коммивояжеров, проституток и сводников казалось, что дети с каждым часом взрослеют. По вечерам поживший принц глядел на мальчиков из окна.

«Это было невероятное, неправдоподобное, никогда и нигде не виданное прежде время. По всей стране, от Москвы до Петропавловска, состояния вырастали из воздуха за месяц и уничтожались до основания одним черным днем на бирже. Генералы продавали противнику танки и самолеты. Двухлетние мальчишки командовали финансовыми империями. Знаменитые артисты повелевали армиями убийц. Люди, только вчера лупившие воблу о стены пивных палаток, сегодня въезжали в мраморные дворцы. Человек, выходивший из такого дворца утром, вечером часто уже лежал с раскроенным затылком лицом в грязь. Кровь вообще внезапно хлынула на улицы, как вино из разгромленного толпой погреба. Напрасно богатые сзывали к своим дверям охрану в пятнистых комбинезонах. Напрасно бедные пугливо жались к чахлым фонарям. Богатых пристреливали в шикарных подъездах высоток, на еще пахнущих цементом дачах и в их же собственных длиннейших черных лимузинах. Их кабинеты окуривали смертоносными ядами, их детей выкрадывали из школ, их дома взрывали и поджигали. Иногда в них даже палили из гранатометов.

Бедных добивали горлышками от бутылок и ножами, взыскав их тощих кошельков, которые на самом деле не стоили почти ничего. Нигде и никому не было спасения или хотя бы тихой жизни. Старухи месяцами не выходили на улицу — но однажды открывали дверь пьяному племяннику. Мошенники бежали в далекие теплые страны, но рано или поздно их все равно неминуемо находили мертвыми в примятых придорожных кустах. Если они сдавались местной полиции и запирались в надежных европейских камерах, чтобы рассылать оттуда наглые приказы в Москву, Таллинн и Ашхабад, то все равно в конечном счете кто-то неминуемо доставал их и в надежной тюрьме за бронированной дверью. Человеческая жизнь получила наконец цену и стоила совершенно определенную сумму — в зависимости от обстоятельств: либо грамм анаши, либо месячную получку, либо пятьдесят тысяч долларов. Убийцы торговались с нанимателями до хрипоты и глухо соревновались друг с другом.

Эпидемия самоубийств охватила города. Бомжи бросались с мостов, сжимая в руках пакеты с тряпками и водкой. Запутавшиеся в долгах финансисты с испуганным мычанием ловили пулю ртом. Отчаявшиеся в любви подростки стрелялись из отцовских ружей. Старухи травились газом. Маршалы вешались.

Оружие наводило страну. Не было на свете такого ствола, которого нельзя было бы теперь найти если не во Владивостоке, то в Москве или Питере. В витринах без боязни акульными зубами скалились запрещенные ножи. Школьники ходили с обрезам. Не было в целой стране кабинета, дверь в который не открывалась бы пинком. Нефтепромышленники посылали на смерть целые армейские дивизии. Банкиры сновали из одной столицы в другую, верша государственные дела. Бандиты принимали бюджет. Убийцы с широкими улыбками встречали в аэропорту президентов иностранных государств. Все понимали, что происходящее в парламенте или совете министров не имеет никакого отношения к реальной жизни. Фракции и группки, вцепляющиеся друг другу в загривки перед телекамерами, после драки скопом отправлялись в тайные клубы, где в окружении дорогих шлюх мирно вели переговоры о нефти Кавказа, алмазах Якутии и киргизском маке. Было понятно, что все дебаты и свары, раздувавшиеся послушными газетами, были не более чем пеней; грязной, поспешно организованной поверхностью, под которой клубились золото, зеленые банкноты и кровь.

Страна стала огромным игорным домом, в котором раздевали до нитки, продавали сами столы, крупье, охранников и игроков. Понятно было и другое: верить в этой стране было некому, потому что все стало на продажу, а если не на продажу, то на быструю и корыстную мену. Верить можно было только самому себе, и то если тобой уже не командовали алкоголь, наркотики или вообще черное безумие.

Страшные созидательные силы завладели страной. То, что они строили, используя прежний и теперешний рабский труд миллионов, выглядело дико, величественно и страшно, и была во всем этом какая-то ужасающая разбойничья красота.

Никогда страна не была полна таких обольстительных женщин и красивых мужчин. Никогда столица не видала такого дорогого эластичного белья, лоснящихся кожаных поясов и сумок, таких сверкающих штиблет и туфель на шпильках, таких кованых блестящих платьев, отлитых из невесомых металлов пиджаков, таких промытых, завитых и напомаженных волос. Никогда в жизни Россия не видывала такого количества золота. Килограммы, центнеры, тонны золота колыхались на руках и шеях. Толстые дутые парижские кольца оковывали пальцы. Изумрудные змеи щурили рубиновые глаза. Алмазы шитом лежали на горле. Инкрустированные цепи оплетали руки. Московские красавицы носили колье, которые помнили Марию Антуанетту. Из-за океана тащили Фаберже и выставляли его в новехоньких курительных комнатах, в хрустальных горках под тропическими фонтанами. Церковное серебро украшало столы. Ризы — стены. Драгоценные кинжалы и сабли удавами повисали в гостиных. Огромные наперсные кресты с аметистами и бриллиантами колыхались в разрезах черных мужских рубашек.

Над городами витали новейшие запахи европейских парфюмов, которые свели бы с ума Большие Бульвары. Сияющие авто будили грязные переулки. Фрукты, о которых десять лет назад и слыхом не слыхивали, ныне продавались и на беднейших рынках. Особняки подымались на месте трупоб и по окоему болот. Зимние сады наполнялись пальмами и попугаями. Бассейны — осетрами и китайскими рыбками. Мраморные мозаики превосходили Равенну. Вокруг Москвы разбивались версальские парки. Цветочные магазины предлагали орхидеи и розы, которые скупали десятками, небрежно передавая продавщицам мятые купюры, принимая в руки огромные букеты в зеркальной бумаге, перевязанные атласными лентами, как младенцы, — и все ради того, чтобы бросить это дорогое великолепие к ногам какой-нибудь случайной шлюхи. Москва вдруг покрывалась жиром невиданной еды. Ветчины, окорока, буженина, грудинка, колбасы, сыры распирали прилавки. Блестела говядина, розовела свинина, матово лоснились семга, осетр и лосось. Серебристыми штабелями лежала форель. Захрустели корочки отличного поджаристого хлеба, запахло маслинами и шоколадом. Запрыгали по витринам тонкие

бутылки немецких вин, толстые итальянские бутылки, броская французская тара, разлилось море водки; джин, коньяк и виски зашагали по прилавкам, по углам расселись приземистые пузыри с ликерами.

У бедных сводило ребра от всего этого. Богатые же вдруг стали есть мало. Они открыли, что тело должно быть красивым. Забурлили пузырьками джакузи, запылали огнями спортзалы с дивными машинами, заплескала вода о белые бортики бассейнов, забегали по бульварам люди в радужных спортивных костюмах, а экран все твердил, твердил и твердил, что нужно быть чистым, нежным и железным, и забились под пиджаками немислимые бицепсы, и заколыхались животы под руками массажистов, и запенилась в ночных клубах полезная минеральная вода... В те годы Москва не спала ночи. Закричали, загудели диск-жокеи, по-адски замигали окна клубов, понеслась из черных дверей оглушительная музыка, потянулись туда одетые кое-как пары и стильные одиночки, зарокотали моторы у освещенных подзедов. Дрыгали ногами стриптизеры и стриптизерши, пахло потом, сигаретами и пудрой, дразняще приспускалось дизайнерское белье, гремел тяжелый рок, и кто-то уже сопел в темной комнатке на втором этаже, торопливо входя в незнакомое горячее тело... Перетекали толпы из клуба в клуб, из клуба в бар, из бара в бильярдную, из бильярдной в ресторан, на ранний, шестичасовой завтрак...

Загудел, заволновался и мир так называемого духа. Вся страна вдруг окрестилась золотыми маковками церковей, заголосили протяжно попы, потянулись толпы на исповедь, зашелестели кисточки иконописцев. В мастерских спешно ковались миллионы крестиков: «Спаси и сохрани». Над Москвой вздыбился вавилонский, отстроенный нечестивцами-турками храм. Зазвенькали колокола, запели тысячи хоров, заньли юродивые, зашептали нищие на паперти... Слетались в страну миссионеры в глухих белых воротничках (и без), повезли украшенные кружевами статуи из Лиссабона, заприседали буддистские монахи в оранжевых тогах, запахло диковинными благовониями в арбатских переулках, загомонили толпы бритых пляшущих людей, и одним дуновением уст только заговорили москвичи о черной мессе, исполняемой в нарядных богатых квартирах...

Немыслимые возможности кружили головы людям. Кто-то неделями блуждал в сухих греческих горах в поисках не то тайн Диониса, не то просто каких-то необыкновенных событий. Кто-то ставил в далеких северных лесах темные часовни. Кто-то вгрызался в Уральские горы в поисках золота и еще большего золота. Кто-то нанимал вертолет и часами гонял над Большим Барьерным Рифом, высматривая синие спины акул. Кто-то торговал «стингерами». Кто-то как в омут головой уходил в монастырь под Миланом. Кто-то отправлялся в тибетские долины ловить бесценных бабочек, любимых коллекционерами Франкфурта и Нью-Орлеана. Кто-то скупал гектары сибирских лесов и самолетами свозил туда приятелей со всего мира на охоту. Кто-то с отчаянностью прожигал жизнь в борделях Азии. Кто-то провозглашал себя императором. Кто-то запускал в производство зоофилический журнал. Кто-то просто хлебал ведрами новопоявившийся виски.

Далекий когда-то мир вдруг приблизился. Забренчали звонки в Мекку, Лос-Анджелес, Париж и Стамбул. Толпы юношей с сотовыми телефонами осаждали абонентов в Бангкоке, Токио и Сингапуре. Серыми птицами слетались со всего мира факсы. Интернет завязывал в тугие узлы состояния, идеи и судьбы. Переполненные самолеты с трудом отрывались от аэродромных полей и устремлялись на Запад и Восток. Аэропорты захлебывались в людских потоках. Таможня изнемогала под напором персидских ковров, берлинских костюмов и мутных колумбийских изумрудов.

Нищие стаями ворон заполнили столицу и шедшие к ней поезда. Трясли обрубками рук, заголяли страшные язвы, кричали о пожарах, войнах и море. Цыганские дети бритвами вырезали бумажники из сумок, стаскивали кольца с рук доверчивых зевак. Картонные плакаты, вопившие о бедности, шевелились в метро. Здесь же, в переходах, покупали валюту, камни и золото.

Вчерашние коммунистические бонзы, все еще владельцы дорогущих квартир, на рассвете копались в помойках. Просили милостыню ветераны Афганистана и Чечни. Чернобыльцы умирали десятками. В маленьких

нищих городках женщины отказывались рожать. Солдаты в гарнизонах вырезали целые караулы и убегали в столицу. По лесам слонялись обкурившиеся плана дезертиры с автоматами. В стране стало рождаться меньше детей, но никогда прежде люди не искали друг друга с такой отчаянностью. В неделю рушились тридцатилетние, идущие на медаль, семьи. В метро люди бесстыдно меряли друг друга взглядом, выходили из вагона вместе и спешили на чужую квартиру, не думая об осторожности и последствиях. В парках ожидающие мужчины сусликами высовывались из кустов. На пляжах взрослые люди раздевались поспешно, как подростки на чердаке. Переспать с незнакомцем стало так же необременительно, как выпить стакан джуса. Когда выходили на улицу, старались непременно подчеркнуть одно из достоинств — шею, грудь, плечи или хотя бы проложенный ключом гюльфик. обнажались до поздних холодов, и даже зимой многие расстегивались до самого креста, низко висящего на мурашчатой груди.

Дети словно сорвались с цепи. Им уж не в новинку были танцы обнаженных, эрекция под водку и свальный грех. Их родители на пятом десятке открывали группенсекс, постельные соискатели сталкивались в прихожей любовницы, не удивляясь друг другу. Иногда они вообще по-честному собирались по делу, которое стали называть «бутерброд».

Любовь и деньги наконец встретились. Школьницы по вечерам бежали к гостиницам, где их уже поджидали рычащие автомобили. Молодые люди вдруг с изумлением открыли, что их тело чего-то стоит. (Юноши с притворными стонами отдавались трясущимся старикам в туалетах и банкиршам на океанских курортах.) Девочки и мальчики окучивали толпы богатых и, сжав зубы, терпели гнилой запах, шедший из нутра министров, промышленников и убийц. Красились волосы, ресницы и брови, выбривались подмышки, икры и лобки, вставлялись цветные контактные линзы, на последние деньги покупались тряпки и духи от Диора. Студентки писали курсовые, сидя на коленях старых развратников.

Страну захлестнули сифилис, триппер и вши. Радостно и жадно светились глаза врачей, лился в поддоны гной, летели на стол иголки, скальпели и вовсе неведомые стеклянные трубки, лаборатории захлебывались от наплыва пробирок с кровью, спермой и мочой, и со всех сторон, из страшных портовых доков, наплывал на столицы СПИД...

Тысячами и тысячами стекались в столицы темнолицые красивые сыновья Юга. Их гортанные веселые голоса пугали рынки и отели. Крепкие волосатые руки что-то неопределенно пошевеливали в карманах. Выпуклые глаза с обожанием обшаривали Тверскую, Крещатик и Невский. Где-то далеко сзади, в обозах, тащились за ними их женщины, старики и дети. Всех их звали черными. Черные устраивались по-разному. Кто-то торговал по ночам арбузами. Кто-то сторожил морги. Кто-то вообще хватался за любую работу, лишь бы не оставаться в своих аулах и кишлаках под ужасным свистом бомб и надзором муллы. Кто-то попросту шел в бандиты, и на подмосковных кладбищах один за одним поднимались мраморные мавзолеи с непривычными именами и разбойничьими портретами, выбитыми белым на темном камне.

Со всех концов громадной рухнувшей империи в Москву потянулись молодые и сильные. Из Галиции, Гарма, Карабаха, Витебска, Архангельска ехали плацкартом в Москву плотники, каменщики, маляры, штукатуры. Тряслись в поездах будущие охранники, шоферы, телезвезды, референты, банкиры, бездомные и проститутки. В невероятное шевеление пришла Евразия. Польские принцы, китайские лорды, афганские солдаты, сомалийские племена, вьетнамские кланы — все, все тянулось в Москву. В Москве грабили, торговали, строили, служили, выпрашивали, вымогали, из Москвы открывался блестящий звездный шлях во все столицы мира, шлях, на который с благоговением и страхом ступала чужакая азиатская нога...

Не было в истории большого смешения народов и племен, сословий и классов, воплей и песен, золота и грязи, взрывов и фейерверков, вина и крови, здоровья и бацилл, мрамора и пыли, цветов и окурков, гнили и ароматов...»

Поживший принц отложил золотое вечное перо и глянул в окно. Уже

никто не сидел напротив, вместо мальчиков пришло ловкое кишение теней под присмотром быстро сгущающихся сумерек. Еле различим был и сам мавзолей. Темнел, ревел, вздыхал Стамбул — великий и печальный город, и снизу, с шелковистого Мраморного моря, басовито и заунывно закричал что-то мальтийский пароход...

На столе валялись карты незаконченного пасьянса; на щеке червонного короля — капелька темно-красного вина; семерка треф наполовину прикрыта картой Малой Азии. Поживший принц подумал, отпил из бокала и занес на бумагу: «Единственное мое преимущество перед молодыми людьми — это понимание разницы между летним и зимним одеколоном, а также между дневными и вечерними галстуками».

В последнее время поживший принц взял себе за правило сочетать словеса с жизнью и поэтому немедленно поднялся и направился к шкафу — душиться и одеваться. На улице повеяло печной гарью, пролитой водой и пылью, кругом стоял низкий недобрый гул. К пожившему принцу подскочили две седые англичанки, совсем одуревшие от суеты и приставаний интересных кучерявых мужчин, и стали неистово добиваться, как пройти к мечети Султан-Ахмет. Мечеть Султан-Ахмет была пожившему принцу не по пути, и он кратко объяснил альбионкам, что надо пройти вниз по Чемберлиташ до маленького сквера, а там взять вправо. Такая бестрепетная краткость далась пожившему принцу нелегко. Он слишком долго заискивал перед людьми, а от робости перед взрослыми женщинами вообще избавился только тогда, когда стал брать их себе в любовницы.

Кстати, как раз сегодня вечером у Галатской башни ему предстояла встреча с Марго Кольцофф.

Сколько лет было Марго — не знал никто. Тщеславная Марго постоянно привирала, и то получалось, что сам похотливый Лаврентий Берия, роняя слюны, гонялся в черной машине за ней по всей Москве, то, что ее в младенчестве качал на коленях Ив Монтан во время своего приезда в первопрестольную. Разница в возможной дате рождения Марго составляла, таким образом, примерно двадцать пять лет, все знакомые были этим обстоятельством всю заморочены и давно перестали гадать. Поживший принц же имел особые причины думать о возрасте Марго: пятнадцать лет назад она затащила его в койку.

К коечному моменту поживший принц уже точно знал, что Марго недавно стала бабушкой; выглядела она в то время на тридцать пять, энтузиазм ее был вполне комсомольский, настырность же предполагала солидный опыт, обычно не приобретаемый раньше пятидесяти. Одним словом, метрики Марго рисовал сам черт.

Короткие волосы ее были выкрашены в вызывающе ненатуральный цвет, губы подведены кармином, как у трансвестита-пажа, брови — выщипаны, глаза — нахальные, шея девичья, ручки крошечные. Из украшений молодящаяся Марго носила серебро или в крайнем случае белое золото, камни предпочитала бурые и непрозрачные — сердолик, яшму, авантюрин. В постели ни серег, ни колец, ни цепей она не снимала и, если в пароксизме страсти ей нечаянно делали больно ее же серьгой или слегка придушивали венецианской цепочкой, начинала отчаянно визжать, так что сбегался весь гостиничный персонал.

Трахалась Марго действительно по большей части в гостиницах, потому что дома всегда был муж. Муж писал парадные портреты и был богат при всех властях. Он не то чтобы ревновал, но любил, чтобы жена была под боком, и без него Марго никуда не выезжала. Вот и сейчас он приехал в Стамбул за какой-то артистической надобностью, снял номер люкс на площади Таксим, в гостинице, с крыши которой открывался дивный вид на Золотой Рог и мечеть Сулейманию, целыми днями работал, но всегда поджидал жену к позднему ужину.

Впрочем, последнее обстоятельство поклонников Марго от расходов никогда не спасало. Марго была невероятно прожорлива, лопала мясо, как ацтекский идол, и могла запросто угоститься три раза подряд за вечер. Пила она, правда, умеренно и всегда советовала экономить на чаевых. Поживший принц давно пришел к заключению, что Марго, в сущности, бескорытна. Ей нравилось, когда ей делали подарки, и иногда она просила в долг, но при

этом радовалась всякой сувенирной ерунде, а деньги всегда скрупулезно отдавала день в день.

Поклонников у Марго было без числа, к пожившему же принцу она теперь питала просто предвзятую дружескую слабость: особые отношения их прекратились так же давно, как и начались. Вот и сегодня предстоял вполне заурядный, почти семейный, ужин, о котором муж, впрочем, ничего не знал: у Марго была своя маленькая особая личная жизнь.

Галатская башня высилась над кривой паутиной перекрестков, как ферзь, блистающий над пыльной шахматной доской. Основание ее уже охватили сумерки, выползшие из грязнейших подъездов и незаделанных щелей в асфальте, но верхний венец еще купался в мутно-розовых лучах заката. Марго ждала пожившего принца у дверей: с мужчинами она бывала точна, как немецкий гроссмейстер.

Ведомые мальчиком в красной ливрее, они взмыли на лифте под небеса, и вот уже пронзительный сыррой ветер дул на них с Босфора.

С балкончика был виден едва ли не весь Стамбул; только Чемберлиташ, где жил принц, скрывалась за разжабившейся Ай-Софией. Закат был стылый, пронзительный, тусклый, как будто башню охватила холодная кирпичная пыль погрома. Над бухтами наливались черным тучи, отражавшиеся в продолговатом перламутровом брюхе Босфора, распоротом в этот час тремя тонкими ржавыми танкерами. На Золотой Рог наваливался дождь, издали казавшийся серебристой газовой косынкой. Где-то в болгарской стороне стремительно и косо проносились молнии. Дождь заходил с севера, с Черного моря, и азиатский берег было уже совсем не видать. Пахло мокрым камнем и электричеством.

Марго заказала бараний суп «яйла»; поживший принц выбрал рыбу. Ресторан быстро заполнялся: в Галатскую башню всегда таскались богатые немецкие тургруппы.

— Скажи, пожалуйста,— спросил поживший принц Марго, аккуратно заправляя салфетку за ворот,— почему в Стамбуле всех проституток зовут Наташами?

— Не только проституток,— сказала Марго, присматривая за тем, как официант делает ей «скрудрайвер». — Меня они тоже зовут Наташей. Наташа — это любая интересная белая женщина.

— Да, но почему Наташа?— настаивал принц.— Почему не Вера или Люба?

— Почему Стамбул зовут Стамбул?— молвила Марго философски, красиво пожимая плечами.— Скажи ему, чтобы добавил соку.

Принц отдал быстрое приказание официанту и задумался.

— Да,— неохотно проговорил он, глядя поверх головы Марго на Босфор,— но почему при этом сводника зовут котом?

Марго сосредоточенно отпила из стакана, удовлетворенно вздохнула и перевела блаженный просветлевший взгляд на пожившего принца:

— Может быть, потому, что он ступает мягко, как кот?

— Может быть, может быть,— рассеянно пробормотал поживший принц, а потом подлил себе вина и повеселел.— А ты знаешь, — сказал он,— я влюбился.

Рука Марго затряслась; коктейль пролился.

— В кота?— спросила она, глядя в сторону.

— Нет,— улыбнулся поживший принц.— В триппер.

Это началось в Москве несколько месяцев назад, осенью.

Поздним вечером поживший принц ехал в метро. По обыкновению он листал что-то красивое, возможно — журнал «Французский дом». На «Каховской» к нему подседа девочка лет восемнадцати и стала так шумно устраиваться на сиденье, что не заметить ее было просто нельзя. Поживший принц глянул на нее искоса: прозрачные желтые глаза, как у тигренка, плоский, кошачьеобразный нос, оттопыренные уши, спутавшаяся шатеновая гривка. Девочка-тигра повозилась-повозилась, наконец устроилась; оглядела вагон. Взгляд ее упал на глянцево-белые страницы «Французского дома», ноздри презрительно затрепетали. Она полезла в обширный белый пластиковый пакет, извлекла оттуда яркий буклетик, наклонилась к пожившему принцу и требовательно спросила:

— Вы когда-нибудь задумывались, зачем мы живем?

Поживший принц с любопытством глянул на предлагаемый продукт. На буром фоне пестрели многочисленные, отчего-то зеленые, нечеловеческие глаза, из верхнего левого угла в правый нижний летела шалаховая молния, понизу шел вопрос: «Выживет ли этот мир?»

Девочка деловито шмыгнула носом, ткнула грязноватым ногтем молнию и надменно предложила:

— Хотите, я расскажу вам про теорию кармы? И про реинкарнацию верных?

— Может быть, просто потрахемся?— предложил поживший принц. Тигра яростно зашипела и вцепилась ему в руку. Поживший принц ойкнул и дернулся; на ладони проступила кровь...

Тем же вечером они очутились в уютной квартирке, которую поживший принц снимал напротив казарм на Басманной. Тело незнакомки оказалось холодным, влажным и неврастеничным; в самый неподходящий момент она, лежа неподвижно, стала бесстрастно читать буддистские сутры. Утром она попросила сто восемьдесят тысяч на проездной и, не принимая душа, уковыляла прочь, наказав ни в коем случае ее не провожать. Прибирая в спальне, поживший принц нашел под одеялом целый набор агитпропа: и «Выживет ли этот мир?», и «Зачем мы живем?», и «Есть ли жизнь после смерти?», и «Что такое судьба?», и многое, многое другое. Больше всего пожившему принцу понравился листочек про судьбу — с синей обезумевшей коброй, разинувшей пасть так широко, что хотелось сказать «от уха до уха», с вытарашченными, полоумными глазами и прозрачным бесцветным ядом, капавшим с больных десен. Вообще весь происшедший эпизод казался таким, что принц считал, будто он ему привиделся, — пока не убедился, что на эпизоде этом заработал триппер.

Выругавшись и залечив триппер у молодого дорогого доктора с боннским дипломом, он выкинул незнакомку из головы. Через два месяца в полвторого ночи кто-то стал трезвонить в дверь. Спросонья принц долго не мог попасть ногами в тапочки, а когда, наконец, добрался до коридора и отворил, то убедился, что идиотский триппер вернулся.

Теперь триппер квартировал в Стамбуле, в пансионе «Дружба» на четвертом этаже вместе с юной японской путешественницей. Поживший принц сильно подозревал, что под видом романтической лесбийской привязанности японку развращают и потихоньку потаскивают из ее кошелька деньги. Сунув сто лир портье, вскарабкавшись на верхотуру и проникнув в комнату, не постучав, поживший принц подозрительно покрутил носом: ему показалось, что в воздухе витает аромат ананаса.

— На чьи деньги курим?— осведомился он, присаживаясь на трипперову кровать и рассеянно кивнув японке, целомудренно спрятавшейся под одеяло.

— На свои!— взвизгнул триппер и больно лягнул принца в поясницу. Принц согнулся, сдавленно охнул и слабо погрозил трипперу кулаком:

— Доиграешься ты, Саня...

Саня перевернулась на спину, всхлипнула и прижала кулаки к глазам.

— Дурак старый,— сказала она.— Жизни мне с тобой нету.

— Какая со мной жизнь,— легко согласился принц,— косячков я не курю, жопой не торгую... Я тебя просил к Ай-Софии больше не ходить? А? Нет, ты по совести ответь — просил или не просил?

— Мне деньги нужны.

— Мать честная, да даю я тебе деньги!

— Уйди,— сказала Саня и раскрыла мокрые желтые глаза, в которых тут же бабочками затрепетали отражения лампы.— Уйди, зверь. Я к маме уеду. Или в море брошусь.

— Нимфоманка,— сказал поживший принц грустно. Помолчал, поднялся и вышел. Последние два месяца он только и делал, что ходил взад-вперед по Чемберлиташ, и ему начало казаться, что где-то на этой улице растет древо познания добра и зла.

Накрапывал дождик. Поживший принц стоял под платанами и пристально смотрел на ограду мечети. Только когда дождь промочил его вечерний

пиджак насквозь, принц увидел Саню. Она перебежала улицу в каком-то немислимом белом плаще. Притормозила приземистая спортивная машина, из нее только что не по пояс высунулся молодой турок, свистнул и звонко крикнул: «Наташа!»

Саня замерла у ограды. Рядом с ней, не шевелясь, стоял плечистый человек в черном, пристально разглядывавший машину и турка. Потом он что-то сказал Сане, взял за руку и повел к мостовой. Турок смотрел на него с пониманием. Лицо его выражало удовлетворенную готовность вступить в короткий торг.

Поживший принц смотрел на все это из-под платанов. Когда Саня прыгнула в машину и та, шурша шинами по мокрому асфальту, понесла ее налево, к Золотому Рогу, черный человек снова замер на своем посту в темноте, а поживший принц отвернулся и потихоньку пошел прочь.

— Вот тебе и триппер, — сказал он шепотом сам себе.

Марго же лежала в это время в номере своей роскошной гостиницы рядом с посвистывавшим во сне мужем-портретистом, и крупные слезы текли по ее лицу. Марго тихо всхлипывала и вытирала глаза уголком батистовой простыни. После вечера, проведенного с пожившим принцем, ей вдруг показалось, что жизнь совсем кончилась и что она осталась одна-одинешенька на свете, большая, старая, заброшенная и никому не нужная. Все мелкие и крупные горести внезапно выстроились у ее изголовья злой чередой: и невыносимая плебейская привычка мужа причавкивать супчиком, и тщательно скрываемая от всех ее собственная боль в суставах, и вечная зависимость от окружающих не только на предмет постели, но и насчет того, чтобы поесть и попить, и холодная, отстранившаяся от нее дочь, и новая любовь пожившего принца, и вообще весь бесконечный бессмысленный марафон, в который она вязалась чуть ли не с самого рождения. За окном на площади лихо гудели машины, хохотала компания местных ребят, вспыхивали и гасли огни, и Марго казалось, что в жизни больше ничего, решительно ничего не будет, кроме ломоты в висках, распухших от слез век, грубого чужого шума, равнодушных далеких огней и облатки снотворного на тумбочке у кровати.

Наутро поживший принц повязал темно-синий консервативный галстук и отправился в харчевню, в которой его уже поджидал Агаз-хан.

Агаз-хан в свое время бежал из одной маленькой кавказской республики. Как у рыбака самая большая рыба всегда срывается с крючка и остается под водой, так и у политика самые великие победы оказываются в пресловутом неиспользованном потенциале. (Так было со знакомым пожившему принцу озлобленным и кланяющим жизнь Горбачевым, продающим свои книги в парижских универмагах, так было и с менее обиженным, но не менее раздувшимся Явлинским, которого поживший принц тоже встречал. Так было и с Агаз-ханом.)

Агаз-хан собирался оборудовать в своей республике налоговый рай для заграничных богачей, продавать за рубеж оникс, вино и нефть и вообще устроить в отчизне небывалый просвещенный абсолютизм. Однако вместо всего этого Агаз-хан залучил к себе лишь трех недобросовестных иорданских нефтепромышленников и то исключительно за счет терпеливого налогоплательщика (успешно пересажал половину отечественных журналистов, а другую половину посадил жрать тощий бюджет). При этом он вяло приторговывал оружием и черной икрой. И то и другое он воровал у русских за бурной и пенной рекой к северу от столицы. Наконец терпение налогоплательщика лопнуло и Агаз-хан был вполне демократично смещен одним решительным молодым полковником, устроившим мятеж в провинции. Если бы дело происходило в какой-нибудь Колумбии, в которой мятежникам надо шагать до столицы не меньше двух недель, то Агаз-хан как-нибудь вывернулся бы, сообразил, сдюжил. Но республика была невелика, и из любой самой дальней стороны до столицы ходу было никак не больше трех суток. Решительный полковник вошел в город к исходу второго дня. Он окрестил свое правительство революционным, но революция на этом не закончилась, и скоро полковнику пришлось туго, и теперь и на него собирались попереть танковыми колоннами молодые офицеры из глухих гарнизонов, так что полковник, вероятно, частенько вспоминал судьбу Агаз-хана.

Агаз-хан же сидел в Стамбуле в гостинице «Чара» за неизвестно чей счет и со злорадством ждал в эмиграцию решительного полковника, а также всех его товарищей по борьбе, погупно измышляя зверства, которые он втихаря над ними произведет. Почему-то дальше утопления ренегатов в Мраморном море в мешках с дерьмом фантазия Агаз-хана не заходила.

Поживший принц любил беседовать с Агаз-ханом в закуской на углу Чемберлиташ, в которой пахло мокрыми кухонными тряпками, но где подавали роскошный цыплячий кебаб.

— Ну что, Агаз-хан,— весело спросил поживший принц, энергично присаживаясь к замусоленному столу и строго подзывая официанта. — Каковы новости с кавказского фронта?

— Русские из Сухуми ушли,— буркнул Агаз-хан, утыкаясь усом в бокал с жидким пивом.

— Мда, слышал... А из отчизны что слышно?

Агаз-хан оживился.

— Не поверишь,— зашептал он, перегибаясь через стол к пожившему принцу,— вчера прихожу в гостиницу, а там — письмо...

— Ну-у?!

— Вот и я говорю! Письмо из столицы, от человечка одного. Небольшой такой человечек, генералом в конторе служит, КаГЭБэ называется...

— Из самого КаГЭБэ?— всплеснул руками поживший принц.

— Так,— ответил Агаз-хан солидно.— Ну вот, открываю я конверт — из Москвы отправлен, между прочим, — а в нем вырезки из газет наших и письмо... Штатается трон под Шалыт-Ахматом, ох штатается! К седьмому мая дома буду!

— А почему к седьмому?— спросил поживший принц с любопытством.

— День независимости,— пояснил Агаз-хан и значительно повел подбородком.

Поживший принц тоже для приличия поцокал языком, хотя ему уже стало скучно.

— Выскочкам головы рубить надо,— развивал свои обычные идеи Агаз-хан,— по всему Кавказу солидных людей выбирать надо. Молодежь пускай в Москву едет. Глубоко в чужой карман Москва руку запустила... Рука Москвы — так о выскочках говорят!

— Это о ком же, например?

— А вот, например, о Сурете Гусейнове!

— Да знал я Гусейнова,— поморщился поживший принц, который действительно два раза обедал с азербайджанским диктатором в ресторанах, надежно укрытых в серых рощах карабахских гор.— Обыкновенный авантюрист... Вы лучше скажите, Агаз-хан, как бы вы неверную женщину наказали?

Агаз-хан подумал, поскреб в густом затылке, глянул на принца тусклым взглядом, оттопырил губы:

— В землю бы живой закопал.

— Так. А любовника ее?

Агаз-хан оживился:

— Любовника? Значит так, любовника: сначала в железную клетку бы запер. Маленькую такую. Чтоб в ней, как в гробу, лежал, шевелиться не мог, а только бы выл и под себя гадил. И чтоб я на него смотреть ходил. Потом, как помирать начнет, из клетки вынуть, раздеть и член ножничками маникюрными резать. Маленькими такими кусочками. С ноготь. — И Агаз-хан деловито показал пожившему принцу крохотный ноготь на своем мизинце.— Медленно резать. Не спешить. Потом угли в рот запихать, если живой еще будет. Вот так, пожалуй.

И он побарабанил пальцами по столу. Поживший принц задумчиво тянул пиво из матового пластикового бокала.

— Спасибо за совет,— сказал он наконец.— Железную клетку-то мне как в Стамбуле найти?

Глаза Агаз-хана внезапно заблестели, словно их промыла невидимая божественная струя:

— Твоя женщина? Твоя? Да?!

— Моя, — кивнул поживший принц.

— Ай-ай-ай, такой большой человек и такое горе! Ай-ай-ай!.. Что за женщина-то? — Агаз-хан понизил голос, наклонился к принцу, впился глазами.

— Шлюха. Наркоманка.

Агаз-хан помолчал, потом торжественно выпрямился, надул щеки, с силой выдохнул:

— Па-азо-ор!

Новые возможности кружили голову пожившему принцу. По одинокой привычке занося свои сомнения на бумагу, он прилежно работал золотым пером, время от времени отрываясь от тетради и поглядывая в окно, на мавзолей Махмуда Второго, из-за ограды которого выглядывал грустный весенний памятник турецкому адмиралу.

«Новое время предлагало новые решения. Прежде неверную любовницу можно было лишить денежного содержания, выгнать из дому или, на крайний случай, отхлестать несвежим кухонным полотенцем по тощей спине. Теперь ее стало можно обрить наголо, закопать в землю, утопить в Мраморном море и, при определенной расторопности, продать в ужасный маньчжурский публичный дом, получив при этом даже некоторый гипотетический навар.

Однако если в прежние времена вам наставлял рога нищий инженер, пьющий бухгалтер или, в исключительном случае, трусливый майор органов, последний раз видевший пистолет год назад в приключенческом польском фильме, то теперь противник мог оказаться наркокурьером, рэкетиром, телеведущим, банкиром — иными словами, субъектом, способным заколотить тебя в гроб, — чтобы не следил, не канючил, не надоедал. Еще лет десять назад куца в средствах любовь разворачивалась как бы в блеклой производственной повести; теперь она перекечевала на страницы неправдоподобно бойкого триллера, действие которого разворачивалось то в саваннах Восточной Африки, то в доках Гавра, то в опиумных курильнях Александрии. Прежде атрибутами любовной страсти были нежность, верность и грусть. Их заменили сила, напор и богатство. Раньше героем московского романа был сутулый болезненный неудачник сорока пяти лет. Теперь он был отправлен в очередь за дешевым колхозным молоком, а на его место пришел крутоплечий молодой хам с раздувшимися от валюты карманами и жадным холмиком на причинном месте: тот же самый рэкетир, наркокурьер, уголовник».

Поживший принц спрятал золотое перо в эмалевый чехольчик и задумался.

Человек, нанеший ему такое страшное оскорбление, не был ни рэкетиром, ни уголовником, ни наркокурьером, однако, может быть, его бы испугались и первый, и второй, и третий.

Нил происходил из красной семьи и появился на свет в городке с обманчиво звучным названием Остров. Родители Нила честно служили партии, которая вознаградила их за это дощатым синим домиком на реке Великая, в заводах которой мать Нила по вечерам стирала белье. Остров стоял посредине темных распаханых полей, как разбитый броненосец или плавучая тюрьма. Утверждали, что он расположен в 57 километрах от Пушкинских Гор; в это было сложно поверить. Казалось, что Остров стоит где-то посреди Охотского моря и что о его стены бьются не галки с воробьями, а медузы и гарпии. Если выйти за околицу и начать обводить взглядом низкий выпуклый горизонт, похожий на полевую офицерскую лупу, начинало казаться, что из этих мест можно добраться лишь до обломков какого-нибудь ветхого корабля или, на худой конец, плуга.

Видимо, именно в силу всего этого островные люди пользовались доверием властей. Когда Нилу пришла пора служить в армии, его послали не в стройбат и не в пехоту, а в самый что ни на есть наистрожайший спецназ. Что он там делал и в чем заключалась его служба, осталось неизвестным, но только, вернувшись в Остров, Нил набил морду друзьям, захватил пустующий дом в овраге и провалялся там в драных армейских штанах год — до тех самых пор, пока не услышал по «Голосу Америки», что в России установлен бардак и что русские теперь делают что хотят. Нил проразмышлял дня два,

а потом нацепил гвардейские значки и полученную неизвестно за что медаль и отправился на прием к местному начальнику. Через год он был уже во Франции. Там он приобрел шрам на скуле, брестский акцент и благодарную профессию кота.

Все это Саня взалхлеб рассказала пожившему принцу позавчера. Теперь с этим рассказом надо было что-то делать. По прежним понятиям, пожившему принцу надо было бы поплакать, удариться в запой и в конце концов улететь, обливаясь слезами и водкой, в Москву. По новым понятиям, ему надо было мстить.

Во дворе султанского дворца поживший принц отловил сонного служителя и принялся выведывать у того про причалы Золотого Рога. Он всегда собирал сведения о дальних странах по методу Марко Поло, расспрашивая местных жителей о численности населения, ремеслах, нравах, количестве мечетей, церквей и вокзалов. В результате его книги пользовались большой популярностью — может быть, именно в силу того, что конкуренты были излишне педантичны.

Через полчаса, проверив записи и отпустив вконец измученного аборигена, поживший принц направился на северный обрыв. Стоя на вершине Топкапи и слушая, как плывет по багетному Золотому Рогу и эхом отдается в мутном хрустале Босфора гортанный, полуденный, протяжный, ястребиный крик муэдзинов, поживший принц пробормотал сам себе:

— Да, вечность... Рахманинов бы такого не понял... Вот тебе и Азия...

Агаз-хан и Марго ждали за воротами, в небольшом открытом кафе, зажато между стенами Топкапи и ковровым базаром.

— Сколько страниц ты уже написал? — спросила Марго, кушая мороженое и кося глазом на лиловую шею Агаз-хана.

— Сто, — сказал поживший принц наобум. Марго согласно кивнула. Агаз-хан зевнул.

— Книжки-манижки, — сказал он. — Веди, писатель.

Завоевав доверие пожившего принца, он слегка разболтался и обнаглел.

Ай-София уже закрыла свои двери для туристских толп, и дорожка вдоль ограды опустела. Уехали огромные фырчащие автобусы, разбрелись самостийные визитеры, разбежалась толпа мальчишек, продававших открытки, и на тротуаре замаячили редкие скучающие фигуры. Упиваясь жалостью к самому себе, поживший принц поискал глазами искомый портупейный стан; нашел.

— Ждите здесь, — сказал он сквозь зубы. — Сейчас я к нему подойду.

Агаз-хан и Марго зашебурились, как две встревоженные весенние роши, заметались по мостовой, спрятались под платан. Поживший принц махнул им рукой и зашагал к собору.

Сердце его билось, как ставень на степном ветру, в животе запорхала прохладная бабочка, неизменный признак желания или страха. Он приближался к Нилу в первый раз.

Нил по своему обыкновению стоял в тенистой нише и неспешно листал какой-то журнал. Волосы его были расчесаны на косой парижский пробор, охлаждены гелем и помадой. Легкий синий костюм сухо выглажен и франтовато расправлен, левая нога в лакированном полуботинке отставлена в сторону, не то чтобы отдохнуть, не то чтобы посподручней ударить кого-то в пах. Когда поживший принц подошел совсем близко, в нос ему ударил сладкий запах неправильного, зимнего, одеколona, чересчур приторный для лучистого апрельского дня. Галстук Нила был тоже дурной, вечерний, в золотую ресторанный нить.

С отчаянно бьющимся сердцем поживший принц принялся ходить мимо Нила взад-вперед, озабоченно поглядывая на зарешеченное платанами небо, вздыхая, нетерпеливо поводя плечами и вообще всячески изображая сговорчивого слепополуденного клиента.

Нил поднял голову раз, окинул пожившего принца холодным расчетливым взглядом, нырнул обратно в журнал. Поднял два — прощупал черными зрачками принцеву одежду и обувь — и снова скрылся в глянцевых страницах. Поднял три — свернул журнал в трубку и, похлопывая им по бедру, пошел навстречу деньгам.

— You want a girl? — спросил он вполголоса таким же таинственным

тоном, каким на Чемберлиташ ночью спрашивали «Hashish?» — как будто от этой таинственности привлекательность женщин и наркотиков возрастала. — Wich country are you from?

Пожившего принца поразило его акцент — совершенно безликий, механический, лишенный какой-либо национальной принадлежности, как будто это был не человек, а игральный автомат из казино, в который пожалели вставить хорошую аудиокассету и ограничились несовершенной дешевой.

— Russia, — сказал поживший принц неожиданно для самого себя, так как собирался придумать что-нибудь позабористей.

Нил совершенно не изменился в лице, только лишней раз окинул принца взглядом сверху донизу и тут же бесстрастно спросил по-русски:

— Девочку хочешь?

Принц кивнул и облизнул губы. Ему ужасно хотелось поговорить с Нилом, потревожить его высокомерный лощеный взгляд, смутить его выверенную гвардейскую манеру. «Может быть, прикинуться голубым?» — подумал принц, но тут же сообразил, что так взволнован, что с трудной ролью не справится, сорвется — и тогда все пойдет прахом.

— Есть блондинки, есть темненькие, — стал неспешно перечислять Нил, уже несколько отвлечшись от принца и даже вылавливая глазами новую похотливую жертву, — русские, латышки, украинки...

— Москвичку, — сказал поживший принц. — Худую. — Подумал и добавил, чтоб не ошибиться: — Ледащую.

Нил мельком посмотрел на него, заинтересовавшись не слышанным со времен Острова словом, дотронулся до локтя принца журнальной трубочкой:

— Есть.

— Мне вот что надо, — заговорил поживший принц быстро, — мне...

— Ей и объясните, — сказал Нил, тут же заскучав. — У меня девушки безотказные. Вам понравится.

И он повел пожившего принца в машину, нахально припаркованную к самым воротам в нарушение всех правил. Принц посматривал на него искоса, лихорадочно придумывая тему для разговора, как будто женское тело было недостаточным предлогом для знакомства со сводником, но ничего подходящего в голову не шло. Он безуспешно искал слова, чтобы описать этого молодого мужчину, который так стремительно и непоправимо вторгся в его жизнь, но не нашел почти ничего. Все, что он успел сказать себе, так это что Нил похож на формальную магазинную гвоздику, по самые лепестки упакованную в плечистую вазу.

Когда Нил, газанув, сдернул машину с места и помчал вниз, к набережной (поживший принц краем глаза заметил, как переполошилась, замахала руками и даже выскочила из-под платана Марго), пожилому данте стало прилично поинтересоваться именем молодого вергилия.

— Как вас зовут? — спросил поживший принц, поворачиваясь к Нилу и рассматривая его чисто выбритую спецназовскую челюсть. Нил на мгновение взглянул на пожившего принца и усмехнулся.

— Джонни, — сказал он и прибавил газу.

Саня куда-то запропастилась, и Нил рассвирепел.

— Скидку дам, — сказал он сквозь зубы. — Десять процентов долой.

Поживший принц послушно закивал. Нил посадил его в грязное кресло, поставил на столик контрабандную бутылку греческой метаксы и исчез, оставив по себе сильный дорогой запах, так не шедший к этой трущобе, больше всего походившей на заброшенное ласточкино гнездо. Поживший принц неспешно исследовал помещение. По всей видимости, Саня здесь как бы отчасти и жила. В шкафу враспотык висели блузки и юбочки, там же был спрятан жестяной таз с замоченным лифчиком.

— Неряха, — сказал поживший принц вслух. Когда обыск его дошел до кровати, брови принца поползли вверх. Под подушкой лежали книги. Поживший принц изумленно полистал — Фаулз, Толстой, Хемингуэй. Потряс каждую — но ни доллары, ни адреса, ни визитные карточки харьковских банкиров так и не выпали. Оставалось предположить невероятное: Саня читала! Он уселся в кресло и, почему-то успокоившись, принялся терпеливо ждать.

Луч солнца на стене дрогнул, как щупальце осьминога, и на глазах втянулся в окно. Стало быстро темнеть, и снова повис над городом печальный птичий крик, сзывая правоверных на сумеречный намаз. «Интересно, — подумал поживший принц, — что сейчас делают Марго с Агаз-ханом? Марго паникерша, а Агаз-хан большой хвостун». Не успел он додумать эту неважную мысль, как по коридору загрохотали твердые солдатские каблуки, дверь распахнулась и в номер заглянул хмурый, курящий сигарету Нил.

— Сейчас, — сказал он. — Доставил.

— Спасибо, Джонни, — только и сказал поживший принц. Саня влетела в комнату, как перепуганная птица. Увидев пожившего принца, она позачяби взвизгнула.

— Нечего визжать, блядь, — сказал Нилов баритон откуда-то из коридорной темноты. — Лопай что дают. Не такой уж он и страшный.

Саня закрыла рот и перевела дух. Дверь позади нее с грохотом захлопнулась.

— Ну и ну, — сказала она, смятенно качая головой. — Наверно, я с тебя до сих пор мало денег брала.

— А вот послушай еще, — увлеченно говорил поживший принц, торопясь открыть заложенную страницу. — «Она успела переменить положение и лежала уже не поперек кровати, а головой на подушке, хотя постель оставалась неразобранной. Рассыпавшиеся волосы почти закрывали лицо. Какое-то мгновение он стоял над ней неподвижно. Потом оперся на узкую кровать одним коленом и упал на нее, покрывая жадными поцелуями ее рот, глаза, шею. Но это сжавшееся под ним пассивное, на все согласное тело, голые ноги, прикасавшиеся к его ногам... он уже не мог ждать. Ее тело дернулось, словно от боли».

— Дергаться я и так дергаюсь, — сказала Саня и выругалась по-матерному. Она лежала на кровати, как была, в коротеньком черном платишке и курила «Житан».

— Подожди, еще есть... «Мне стыдно, — сказала она, отворачиваясь. — Нет. Не надо. Мне стыдно и страшно. Не надо. А вдруг ты меня не любишь».

— «А вдруг ты меня не любишь», — повторила Саня задумчиво. — Что ж, можно попробовать... За что мне все это, а?

Поживший принц с наслаждением ответил:

— Наверное, за то, что мало читала в детстве.

Саня ощерилась на него дикой кошкой:

— Читала? Мало читала?! Да на кой ляд мне сдалась бы твоя литература, если б я была целкой!!

— Значит, не надо было давать кому попало, — торжествующе заявил принц. — И потом, если уж ты пошла по рукам, то кто знает, может быть, твой следующий бандит окажется некрофил. Что ж тебе, вены себе резать? Уж лучше по книжкам картину восстановить. Гоголем запасись. У него про это есть, кажется.

Саня попыталась пнуть его ногой, но не дотянулась, упала лицом в подушку и тихо завывала.

— Какие еще варианты возможны? — с удовольствием, по-садистски, рассуждал поживший принц, неторопливо закуривая. — Геронтофилия? «Красное и черное». Инцест? «Пармская шартреза». Педофилия? Набокова даже ты читала. Вуайеризм? Попробуй позднего Нагибина. Чрезвычайно сочувствую, — заключил он, кося на Саню лукавым глазом, — если тебе придется притворяться брюхатым бородатым мужчиной. В таком случае надо читать про пиратов. «Одиссею капитана Блада», быть может. Или нарядиться Карлом Марксом.

— Сволочь, сволочь, сволочь! — закричала Саня, вскакивая и тряся над головой крохотными кулачками. — Сволочь, сволочь, сам ты карла, сам, сам, сам!

— Милая моя, — сказал ей поживший принц спокойно. — Разве я виноват в том, что Нил предпочитает целок?

— Почему, — кричала Саня, распалившись, — почему мужики такие извращенцы?! Почему одному мертвую подавай, другому целку, а нам, бабам, что ни дай — все хорошо?! А вы — чуть что не так — так сразу в петлю?!

— Потому что, — задумчиво сказал поживший принц, собирая книги в

аккуратную стопочку, — у нас трудная работа. У тебя когда-нибудь получалось сделать из мухи слона?

Саня поперхнулась слезами и хмыкнула. Глаза ее стали разгораться, как электрическая спираль.

— Давай порепетируем, — сказала она, подойдя к пожившему принцу и требовательно потеревив его за ухо. — Мне ночью снова к Нилу идти. Ты знаешь, он правда обещал повеситься.

Через полчаса, в душе, намыливая Сане плечи и неожиданно вспомнив про Агаз-хана и его советы, поживший принц хихикнул и спросил:

— А ты никогда не пробовала зажать между ног лезвие?

— А что тут удивительного? — пожала плечами опытная Марго. Вернувшись в отель, поживший принц обнаружил Марго, преданно ждущую в креслах у задрипанного фонтана. Агаз-хан уже звонил портье и просил узнать у принца, каковы его планы на завтра. Агаз-хану утомленный принц звонить не стал, а Марго со вздохом повел наверх, в номер.

— Чего удивительного-то? У всех садистов затрудненное семяизвержение. Тут надо выбирать либо пистолет, либо хер. Одновременно они не стреляют. И вообще моему лучшему любовнику было шестьдесят восемь лет и он был технолог с химического производства.

— А паралича у него случайно не было? — поинтересовался поживший принц.

— Нет, — отвечала Марго невозмутимо. — У него была ишемическая болезнь сердца. Так ты заплатишь Агаз-хану?

— Надо подумать, — сказал поживший принц неопределенно.

— А что тут думать, — пожала плечами Марго, быстро и нервно раскидывая на столике сложнейший пасьянс «Депо». — Вот червоная дама, вот червоный король. Чтобы им соединиться, надо убрать семерку-жалость и прибавить валета пик-злость.

— Не получится, — сказал поживший принц, отбирая у нее карты и неторопливо смешивая колоду. — Все равно не сойдется. Валета пик у меня как-то нет... Знаешь что, Марго. Давай-ка лучше в дурачка.

Kremlinkam.com

Ученый монах сказал ей, что виртуальная реальность — это подлинная реальность. Это ее расстроило. Во-первых, она не очень поверила монаху: по его словам, так выходило, что то дикое общение, которое они с сыном теперь имели, и было-то на самом деле подлинной реальностью, во что она яростно отказывалась верить всем своим до сих пор стойким сердцем. Во-вторых, она вообще не полюбила монаха, потому что завидовала его матери.

В самом деле, отчего ее сын не сделался таким же, как этот самый ученый монах? Он бы отучился в семинарии или бурсе, или духовной академии — как она там называется. Из окна его кельи (она предполагала, что монахи все-таки живут в кельях) открывался бы умиротворяющий вид на клумбы бархатцев, похожие на занавес Большого театра. Он бы читал толстые умные книги, ходил бы на службу в церковь и пламенно проповедовал бы там с амвона. Конечно, в его жизни имелись бы и неприятные стороны. Ему приходилось бы рано вставать, тогда как сейчас он поднимается не раньше полудня. Его одежда пахла бы затхлым азиатским ладаном, а не новейшим парфюмом от Готье или Сен-Лорана. Он никогда не женился бы, в то время как сейчас ему нет отбоя от женщин.

Правда, войдя в церковную роль и продвинувшись по службе, сделавшись иеромонахом или епископом или папой, он мог бы посылать к заутрене какого-нибудь сладкого юного прелата. Одежда отлично отстирывается в новейших американских порошках. А что до женитьбы, то она не видела ничего, кроме горя, от всех его экс-подруг, в то время как тысячи достойнейших женщин мечтают о том, чтобы скрасить досуг одинокого аббата. По ее мнению, он мог бы легко завести себе гарем из отборнейших прихожанок. Для этого ему было бы достаточно назваться их духовным отцом.

Но нет, ее сын не стал монахом, из его окна открывался вид на бетонную

пустыню тропических крыш, и если он и читал толстые книги, ей об этом было ничего не известно. Он действительно поздно вставал, встречался с непотребной женщиной-порномоделью, а какие запахи исходили от его одежды, она просто боялась думать, потому что он жил безумно далеко от нее, в диком Майами, во Флориде.

Действительно, чем теперь пахли его рубашки? Морской водой? Но ведь в море легко утонуть. Горькими сигаретами? В кругу, где он общается, чрезмерно много курят. Какими-то жесткими южными цветами? Но мало ли разнообразных гадов живет в тропических рощах! Несомненно, от него пахло алкоголем. Ах, как она плакала от этого.

Когда в Майами убили Версаче, она просидела у компьютера всю ночь, добиваясь от сына, не задела ли его рикошетом злодейская пуля. Он ответил под утро (в Майами была полночь, и он, должно быть, только что вернулся домой): нет, никакая пуля его не задела. За некоторое время до этого над Флоридой пронесся торнадо; это стоило ей трех бессонных ночей и бог знает на сколько укороченной жизни.

Она погостила у него в Майами — один раз. Она так много плакала, что все, что осталось у нее в памяти от этого края кокоток, миллионеров и отставных бухгалтеров, — это какие-то жестяные вечнозеленые кустарники, похожие на комнатные растения, душные розовые закаты и отвратительный стоматологический хруст песка под ногами. Он же частенько посылал ей весьма лиричные описания тамошней природы. Вечернее море, по его словам, походило по цвету на брюхо семги — радужное, розово-зеленое, в мелких чешуйках прибой. Над водами носились пеликаны — зубастые, базедовые, тяжелые, первобытные, как само море. Если смотреть на вечернее море или, точнее, на океан очень долго, прижавшись щекой к остывающему песку, то начинало казаться, что море стоит вертикально и что жизнь вообще, оказывается, имеет особую перспективу.

Некоторые строки его посланий повергали ее в ужас и тоску. Чего стоило, например, описание чемоданистых зубастых аллигаторов, нагло лезших на сушу из жарких болот Эверглейдза! Что ей было до того, что Эверглейдз был всемирно известным заповедником и что в его трясиных плавали реликтовые полосатые рыбы, а в ярких манграх скрипичными клювами стояли цапли, белоснежные, как ландыши. Все ее мысли были об аллигаторах величиной с автомобиль и более опасных, чем новорусский московский джип.

Однажды сын вообще сделал непозволительную в его возрасте промашку: он в юмористических тонах описал ей майамский пляж ночью. Сама она, пока гостила в Майами, на пляж не ходила ни ночью ни днем: до того ли ей было! Его же описание было просто кошмарно: лукавый свет отдаленных фонарей, придающий пляжу вид лунной равнины, густая чаща цветущих кустов с шуршащими в них насекомыми и, возможно, змеями, одинокие мужчины, бредущие по пляжу, затравленно озираясь по сторонам, юношеские огоньки разбойничьих сигарет, вспыхивающие по обочине кустов...

Бог мой, как можно было написать такое матери!..

После поездки в Майами сын убедил ее купить компьютер. Вот почему она в конце концов спросила неприветливого ученого монаха про виртуальную реальность. Согласившись на электронную почту, она не знала, какое несчастье ее ждет: как только на ее столе появился компьютер, письма от сына прекратились.

Он заявил, что он современный человек, не выносящий вида бумаги, и что отныне он будет общаться с ней исключительно по проводам. С тех пор она больше ни разу не видела его почерка. Правда, он слал почтой свои фотографии, так как компьютер ее был старенький и маломощный и принимать электронные изображения не умел. Однако сын ни разу не написал адрес на конверте от руки. Все было набрано все тем же проклятым латинским шрифтом, roman draft.

Сын вообще предложил ей было переписываться по-английски, наподобие того, как аристократические семьи в девятнадцатом веке переписывались на французском. Она пришла в отчаяние: дело было даже не в том, что она была нетверда в языке, а в том, что переписка на английском превратила бы их отношения попросту в какую-то мильную

оперу. Впрочем, на этот раз он уступил. Правда, некоторое время он колебался, и она ощутила небывалую колющую враждебность к сыну, который предлагал ей общаться на чужом дипломатическом языке, словно они были Александр I и Меттерних.

В их дуэте Александром I была она: прекраснородушное существо, молящееся всем известным богам. Сын же был Меттерних — настойчивый, изворотливый, искушенный, старший не по чину, а по уму. И откуда только в нем взялась эта габсбургская лисья хитрость! Он же был таким послушным, светлым, чистым и искренним ребенком — до тех самых пор, пока не отгородился от нее океаном и не засел в этом городе с двусмысленным названием: Майами-Бич!

О-о, она хорошо, очень хорошо усвоила, что в Майами темные ночи! Они поразили ее, как будто перед ее глазами распахнулось чрево Будды или детство Мухаммеда. Неужели ее сын, русский мальчик, которого она возила в детский сад по снегу на санках, мог полюбить эту темную, необъятную, непроглядную жаровню?!

По совести говоря, она проклинала компьютер. Да, конечно, именно эта сплюснутая коробочка позволяла ей подчас получить ответ от сына за пять минут. Но как же *вискозна* была эта связь! Письма несравненно лучше: бумага теплей. Вообще, думала она, будь проклята техническая революция.

Если бы сын поехал в Америку по старинке, на корабле, путешествие бы заняло долгие недели, если не месяцы, и у него был бы стимул вернуться, чтобы написать о путешествии книгу. Теперь же он застрял в этом безвидном Майами навеки, как будто время было пустяком, которым можно пренебречь! Не в пренебрежении ли ко времени и пространству как раз и заключается та самая виртуальная реальность, о которой ей поведал океанный монах?

Ее сын, напротив, компьютеры боготворил. Может быть, ему в самом деле надо было избрать церковную карьеру, раз он все равно всю жизнь только тем и занимался, что творил себе кумиров. По его словам, компьютеры позволяли, не сходя с места, путешествовать по парижским офисам и кабакам Праги, нью-йоркским мостам и садам Рима. В этой связи он и сообщил ей, что нашел удивительный сайт: kremlikam.com.

Она ничего не понимала в сайтах. Ей стоило немалого труда освоить даже электронную почту. В конце концов, она родилась еще до войны, когда электричество существовало исключительно в подпотолочных абажурах, а письма писались чернилами и стальным пером. Теперь же сын твердил об Интернете, который оставался ей все равно малодоступен.

Итак, сын пригласил ее на сайт kremlikam.com, как когда-то приглашал во МХАТ. Про этот сайт он писал ей всякие чудеса.

Сын сидит в своей квартирке в городе Майами-Бич и набирает в Интернете адрес: kremlinkam.com. Через несколько мгновений на экране его мощного компьютера возникает цветная картинка — Васильевский спуск, восточный склон кремлевской стены, пряничный собор. Москвы-реки не видно, камера установлена где-то на набережной Замоскворечья, верней всего — на здании Мосэнерго. Да, перед ним возникает четкая, однако неподвижная картинка. Она обновляется каждую минуту. Иными словами, ее сын видит Москву такой, какой она была от 1 до 60 секунд назад.

Он часто посещает этот сайт и радостно сообщает ей, что в Москве, оказывается, пасмурно или, напротив, солнечно, что движение по мосту начинается в половине седьмого утра, что при ясной погоде он может даже рассмотреть русский флаг на куполе кремлевского дворца, в котором работает Ельцин. Она не знает, верить ему или нет. Что это — та самая виртуальная реальность или обыкновенная ложь, спровоцированная чувством вины и ностальгией?

Однажды сын просит ее прийти на виртуальное свидание. Она должна появиться на Васильевском спуске в 17:30 по московскому. Он говорит, что разрешающая способность камеры пока невелика, и просит надеть яркий желтый плащ, чтобы он смог ее различить.

Она надевает желтый плащ (цвет разлуки), не пойми зачем красит губы и идет на свидание. Ей шестьдесят лет. Когда умер Сталин, она заканчивала школу. Теперь ее сын живет в Майами и просит ее прийти на виртуальное свидание, как на переговорный пункт! Она идет. На свете нет такой вещи, которой она не сделала бы ради сына.

На Васильевском мосту полно машин. Солнце бьет ей в лицо. Она прищуривается на здание Мосэнерго, но, конечно, не может рассмотреть никакой камеры. Интересно, что себе думает Ельцин. Может быть, какая-нибудь камера похитрее способна пронзать стены Кремля насквозь? Не запретит ли Ельцин в связи с этим Интернет? Ее охватывает ужас. Она машинально переводит взгляд с Мосэнерго на Кремль и обратно. Она проклинает Интернет, но если его закроют — сын вообще перестанет ей отвечать!! В этот момент она ненавидит Ельцина, хотя всегда голосовала за него.

Она пытается сосредоточиться и смотрит прямо перед собой. Она делает усилие и улыбается. Кто знает, может быть, камера покажет и это! Она проводит на мосту два часа. Вечером, озябшая, измучившаяся, почти плачущая, она возвращается домой.

Дома ее ждет электронный месседж от сына. Он разглядел ее на мосту. Он просит ее прийти на то же место завтра. Потом послезавтра. Кончается тем, что она ходит к Мосэнерго каждый день.

По непонятной причине она теряет сон. Не разумнее ли было бы сыну забрать ее в Америку? Она не будет ему в тягость. Она готова пойти в беби-ситтеры или вовсе в уборщицы. С нее хватит какого-нибудь темного угла на чердаке и двух баночек йогурта в день! Может быть, еще немного сладкого белого хлеба — и все. Но сын не предлагает ни Америки, ни йогуртов, ни хлеба. Он просто аккуратно посылает ей деньги. Еще он просит ее надеть желтый плащ и отправиться на виртуальное свидание к Кремлю. Боже мой, думает она, глядя в упор на мрачное здание Мосэнерго и неуверенно помахивая камере рукой. Боже мой, и это мой сын! Что же, выходит, я теперь — виртуальная мать?!

Ее тошнит от слова виртуальный и от одного вида компьютера, Она отдала бы все на свете за то, чтобы поговорить с сыном по телефону. Но он не дает ей своего номера, уверяя, что телефона у него нет и что он входит в Интернет нелегально. Ее сын — нелегал?! Тому ли она его учила?! Ей снятся всяческие страхи. Она знает, что порномодель — подружка сына работает в ночном клубе. Где стриптиз, там и пули, и наркотики — она так считает. Она не в состоянии сделать сыну внушение. Как можно сделать внушение по электронной почте, особенно когда это слово читается сыном как *vnusheniye*? Нет, это невозможно. Она в отчаянии.

В ее простую душу закрадывается подозрение. А вдруг с сыном что-то случилось, вдруг *его больше нет* и перед исчезновением он запрограммировал свой компьютер на пустые бодряческие письма и на весь этот самый *kremlinkam.com*? Она помнит, что мать Роже Гари устроила так, что сын получал от нее письма на протяжении двух лет после ее смерти. Что если... Она рыдает навзрыд и пишет сыну, как она считает, душераздирающее письмо. Он холодно предлагает ей менять одежду: всякий раз он будет говорить, какой цвет она избрала. По всей вероятности, он взбешен.

Она пробует красное и синее. В красном он ее разглядел. В синем она потерялась. Что ж, вполне вероятно. Погода в тот день была пасмурная.

Дальше начинают происходить вовсе дикие вещи. Она приходит к Мосэнерго, даже когда ее сын совсем не назначал ей никакого свидания. Она машет гипотетической камере рукой. Скорей всего, прохожие принимают ее за сумасшедшую. Сама же она думает о другом: примерно так же она когда-то заглядывала к сыну в комнату, когда он спал.

Эта попытка мучает ее все ужасней. Почему-то виртуальные свидания по Интернету, которые так важны сыну, ей невыносимы. Может быть, ей стоило родиться луддисткой?

Подруга, которая, впрочем, пользоваться компьютером не умеет, загадочно пересказывает ей историю про молодого человека, который *пропал* в Интернете. «Как пропал?» — спрашивает она. «Очень просто, — отвечает подруга таинственно. — Ушел и не вернулся».

Дальше больше. Выясняется, что молодой человек исчез из дома *физически*. Только что он сидел перед компьютером — и вот его больше нет.

Можно ли уйти в экран, думает она. Может ли человек шагнуть в эту самую виртуальность своей смертной ногой? Но с другой стороны, куда, если не в экран, делся ее любящий сын? Одна Америка не могла разорвать ту связь, которая соединяла их тридцать лет!

Она вызывает домой компьютерного мастера. Он объявляет, что свободный доступ в Интернет для ее старенького компьютера невозможен, и берет с нее 50 тысяч. Она безропотно расстается с деньгами, хотя это означает, что в следующие три дня ей не видать йогурта. Что делать, виртуальная реальность важнее.

Чем больше она думает про Интернет, тем больше ей кажется, что ее сын заблудился в нем, как Машенька в лесу. Все, что она читает про Сеть, убеждает ее: никто не знает, что творится в глубинах World Wide Web. Нет, Интернет — не лабиринт. Он — море, не подвластное никому. Люди, которые создают его чудеса, как они, например, создали этот самый kremlinkam.com., не более чем кораллы, наращивающие интернетовские рифы. Само море им неподвластно. В его глубинах живут страшные чудовища, порождения электронного мрака. Интернет темней и опасней, чем Марианская впадина. Что проплывает, что дрейфует в нем? Лукавая мысль Эйнштейна? Череп Марбб Кюри? Пуговица Мартина Бормана? Проклятие апостола Иоанна? Нет-нет, в Интернете водятся не одни только электронные сводни, атомные террористы и виртуальные поэты. Его глубины полны монстров, и в этих глубинах действительно исчезают люди.

Сама аббревиатура — WWW — начинает ей казаться зловещей, как звериное число из Апокалипсиса: 666. Она просит сына прислать ей распечатку с kremlinkam.com. Через некоторое время она получает письмо с цветной картинкой, отпечатанной на лазерном принтере: Кремль, Васильевский спуск — и она в желтом плаще. Во всяком случае, какая-то крохотная фигурка в желтом. Возможно, это в самом деле она.

Потом наступает зима. От сына начинают приходиться тоскливые послания. Москву окутали вечные сумерки; он больше не может различить мать на покрытой мраком мостовой. В мороси и метели, пишет он, даже кремлевские звезды и огни светофоров кажутся серыми. Что ей сделать для того, чтобы он различил ее на своем сайте? Она готова взмыть в небеса, чтобы руками развести тучи. Но это не в ее власти.

Она решает действовать. Ей кажется, что сын попал в беду. Неужели он действительно забрался в те самые глубины Интернета, из которых нет возврата?

Она звонит на работу подруге. Той самой, что рассказывала ей про исчезновение в Интернете. Сама подруга компьютером не владеет. Но ее коллега готова сдать свой компьютер в аренду за умеренную плату и даже научить ее пользоваться World Wide Web.

Она приходит в назначенное время. Компьютер уже включен. Как выясняется, войти в Сеть проще, чем казалось. Но просто ли из нее выйти? Ее этот вопрос не очень волнует. Она обязана войти в Интернет, чтобы найти сына. Это то же самое, что пойти за мальчиком в лес.

Она бьется с компьютером три дня. Она попадает на какие-то совершенно дурацкие сайты, вроде петушинных боев в Мексике и течения Эль Ниньо. Потом она начинает приближаться к Кремлю, но медленно, очень медленно: реклама «Кремлевской» водки (отвратительно). Кремль-анекдот-он-лайн (глупо), gremlin.com. («gremlin» означает «злой дух» по-английски). На четвертый день она наконец побеждает глобальную паутину и набирает: kremlinkam.com.

Как нарочно, компьютер зависает на минуту, потом на экране, медленно, сантиметр за сантиметром, начинает раскрываться картинка. Она не верит своим глазам. В самом деле, ее взору открывается заснеженный Васильевский спуск. Выходит, сын ее не обманул?! Выходит, он в самом деле каждый день включает свой мощный компьютер в Майами и смотрит на стремительно стареющую московскую мать? Мать машет ему рукой, он видит это, но сам не отвечает никак. В каком-то смысле для нее он не только невидим, но и всемогущ и загадочен, как Бог. Только сейчас до нее начинает доходить весь ужас ее положения, и, по инерции продолжая бесцельно дрейфовать по гибельным водам Интернета, она наконец убеждается, что все, что происходило с ней и с ее сыном, вовсе никакая не виртуальная реальность, а самая настоящая правда. Ей хочется нажать клавишу Delete, самоуничтожение. Однако это почти невозможно. Как она теперь понимает, и в Интернете, и в любви легче потеряться, чем погибнуть.

Юрий Криворуцкий

Вехи памяти



Пять лет жил в Израиле русский поэт Юрий Криворуцкий, мой ровесник. О себе он говорил скромно: я не поэт, я технарь. И действительно, технарь — кандидат технических наук... Но истинной поэзией дышит подаренная мне его тетрадь. Откуда это чудо? Поэзия рождается из Любви. А Любовь эта для Юрия Криворуцкого — Россия. Всю жизнь — пешком и на байдарке — он странствовал по ней, потому что любил ее леса, ее дымчатые, голубоватые дали, ее тихие проселки. Конечно, тревоги и сомненья всегда были в России. Это и война, и черные воронки тридцать седьмого, и проклятый пятый пункт, из-за которого оказался поэт в далеком израильском поселке Нахаль-Бека. Но нет тревоги в солнце, просвечивающем шипы чертополоха оранжевой радугой, и нет сомнений в людях, с которыми прожита счастливая и нелегкая жизнь. И поэт вернулся. Вернулся туда,

*Где шепчут травы день-деньской,
Не зная горя и печалей,
И каждый кустик над рекой
Как своего меня встречает...*

Дай Бог тебе удачи, Юра!..

Анатолий ЖИГУЛИН

На Истру

Слетела вмиг с меня хандра
От дивной мысли:
Чуть свет я соберусь с утра
В поход по Истре.

Замрет на Троицкой вагон,
Тропа завьется,
Молчанье низеньких окон
В меня вольтется.

Дорога к речке поведет
Вдоль рыжей пашни.
На тихом берегу пахнет
Костром вчерашним.

Я сонному кусту кивну,
Потом — другому
И с облегчением вздохну:
Вот я и дома.

Юрий Хаймович Криворуцкий родился в 1929 г. на Украине. С 1934 г. жил в Москве. Окончил заочный политехнический институт по специальности инженер-электрик. Защитил кандидатскую диссертацию. Работал в московском НИИ. В 1992 г. уехал в Израиль. В 1997 г. вернулся в Москву. Стихи начал писать в 1985 г. Публиковался в русскоязычных израильских газетах и в поэтических альманахах Веер-Шевы.

На церковной горке

Внезапно среди ночи раздвинулась мгла,
 Попятились тучи за Лось,
 И вновь засияли вдали купола,
 И небо над ними зажглось...

И кажется все первозданным вокруг:
 И воздух,
 И запах земли,
 И шорохи веток,
 И капельный стук,
 И отзвуки грома вдали;

И грозной кометы пылающий хвост,
 Стремительно гаснущий след,
 И тихие вспышки неведомых звезд —
 Вселенной таинственный свет;

И мокрые вербы у древней стены,
 И низкий дымок над травой,
 И редкое чудо земной тишины,
 И близкий рассвет над Москвой...

Леший

Памяти Петра Орлова

Опять над полосой прибрежной
 Шуршит и кружит листопад,
 Опять неистово и нежно
 Осинник пламенем объят.

И беспокойный здешний леший
 С рассвета бродит над рекой,
 И лист, до жилок покрасневший,
 Швыряет щедрою рукой...

Наверно, леший тот бедовый,
 Войдя в осенний раж и пыл,

Стал человеком грешным снова,
 Каким он в прошлой жизни был.

И снова шум, и трепет листьев,
 И берег в розовом дыму,
 И тихий плеск воды на Истре
 Покоя не дают ему.

И он в тоске мятежной бродит
 И звонкий лист ковром кладет,
 Как будто душу он отводит,
 Да все никак не ответит...

1990—1998

* * *

Кем в старости хочу я быть?
 Не физиком и не поэтом:
 Мне просто бы в байдарке плыть
 Погожим на исходе летом.

Привычно в руки взять весло,
 Забыть заботы и тревоги,
 И чтоб несло меня, несло
 Меж светлых берегов отлогих,

Где шепчут травы день-деньской,
 Не зная горя и печалей,
 И каждый кустик над рекой
 Как своего меня встречает...

И будут в небе облака
 Кружить беспечно надо мною,
 И будет течь и течь река
 Сосновой гулкой стороною.

Вечер на Кубене

Речка. Над речкой поляна.
 Воздух налит синевой.
 Тонкие нити тумана
 Вьются над росной травой.

Белые струйки, сплетаясь,
 Кружатся возле меня,
 И отступает усталость
 Шумного знойного дня.

Изредка дымкою встречной
Мягко меня обдаёт,
Словно ещё одна речка
Здесь, на поляне, течёт.

Мне эта речка по пояс,
Кажется, вот я нагнусь —
И с облегченьем умоюсь,
И с наслажденьем напьюсь...

Смолкла лесная округа,
Ни голосов, ни гудков,
Мирно плывут друг за другом
Острые шапки стогов.

Где-то, не зная покоя,
Жалобно птица кричит,
Сердце мое городское
От непривычки щемит.

Завтра приду сюда снова,
Вновь дотемна засмотрюсь.
Боль и отрада Рубцова —
Тихая мгlistая Русь...

Память

Е. Аксельрод

Что вспомнил я за час до рейса,
Устало прислонясь к стене:
Свое упрямое еврейство,
Всю жизнь кричащее во мне.

И тысячи обид на свете,
Которым нет и нет конца;
И вечный пятый пункт в анкете,
И черный воронок отца.

И ужас Катастрофы нашей
С кошмаром ада наяву,
И тетю Хаю с дядей Яшей,
Закопанных в песчаном рву...

Но здесь, в краю Обетованном,
Земле и грешной, и святой,
Я вспомнил Марью да Ивана,
Сгоревших в Катастрофе той.

Ностальгия

Я умру в пустыне раскаленной,
Не от жажды —
От тоски умру
По траве некошеной зеленой,
Тихо шелестящей на ветру.

По невзрачной вологодской речке,
Схоронившейся в таежной тьме,
По крестьянской окающей речи
В позабытой Богом Чухломе.

Снится мне проселок за Окою,
Вбитая морщиной колея,
Полные раздумий и покоя,
Гулкие осенние поля.

Грустная, угасшая природа
В клочьях дымки сизо-голубой,
И чего бы только я не отдал
За одно свидание с тобой...

Но друзья, с кем ездил по России,
Пишут напрямую мне в ответ —
«Юра! Мы тебя бы пригласили,
Но России прежней — больше нет!»

Поглядишь вокруг — и давит
горло:

Сколько нищих городов и сел,
По которым, гикая погромно,
Век крутой безжалостно прошёл.

Власти те же — ни стыда,
ни чести! —
Рвут, где могут, пожирней куски.
Ты уж погоди, пока не езди,
Не то больше взвоешь от тоски...»

Я гляжу в окошко каравана
На заката гаснущую медь,
Что ж,
Выходит, мне в Обетованной
Суждено и жить, и умереть...

Но мне снится,
Снится все упрямей,
Гул турбины под тугим крылом,
Синий дым над желтыми полями,
Шереметьевский аэродром.

Ног не чуя,
С сумасшедшим пульсом,
Прохожу таможную без проблем.
Слышите, ребята!
Я вернулся —
Н а с о в с е м!..

Частные воспоминания о XX столетии

Теймураз Мамаладзе

Здравствуй, осел!

Краткая энциклопедия забытых игр, кинолент, забав и развлечений



Все, что было, — забудь. Это уже история.
Главное то, что происходит сейчас.

*Эдуард Шеварднадзе
в частной беседе с автором*

Я хочу, чтоб остался,
Совсем не ушел
Мир, увиденный
Только моими глазами,
Мир, услышанный
Только моею душой...

Юрий Айхенвальд

Прошу вас, тбилисские тротуары:
Пишите свои тротуарные мемуары!

*Шота Дедабришвили,
Президент Братства Верийских Сирот*

От третьего лица

«Беру в руки калам и шлю тебе салам...»¹, — так начинал свои письма мой деревенский дядюшка Конониоз Лаврентьевич Мамаладзе. Он сидел при всех режимах, а в промежутках отсиживался на крутосклоне нагорного леса Магнари, в кукурузнике — налиа, мотыжил кукурузу и размышлял о Лассале. Время от времени его супруга Мария Трофимовна Макаренко приносила ему из деревни провизию и урожайное свое тело. Свайная плетенка налиа, в которой в наших краях хранят кукурузу, служила им ложем любви к истории. «Эту я сделал в Год Великого Перелома, — указывал Конониоз на старшую дочь Нателу. — А вот этого, — кивок в сторону среднего сына Джимшера, — в ходе процесса над правотроцкистским блоком. Вся моя ветвистая семейка — Краткий курс истории ВКП (б), только автор не Сосо Джугашвили, а я. И еще вот она, мой верный-благочестивый соавтор», — следовало указание на Марию Трофимовну, которую он называл «Т р о ф е й н о в а», поскольку вывез ее из сибирской ссылки раскулаченных, куда сам угодил за участие в меньшевистском мятеже 1924 года.

Известно, что у гурийца политика и острое слово в одной упряжке ходят. Можно сказать и так: быков политики он нахлестывает кнутом осмеяния. Или: перегоняет домодельную чачу в ферменты политического хохота. «Проклятое правительство! — говорит гуриец, высовывая руку в окно. — Опять идет дождь!» О роли сатиры и юмора в большой политике мы еще поговорим, а пока ограничимся Гурией. Если для кого Карл

Из книги воспоминаний.

¹ Калами — перо, салами — привет (груз.).

Каутский — ренегат, то для нее — брат родной. Гурийские смешки и смешочки произрастали на ниве здешнего малоземелья, поголовной книжности народонаселения и близости порто-франко Батуми с его экспортом-импортом опасного вольнодумства. Что формовало в крае точильный камень воспламеняющих идей. Лев Николаевич возвышал голос в защиту гурийских крестьян, Владимир Ильич возбужденно потирал руки при вестях о крестьянских восстаниях в Гурии.

Насчет малоземелья Конониоз просветил меня в ходе прогулки по истории нашей деревни Упскрула, что означает «пропасть», образованную ущельем речки Гадареули, что, в свою очередь, переводится как «безумная». Кроме Марии Трофейновны в ссылке он овладел русским языком и стал преподавать его в местной школе. Здание школы сложили из рваного базальта порушенной в двадцатых годах церкви. Церковь стояла на единственно пригодном для себя месте, прозванным в народе «Кати-мериа» — Кошачьей площадью. Мол, и земли-то кот наплакал, но хватило и церкви, и погосту, разросшемуся вокруг. Ее поставили во искупление греха братоубийства. Будто бы один наш пращур в ночном лесу Саорко выстрелил на рык кабана и убил родного брата. Церковь не хотела строиться, распадались едва поднятые стены, и в народе стали поговаривать, что Всевышний не принимает искупления, но в 1832 году в Упскрула появился ссыльный поляк Зенон Поплавский, архитектор, и дело сладилось.

После того как храм пустили на школу, началось строительство дороги к курорту Бахмаро, и упскрульцам приказали перенести кладбище куда-нибудь в другое место. Кто во дворе перезахоронил, кто — на магнарском крутосклоне, а Конониоз, проходивший тогда по делу правых национал-уклонистов, не смог перенести могилы, и дорога прокатилась над отчими костями.

— Мы стоим на них! — сказал он мне и для убедительности притопнул разношенной кирзой по раскисшему асфальту. — Вся Гурия едет по ним!

И совершенно невпопад обронил сокрушенно, причем, заметьте, по-русски:

— Нас освободили без земли. Как сказал Николай Гаврилович, барским крестьянам от их доброжелателей поклон!

— Какой Николай Гаврилович?! — опешил я.

Само по себе присутствие отца русских революционеров-демократов в расщелинах Аджаро-Гурийского хребта не было какой-то сенсацией. О причинах сказано выше. Бебели и Лавровы неплохо прижились в гурийских домах-ода, мой дед, деревенский провизор Сардион Бежанович Мамаладзе — построенная им аптека стоит в Упскрула по сей день — переписывался с Плехановым. До добра это не доводило, точильный камень высекал такие искры из политического остроумия местных аборигенов, что в Упскрула-Пропасти все разгоралось синим огнем. Но факт остается фактом: в шуме Гадареули-Безумицы, блестяще смонтированной с булатным проблемском неба над щетинистым загривом ущелья, шелестом струящейся по мельничному желобу кукурузной муки и рокотом буковых лесов, «Николай Гаврилович» в устах Конониоза сочетал такую неизвестную смесь степенного сибирского оканья с перченой гурийской скороговоркой, что ошарашил меня:

— Какой Николай Гаврилович?!

— Как — какой? — удивился Конониоз моему невежеству. — Наш, Чернышевский! Взял в руки калам и послал нам салам — роман «Что делать?»!

Не обязательно жаловать сочинения великого вилюйского узника, чтобы потрястись притягательным местоимением — наш. Притягательным, притягательным, сопрягающим, семейно-домашним! Идентитет, черт его дери! «Чей-чей, дядя Конониоз?!» «Наш! Мой! Твой!» Он обжил историю, как свою пасеку в урочище Балтахеви, где с пчелами был на ты.

Принято считать, заметил один пишущий американец, что жизнь каждого человека тянет, как минимум, на один роман, а между тем у многих не набирается даже на короткий рассказ. К Конониозу это не относится. Многие люди, сказал другой, стараются сделать из своей жизни как можно более занимательную историю. Вот это — о нем! Но с одной существенной поправкой: он не старался, просто его жизнь сама складывалась так, или ее так складывали другие. К его полному удовольствию — несмотря на ссылки и отсидки. Кстати, в июне 1941 года он покинул свою налия, чтобы вернуться в нее в июле 1945 года из Польши, где закончил войну: «Отдал исторический долг нашему Зенону!» Передав мне свой очередной исторический импульс, Конониоз

прочитал стихотворное «Сказание о семи братьях — мамали» — историю нашего петушиного рода, прослеженную им с начала XVII века, после чего роман его жизни показался мне эпосом. И я попросил его: «Пиши! Записывай!»

Пошли письма: «Беру в руки калам и шлю тебе салам! Что писать? Как сказал Пушкин, зима, крестьянин, торжествуя...» И дальше рассказ о том, как сидит он с Марусей у камина-бухари и пьет холодное вино из своей поднебесной лозы или «пчелиную водку» с нагорной своей пасеки. А вот еще: «Как говорил наш Алексей Максимович, в детстве у меня не было детства...» И все в таком духе, постмодернист упскурьский. Так и ушел, унеся с собой свой «салам-калам»...

...Теперь вот пристало ко мне как второе, нет — даже как первое имя. Приготовляясь писать свои, а чаще — не свои сочинения, я мысленно проговариваю этот Конониозов зачин: «Беру в руки калам и шлю свой салам...» И окружающие, близкие и не очень, тоже зовут меня теперь этим именем. С ним и адресуюсь к тебе, мой читатель. Одно лишь предупреждение: привыкнув писать для Первого Лица, от имени его и по поручению, устав от «Я», чужого ли, своего — не разберу, иногда буду рассказывать о себе в третьем лице: «Салам-Калам...», имея в виду и Конониоза с его Трофейновной и их ветвистой семейкой, и вообще всю раскидистую сень лиц, с которыми меня сводила дорога. Все замеченные в тексте неточности в написании других названий и имен также прошу считать абсолютно преднамеренными, но необходимыми.

Заявка

В раннем отрочестве Салам-Каламу неоднократно предлагали сниматься в кино. «Раннее отрочество» звучит почти как «раннее средневековье», что, впрочем, не является слишком уж большой натяжкой. Ибо в известном смысле эпоха его раннего отрочества почти во всем была адекватна эпохе раннего средневековья. Это поразительное сходство порождали не только известные обстоятельства салам-каламова отрочества, но и роли, которые ему предлагали.

Например, роль юноши, обезглавленного по приказу иранского шаха. Или — ребенка, онемевшего от страха перед нечистой силой. Или — отрока, замурованного в стену строящейся крепости.

Знатки могут сказать, что все эти роли взяты из эпохи позднего средневековья. Точно. Однако у Салам-Калама готов контраргумент: иные эпохи в этой стране так затянулись, что вполне могли захватить и его отрочество.

Никаких особых последствий для национального кинематографа эти кинопробы не имели, чего не скажешь о самом Салам-Каламе. Последствия были — и весьма печальные. Скажем, эти скромные опыты привили мальчику любовь к исполнению несвойственных ему ролей и приучили рассматривать явления окружающей действительности исключительно как монтаж несовместимых кадров...

...Крупно, во весь экран — известная часть тела, драпированная в сатиновые трусы середины уходящего века. Драпри волнуются, обнажая хищные икроножные мышцы и тощие щиколотки, восходящие из разношенных дырчатых сандалий конца тридцатых годов того же столетия. Сандалии, в свою очередь, утопают в зыбучих песках вечности, слабо намекая на отдаленное родство с обувью римских центурионов.

За экраном оркестр духовых инструментов Управления милиции под управлением маэстро полковника Желтухина исполняет популярные напевы эпохи «Мы свою Страну Советов по-ежовски сторожим», «Утомленное солнце нежно с морем прощалось...», «Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить...» и др.

Средний план, плавно переходящий в бесконечность: вереница известных частей тела в драпри из популярных тканей минувших времен (сатин, байка, шевиот, бостон, трико-ударник, трико-метро, рванье известной модели «бабоит похан» — имущественное расслоение или, наоборот, дифференцированное единство страны победившего социализма).

Классическая прямая перспектива (или ретроспектива?) отроческих задов, исчезающих в дымке небытия.

Крупно: юное лицо в грязных натеках пота. Напряженное выглядывание из

неудобной позы ожидания. Из тревожного азарта надежды или, наоборот, из надежды тревожного азарта.

Это лицо нашего Салам-Калама.

По преданию, Салам-Калам родился в Банном квартале, конкретно — в бассейне бани «Фантазия», Воронцовская улица, 30, но играл везде, где позволял рельеф городской жизни. Чаще всего рельеф позволял играть в Верийском квартале, и на то были свои особые историко-географические причины.

Но не будем забегать вперед. Тем более что оркестр играет возвышенную песнь «Летите, голуби, летите!..». И вдруг, перекрывая золотые трубы вознесения и полета, звучит пронзительный возглас: «Голову режь!» И голова отрезана. То есть спрятана в колени. Лицо, естественно, исчезает. И меркнет экран в мелькании гигантской тени. Это мелькают острые лопатки, подобно крыльям, взметающие разбег и прыжки мальчишеской фигуры.

Голос за кадром: «Здравствуй, осел!»

Популярная городская игра — прыгать через поставленных рачком сверстников, вопя самозабвенно: «Здравствуй, осел!»...

Игры опоясывают земной шар, как параллели. Все точки, лежащие на одной параллели, имеют одинаковую игровую широту. В фундаментальном труде венгра Арпада Лукачи «Игры детей мира» убедительно прослежено триумфальное шествие одних и тех же забав через страны и континенты. Немцы Михаэль Эйген и Роберт Винклер доказали идентичность жизненных устремлений, проявляющихся в состязаниях подростков разного национального и — более того — социального происхождения. Как пишет известный украинский игровед Игорь Иванович Гармаш в своей книге «Ігри і розвагі», в Турции и Украине широко распространены местные модификации воспроизводимой нами игры «Здравствуй, осел!», известные под названиями «эбэ» и «чехарда».

Нельзя не признать, что название «Здравствуй, осел!» куда менее благозвучно, нежели «эбэ», но намного загадочнее, а главное — выразительнее. Что же касается широко принятого названия «чехарда», то от него так и веет набившей оскомину банальностью...

...Мальчик скачет, отталкиваясь от спин и колебля их, удаляется от нас в перспективу (или ретроспективу?) времени, чтобы исчезнуть в загадочной туманной дымке. И по мере его удаления удаляется и исчезает, теряется в туманном пространстве возглас: «Здравствуй, осел!»

Дурацкая игра конца тридцатых — начала сороковых годов, столь неуместная в стране победившего социализма по причине своего выразительного названия и родства с турецкими забавами «эбэ». Никто не знает, откуда она пришла, почему так называлась и куда исчезла. Помнят лишь, что она была и в нее играли. Как принято — на пустыре, на окраине парка. Парк летел над городом. Над рекой, набережной, паромной переправой, над мостами. Над крышами и хребтами.

В таком месте любая игра — полет. Даже «Здравствуй, осел!».

Не играли — парили. Царили.

Летающий над городом парк примыкал к Верийскому кварталу как хороший летучий игродром на все вкусы, пристрастия и случаи жизни.

Этому парку в дальнейшем наш герой посвятить самые прочувствованные строки — парк того стоит. А пока достаточно и метафоры о жизни, которая пролетела как игра...

...И вот уже духовой оркестр Управления милиции (полиции?) под управлением маэстро полковника Надежды Желтухиной наяривает бешеные хиты очень горячего рока. Дочь за репертуар отца не отвечает, у нее своя программа...

Крупно: то же лицо — спустя полвека. Постаревшее салам-каламово лицо, ныне лицо кавказской национальности. Никакой надежды азарта или, наоборот, азарта надежды, одно сплошное любопытство в ожидании конца.

Голос за кадром:

— Здравствуй, осел! Какое прекрасное название для мемуаров такого человека, как я!

Метод

От дипломатии осталась стопка нежной золотистой бумаги. Андрей Андреич обожал ее, Эдуард Амвросыч недолюбливал. На ней писали меморандумы, докладные в ЦК, дипломатические ноты и тайные послания.

«Министерство иностранных дел Союза ССР свидетельствует свое уважение Посольству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и выражает решительный протест по поводу ...»

Или: «Дорогой Джордж, после нашей последней встречи в Вене, последовавшей за драматическим саммитом в Рейкьявике, возникли обстоятельства, вынудившие меня прибегнуть к условленной форме переписки...»

Салама всегда вдохновляли девственные писчебумажные изделия. Как они прекрасны, пока не тронуты нашим пером! Обычно Салам даже на грубом газетном срыве испытывал экстаз, а тут и вовсе потерял голову. Шелковистая, с водяными кружевными узорами на просвет, бумага называлась куртуазно и интимно в е р ж е. Салам недоумевал, почему дипломаты зовут ее в е р ж о в а я, а то и в е р ж о в к а, будто это женщина легкого поведения. Ему хотелось ласкать ее, осыпая быстрыми и страстными поцелуями, но возникали опасения, что его ласки, то есть слова и фразы, которыми он намеревался покрыть бумагу верже, окажутся недостаточно правильными и красивыми и поэтому недостойны ее.

Затем блокноты. Такого разнообразия и изобилия Салам не встречал за всю свою недолгую дипломатическую жизнь.

Большие, линованные, в кожаных, с золотым тиснением окладах, многоцветная бумага, хромированные зажимы — стартовые установки для космических взлетов острой, как многоступенчатая ракета, дипломатической мысли, запись бесед, в которых собеседники монументальны, точно памятники, и доступны, как ближайшие родственники.

«23 марта 1988 года, Белый дом.

Буш. Нас очень беспокоит проблема безопасности на Олимпийских играх в Сеуле. Седой¹. Я уверен, игры пройдут хорошо.

Рейган. Оставьте нам хотя бы несколько медалей.

Седой. Этот вопрос можно будет обсудить сегодня на вечернем раунде наших переговоров. Если с вашей стороны будут уступки по вопросам Стратегической Оборонной Инициативы. (Общий смех.)

Рейган (со вздохом). Может, мне надо было остаться в Голливуде?

Всеобщее «о-о-о-о-о!!!».

Седой. Но тогда не было бы договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности!

Шульц. И не было бы в США 13 миллионов новых рабочих мест!»

А вот еще маленькие, с ладонь, записные книжки Метод.

Мемо. Мемориа. Мемориал.

«Я писал не потому, что боялся забыть. Просто у меня была такая привычка. За шесть лет можно приобрести уйму привычек и исписать уйму черных книжечек...» Роберт Пенн Уоррен, «Вся королевская рать».

Годится для эпитафии. Все, как у Салама: те же шесть лет, те же провинциальное происхождение Первого Лица и тот же мальчик в литературном услужении... Из приличной ущербной семьи, репортер, сменивший профессию...

Удивительное сходство! Полное совпадение обстоятельств. Джек Берден и Салам-Калам — полное тождество судеб. Не говоря уже о записных книжечках. «Человек должен вынести из пучин и дебрей времени что-нибудь помимо изъеденной печени. Так почему бы не вынести черные книжечки? В них дела и дни ваши. И лежат они в уютной темноте маленьких ящичков, а гигантские оси мира поскрипывают и поскрипывают...»

Саламовы записи — фиксация поскрипываний. Подножный корм действительности. Мелкие фракции бытия. Стройматериалы для чужих речей. Страховка от амнезии...

«30 июля 1985 года, Хельсинки. «Боже мой, он улыбается!» — сакральный ужас на лице Его Превосходительства имярек из маленькой средневропейской страны. Мистическое потрясение, смешанное с восторженным недоверием: Боже, новый советский министр улыбается! Более того — смеется! И даже острит!

¹ Седой — так называют Э. Шеварднадзе в близком кругу его сотрудников.

Министерский дебют Седого на международной арене. Речь тускла. Но десятилетие Хельсинкского акта — его торжество. Он — гвоздь программы. Блестящий, острый, хорошо откованный гвоздь.

Легенды сопутствуют ожиданиям. Про вас сочиняют истории, героем которых вы обязаны быть. Будто бы в Хельсинки Седой положил перед Шульцем грузинский кинжал в драгоценных ножнах и сказал:

— Я разоружился. Теперь ваша очередь...

«Ничего подобного не было, — говорит Седой, — а было вот что...»

Шульц подвел к Эдику какую-то миниатюрную девушку в строгом брючном костюме мышиного цвета. Она напоминала мышку, которая запуталась в копне собственных волос.

— Я хочу представить вам мою лучшую телохранительницу, — сказал Шульц без тени улыбки. У него это называлось «снимать мерку».

Седой оглядел несоразмерность охраняемого тела и тела охраны, крепко пожал стальную мышиную лапку и сказал:

— Наконец-то я убедился, что судьба Америки в надежных руках!

Конониоз бы одобрил. Дебют гурийского юмора на европейской сцене прошел под сплошной гомерический хохот. Давно так не смеялись на международных форумах.

Уж если кто-то желает снять с вас мерку — пусть делает это под вашу диктовку: «Мой размер — такой-то».

— Кто я такой в сравнении с господином Шульцем? Но если за ним опыт, то за нами — правда!

Домашняя заготовка. Впервые применена на Смоленской площади 2 июля 1985 года, в день вступления в должность.

— Кто я в сравнении с Андрей Андреичем? Он — большой океанский лайнер, я — маленькая лодка... Но — моторная!

В новую должность Седой вступал под смех облегчения мировой общественности, подчиненных и коллег».

Наконец, фирменные общие тетради. Роскошные, как пятизвездные отели, — тисненый сафьян, золотые обрезы, барочные рамочки, замысловатые виньетки, цветные фото с кодахромовских слайдов, мелованная бумага — рекламные шедевры «Тракторозэкспорта», «Ювелирпрома», «Аэрофлота», вещественные доказательства валютного могущества означенных фирм. В канун Нового года их рассылали по специальным спискам, тем самым причисляя одаренных к сонму особо важных персон. Увы, они оставляли слишком мало места для более или менее внятных записей жизни. Еще меньше оставалось времени для этого. Однако Салам-Калам ухитрился. Где-нибудь в два ночи, в номере какого-нибудь «Ритца» с окном на фаллический вымах Вандомской колонны (за углом любимый бар старины Хэма) он присаживался к золоченой имитации будуарного столика Марии-Антуанетты и переносил скоропись пережитого накануне в показушный писчебум «Алмазювелирэкспорта».

Странные это были записи — шаткие, как мебель несчастной королевы, — он сгрэбал в них золу отгоревших дней.

«24 февраля 1989 года. Басра. Сидит слева человек — вылитый дядя Габо из Кировского парка. То есть никакого сходства. Габо был приземист, этот — высок и строен. Габо не снимал синюю, застиранную до белизны спецовку, этот — франт с иголки от Кардена.

Мы летели в Басру над Минтаха Ахвар — Великой Болотной Страной. Шумер. Междуречье Тигра и Евфрата. Я молча помянул поэта Сему Шахбаза. Его Ассирия утонула в этом великом ближневосточном болоте. «Что Родина? Музейный экспонат...» — написал Сема и повесился. А болотная ряска выплеснулась на комбинезоны коммандос пятнами маскировочной ржавчины. «Уверю вас, это наша повседневная одежда. Очень удобно», — говорил Тарик Азиз Седому. Кажется, скоро и мы доживем до такого удобства...

Болотные коммандос существуют для того, чтобы окружать собой и выделять вылитого Габо. Ничто так не подчеркивает элегантность черного костюма, белоснежной сорочки и серебристого галстука, как скопление сурового, в пятнах то ли ржавчины, то ли крови камуфляжа. Я увидел оригинал ослепительной улыбки, тысячи ее воспроизведений освещали Багдад. Оригиналу выглядел посильнее, блеск его ума сквозил в назиданиях Седому:

— Опираясь на наш скромный опыт, можем дать вам совет: не оставляйте втуне свои замыслы. Однажды я сказал товарищу Горбачеву: пусть ваши замыслы выплеснутся вовне...

Седой уважительно кивал серебристым хохолком. Свет великой истины идет с Востока. Один командос в белых перчатках подавал шербет, другой — орудовал телекамерой, третий работал привратником. Оказывается, идею перестройки товарищу Горбачеву подал товарищ Саддам Хуссейн.

— Многопартийность — веление времени. Я пришел к выводу, что создание новых партий в нашем государстве будет стимулировать развитие общества как живого организма и способствовать сохранению подлинно руководящей роли БААС.

Басра «Тысячи и одной ночи» затерялась в развалинах ирано-иракской войны. Шахразада рассказывала сказки, товарищ Саддам излагал сущую правду. Министры ходили на цыпочках, чтобы невзначай не порезаться об нее.

Я вышел с заседания в полном одиночестве. Лишь два министра поддержали меня. Один из них сидит сейчас перед вами — товарищ Тарик Азиз, министр иностранных дел.

Свет великой истины бежит с Востока, иначе ему несдобровать там. Серебристый хохолок заметался над челом Седого — летучий дымок над костерком лицемерия.

— О да, товарищ президент, министры иностранных дел всегда поддерживают своих руководителей...

Тарик посмотрел на Саддама. Саддам разрешающе кивнул, и Тарик одобрительно рассмеялся.

— ...Потому что, — наставительно произнес товарищ Саддам Хуссейн, — министры иностранных дел всегда находятся на передовых позициях мира...

Ступая на цыпочках, подошел министр информации, положил на стол лист бумаги. Бумага вписалась в натюрморт, разложенный под правой рукой товарища президента, — золотистая каракулевая шапочка, очки в золотой оправе, кольт. У колты золотая рукоятка, как часовые браслеты на министерских запястьях. Циферблаты украшены Саддамовым ликом. Время Хуссейна неудержимо тикало, искрясь в завитках тяжелой золоченой мебели и на рамах картин, которые ничего не изображали, кроме дурного вкуса своего заказчика. В разрушенной Басре это был единственный оазис дозволенной роскоши, подлинный, как оригинал Саддамовой улыбки.

— Что касается вашей миссии в Иран, — заключил оригинал, — то Аллах вам в помощь. Только ... — тут Саддам смешал на палитре своего лица теплую отеческую улыбку с холодным блеском пистолета, — ... только наш Аллах — не иранский!

Министры засмеялись без разрешения.

— У нас один Аллах! — Седой откликнулся неопределенно, заставив Саддама гадать над смыслом его слов: то ли у него один Аллах с товарищем президентом, то ли в эту компанию он зазвал бы еще аятоллу Рухоллу Хомейни. Восток дело тонкое, а где тонко, там и рвется, говорят в России.

— И помните: вести переговоры с иранцами — все равно что рвать зубы без анестезии.

Саддам обнажил резцы, которых равно страшатся дантисты Востока и Запада. У Габо вместо зубов оставались одни коричневые пеньки. Ну то есть никакого сходства. Но до чего же они похожи! И как Саддам напоминает мне тот момент, когда, подкараулив мое протискивание в лаз с улицы Ленина, сторож Габо набрасывал мне на голову рваную basketбольную сетку и волок под трибуну, где я ничего не мог увидеть, кроме душной мглы! Зато неволя обостряет слух и развивает воображение. Я научился по шуму на трибунах восстанавливать ход basketбольного матча между нашими и таллинским «Калевом». А тут еще Габо приваливался к дверям темницы и рассказывал о бросках Отара Коркия, садист. Какие, однако, странные непристойные ассоциации! Генералиссимус в масштабе одного, отдельно взятого стадиона и — глава мощной субрегиональной нефтедержавы. Где Шах Аббас и где керогаз? Воображение мальчика погружалось в душную мглу, а может, совсем наоборот — озарялось ярким светом.

Все зависит от того, кто ведет репортаж — ваш тюремщик или болельщик с воли.

Вот другой, более подходящий пример. Кирилл Зданевич, тот самый, что с братом Ильей и другом Мишелем Ле Дантю открывал миру Нико Пиросмани, тоже попал однажды в темницу. Засиделся в «Арагви» с какими-то иностранцами, разговорился, принял приглашение в люкс «Националя». Взяли на выходе.

Из лагеря писал другу Вахтангу Дугладзе, тоже художнику: «Все хорошо. Пайка и баланда не хуже хлеба-шоти и бастурмы, если зона окружает тебя, как духан «Не уезжай, голубчик мой!». Одно плохо: поздно узнаю, как наши играли с ЦДКА».

Из неволи больельщик зывал к больельщику с воли.

Кирилл Зданевич жил за углом нашего дома в Верийском квартале — на улице Бакрадзе. Он приходил к нам в «Вечерний Звон» узнать свежие спортивные новости. Я понял, что Пиросмани очень близко, в двух шагах, а Габо — это какое-то другое время...»

Ладно, поехали дальше.

«1 августа 1989 года. Лежит на тарелочке персик и млеет в жаре Тегерана... Ножи приготовили персы, повитые вязью Корана. Зазвали к себе пообедать — обед превращается в тризну. В посольском саду Грибоедов не спрячет свою укориэну и скажет, пробившись сквозь бронзу, живым свое слово живое: «Один я, но рано или поздно нас станет, растерзанных, двое. Вам мало всего, что я вынес, и горя уму не достало?.. Глядите: возносится Хиггинс ко мне на плиту пьедестала...»

Скверная привычка — рифмовать презренную прозу переговоров.

В феврале мы летели по этому же маршруту и весь мир провожал нас глазами.

— Кто-нибудь читал эти проклятые «Сатанинские стихи»? — спросил в самолете Седой. — Можно вести переговоры, не зная, о чем говоришь?

— А осуждать «Доктора Живаго», не прочитав? Или восхвалять «Малую Землю» — даже не пролистав?

— Я пролистал английский текст, но вчитаться не успел, — честно признался Салам. — Там есть эпизод с захватом самолета террористами, но не иранскими...

— И это все? — скривился Седой.

— Разумеется, не все — все надо прочесть...

— Прочесть, чтобы понять, из-за чего весь сыр-бор?.. — огорчился Тарасенко¹. — Но вряд ли это что-нибудь объяснит...

— Станьте мусульманином — поймете, — сказал Салам.

— Не помешало бы стать на место Рушди... — меланхолично заметил Седой.

Теперь он снова ворчал:

— Что за судьба! Только соберусь куда-нибудь по делу — тут же бросают под ноги какую-нибудь гадость!

В этот раз судьба бросила под ноги дело подполковника Хиггинса.

На высоте полета была непроглядная ночь, а глубоко внизу под нами кто-то невидимый гигантской кочергой помешивал во мгле тлеющие угольки городов. Может, это был Тбилиси, а может, Баку или Сумгаит, кто знает... Где-то в Бейруте томился морской пехотинец Ричард Хиггинс, узник «Хезболлаха», а в Лондоне сочинитель Рушди, приговоренный к смерти за свои «Сатанинские стихи», жил в ожидании казни. Мир слал нам вдогонку просьбы отговорить судей от приговора. Это звучит громко, но это так, и мы летели.

В аэропорту кипела схватка. Какие-то молодые телевизионщики в пожизненных средневековых бородах сражались за место у трапа, как за славную смерть по воле имама. В вестибюле бывшего «Хилтона», ныне «Азади», что означает «свобода», диковатые пасдараны ощупали нас безумными глазами. Телевизор в номере был налит ненавистью. С экрана несло безысходностью смерти в трясинах Болотного края. Я понял, что в заложники можно взять целую страну.

В посольском саду, неухоженном и заглохшем, бронзовый Грибоедов задумчиво разглядывал нас сквозь бронзовые очки. «Это было не здесь, в другом месте...» — обрадованно сообщил посол Гудев.

— Имам примет вас в восемь утра, — сказали Седому. — Беседа продлится пятнадцать минут. Просим не затрагивать темы Салмана Рушди...

Когда иранцы ушли, Тарасенко меланхолично заметил, что в этом городе религиозные фанатики уже убили одного приличного литератора...»

С Грибоедовым Салам был на короткой ноге. Трудно сказать, кто их породнил. Может, Саламово горе от малого ума. Или одноименный спектакль в Грибоедовском театре: предвидя скорое свое исчезновение, мать торопилась приобщить Салама к

¹ Тарасенко С.П. — помощник министра иностранных дел СССР.

вечному. Или роль юноши, обезглавленного по приказу иранского шаха. Или напоминавшая счастье Пестрая баня, в которой Александр Сергеевич предавался купанию как любви со зрелой женщиной. Или несчастный мясник Наджафар, по ошибке зарезанный в Тифлисе на пороге своего дома во второй день Ташрик — начало Новруз-Байрама. Не исключено, однако, что к этому родству руку приложил некий гражданин Иснели. Все это так или иначе будет изложено в дальнейшем — история с Рушди и казнь американца Хиггинса, разговор с имамом Хомейни и ошибочное заклание Наджафара, и вообще вся Саламова жизнь в отсутствие матери, но в присутствии Григола Иснели. В данный же момент проблема заключалась в его способности ощущать себя этими людьми, всеми вместе и каждым в отдельности.

Окружающая действительность в ее романских формах воздействовала на Салама, как заразная болезнь, но даже при самой высокой температуре не избавляла от сомнений по поводу собственного права заражать других бактериями собственной жизни.

Да и о чем могла идти речь, если странствующий цирк дипломатии, при котором Салам состоял закулисным поваром вербальных смесей, не оставлял сколько-нибудь времени для застольных пиршеств. Будуарные столики марий-антуанетт не позволяли заезжим спичрайтерам подолгу рассиживаться в муках слова. Поэтому метод состоял в том, чтобы сочинять в движении. На ходу. На бегу. На лету. В автомобиле, самолете, на корабле, в ходьбе по гостиничным номерам и прилегающим кушам. Спотыкаясь, как в юности, о чьи-то жизни, там и сям разбросанные на пути Саламова движения. Сочинять для Седого, но немного и для себя. Для Седого — речи, для себя — речения. Например, о взблескивающей под крылом министерского Ил-62 Минтаха Ахвар — Болотной Стране в междуречье Тигра и Евфрата, так мучительно остро напоминавшей об одном тифлисском айсоре с его стихами о канувшей в эти пучины отчизне: «Что родина? Музейный экспонат... Но я иду, как шел бы в Ханаане...»

Так, благодаря свою судьбу закулисного изготовителя словесных блюд, Салам прикидывал возможность сочетания постыдной выдумки с не менее постыдной действительностью, благо одно так легко уподоблялось другому, если работать методом рваного монтажа...

...Но однажды Салам обнаружил: кончились роскошные фирменные тетради и не стало роскошных пятизвездных «Ритца» с «Дорчестером», будто он никогда не останавливался в них. Теперь, когда под окном его засаленного номера поводит башней боевая машина пехоты, а в подвальной бильярдной американец Роберт Стивенс крутит ролики своего гуманитарного пособия «Захват и удержание заложников», Салам записывает дни на чем попало. Ломкий желтоватый газетный срыв, квитанции времен второй пятилетки, клочья афиш, оборот старых блокнотов — лохмотья Саламовых дней скапливаются на столе бесполезной свалкой и ветер с Телетского хребта норовит развеять ее.

Какой ишак сказал, что попытка не пытка? Еще какая пытка — собирать по обрывкам себя и свое время.

Тщетно пытается Салам удержать клочки на столе, не дать им разлететься в восходящих потоках телетского ветра, соединить их в нечто более или менее цельное. И выбрасывать на ветер жалко — как-никак собственная жизнь, — и никогда не знаешь заранее, где и как пригодится та или иная запись.

Первая часть

Элементарный курс захвата заложников

Роман — не вероисповедание автора, а исследование того, что есть человеческая жизнь в западне, в которую превратился мир.

Милан Кундера, «Невыносимая легкость бытия»

К истории вопроса о восходе солнца

«Джим подобрал себе галстук в тон моей Горе — влажный изумруд. Накануне ее обдало ливнем с Южного Нагорья, и теперь она сама сверкала, как драгоценный,

чистой воды камень. При взгляде на Гору переставал быть актуальным вопрос: что есть природа — храм или мастерская? Безусловно Храм! Джеймс А. Бейкер III, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, блестяще вписался в мою Гору своим галстуком и домашней заготовкой:

— Мы здесь для того, чтобы послать миру отчетливый сигнал: США поддерживают вас, ваш курс и вашу страну в ее движении по пути демократических преобразований...

Заречняк¹, как всегда, перевел несколько в нос, но прозвучало кафедрально, и моя Гора отозвалась соборным рокотом. И Джим поглядел на нее с уважительной опаской.

На высоте от резких перепадов зноя и стужи у людей запекаются губы, покрываются коростой. Маки продержались весь май, и розы справились с ночными холодами, лишь опалившими края лепестков, будто губы горцев. Вдоль склонов, низко стелясь над свежей влажной травой, заструился сизый дымок густых соцветий — таволга заявила о себе, а в распадах дурманящим золотым цветением занялся испанский дрок. В серебристой листве пшати завязались ядрышки будущих плодов, и абрикос тоже просигналил о скорой завязи плодоношения. Вчера в Верхней Картли вновь сорвали соглашение о прекращении огня, а в Зугдиди звиадисты захватили здание префектуры и взяли двадцать заложников. Такая весна, май 1992 года, двадцать пятое число...

— У Грузии уникальное географическое положение, — сказал Седой, — соседние страны хотели бы транспортировать через нашу территорию свои энергоносители, но конфликты создают серьезные препятствия. И кое-кто поощряет сепаратистов. На днях один пригрозил мне бомбардировкой Тбилиси. Без оглядки на двести лет кавказского партнерства Грузии и России...

— Мы озабочены проблемой вашей личной безопасности, — сказал Бейкер и посмотрел в окно. Будто учуял в цветении таволги и дрока запах армейской базуки, расцветающей огнем прямой наводки. Слишком близко к склону Телетского хребта подступал дом.

— Со стороны оппозиции все может быть, — отозвался Седой. — Но не сейчас. Возможно, осенью, перед выборами, и, скорее всего, на западе страны. А может, — не исключаю, — завтра и здесь...

Солнце восходит на востоке. Эта банальная очевидность нуждается в подтверждении. Некогда Седой обронил фразу о солнце, которое для Грузии восходит на Севере. Смена природных закономерностей и сторон света была утверждена на заседании бюро ЦК, но в народе вызвала тихое гомерическое ликование.

Мой предшественник подкачал — не дал сноску. В устах Первого источник важнее сути. Надо было указать: «Как говорил великий грузинский поэт Давид Гурамишвили, в городе Москве мы ждали солнца...» А без сноски дозволенное классику секретарю ЦК не прощают...

Теперь все вернулось на круги своя. Солнце вновь восходит на востоке. А на севере восходят афганский бомбометатель Руцкой и мимикрирующая номенклатура с ее длинным списком Эдуардовых прегрешений.

Это очень хорошо, что солнце восходит на востоке. До зари я иду на запад, а после — лицом к светилу. Глаза застилает огонь цветущего падуба. Просвеченные солнцем сиреневые метелки отцеживают горячую влагу света, омывая мне воспаленные глаза. Одно плохо — в зарослях таволги и падуба не разглядеть армейской базуки...»

«23 октября 1992 года. Неделю назад обтрясали ореховые деревья. Не верилось, что кругом война. Было щедрое падение зеленых ядер, глухо бивших по жухлой траве. В потоке солнечного света они сверкали, как маленькие спутники Земли, летящие на соединение с ней. Над моей головой, в кроне старого дерева легко ворочалось нежаркое солнце, вплетало в листву золотистые нити, будто пристрачивая глаза к ослепительной высоте нагорья. Светотень ваяла Гору, как остросюжетную книгу.

— Какая гора! — сказал я Нателе. — Какая эпическая мощь! Сколько всего в ней сошлось! Вулканы и Багдасар Навтигов, пастух Миха и отставной вертухай Петр Маркелович Самойлов, массивик Галдава и товарищ Берия, родники и белки, зайцы

¹ Заречняк — американский переводчик.

и волки, миграции с Севера на Юг и бандиты, моя память и вы, Натела, хозяйка моего последнего дома, моя сестра или, если пожелаете, более близкая родственница!

Вопреки ожиданиям, хозяйка гостиницы не воспламенилась. Может, она считала, что не вполне молода для более близкого родства со мной, а может, в ее глазах и я был повинен в происходившем вокруг нее в этой маленькой скомканной стране.

— Да, — равнодушно отозвалась Натела, — американцы восхищаются...

А американцы тут как тут — Боб и Нейл, серийные, как реклама «Кэмел-профи», совсем не тихие американцы, если учитывать их ремесло...

— Вам повезло, ребята! — вскричал Боб, влетев в наше подполье. — Нейл буквально напичкан опытом ведения переговоров по поводу вызволения заложников. Он у нас ведущий крупняк в деле освобождения захваченных самолетов!..

— Ты у нас тоже самый крупный банан нашего дела, Боб Стивенс! — завопил Нейл Каллаген. — Неопознанный тайный прототип героев Кленси, вот ты кто, и пусть эти парни узнают это! Нам нечего скрывать — ни наших секретов, ни наших заслуг!

Это было бы похоже на парный конферанс и могло восприниматься как игра, так эти двое, шутя и посмеиваясь, принялись вводить нас в азы своего ремесла, если бы не третий, молодой, совсем не громогласный, а, скорее даже, угрожающе тихий. Этого хватило на несколько слов: «Семинары по теме «Контртерроризм и управление критическими инцидентами» проводятся при поддержке правительства США там, где возникает эта угроза». Сказал и исчез, и не появлялся до последнего практического занятия...»

Условия задачи

5 февраля 1993 года «Боинг-747» с министром обороны Франции на борту был захвачен в небе над родимым Салам-каламывым кварталом. Захват осуществила группировка организации «Исламский Джихад» («Хезболлах») во главе с человеком, который при первом контакте с Бобом Стивенсом назвался Мухаммадом. Из дальнейших переговоров стало известно, что на борту уже есть один труп (слишком резво какой-то бедняга отреагировал на захват) и ожидаются новые казни. «Если не будут выполнены наши требования...» — привычно произнес Мухаммад и приступил к перечислению своих запросов: 10 миллионов американских долларов; 10 АК-45 с тридцатью «рожками»; заправка самолета топливом и беспрепятственный выход из воздушного пространства Банного квартала; полетные карты Персидского залива и Средиземного моря; продукты питания и вода на 300 человек...

— Будет сделано, брат, — Боб усмехнулся в микрофон, вздувая щеточку усов, будто силился растопить изморозь поздней бейрутской ночи. — Но самое главное ты не сказал, дружище...

— Сейчас скажу, сын не моей матери, — донесся из трубки спокойный и даже ласковый голос, — только напомни, где я мог слышать твой голос, недруг моего брата...

— Это могло быть где угодно, где твой «Джихад» хватает людей и самолеты...

— Подари мне свое имя, — смиренно попросил Мухаммад, — чтобы я знал, кого мне благодарить за выполнение моих нижайших просьб!

— Записывай: Роберт Стивенс, 35 лет на службе у правительства Соединенных Штатов Америки, 18 лет — за пределами моей страны, в Европе и на Ближнем Востоке...

— И все не можешь заполучить меня в гости?

— Давай ближе к делу! Выкладывай свою главную просьбу!

— Освобождение одиннадцати наших братьев из тюрьмы в Бейруте...

— А говоришь, не могу в гости заполучить. Давай фамилии!

— Фамилии передам после того, как пришлешь мне подарки, какие просил. На все у тебя три часа. Сейчас 11 по местному времени. Если до двух дня не получу согласия — расстреляем француза...

— Приступаем к делу. Телефоны работают — это уже хороший признак. Запомните: никаких ультиматумов — так можно и себя загнать в угол. Переговоры веду

я. Главный выигрыш — время, это наш наилучший союзник. Даже если придется штурмовать самолет — успеем подготовиться...

Стивенс говорил спокойно, но Салам видел насквозь — там, внутри у Боба все играло, искрило, заводилось, как в хорошо отлаженной машине. И заводило Салама, как, впрочем, и всех остальных, кому Стивенс заранее расписал предназначенные роли. По этому плану Саламу отводилась роль пресс-офицера управления инцидентом № 1. «Ну вот, опять доигрался!» — по привычке подумал он и поморщился. В спектакле «Журналист меняет профессию» эту роль он играл не раз. Общение с коллегами не сулило ничего хорошего.

— Запоминайте, — говорил Стивенс, обводя аудиторию ласковым взглядом голубых глаз, как бы слегка выцветших на слепящем свете эпохи, — запоминайте все, что скажут вам ветераны каунтер-терроризма Нейл Каллагэн и Боб Стивенс: телефоны начинают отключаться в самый неподходящий момент — это как закон, и всегда найдется какой-нибудь змееныш-репортер, которому никакой закон не писан, кроме одного — быстрее других все разноухать и передать в свою газету... Мы должны знать, каким оружием и взрывчаткой располагают террористы, но никогда заранее не знаешь, какую бомбу вам под ноги кинет родная пресса. После переговоров с ребятами Амала и средств связи отношения с прессой — самая сложная проблема...

Таким образом, у Салама не было никаких оснований думать, что им пренебрегли...

Клипмейкеры

«2 февраля 1993 года. Есть такие стандартные типажи индустриальной выделки, поставленные на поток рекламой, кинематографом и TV. Востребуйте по каталогу любой подходящий вам — не ошибетесь, примерьте к герою и пусть носит, как костюм, сшитый в ателье «Херродса». В этом не будет ни подвоха, ни обмана, ибо гены типажной серийности буквально витают в воздухе. К тому же дизайнер не придумал, а в жизни высмотрел своего героя, уловив его универсальную привлекательность для масс, тоже универсальных в своей непривлекательности и поэтому жаждущих подогнать себя под идеальный образ, воплотить себя в нем и — перевоплотиться. И что самое удивительное: массовое перевоплощение — происходит! Миллионы еще вчера непривлекательных типов лезут из новой кожи вон, чтобы соответствовать чужой внешности! Более того, пытаются жить чужой жизнью, проигрывая ее в навязанных жанрах. Никаких романов воспитания или, скажем, романтических житий в стиле «Овода». Полное неприятие плутовских романов в духе какого-нибудь там Боккаччо, не говоря уже о милой комедии дель-арте. Жизнь переменялась и заставила забыть даже свое, самородное — национальную трагикомедию в стиле раннего Габриадзе и позднего Абуладзе. Будто и не было «закона Сантаяны»: «Все в природе задумано как лирическая драма, однако ее развитие идет по законам комедии, а финал напоминает трагедию». Какой там! Жизнь теперь разыгрывается исключительно в жанрах вестерна, триллера и даже фильма ужасов. Некоторые так увлечены, что в игру втягиваются целые народы. В таких случаях Боб и Нейл просто незаменимы. Уже одним своим появлением они удаляют с ремесленных подражаний налет эпигонства, придают жанру необходимую чистоту, а когда сами вступают в дело — все окончательно перерождается.

Не могу оторвать глаз от родоначальника Образа: Рейнджер со Среднего Запада. Когда-то он гонял свое каноэ по протокам, выносившим его к водопадам, отдаться которым значило погибнуть. Но смельчак отдавал водопадам свою посудину, а сам, ухватившись за лианы, спускался к тихой заводи, чтобы затянуться там верблюжьей своей сигаретой и вызвать аналогичный рефлекс у миллионных масс, никогда не сплавлявшихся по протокам Среднего Запада. Ради этого, собственно, и растиражировал Рейнджера рекламщик, углядевший в его маскулинной красоте и мощи товар высокой продажной стоимости.

С тех пор Боб и Нейл слегка заиндевели, бросили курить, но не лишились своей рейнджерской привлекательности. Совсем наоборот — они нарастили ее заманчивостью секретного мужского опыта, легко читаемого в их выцветших голубых глазах...

Окруженный вооруженными мальчишками в пятнистых одеяниях командос, я чувствую себя полным идиотом в своей гражданской одежде. Мне хочется сменить ее на защитную. Я чувствую себя идиотом не оттого, что резко выделяюсь в толпе закамуфлированных студентов и бухгалтеров, кинорежиссеров и программистов, а оттого, что мне хочется не выделяться. Мне хочется не выделяться не потому, что, выделяясь, я превращаюсь в удобную мишень для снайпера, а потому, что гражданским своим оперением оскорбляю людей, чей камуфляж просто требует соответствия принятым правилам игры. Но в эту игру мне играть не хочется. Мне неудобно на этом карнавале национальных самоубийств, поставленном корифеями провинциальных подмоетков. Несмотря на маски и наряды рейнджеров, вестерн им явно не удался. Для полной чистоты жанра не хватало Боба и Нейла, и они явились...

Телетский хребет

Итак, я сказал:

— Какая гора!

— Какая? — заинтересованно откликнулся Боб.

В его глазах, обесцвеченных неусыпным бдением на режущем свете эпохи, занялся костерок любопытства. Это был интерес профессионала, обнаружившего новое орудие своего ремесла, более совершенное и безотказное, нежели все, что он имел до сих пор, новый, чрезвычайно удобный, по руке и душе, инструмент.

— Хорошая гора! — сказал Нейл. — Горка что надо! Не горка, а учебно-наглядное пособие к курсу «Система базирования диверсионно-террористической группы в условиях плотной городской застройки». Познакомьте нас с горкой!

У Тынянова в «Вазир-Мухтаре» Грибоедов представляет горы доктору Аделунгу как своих знакомых. Приятно сознавать родственную связь с вершинами. «В комнате рядом спит муж твой, однако он не похож на того, кто дерзает по неприступным скитаться вершинам...»¹ На Сололакском хребте танте Сельма учила меня: «К каждой скальной выемке или выступу надо прикасаться осторожно и нежно, как к любимой...» Знание умножает любовь. Отец Шио как-то сказал: «Ты так поднимаешься на свою Гору, словно совершаешь какой-то обряд!» Неожиданно для себя я ответил: «Почему обряд? Просто я меняю уровни своего существования. Изменяю собственный масштаб...» Наверное, в этом и заключается суть восхождения. Не случайно ведь наши предки ставили храмы на возвышенности. Гора сама по себе взывает к небу, а с церковью на вершине и вовсе превращается в кафедрал...

Как-то в альплагере Зесхо, что в Сванетии, в альпинистской стенгазете «А ты попробуй!» на глаза попалась нижеследующая заметка: «Почему мы ходим в горы? Мы ходим в горы, чтобы самим стать горами. Это тяжелый и нередко смертельный труд преодоления, но если жить легко — хорошо, то жить трудно — прекрасно. В таком контексте горвосхождение — это некий обряд во имя высшей цели. У одних высшей целью становится открыть себя, настоящего, у других — взглянуть на мир с такой точки, с которой он недоступен большинству. Это не гордыня, а жажда настоящего, вершинного. Попробуйте без преодоления достигнуть его. Если получится, то — одно из двух: либо вы чудотворец, либо я ничего не понимаю... Гинеколог Шиндейкин, альпинист».

Как приятна встреча с единомышленником! Встреча с единомышленником приятна в любом месте, но в таком — тем более. Тем более приятна, когда единомышленник так точно выражает твои мысли. В этом смысле он уже не просто твой единомышленник, но и твой соавтор. Иначе, точнее — соавтор произведения, которое задумал ты. Еще точнее: он — это ты...

Как, однако, познакомить Боба с Горой?

Когда долго живешь в одном месте, то хочешь как можно больше узнать о нем, а еще больше — рассказывать о нем другим. Я так много знаю об этом месте, но не знаю, с чего начать.

...Может, так? «Багдасар Геворкович Навтигов жил на вулкане. Точнее, он жил в кратере вулкана. Еще точнее — в вулканической кальдере.

¹ «Ушба», стихи Михаила Квливидзе, перевод А. Межирова.

Но он не знал об этом. Он знал только выгоду от владения кальдерой, напоминавшей — не ему, мне — огромную вазу, доверху налитую ключевой водой, в которой по горло стояли невиданные цветы, источавшие аромат пригородного эдема.

По воле исторических обстоятельств и одного члена Политбюро я тоже поселился в этом эдеме. Разумеется, после Багдасара Геворковича — он поселился здесь в начале века, прибрав к рукам пастбища местных овцеводов.

Механизм был прост, как петля для висельника. Выдать кредит, выписать вексель, переписать его с прибавлением процентов, потом еще и еще, много раз, пока смехотворная вначале сумма не превратится в баснословную, а вчерашний зажиточный пастух — в кандидата на долговую яму. Тут-то Багдасар Геворкович и предъявлял вексель к оплате. Сочные склоны и межгорные долины Телетского хребта доставались ему с жертвенными барашками и зарезанными без ножа простодушными владельцами. И Багдасар Геворкович отправлялся к Святому Георгию Телетскому — выстаивать благодарственные молебны.

Протекавший в Татарском ущелье ручей не был непреодолимой преградой и для захвата прилегающей впадины. Навтигов обнаружил там благодатный климат и наилучшую почву для произрастания благородных растений. Исфаганский гранат яростно шел в рост, тавризмский орех тоже не медлил, а миндаль расцветал быстрее, чем в апельсиновых Господа Бога. От всевозможных ароматов кружилась голова, ночные соловьиные фиоритурсы пробуждали томления плоти, и Навтигова прорывала дрожь, когда жаждающим ртом он припадал к родничку, клокотавшему в веночке из альпийских фиалок.

Но Навтигов быстро брал себя в руки. Чтобы не просчитаться.

— Получите золотое дно, если проведете орошение, — сказал господин Придонов, владелец образцового плодпитомника на станции Скра Горийского уезда.

Но господин Навтигов не успел. Он просчитался с питомником, хотя и не обманулся в поступательном ходе истории. Его чувствительный к ароматам азиатский нос уловил запах сносшибательных перемен. Большевики вошли в Баку и прогнали мусават, дашнаки бежали в Буэнос-Айрес, меньшевики заключили договор с Москвой, но дни их были сочтены. Багдасар Геворкович чувствовал это своей кожей, как утверждали в Шайтахе, — самой чувствительной к мировым политическим катаклизмам.

Степанэ Элиава, садовод из Мартвили, был первым в жизни Навтигова покупателем, с которым он, не торгуясь, ударил по рукам. Участок пошел за бесценок, как, впрочем, и все остальное имущество Багдасара Геворковича. «Время — не деньги, а жизнь», — наставлял он домочадцев перед бегством в Дамаск на исходе 1920 года. А вместо него в межгорной вулканической впадине Крцаниси буйно заколосились щедрые мартвильские розы, и весьма кстати, потому что вскоре все вокруг замельтешило быстрее, чем в электросинематографе «Аполло», бывшей собственности господина Гегеля.

Самодетальное краеведение приводит иногда к сенсационным открытиям. Народная молва отмеряет себе столько знаний, сколько сама пожелает.

— Если ты народная власть, — будто бы сказал Степанэ Элиава Лаврентию Берия, остановив его у входа в особняк на бывшей Сергиевской, — то ты должен служить народу!

— Кто ты? И откуда? — спросил Берия, ощущая, как слава мудрого чекиста, сорвавшего меньшевистскую авантюру, преобразуется в могучие крылья всенародного подъема.

— Садовод из Крцаниси! — будто бы смело ответил Степанэ.

— Тень садов Крцаниси краше, чем Парнас, — задумчиво пропел будущий вождь большевиков Закавказья, — приезжайте, гости, стол накрыт у нас... В гости приглашаешь? — блеснул он очками в лицо помертвевшему вдруг Степанэ.

— За тем и пришел, — снова набрался храбрости Элиава. — Приезжай, посмотри, какое место и как чахнет без орошения. Помоги провести воду...

Берия приехал, посмотрел и неожиданно сказал:

— Буду твоим соседом!

— Это как?! — не понял Элиава.

— А так, что надо труды товарища Сталина читать. Год великого перелома грядет, так что мы тебя немного раскулачим и притесним. Не бойся, если и сошлем, то недалеко...

Слово сдержал, не посадил, не расстрелял, а сослал на ближайший крутосклон с участками для приусадебного домоводства. Теперь там целая улица пригородных садоводов и совминовских шоферов.

Мечта же Навтигова воплотилась в систему огромных резервуаров, насосов и труб. Вулканическая кальдера Крцаниси невыносимо заблагоухала китайским жасмином, окультурилась благородным лавром. А для себя Лаврентий Павлович построил маленький домик, где отдыхал от культурных лесопосадок. Рядом с домом высадили лозу, и она потянулась к балкону. С годами лоза разрослась, как дом, куда на летний отдых приезжали все первые лица нашей славной чайно-виноградной республики и где появилась завязь государственной резиденции «Крцаниси», которая много знает и помнит, но об этом как-нибудь в следующий раз. На пути Татарского ручья встала плотина, образовался пруд с причалом и лодочками, в его зеркале отражается белоколонный особняк с чудными приспособлениями номенклатурного гостеприимства. Теперь там миссия ОБСЕ по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Международным миротворцам нужен комфорт...

...Когда долго живешь в одном месте, хочешь как можно больше узнать о нем. Особенно когда живешь в таком месте, как Крцаниси.

Багдасар Геворкович долго жил в Крцаниси, но я жил там дольше и раньше его.

«Тень садов Крцаниси краше, чем Парнас...» — пели потомственные завсегдаити крцанисских куш. Они пели по-русски из уважения к застольцам, господам офицерам Гренадерской бригады, Кабардинского и Херсонского полков.

С Гренадерской бригады начал Ермолов создание полковых штаб-квартир — брать Кавказ как огромную крепость, которую одним штурмовым наскоком не возьмешь. Затем пошли другие полки.

Кабардинский пришел с Кавказской линии, а Херсонский — из Черноморского округа. Эриванский полк стал в местечке Манглиси, Херсонский — в городке Гори, сорок первый егерский — в Белом Ключе и так далее — везде, где генерал Ермолов насаждал полковые штаб-квартиры и семейные солдатские поселения.

Алексей Петрович стягивал полки в Грузию, чтобы воевать неприступную крепость и утирать нос туркам с персами.

«Нам каждый гость дается Богом, какой бы ни был он среды, — подпевали крцанисским кутилам ссыльные корнеты и разжалованные поручики. — Алаверды, Господь с тобою, товарищ счастья и беды...»

В сентябре 1795 года шах-евнух Ага Махмад Хан, не от Бога гость и не гость вовсе, решил наказать грузинского вали Эрекле за то, что тот перекинулся к России. Вино наказания вскипело в чаше Крцаниси...

...Я живу чуть выше этого места, в вулканической кальдере, окруженной цветами и камнем. Натеки известняка и сланца прорезаны каньоном, местами очень глубоким. Противоположная стена сложена из серо-зеленых вулканических туфов, она так близко подступает к моему балкону, что я почти касаюсь ее пальцами вытянутой руки.

Багдасара Геворковича не волновало ничего, кроме барыша.

Мой барыш — вот эта скала, бастион Телетского хребта. Скала — кремь для моего огнива. Огниво — я сам. Прикасаюсь к скале, я ощущаю, как высекаются искры. В разные времена — по-разному.

12 февраля 1992 года. За ночь похолодало. Гребень Хребта в серебряной насечке. В низинах снег истаивает на ветвях ишутутрука, по-русски — татарника, или держи-дерева. Я смотрел на горы сквозь капли на его иглах. Одна не выдержала моего взгляда и разлетелась микронами невидимых частиц.

На склоне кто-то жег костер. Рядом с черным мужским силуэтом я увидел огромную гривастую собаку. Языки пламени тянулись в неподвижный холодный воздух нагорья. Остекленевшая тишина окружала нас.

Прогрел выстрел. Меня ударило в грудь и опрокинуло навзничь.

— Эй, что с тобой? — донеслось со склона. — Не узнал, что ли?

Это был Миха, шиндисский пастух, со своей овчаркой Гаваза. А я вообразил, что даже он может убить меня.

19 апреля 1992 года. Абсурдисты порой изрекают фразы, поражающие торжественным здравомыслием. «Я ищу сокровище, потерянное в трагедии истории» — Эжен Ионеско. А что потерял я в геисторической драме моего Хребта, какое сокровище? Но прежде надо установить — кто я? Наверное, биограф. Точнее — автобиограф. Я переносу на бумагу автобиографии других людей, то есть жизни, которые они создают сами и которые, естественно, принадлежат только им. Мне же принадлежат только их бумажные жизнеописания.

Жить чужой жизнью — значит так вживаться в нее, чтобы даже смерть, которая ходит по пятам за автором собственной жизни, становилась и вашей смертью. Но если это так, если даже чужая смерть — ваша смерть, значит, вы живете своей жизнью и умираете своей смертью. Однако я настолько вжился в чужую жизнь, что перестал жить своей. У меня ни собственной жизни, ни личной смерти, нет семьи и нет дома. Жизнь чужой жизнью привела к тому, что я потерял и семью, и дом. Короче, доигрался.

Как-то в горном селе, в бело-черном брейгелевском мире, в остуженном доме, гулком от нестройных голосов подвыпивших мужчин, хозяин сказал мне:

— Ты потерял дом в родном городе, но весь этот город — твой дом...

Эти слова согрели меня, а может, согрела водка, которую мы пили чайными стаканами, дремучий первач, первозданный, как белая тишина за окнами старого дома, и мне стало хорошо, а когда мне хорошо, я вспоминаю все хорошее, даже если оно и не принадлежит мне. Вот я и вспомнил слова одного писателя, некогда горячо мною любимого, о моем городе, напомнимшем ему один большой дом, в котором каждый дом по-своему город. Но это было сказано давно, и с тех пор город перестал быть одним большим домом, и каждый дом в нем уже не дом, а разрушенная крепость, и моя крепость давно взята штурмом, и писатель перестал быть любимым, и в этом городе у меня не осталось ничего моего, кроме маленького хребта на окраине города.

Но и такой малости достаточно, чтобы вновь обрести дом и семью, собственную жизнь и смерть, а главное — вырваться из неволи чужой жизни.

Выхожу во двор, а во дворе — Гора. У меня во дворе Гора растет, ветвистая, как старое дерево. Нет большего удобства, чем собственная Гора во дворе. Вышел из дома и давай идти вверх.

Если быть точным — я не поднимаюсь, а опускаюсь. Погружаюсь в волны третичного моря, миллионы лет назад захлестывавшего мой двор. Из моря восходил большой длинный остров, ныне центральная часть Кавказского хребта. Южнее виднелась цепь вулканических островов. Временами их сотрясали глубинные удары, предвестье геологической катастрофы. Когда она разразилась — третичное море отступило и обнажилась Гора.

Перейдя Татарский ручей у Овечьего брода, я вступаю в огромную историю. По торжественному слогу неведомого мне университетского ассистента Ал. Флоренского («Путеводитель по Тифлису и его окрестностям» 1925 года), эту историю слагали великие пути древности, связывавшие Юг и Север через Дарьяльский проход. Громадная стена Большого Кавказа, эта неодолимая преграда между Закавказьем и долинами Севера, была прорвана всего в двух местах — у Дербента, вдоль узкой прибрежной полосы Каспия, и в теснине Дарьяла. Через Дарьял шли караваны из Вавилона, Ктезифона, Персеполя, Багдада, и они же с Севера шли — из Сибири, Урала и Балтии. Этот торговый путь на Юге начинался в Месопотамии, огибал Гокчу, спускался в долину Ргонбона и, наконец, легко входил в центральную для Закавказья долину Куры. А дальше, миновав то место, где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, протискивался в Дарьяльскую теснину и, перевалив Кавказский хребет, растворялся в долинах Севера.

Мой Хребет подставлял ему свою буйволиную спину. Это был побочный, но, казалось, менее опасный путь.

Было что защищать и завоевывать. Было ради чего стягивать сюда Кабардинский и Херсонский полки, сбивать их в Кавказский корпус, насаждать штаб-квартиры, пускавшие в этой земле корни русских солдатских поселений.

Было ради чего жить в таком месте.

3 мая 1994 года. Вчера у Овечьего брода мелькнула какая-то тень, то ли бездомная псина, то ли приبلудная лиса. В сумерках все звери на одно лицо.

Сегодня на рассвете, перейдя брод и обогнув Скалу, оцепенел от страха. Прямо над моей головой горели два немигающих янтаря. Взгляд, не сулящий ничего, кроме истерзания. Остроугольные уши, вздернутая кисточка на кончике хвоста, напряженные мышцы груди и лап, готовые взлететь сбивающим с ног комком ярости. Рысенок, дитя дикой горной кошки. Где-то поблизости должны быть рысь-отец и рысиха-мать, безжалостные родители растущего зверя.

— Ответь честно: ты был вооружен? — спросил Миха, выслушав мой рассказ об утренней встрече.

По-моему, в этой обители триллеров лишь два человека не имеют оружия — Седой и его автобиограф.

— А зачем?

— Как — зачем? С утра бродишь по хребту, с рысью здороваешься, опять же волки... А если двуногие?

Миха прав. Каждый Божий день я седлаю это чудо истории и природы, затесавшееся в городскую застройку, как буйвол в базарную толпу Мейдана. Или — как верблюд, и такое сравнение годится. Влезаю на буйвола или на верблюда и еду, сам не знаю куда, и кого только не встречаю в пути — на хребте водятся змеи, черепахи, зайцы, белки, шакалы, волки, теперь вот рысь встретилась, но двуногих хищников не встречал и страха от возможной встречи с ними уже не испытываю.

— А что, и они здесь водятся?

— Они теперь везде водятся...

Мир огромен, но тесен, и все норовит поместить тебя в такое место, откуда ты можешь дотянуться до чего угодно на свете.

Я рассказал о рыси Геле Чарквиани, он в зверях разбирается. Гела разбирается во всем на свете, но в диких зверях — особенно.

— Хищники приближаются к городу, из которого уходят люди. Дикая природа замещает культурную среду, — сказал Гела. — Кстати, «дикая природа» — это англицизм...

— По-русски тоже ничего звучит.

— Английский в высшей степени полисемантичен...

— Какое отношение английская полисемантика имеет к кавказской рыси?

— В том-то и дело, что никакого.

Но я чувствую: какое-то отношение имеет, а какое именно — не могу уловить.

Мой друг и сослуживец Гела Чарквиани постоянно одаривает меня афоризмами собственной выделки. Вот один из них: «Свобода — это набор доступных альтернатив».

— Заметь, — комментирует Гела собственную максиму, — доступных, это ключевое звено мысли. Если хотя бы один вариант выбора недоступен — это уже не свобода!

Изо всех доступных мне вариантов свободы я выбираю восхождение на Телетский хребет.

Там, наверху, соприкасаясь с солнцем, падаб зажигает свои павлиньи метелки. Там цветет дерево с удивительным названием — «золотой дождь», а еще удивительнее — как оно изливается на меня, омывая разгоряченное лицо и руки, вымазанные клейкой смолой эльдарской сосны. Затем занимается дрок, ранней весной — несчастный дикобраз, на исходе мая — торжествующее пламя дурманящей желтизны.

Там, на вершине вулканического конуса Шавнабада, священник отец Шио восстанавливает церковь святого Георгия. А в ограде церкви лежит надгробный камень, из-под которого ко мне взывает некий Закро, явный собутыльник моих вольнодумных предков: «В могиле сей местоположен я, потомственный горожанин и почетный гражданин Закария Джарджиманов. Прохожий, не торопись пройти мимо, дай мне свое поминание...» Эх, кого только не помянешь на этом хребте, мой Закро, кто только не оставил на нем своих следов... Мамины сверстники — юнкера отрыли окопы и засели в них, безумные защитники этой маленькой скомканной страны. Был февраль 1921 года, над хребтом бушевал Азорский максимум, Одиннадцатая армия словно летела на крыльях урагана, взметавшего людей, как прошлогодние листья, а юнкера лежали в могилах окопов и навечно остались там, и если как следует порыться среди костей — найдешь осколки обсидиана, которыми в бронзовом веке здешние первопоселенцы обрабатывали свои орудия.

Шиндисский Миха их прямой потомок. Дни напролет он пасет на хребте коров, а Петр Маркельч, другой мой горный знакомец, — свои конвойные воспоминания: «Охраняли зеков по всему Закавказью. Хорошее было время!»

Шиндисским пастухом Михой владеет память о его доисторических предках, бывшим командиром конвойного полка П.М. Самойловым — ностальгия по зека, а мной, бывшим альпинистом Салам-Каламом, — мания величия, желание стать горой, чтобы соединять несоединимое. Вновь и вновь убеждаться: мир огромен, но тесен.

Горы — лучшее место для этого.

Мир для Иудеи

Следующий эпизод никак не связан с Телетским хребтом и лишь весьма косвенно связан с двумя шумными американцами, преподавателями антитеррора.

6 ноября 1995 года Салам-Калам оказался в Иерусалиме. Накануне, взбираясь на Хребет, он обнаружил, что охрана дома, где живет Седой, пристально рассматривает его в бинокль и даже, так ему, во всяком случае, померещилось, собирается его обстрелять. Когда же вечером, еле передвигая ноги от усталости, он добрался до своей обители, хозяйка Натела сообщила, что его разыскивал Седой. Выяснилось: завтра они улетали в Израиль...

Мир тесен, особенно на горе Теодора Герцля.

В Иерусалиме из армейских вертолетов вываливались тугие связки первых лиц планеты. Некоторые откашливались, прочищая горло для скорбных речей. Солнце припекало светлейшие головы мира. Грудастые девочки-солдаты вручали гостям голубые жокейские шапочки. Мало-помалу траурная церемония уподоблялась ипподрому в день больших скачек. Распорядители объявляли ораторов, как участников заездов. Ораторы скакали наперегонки — как всегда. Обладая повышенной чувствительностью к публичным речам, Салам-Калам профессионально отмечал их высокое качество. Особенно хороши были концовки с традиционным «шолом», но лучше всего прозвучали рыдания Леи Рабин. Только она и ее дочь не старались кого-то обскакать. Они ни с кем не соревновались, даже со своим горем. И Салам с грустью сказал себе: «Умри, Денис, лучше не напишешь!»

«7 ноября 1995 года. Мир тесен, особенно в день похорон Ицхака Рабина, убитого йеменским евреем за землю для Палестины и мир для Израиля.

Туда мы ехали с кенийцами в леопардовых шкурах, оттуда — с португальцами в «карденах». Автобус истории мчался сквозь Иудею. Товарищ Марио Соареш с любопытством поглядывал на товарища Эдуарда Шеварднадзе. Тот навевал воспоминания о товарище Альваро Куньяле и революции гвоздик. Кажется, они встречались, если не на съездах Португальской компартии, то уж на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН — точно. Не исключено, впрочем, что любопытство товарища Соареша стимулировали совсем другие обстоятельства. А именно: 29 августа 1995 года товарищ Шеварднадзе чудом избежал участи несчастного Ицхака, а сегодня прилетел хоронить Рабина.

Переживший покушение на свою жизнь — интересный объект для наблюдения. Тем более интересный, если, судя по всему, терактам суждено повторяться. В маленькой скомканной стране товарища Шеварднадзе, как и во всем исковерканном регионе, завязывалась новая драма, развязка которой обещала происходить по ближневосточным образцам.

А ведь еще совсем недавно Ицхак, живой и невредимый, говорил Седому: «Нас попытаются остановить...» Дело было в июне того же года, в Иерусалиме. Из Иерусалима поехали в Ашкелон, к грузинским евреям, от них — в Тель-Авив. Тут-то и нагнала их весть об убийстве Сулико¹.

В самолете, стряхнув с себя придворных телевизионщиков, Седой сказал мне:

¹ Сулико Хабеишвили — руководитель Фонда Шеварднадзе «За демократию и возрождение», убит террористами в июне 1995 года.

«Ну, что мне теперь делать?» Он и так много задолжал своему другу, а теперь его долг вырос до размеров жизни.

Рабин умер с песней мира на устах, Сулико — с возгласом: «Они убивают меня!» Его мать слышала эти слова. Рабина убивали на глазах у всей страны, Сулико — на глазах у матери, она стояла на балконе, провожая сына взглядом, когда киллер в капюшоне начал стрелять в него.

И вот теперь Седого попытались уравнивать с ними».

Возвращались вечером того же дня. Небо превосходило землю простором времен и цветами библейского заката. Нанули, жена Седого, крестилась на пурпур перистых облаков. Ей было за что благодарить небеса Иудеи.

— Вот здесь он шел... — услышал Салам шепот Гелы. — И продолжает идти. Самая долговечная идеология в истории человечества. И знаешь — почему?

Салам, конечно, не знал. Из вежливости и опасения обидеть Гелу своим знанием.

— Потому что она имеет крепкие земные корни. Иисус из Назарета — земной человек, ставший Богом. Какой пример для подражания! Увы, недоступный для многих — по причине распятия...

Салам по-прежнему безмолвствовал. Из уважения к Гелиному интеллекту, его биографии и оксфордскому произношению. Когда-то Гела писал оперы, лабал джаз, переводил Чосера и знался с Армстронгом. Не с космонавтом — с джазистом. Впрочем, с космонавтом он тоже знался. Даже не верилось, что Гела — сын первого секретаря ЦК Компартии Грузии Кандида Чарквиани, сменившего на этом посту Лаврентия Берия, который, в свою очередь, сменил в Москве Николая Ежова на его посту первого чекиста Страны Советов.

Даже не верилось, что Кандид Чарквиани читал Гете в оригинале и декламировал Эсхила на языке подлинника. Не верилось, что Сосо сохранил ему жизнь.

Равнины Иудеи располагают к раздумьям о необъяснимом.

— Как ты думаешь, почему Сталин не расстрелял твоего отца?

— Он считал его лучшим своим творением. Новым интеллигентом, который не имел ничего общего с ненавистными ему умниками из старой интеллигенции...

— Ну да, ничего общего, если не считать Гете и Эсхила! — съязвил Салам, наплевав на вежливость. — Что не мешало ему сажать и ссылать этих людей!

— Отец не ссылал — спасал их, — устало откликнулся Гела. — Он изо всех сил спасал этих людей. Министр ГБ с порога кричал ему: «Надо всех меньшевиков сослать в Казахстан!» «Сколько?» — спрашивал отец. «С семьями — тысяч четыреста!» — «Слишком много, Коля!» — «Какая разница, Кандид, где они будут, здесь или там?!» — «Если нет разницы, пусть остаются здесь!» И тут генерал не выдержал: «Как ты не понимаешь, Кандид?! Здесь Кавказ, Закавказье, граница с Турцией, рубеж систем! Не можем мы держать здесь потенциальных предателей!» — «Но всех потенциальных предателей уже выселили в сорок четвертом!» — «Не всех! Четыреста тысяч еще остались!»

И тогда Кандид выложил свой последний козырь: «Сталину это не понравится, Коля!»

Через два часа позвонил Сталин.

— Откуда вы знаете, товарищ Чарквиани, что может понравиться товарищу Сталину, а что — нет?

Если не было какой-то интриги, пояснил Гела, Сталин чувствовал себя скверно и гневался на того, кто, по его мнению, мешал завязке нового сюжета. Это приравнивалось к покушению на его власть.

— Я вас предупреждаю, товарищ Чарквиани, — Сталин нимало не утеплит тона. — Я вас предупреждаю: быть беде!

Но вскоре умер. Смерть Сталина спасла Гелиного отца.

Тут Гела сделал паузу, чтобы обозначить новую главу.

— Только после смерти Сталина Лаврентий принял моего отца и все ругал Кобу, мол, присваивал плоды нашего коллективного труда и украл нашу победу. Но даже в эти моменты, говорил отец, чувствовалось, как он боится Хозяина.

Мир огромен, но тесен, особенно в пути от Земли Обетованной к нашей маленькой скомканной стране, по которой никогда не ступала нога Назаретянина.

Что конкретно имел в виду поэт-орденоносец Галактион¹, говоря о земле, по которой никогда не ступала нога Назаретянина? Конкретный ли факт жизни этого соавтора самой долговечной мировой идеологии или безбожие своих земляков, распинавших собственную страну на крестах классовой борьбы? Салам-Каламу вдруг очень захотелось туда, где не ступала нога Назаретянина. Но он устремился намного дальше, в Москву.

— Звоню тебе из автобуса, который везет нас из Тель-Авива в Иерусалим, — сказал он, услышав голос жены.

Это не произвело на нее никакого впечатления.

— Ты поаккуратнее там. Чтоб не подстрелили по ошибке...

Салам начал было рассказывать, как хоронили Рабина, но жена прервала его, сказав, что все видела сама по телевизору.

— Какая она красивая, эта Лея Рабин... Как она плакала!

Мир особенно тесен в эпоху новейших телекоммуникаций, наполняющих наши дома рыданиями Рабиновой вдовы. В тесноте автобуса, в толчее эпох, в давке титулов, голосов, первых и сопровождающих лиц, в клочкотании тщеславий и клекоте непроизнесенных речей Салам явственно ощутил дефицит свободы. И побежал за ней на свою Гору, увлекая за собой двух приезжих американцев.

— Берем! — в один голос вскричали Боб и Нейл.

— Вместе со мной! — попросил Салам. — У нас прекрасная родословная. Вулканическое происхождение и отличный послужной список в истории.

— Это к делу не относится...

Голос Боба был сух, как лист платана, спланировавший на носок его ботинка.

— Если, разумеется, вулканы не спят, а историки не ползают по скалам, — добавил он под ломкий хруст палого листа под подошвой своего ботинка.

— Вулканы успокоились на исходе третичной эпохи, а историки стоят в очереди за физическим выживанием. Вместе с археологами, — сообщил Салам.

— Тогда годится! — просиял Нейл.

— Но совсем по другим причинам, нежели вы думаете! — поспешил уточнить Боб. И они в один голос принялись говорить о причинах своего благорасположения к Саламовой Горе. Они были так красноречивы, что Саламу захотелось тут же приняться за дело.

— Сперва проведем семинар, — сказал Боб. — По полной программе курса «Захват, удержание и освобождение заложников».

Правила игры

Телекамеры установили на крыше павильона для особо важных персон. Салам предложил задернуть шторы, но Боб не разрешил.

— Принято думать, что главный мотив у этих ребят — выполнение их требований: освобождение «братьев» или корректировка политического курса. Ничего подобного! Главное — заявить о себе. И как можно громче.

Тут заговорил угрожающе тихий американец. Никто не заметил, как он появился в штабе, но все расслышали:

— Террор — одна из множества разновидностей методов управления посредством постоянного устрашения. Последнее достигает цели лишь при условии широкой аудиовизуальной ретрансляции. Иначе говоря, на стадии осуществления, в отличие от подготовки к акту, террор подчеркнута демонстративен...

— Я пошел, босс, — прервал его Нейл. — Через кокпит Мухаммад выбросил список своих «братьев», которых мы якобы освободим. И прессе уже есть чем заняться...

В проеме распахнутых дверей «Боинга» Салам увидел фигуры в черных балахонах. После недолгой возни они вытолкали вперед каких-то людей с заведенными за спину руками. Затем воздели им руки к овалам притолок, и люди уподобились алтарным распрятам.

¹ Поэт Галактион Табидзе.

— Заминировали входы и привязали заложников... — услышал Салам голос Боба.

Я бы не стал это ретранслировать, подумал Салам, в красках представив себе, как его жена разглядывает в телеокошке эту картинку эмоционального управления социумом.

— Вы не можете запретить кому бы то ни было распространять даже самую омерзительную информацию... — сказал угрожающе Тихий. — Вы не контролируете масс-медиа, иное — диктатура, а не демократия. Это — во-первых. А во-вторых, общество вправе знать... Оно вправе знать, с чем оно столкнулось на исходе столетия. И нам с вами безразлично, что узнает и как отреагирует на случившееся мир...

«Это что же получается? — подумал Салам. — Получается, что у террориста Мухаммада и у Дэви, моего брата-репортера, сходные цели? И тот и другой озабочены одним — как можно быстрее распространить информацию о теракте?»

— Умница! — просиял Боб. — Поняли, наконец, как мы вам доверяем? Хоть вы и совершили одну непростительную ошибку...

Из-за шнуров ограждения махал рукой Дэви. На две головы возвышаясь над мелкорослыми собратьями, он явно требовал себе вдвое большего внимания. Впрочем, и остальные требовали того же и в тех же пропорциях. Почти вся жизнь Салама, до того как он окончательно переменял профессию, прошла среди этих людей. Он читал свою биографию по их лицам, это был его наилучший послужной список, составленный самым придирчивым отделом кадров — его собратьями по ремеслу. И Салам вмиг понял, какую непростительную ошибку он совершил. Каски и бронжилеты! Он забыл раздать их тем, у кого не было этой техники безопасности. Бывалые ребята из Си-Эн-Эн, Эн-Би-Си, Рейтера, Эй-Пи, застрахованные на многие десятки тысяч, возили с собой немалый перевес современных доспехов, но у наших, лишь недавно начавших зарабатывать на жизнь горячими точками и критическими ситуациями, не было даже бронированного фигового листа.

— Работа прессы опасна, — шелестел над ухом рэйнджерский голос Каллагена, — но она опасна вдвойне для нас, менеджеров инцидента. Она опасна, как работа в группе захвата. По мне, так лучше идти в штурмовую группу. Тут все надо делать руками и ногами, одновременно оберегая голову от прямых попаданий пуль, закона и политики.

— И прессы...

Этот угрожающе тихий голос принадлежал доктору Сеймуру Н. Вудворду, эксперту по каунтертерроризму во всех его разновидностях, в том числе — с использованием ядерных компонентов. Через несколько дней, в ресторане «Калакури», где они будут отмечать завершение семинара, Вудворд раскроет Саламу секретный характер своей миссии, ничего общего не имеющей с захватом, удержанием и освобождением заложников. Вдобавок на глазах у Салама хрустнут и рассыпятся в прах глупые антиамериканские стереотипы: не приемлют халяву, ненавидят холестерин, не впадают в среднерусский грех со слезными расспросами типа «Ты меня уважаешь?»... Вудворд впадал, но при этом не терял серийных примет гарвардианца, тиражированных двумя веками поточного производства интеллектуальной элиты. Салам наблюдал этот типаж во многих местах, куда Седого зазывали на праздники его величия. Счастливая массовка выпускников дефилировала в малиновых мантиях, квадратных шапках с кистями и выражением глуповатого восторга на славных студенческих лицах. Однако в те часы на аэродроме Сеймур был угрожающе серьезен и без мантии, в клетчатом твиде, неповторимо единственный, как путь, которым в те мгновенья надлежало следовать Саламу.

— Да, оберегайте голову от прессы... Лишая ее доступа к источникам информации, вы рискуете, во-первых, получить искаженную картину, во-вторых — создать помехи переговорам и, наконец, — лишиться ее доверия и шансов на плодотворное сотрудничество в будущем. Для общественности не существует терроризма, если она не получает его к утреннему кофе в виде телекартинки...

Как говорил Боб, одно из двух: или вы управляете кризисом, или кризис управляет вами. В последнем варианте ждать пощады от Вудворда не приходится.

— Но если мы все — менеджеры инцидента, заложники, террористы, журналисты — так нуждаемся друг в друге, то зачем нам вся эта техника безопасности?

Похоже, это чертовое ЦРУ снабдило Сеймура Н. Вудворда машинкой для чтения Саламовых мыслей.

— Фундаментальная философия контртерроризма, вытекающая из базовых ценностей нашей цивилизации, исповедует следующую краеугольную идею: жизнь — превыше всего. Этим принципом мы руководствуемся всегда, отдавая приоритет законности и праву.

Пауза, какая обычно предшествует оглашению символа веры.

— К силе мы прибегаем лишь в том крайнем случае, когда террористы начинают убивать заложников...

Вплоть до вечеринки в «Калакури» Сеймур Н. Вудворд рисковал навечно остаться в глазах Салама занудой-отличником из Гарварда, которому даже скучно возражать. С Бобом и Нейлом было как-то веселее.

— Захват и удержание заложников с целью устрашения противника и получения политической выгоды практикуются с древнейших времен, — говорит Боб Стивенс.

Мог бы и не говорить. Салам знал об этом из личного кинематографического опыта. Помните роли, на которые его пробовали в славном грузинском кино? Ничего особенного, комбинированная съемка: продеваешь голову в ларец с прорезью и страдальчески смежаешь веки... Ларец отсылают отцу-полководцу, последовательно предавшему свой народ и своего шаха. Сначала народ, который он якобы хотел спасти, для чего согласился на шахову службу, затем самого шаха, которого предал, чтобы спасти народ. Видимо, Аллах, на которого полководец променял Христа, чтобы спасти народ, тоже троицу любил. Цепочку предательств замкнуло заклятие сына. Отец откинул крышку ларца и воскликнул: «Сынок Паата!»

Таков был весьма распространенный обычай того времени: оставлять в залог своей верности что-нибудь очень дорогое. Например, бесценную голову любимого сына.

Называлось — «аманати». По-нашему — посылка.

Доиграть роль посылки Саламу помешали анкетные данные. Сын за отца не отвечает, но сыну врага народа нечего делать в историко-патриотическом фильме. Даже в роли посылки, отправленной полководцем иранскому шаху в залог своей проблематичной верности.

Ну, чем не раннее средневековье? На что, скорее всего, последует возражение: эпизоды с посылкой и неутверждением на роль отрубленной головы относятся к эпохе позднего средневековья. Ну и что? В чем, собственно, разница?

Дэви, Эллен, Алекс Хоупмены — семья репортеров. Отец, дочь, сын — не вполне святая троица из Агентства черноморских сообщений, которое они же и учредили без Саламова содействия. В известном смысле Салам был крестным отцом, любящим и нежным. Теперь от него требовали информационной щедрости. Ну как откажешь крестникам?

Салам подошел к ограждению. Техника безопасности роздана. В касках у семейки был комический вид. Трагикомический, если не забывать некоторые обстоятельства. Семейка набросилась на распечатку, как стая голодных волков на человечину. Остальным достались ошметки. Ярость коллег обожгла спину. «Сейчас принесу еще!» — крикнул Салам, не оборачиваясь.

Этого добра у Боба с Нейлом навалом. Вместе с грузом инсулина, одеял и детского питания они привезли компьютер IBM и кучу дискет. Там еще был видик с набором кассет, но главное — электронные базы данных — Terrorist Group Profiles. Энциклопедия международного терроризма с разбивкой по годам, континентам и странам. «Хезболлах» занимал несколько файлов.

«Дата основания — 1983 год.

Численность — 3000 постоянных бойцов, 500 непосредственных исполнителей. Практически стопроцентная готовность к самопожертвованию в роли добровольных смертников...»

Салам поинтересовался у Сеймура, изучена ли психология людей, готовых без колебаний уничтожить себя, лишь бы уничтожить других. Сеймур ответил: «Крайности — это границы, за которыми кончается жизнь, и страсть к экстремизму есть замаскированная жажда смерти...» И дал сноску, отличник: Милан Кундера, «Невыносимая легкость бытия»...

«Штаб-квартира — Западный Бейрут и долина Бекаа, Ливан...»

— Крупнейший в мире концерн по захвату заложников, — сказал Боб.

— Транснациональная корпорация, — поправил Вудворд. — Терроризм распространяется глобально по принципу самовоспроизводящейся системы. «Хезболлах» лишь один ее сегмент.

Можно было сказать проще, но проще говорить он не умел.

«Ареал деятельности — Ближний Восток и Европа...»

— А теперь и до вас добрались! — Сеймур улыбнулся презрительной улыбкой пресыщенного гурмана, но тут же погасил ее вздохом озабоченного аналитика. — Ваше фундаменталистское окружение неизбежно начнет экспорт террора в регион по мере усиления его ливанизации, таков, к сожалению, наш прогноз.

— А у нас возможно появление «собственных» террористов?

— Они у вас уже появились, — кивком головы Вудворд указал на окно. — Свои, не свои — какая разница? Важно понять одно: мир вступил в полосу длительной нестабильности, пики которой, как правило, приходится на регионы повышенной конфликтности и остро конкурирующих интересов. Именно там и наблюдаются нарастающие признаки угрозы, о которой мы ведем разговор. Ваш регион, несомненно, подпадает под эту классификацию...

Все мои воспоминания, подумал Салам, относятся к будущему.

Сандро

«9 июля 1992 года на западе нашей маленькой скомканной страны был схвачен и увезен в неизвестном направлении мой хороший знакомый и сослуживец Сандро Кавсадзе. Немудрено запомнить такой день — день твоего рождения, день приема в европейскую семью твоей маленькой изжеванной страны и — данайцев, дары приносящих. Тем хельсинкским утром в отеле... очень трудное финское слово... что-то, связанное с рыбной ловлей... у американцев это пунктик — рыбалка... Дважды, сначала в Вайоминге (не забыть изложить сюжет с Фиделем Кастро и рассказом Хемингуэя «Вино Вайоминга»), затем на Байкале, Седой брал в руки удочку. В первый раз на Снейк-крик забросил крючок с наживкой советско-американского партнерства, во второй — на Байкале вытянул вместе с хариусом обещание выступить против Саддама в одной компании с американцами... Но как же все-таки называется этот чертов отель, где утром того дня Седого обласкал Джордж Буш, уходящий в историю президент Соединенных Штатов Америки? Трудно смотреть в сторону своей маленькой изжеванной родины, где хлеба осталось на три дня, когда тебя обласкивает уходящий президент США в присутствии своей, тоже уходящей, команды — Джима Бейкера и Бента Скоукрофта. Однако уже сейчас Буш может дать сто тысяч тонн пшеницы, и это поможет Седому веселее смотреть в сторону нашей маленькой обглоданной страны.

Но как же все-таки называется тот отель, где Буш говорил Седому о своем желании хоть как-то облегчить груз, который тот взвалил на плечи? В точных названиях живет правдивая вечность текучего времени. Добуквенно помня, что, где, когда происходило с тобой, — веришь, что все у тебя впереди... Вспомнил! «Каластаяторпа»! Затем во дворце «Финляндия» Седой стоял в шеренге государств — новобранцев Хельсинки, слева — казах Назарбаев, справа — хорват Туджман, а там еще соседи по Закавказью и где-то в их пылающей непримиримости — боснийский мусульманин Алия Изетбегович, сказавший, что предстоящий ему выбор между соседями можно сравнить с выбором между лейкоемией и опухолью мозга...

Я смотрел на Седого и ощущал его, как самого себя. Не надо обманываться: тот семилетней давности хельсинкский день его европейского дебюта — совсем не то, что день сегодняшней. Десятилетие хельсинкской цельности — ни одного государства, выпавшего из европейской мозаики, которая сегодня, в июле 1992 года, распадается на глазах. Искрошенные, несоединимые осколки былых глыб, расколовшихся от эрозии внутренней несовместимости. Она оказалась сильнее раствора силы, если смогла взломать ее. Великая правда, о которой семь лет назад в этом зале он сказал Шульцу, обернулась обманом.

Сто тысяч тонн американского зерна не могли улучшить настроения, окончательно испортившегося, как погода за окном. Что бы ни говорили о нем недруги, он не хотел

распада Союза, и Горбачев не хотел, но, в отличие от Горбачева, он знал, в какую цену станет это. Для Миши Карабах был абстракцией, строптивой частью ломавшего язык названия «Азербайджан», он же уверенно выговаривал имена племен и краев, они были частицами его существа и существования. И когда они начнут распадаться, говорил он мне, то настанут времена пострашнее Судного дня. Его способность предвидеть судные дни пугала меня. И мы оба знали, что ничего хорошего впереди быть не может. Ни у Седого, ни у соседей по шеренге глав государств — новобранцев Хельсинки.

Шеренга была на заглядение — Кавказ, Балканы, Центральная Азия. Только слепой не увидел бы, как искрила гигантская вольтова дуга конфликтов. Но слепых в мире больше, чем зрячих, — преобладание, выявлявшее фатальное бессилие политики даже в самых титанических ее образцах...

Правоверному мусульманину Изетбеговичу придется выбирать между опухолью мозга и лейкемией, как придется выбирать Седому — только в каком качестве? Правоверного коммуниста? Православного христианина? В любом варианте ему придется выбирать из сонма недугов его маленькой изрубленной страны. Попав в эту шеренгу между Карабахом и Боснией, она не спрячется в гордыне собственной безмятежности. О какой безмятежности речь? Есть Южная Осетия. И будет Абхазия. Будут судные дни Сухуми и Чубери, а затем полыхнет в Чечне...

Шеренга несовместимых государств прокашливалась перед спичами. Вход в Европу открыт, но за него надо заплатить прочувствованным словом. У нас кое-что припасено для этого. Когда Мауно Койвисто предоставит слово Седому, тот скажет, что в Хельсинки его привели не кошмары распада, а вера в возможность его преодоления. И только он успеет мысленно проговорить эту фразу, как его любимая маленькая, скомканная и окровавленная, как Христов хитон после Распятия, страна пришлет ему свой поздравительный привет.

С трибуны дворца «Финляндия» — белый айсберг в свинцовых водах — он увидит, как непротокольно закольхнется его делегация, когда начальник его охраны пустит по ушам только что пришедшую весть: сегодня утром в Западной Грузии на развилке шоссе Чхороцку — Цаленджиха был взят в заложники и увезен в неизвестном направлении вице-премьер Грузии Сандро Кавсадзе...

В то время, как, впрочем, и сегодня, захват заложников был делом обыденным, однако высокая должность похищенного привлекла к этому происшествию самое широкое внимание.

Спустя месяц примерно в тех же местах террористы напали уже на целую группу высоких чинов, как бы сразу обесценив власть, которую они представляли.

Места, где это произошло, хорошо мне знакомы. Меня и самого там неоднократно брали в плен, чтобы продемонстрировать агрессивное феодальное гостеприимство. Особенно отличался один мой тамошний приятель по прозвищу Элефант. Он устраивал засаду на шоссе из Сванетии, у последнего поворота к Ингурской плотине, внезапно выскакивал из нее и заточал меня в Рухскую крепость дружбы народов.

Этот сюжет хорошо отработан в культурологии средневековья и современном кино. Пир, в представлении варвара, искупает любую вину, даже вынужденное ваше пленение, совершенное под давлением обстоятельств. У режиссера Данелия в фильме «Паспорт» один старик — грузин заточает другого — американца в крепостную башню. Для отвода глаз и дружеской пирушки с шамльком. Дружба народов получает щедрую дань, а старик-захватчик — исполнение своих желаний.

Как уже говорилось выше, кино влияет на жизнь сильнее, чем жизнь на кино. Разумеется, речь идет о грузинском кино и грузинской жизни, которая отчаянно сопротивляется засилью вестерна и фильма ужасов. Захват четырех военных наблюдателей ООН в феврале 1998 года — опять-таки в тех же местах — вылился в демонстративный, под присмотром дюжины телекамер, кутеж, лично у меня вызвавший слюнки и ностальгию. Заложникам сперва показали телерепортаж о победе чешских хоккеистов на Олимпиаде в Нагано, а затем устроили им пиршество с подачей моего любимого блюда эларджи — восхитительной смеси мамалыги и сыра сулугуни.

Впоследствии эларджи будет фигурировать в нескольких известных мне эпизодах с захватом заложников, заметно повлиявших и на мою жизнь. В известном смысле это аппетитнейшее варево превратилось для меня в некий символ блистательной

неопределенности. Когда его ставят на стол, облако ароматного пара так заволакивает картину, что почти полностью искажает ее истинный смысл.

Иначе говоря, довольно часто в нашей национальной интерпретации заложников берут, чтобы отвлечь внимание... Или наоборот — привлечь внимание к чему-нибудь. Создать повод, в одних случаях — для пирушки, в других, скажем, для войны. Каша эларджи войне не помеха.

Хронологически захват Сандро и его коллег предшествовал войне в Абхазии. Их увезли в хлебосольную вандею, чтобы подарить себе долгожданный *casus belli*.

Война началась 14 августа, а спустя пять дней мы уже душили Сандро в своих объятиях. Его освободили наши доблестные командос, гласила официальная версия. Будто бы пятеро в масках ворвались во двор, уложили охрану лицом в траву, один вбежал в дом и крикнул: «Быстро выходите!» «Вот и все!» — подумал Сандро, но маска повлекла его через порог во двор, где один из лежащих крикнул вослед: «Пусть не убивают, мой господин! Скажите, как мы обращались с вами!»

Но Сандро уже не слышал его. Они бежали по петлявшей между скал тропе к горному скату, где их ждал вертолет с работающими винтами.

Сандро был цел и невредим, если не считать необычной худобы и порезов на впалых щеках.

— Обращались со мной хорошо, и питание было сносным. Но мой плен совпал с Апостольским и Успенским постами, так что сам понимаешь... А порезы — от тупой бритвы. Когда поступил сигнал, что меня ликвидируют, я побрился лезвием, какое нашлось в том доме... Сам понимаешь, не хотелось предстать перед Всевышним в небритом виде.

Не проще ли было вскрыть вены? Сандро оскорбился: «Мне, верующему?!» И больше ни слова. Как случилось, что его не ликвидировали, а, наоборот, спасли, Сандро не говорил.

С Всевышним все было более или менее ясно, с остальным — полный туман. Когда о Сандро не было никаких вестей, Седой категорически отказывался говорить на эту тему, отделяясь от меня загадочной фразой: «Обдумываю самые нестандартные способы...»

Что за нестандартные способы? Удались ли они? И что происходило в промежутке между захватом и освобождением? Все мои попытки разговаривать Сандро были безуспешны. Начавшаяся война вмиг притенила историю с заложничеством одного человека.

— Войди в мое положение, — говорил Сандро на бегу от боев к перемириям. — Стань на мое место и пойми: было так тяжело, что я не могу говорить об этом!

Парой пустяков было стать на его место или войти в его положение: к тому времени я и сам оказался заложником...»

Сообщение о захвате передали в вечерней сводке новостей. Женщина втыкала свечи в пирог, когда дикторша проворковала знакомое имя. Эта идиотка улыбалась так, будто речь шла о дружеской пирушке на лоне природы. Лучезарное бессердечие телевизора и политиков не знает границ. Интересно, кто им внушает мысль, будто они должны улыбаться даже в день Страшного суда?

Телефон лаял, как свора гончих, преследующих зайца. Отныне ей хорошо известно, каково зайцу, когда его достают гончие. Мало кому удается одновременно терять сознание и отвечать на звонки.

— Да, это правда... Нет, не знала, что он там... Сегодня должен был прилететь... Успокойся, никто его пальцем не тронет. Он говорил, что в этой стране любая собака виляет ему хвостом. Будем надеяться, что знакомые собаки затащили его в боковое ущелье, чтобы дружески помахать ему там хвостами...

— Что я думаю о похищении моего мужа? Я думаю, что похитители преподнесли ему роскошный подарок ко дню рождения. Он давно мечтал о чем-нибудь подобном. Его девиз: блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые... Важно не побеждать, а участвовать... Чудовищная эклектика, невообразимое сочетание Тютчева и Кубертэна... Но таков его стиль, и ничего тут не поделаешь...

— Алло, кто говорит? Как это — не имеет значения?! Не имею никакого желания разговаривать с анонимным доброжелателем!.. В обмен на кого?! Вы сошли с ума, это не эквивалентно — обменивать моего мужа на террористов... Хорошо, я передам вашу

угрозу кому следует... Сколько у меня времени? Думаю, что успею... Что сказать? Скажите, что пирог получился, как в наши лучшие времена, только немного подгорел...

— Спасибо за сочувствие, господин посол... Не сомневаюсь, что Галатея сделает все для освобождения своего Пигмалиона. И все-таки попросите поторопиться, они мне уже звонили... Предлагают обменять на участников июньского теракта. Разумеется, живого мужа я предпочитаю мертвому символу отваги и преданности. Простите, но я продолжаю верить, что сначала он принадлежит своей семье, а уж затем — его превосходительству...

Она уже собралась было выключить телефон, как снова позвонила междугородная и заговорил незнакомый мужской голос:

— Алло, это я, Цуцурма, вор и убийца Верийского квартала. Джаник, я уже всех наших собрал. Весь Кировский парк на ногах стоит. Плехановские тоже пришли и Чугурети с Авлабаром и Песками вместе с Банным кварталом. Не плачь, мы их маму опрокинем и самих погасим...

Заложник никогда не скрывал от нее своих опасных связей, но про вора и убийцу его юности она услышала впервые. И все-таки после этого звонка женщина вздохнула спокойно. Впервые за этот вечер...

Кировский парк

В самый разгар Отечественной войны 1941—45 годов квартальный вор-домушник Гайоз Гейвандович Удугов по кличке Цуцурма совершил преднамеренное убийство.

Дело было в Кировском парке. Кировский парк примыкал к Верийскому кварталу как иллюстрация ветхозаветного Эдема. В любом случае это было именно то место, где происходили все основные грехопадения Верийского квартала. Не было ни одной заповеди, которую не преступали бы здесь под недреманным оком Сергея Мироновича Кирова. Эта твердокаменная глыба большевизма, водруженная на пьедестал в форме трибуны актива Ленинградского обкома партии, стояла посреди мраморного бассейна, отбрасывая длинную густую тень на одинокую могилу одинокого классика национальной литературы. Когда-то Кировский парк был Староверийским кладбищем, а до того — частью пышных Верийских садов, но время равно расправляется с садами и погостами, оставляя нам в память о них лишь отдельные фрагменты вечности. Одиночество могилы классика подчеркивалось единственностью произведения, обессмертившего имя погребенного в ней человека — Даниэла Чонкадзе. То была знаменитая «Сурамская крепость», рассказ о постройке, ставшей твердыней лишь после того, как в нее замуровали несчастного отрока Зураба. Иначе говоря, намекал классик, не одно лишь искусство требует жертв — любое дело рук человеческих. Хочешь, чтоб не разрушалось? — пожертвуй чем-нибудь стбязим. Например — жизнью. Из чего Салам заключал, что его жизнь ничего не стоит, ибо некий живой классик национального театра и кино отказался замуровать его в свою кинотвердыню. Он ссылался на неважные кинопробы, но священник церкви Иоанна Богослова отец Гаги утверждал, что дело тут вовсе не в пробах. В чем именно — отец Гаги не говорил, но довольно прозрачно намекал, что Саламовой жизнью киноклассик никак не скрепил бы свой шедевр, напротив — даже разрушил бы его, не говоря уже о собственной судьбе. В чем тут дело было — Гаги умалчивал, препятствуя разгадке всякими отвлекающими разговорами:

— Ты лучше обрати внимание вот на какой факт: человеку, чтобы стать великим, достаточно написать одну-единственную книгу. Но для этого необходима сущая малость: сама книга должна быть великой. В любом деле человек должен быть равен намерению стать великим. Если намерения и возможности совпадают и если результаты достаточно убедительны для народа — человеку обеспечена мраморная доска с золотой надписью: «Здесь похоронен великий писатель...»

На своем коротком жизненном пути Салам успел повстречать немало таких, чьи намерения и возможности идеально совпадали, однако эти люди вовсе не спешили предъявлять народу доказательства идеальных совпадений. Напротив, всячески утаивали их.

Одним из них был Цуцурма. Он впадал в грех каждую ночь, но церковь Иоанна

Богослова примыкала к Кировскому парку, как станция скорой религиозной помощи, и Цуцурма не пренебрегал ею. Там, на паперти, его ждал Черный Крысик. Этот впадал в грех ежедневно, но мелкими порциями.

Трамвай № 5 миновал Кировский парк по дуге, огибавшей двухбашенный, имитировавший древнюю крепость кооперативный дом «Алиони», а на трамвае № 5 работал Черный Крысик, по паспорту Марат Гарибальдиевич Вальдано. Работал он главным образом на том участке рельсового пути, который шел мимо ограды Повивального института, а финишировал у сквозного подъезда кооперативной крепости «Алиони», откуда рукой было подать до спасительной путаницы нагорных переулков Верийского квартала.

Во время своих не столь уж и редких наездов на Веру Салам имел счастье наблюдать, как вверх по подъему бежит Черный Крысик, зажав в кулаке ценный приз своего удачного финиша. Финишировал он на дню раз пятнадцать, и каждый приз был ценным, предназначаясь в жертву одной, но пламенной страсти Черного Крысика.

Теперь на месте дома «Алиони» стоит круглое, как беззастенчивость эпигона, здание филармонии (см. павильон США на Всемирной выставке в Брюсселе), а перед ним — зеленоватая, в потеках псевдопатины, скульптура «Муза». Она несколько смахивает на телесно изобильную шалаву Нинку из Кировского парка, уверявшую своих клиентов, будто нет более высокого наслаждения, чем ловить сексуальный кайф под музыку Дунаевского. К Нинке Черный Крысик имел отношение, опосредованное музыкой, а к филармонии — совсем никакого. Если, конечно, не считать выступавших там виртуозов фортепиано, которым Черный Крысик никак не уступал в виртуозности своего карманного исполнительства.

А Цуцурма, тот работал ночью, но тоже, подобно Крысику, всю свою призовую ценную добычу бросал в костер одной-единственной, но поистине пламенной страсти.

Костер пылал у подножья холма, в стороне от бассейна с человекоподобной глыбой бывшего мальчика из Уржума. Если не держаться за сравнение Кировского парка с Эдемом греха и порока, то согдится и сравнение с Ноевым ковчегом, где, как известно, каждой твари было по паре. Не только о Цуцурме речь и не о Черном Крысике, которые, безусловно, принадлежали к тварям, — были и другие, к коим и Салам причислял себя. Базальтовый трибун держал речь перед хороводом детских колясок, огибавших бассейн с завидным постоянством часовых стрелок, которые, однако, иногда давали сбой. Из Повивального института, превращенного в образцовый эвакогоспиталь, время от времени выползали новорожденные моряки Краснознаменного Черноморского флота, над которыми успел изрядно потрудиться хирург Гигуци Гагуа. Несмотря на отсутствие некоторых жизненно важных частей тела, а зачастую и благодаря ему, краснофлотцы отличались завидной повышенной активностью уцелевших конечностей.

Например, эти «полундры» — и Салам служил им подспорьем в этом деле — взбирались на крышу здания, нависавшего над муравейником Верийского базара, и метали оттуда в гущу торгашей и менял бутылки с песком и кирпичной крошкой. Богатая пожива паники пропивалась и проедалась в Кировском парке. Круживший вокруг любимца питерских рабочих хоровод детских колясок распадался при появлении вечного морского десанта, чья инвалидность нуждалась в постоянном опровержении. Толкая перед собой транспорт с плодами чужой любви, светловолосые няни-беженки уходили с моряками-десантниками в заросли прелюбодеяния на холме, под спасительную сень зенитной батареи капитана Слезкина.

Воистину это был холм многоцелевого назначения.

Были еще аборигены, они звались сиротами, Братством Верийских Сирот. Бремя крестного отца и главного брата нес художник-декоратор Марджановского театра Шота Дедабришвили, сын классика грузинской литературы Шио Арагвиспирели. Сам он на такой титул не претендовал, однако благодать осеняет избранных помимо воли последних и без особых их усилий к тому. Рассыпая вокруг себя драгоценности-экспромты, он стал признанным классиком Верийского квартала, гордившегося его «веризмами» (см. эпиграф к данным мемуарам) и основанным им братством. Под его водительством братья-сироты обходили окрестные питейные заведения, где их поили-кормили в долг или за так, а потом взбирались на холм многоцелевого назначения. Ноев ковчег Кировского парка выносил их из потопа эпохи. Рассевшись на валунах и разбитых надгробьях, сироты вслушивались в верийскую фонограмму. Квартал

примыкал к Кировскому парку, как хороший оркестр струнных инструментов, и каждый внимал своей музыке.

Рычал узник зоопарка африканский лев Теймураз, вторя звериному рыку дяди Габо. Скрежетал на повороте трамвай № 5, рабочее место Черного Крысика. «Каченджанга, Джомолунгма...» — бубнили на веранде Альпийского клуба собеседники горных вершин. «Третий расчет — к орудию!» — кричал батарейный начальник Слезкин. Мелкой волной плескала крестная мать квартала речка Вера, впадая в Куру, как Черный Крысик — в повседневный карманный грех. Через Веру перекинули мост, через Куру — паромный канат. На мосту взмахивали крыльями бронзовые грифоны, на пароме — бронзовотельные гахтаганы с Плехановки. Разбегаясь по отполированной, обжигавшей ступни палубе, они взлетали над бурунами за кормой, как подброшенные к солнцу блестящие монетки. Бронзовый век сиротского отрочества превращал в музыку даже мотоциклетные выхлопы с Площади Героев, где полковник МГБ Пачкория заводил свой ненаглядный «Харлей Давидсон». В церкви Иоанна Богослова звонили колокола — отец Гаги подавал голос: «Ждите — приду!» Вероучитель из него получился никудышный, зато соучастник в играх — превосходный. Чтобы сыграть с сиротами в «Здравствуй, осел!» и футбол, ему достаточно было подоткнуть ряску. Сиротство верийских братьев было зримым, как поношенное зимнее пальто, которое их президент заимствовал в театральном гардеробе с наступлением холодов. Однако без расспросов не обошлось.

— Почему «братство» и почему — «сирот»? — спросил отца Гаги оперуполномоченный МГБ капитан Маилов.

— Потому что все они — безотцовщина, — ответил святой отец.

— Это не повод называть себя «братством»!

— Ведь существует братство по оружию, фронтовое братство... У некоторых отцы погибли на фронте...

— Но некоторые... не на фронте. Изменники Родины, враги народа — живы, здоровы, высланы без права переписки...

— Раз нет переписки, то нет и отцов. Но ведь сказал же великий вождь, что сын за отца не отвечает...

— Именно! А «братство» — отвечает. По признакам статьи о контрреволюционной организации!

— «Здравствуй, осел!» — контрреволюция? Или игра в мяч?..

— Какой мяч?! Который вы забиваете в ворота команды зенитчиков и тем самым разлагаете подразделение противовоздушной обороны?!

— Неужели последний проигрыш сиротам со счетом 0:5 так подействовал на зенитчиков?!

— Каким мячом вы играете с ними?

— Белым. А что, должен быть обязательно красный?

— Мяч — немецкий, куплен в фашистской Германии отцом вашего Салама...

— Жив, здоров, выслан без права переписки... А мяч приобрел для сына во время загранкомандировки...

— ...После которой в Маргантресте начались диверсионные акты! Зенитчики знают, где и когда куплен мяч, который влетает в их ворота! Не забывайте — идет война с немецко-фашистскими захватчиками. Завтра капитана Слезкина вызовут в Особый отдел ЗакФронта...

— Но мяч — это всего лишь мяч, а отец — это отец, даже высланный без права переписки...

— Нет переписки — нет отца! Предупреждаю: если не уберете этот мяч и не ликвидируете ваше дурацкое братство — примем меры. Можете быть свободны. Пока...

Мое повествование начинает вращаться вокруг мяча. Оно подчинено силе его притяжения. Притяжение мяча неодолимо. Он подчиняет себе мое повествование, веля покинуть накатанную колею триллера с заложниками. Ибо у моего мяча есть своя, особая история, в которой очень точно и ясно отразилось то время. Скажу больше: у него было предназначение, намного превосходившее обычную функцию мяча. Играя в него, я сбрасывал стягивавшие меня путы позорной безотцовщины и становился свободным — вот для чего был нужен мне мяч, и он у меня был. Однако сейчас, пожалуй, я устою перед его гравитацией и не сверну с избранного пути, ибо на новый

путь у меня почти не осталось времени. Может, самая малость, чтобы успеть сказать, что футбольный мяч, незабвенная камера-оболочка — это слово произносилось слитно, от него на губах оставалось послевкусие счастья — по тем временам был редкостным сокровищем, и я владел им! Не сочтите это абсурдом — он был главным действующим лицом моей жизни. Да и неодушевленный предмет может быть главным действующим лицом и героем чьей-то жизни, обретя в ней живую душу, — это ведь от нас зависит, от людей, от меры способности человека одухотворять все, к чему прикасается его душа.

Футбольный мяч, незабвенная камера-оболочка, шнурки из сыромятной кожи, стягивавшие разрез в горловине, — от них при ударе головой оставался на лбу саднящий след, отросток камеры, перехваченный изоляционной лентой, вкус резины во рту: мальчик надувает щеки, как трубочка, другой зажимает ему уши ладонями — было поверье, что драгоценный воздух может выйти из ушей, еще с десяток-другой ребят вокруг... Они ждут, когда разглядятся морщины на коже, когда мяч станет как бы полым внутри и пощелкивающим снаружи, когда, гулко отозвавшись на хлесткий взлетный удар снизу, он словно по струне уйдет в высокую синеву, и они, взлетев глазами за ним, ослепятся солнечным светом, а может — сиянием своей юности...

...К полудню Цуцурма проигрался догола. Тело блестело от пота, будто облитое водой. Стопка ассигнаций скрылась под ворохом одежды. Оставались длинные, до колен, сатиновые трусы и неограниченное право играть на что угодно. Кивком головы Цуцурма указал Крысику на пустырь, уже не бывший пустырем.

Мяч летел по струне к месту соприкосновения с землей, и батарейцы вперемешку с сиротами подпрыгивали там, чтобы первыми завладеть им, но юркий Крысик опередил всех. Увертываясь от них, побежал к Цуцурме и подал ему мяч, как готовый к закланию жертвенный арбуз.

— В бой за Родину! — прошептал Вова Калинин, сирота Великой Отечественной.

Известный толкатель неодушевленных предметов курд Сахо рванулся к Цуцурме. Сравнение с жертвенным арбузом оказалось не вполне точным. Сначала блеснувшая на солнце фишка Цуцурмы выпустила дух из мяча, затем пропорола Сахов бок.

— Ах ты сука лагерная! — закричал Юра Слезкин.

Краем воспаленного глаза Салам увидел, что капитан разворачивает турель в сторону Цуцурмы.

«Гаги стал похож на распятие, — богохульствовал потом Пучеглаз. — Раскинул руки в стороны перед пулеметом, закрывая собой Цуцурму. Ты не боялся умереть на этом своем кресте? Ведь он мог ударить тебя в спину!..»

Капитан Маилов увел Цуцурму, унеся казенный мяч. Сироты потом долго ломали одурманенные головы над тем, что произошло. Выполнил ли Цуцурма спецзадание Родины или просто поставил Саламово сокровище на кон банального игрового азарта? Спросить было некого. Цуцурма вскоре сел за ограбленную квартиру профессора Эристави, Слезкин исчез, батарею расформировали, Сахо долго отходил после сильного кровотечения, а капитана Маилова, дослужившегося к тому времени до полковника, замели, как утверждала молва, по бериевскому потоку...

Много лет спустя Кировский парк утратит твердокаменную глыбу большевизма и ее имя, снова станет Верийским, а рядом с Иоанном Богословом вознесется белокаменная обитель гениальных монашек этой маленькой скомканной страны — Дворец шахмат. Он вознесется в некотором отдалении от холма многоцелевого назначения, в брезгливом отдалении от той порочной выемки у его подножья, где когда-то процветала популярная в блатном народе игра «зари» — прямой враждебный антипод ферзевым гамбитам и защитами Нимцовича.

Во Дворце шахмат станут королевствовать Нона, Майя и Нана, чья интеллектуальная оснащенность намного превзойдет и по этой причине жестоко посрамит национальный мужской разум.

Реванш возьмут спустя десятилетия. Доблестные всадники «Мхедриони», любители прямо противоположных игр, вытеснят шахматных королей из дворца, значительно расширив игровой диапазон этого летучего парка. И если когда-то в нем уживались такие абсолютно несовместимые виды спорта, как «Здравствуй, осел!», баскетбол, альпинизм, футбол, шахматы и азартная игра в кости с совершенно нетривиальными

ставками, то теперь беженцы из Абхазии болеют в парке совсем уж невыносимыми играми.

Все в этом мире так изменилось, что превращение престарелого вора-домушника в освободителя заложников никого не должно удивлять.

Обрыв ленты

Тем не менее удивительного хватает. Оказывается, заложников берут впрок, на случай, если противник захватит ваших людей. Каждая группа обзаводится для этого специальным обменным фондом.

— Нечто подобное происходило в Ливане, где оперировало множество враждующих группировок, — говорит Вудворд. — Множественность операторов и целей, которые они преследуют, затрудняют поиск и освобождение заложников. Их захват и насильственное удержание производятся в целях давления на правительство для достижения какого-то, необходимого террористам, результата. Чаще всего речь идет о выкупе — обмене заложников на своих людей или изменении политики. Но в любом случае разменной монетой и предметом торга становится жизнь ни в чем не повинных людей... Наш принцип и закон: никаких базовых уступок террористам, кроме гуманитарных. Однако...

Голос Вудворда дрогнул, словно натолкнулся на какой-то невидимый барьер.

— Однако на практике часты случаи, когда следовать этому принципу выше человеческих сил...

Салам прилежно записывал лекцию Вудворда. Никогда не знаешь заранее, где пригодится та или иная запись.

Вернулся Нейл, чернорабочий каунтертерроризма.

— Новая информация, босс: у них на борту плюс к известным пассажирам бывший министр нефти Саудовской Аравии и две дюжины наших сограждан. Еще один — здешний радикал. Мохаммед говорит, что в случае затяжки с выполнением его требований параллельно начнутся теракты в городе.

— Вот вам и ваши! — едко сказал Вудворд и пошел звонить своему послу. Его специальностью было пресечение контрабанды ядерных компонентов, но сейчас ситуация требовала большего.

— Давай паси свое стадо, — ухмыльнулся Боб. — Смотри, как заждались свежих кормов...

Брифинг. Все в сборе. Знакомые все лица. Кетино Хатункина. Чиа-Спектр. Сурик-Золотая Ручка. Како-Разбойник. Бегун вокруг Кремля. Семейка Дэви. Атас, Портас и Арамаис. Ромулов Рэм. СС — Серый Сергей... Лучший послужной список Салам-Калама. Его персональный отдел кадров. Полное собрание сочинителей нашей маленькой скомканной страны. Вторая древнейшая Четвертая власть. Ветераны идеологических битв. Верные подручные партии. Комбатанты холодной войны. Паломники по святым местам сражений за право наций на самоопределение и территориальную целостность государств. Валютные наемники Запада. Внештатные волонтеры спецслужб. Карманные гимнопевцы сепаратистских мессий. Террористы эфира, диверсанты газетных полос... Словом, те же сукины дети, что и в «Боинге». И — Салам-Калам, ваш блудный брат, заблудившийся в лесу поднятых рук.

Всю жизнь — под рубрикой «Журналист меняет профессию». Профессия меняет журналиста. Изменяет. Видоизменяет. Происходит мутация. Не с тобой одним, Салам. Вот этот лес поднятых рук — джунгли, в которых плутает истина.

Вопрос — ответ. Вопрос — ответ. Вопрос — ответ. Видимость ответа на имитацию вопроса. Такая игра, ничего не поделаешь. Такие игроки...

— Чего добиваются террористы? Какова, так сказать, идейная подоплека их действий?

— Идея облагораживает убийцу. Так, во всяком случае, он думает. Кроме оружия и взрывчатки террористу нужна идеология, некие базовые ценности, оправдывающие убийства и захваты заложников. Впрочем, в какой-то путеводной идее для оправдания

нуждаются все... Мы с вами — в идее выхода из пустынь информационного рабства, «Хезболлах» — в идее шиитского оазиса посреди пустынь западного сатанизма... Речь идет о власти идей, которые изначально равны террору, провоцируют и стимулируют его.

Неожиданно для себя Салам вступил на минное поле классификаций — грех плохих проповедников и штатных лекторов по распространению.

— Репрессивные идеологии всегда чрезмерны, избыточны, ибо ориентированы на крайности. Но избыток — в убыток. Наступает момент, когда чрезмерность идеологии начинает мстить своему носителю. Помните захват автобуса с детьми в Минеральных Водах? Декабрь восемьдесят восьмого, Павел Яшкиянец требует вылета в Израиль, думая, очевидно, что в этой стране он уйдет от возмездия. Нет дипотношений с СССР, есть крайняя степень несовместимости...

Салам вспомнил тот день, кабинет Седого, все в кабинете сохранилось, как при Андрей-Андреиче, новыми были лишь разговоры и люди.

— Не мерзнете в Москве? — спросил Седой Арье Левина, русскоязычного иранского еврея.

Со времен Вячеслав-Михалыча здесь не беседовали так с наследником Голды Меир.

— В Москве много тепла. Только надо уметь найти его.

Дипломатия — искусство формулировок, наносящих проникающее ранение.

— Я имею поручение руководства Советского Союза, — торжественно начал Седой, — передать через вас правительству Государства Израиль признательность за решительные и бескомпромиссные меры по задержанию и выдаче террористов.

Отрадно, что все эти действия были предприняты по инициативе израильской стороны, что на сей раз между нами не было посредников...

Салам записывал нервно и прилежно. Уголовник Яшкиянец дал шанс сближения — исторический шанс. Умаченные тавотом нового мышления, оси мира поскрипывали не так жалобно.

— Впрочем... — Седой взял октавой выше, — Впрочем, посредник у нас был, и великолепный посредник: международное право!

— Господин министр... — Арье склонил ухо к плечу, словно желая получить расслышать звучащий в голове ответ, — Израиль действовал так не только из уважения к международному праву... Он действовал так, потому что сам страдает от терроризма... Потому что теперь терроризм коснулся и Советского Союза...

Что он хотел сказать? Острие дипломатических формулировок пронзает множество смысловых слоев. Библейский ли смысл вкладывал Арье в свои слова, мол, поднявший меч от меча и погибнет, или по-житейски сочувствовал в беде, которая, слава Богу, может наконец помирить страдальцев, издревле разделенных враждой? Салам не успел додумать — Вудворд не позволил. Он вклинился в Саламовы размышления, чтобы вернуть их на правильный путь.

— Терроризм, — наставительно произнес Вудворд, — есть насилие, чаще всего совершаемое в политических целях, но квалифицируемое исключительно как криминальный акт. Мистер Салам безусловно прав: террор имеет свою «философию». Однако я не стал бы возводить уголовного и наркомана Яшкиянца на кафедру идеологии. Впрочем, такая aberrация вполне объяснима в стране, где в случаях захвата заложников их окружали вместе с террористами и расстреливали...

Руки затрепетали, как листва в миг урагана. Здесь, в Алексеевке, где Вудворд режиссирует отпор «Хезболлаху», 18 ноября 1983 года уже разыгралась трагедия похлеще нынешней, и мы пикнуть о ней тогда не могли. Телекамер не было и на любую информацию о захвате самолета группой молодых людей Москва накладывала строжайший запрет. Зато широко распространились слухи о том, что московский спецназ окружил захваченный Ту и изрешетил его пулями на земле. Гибель заложников, утверждали в городе, списали на угонщиков самолета...

В семьдесят третьем, когда Бразинскасы угнали самолет в Турцию, убив стюардессу Надю Курченко, Салам сам видел, как топал ногами на ПВО хозяин советских небес, легендарный маршал авиации:

— Почему не сбили в воздухе?! Пассажиров пожалели?! А честь Родины — хер моржовый?!

Оглядываясь во гневе, маршал показал руками этот главный критерий, главный

инструмент, главную единицу измерения философии, желающей изменять мир. Бедные моржи, их отстреливают, как заложников в самолете, посредством отстрела видеоизменяя и нас...

— Существует две философии контртерроризма, — продолжает Вудворд, — применения силы и ведения переговоров. Мы исповедуем вторую — переговоры. Переговоры с террористами сейчас ведет наш известный негодяй контртерроризма Роберт Стивенс. По правилам он располагается вне нашего штаба, поэтому вы не можете вступить с ним в непосредственный контакт. О технологии и содержании переговоров расскажет ваш коллега и наш пресс-офицер мистер Салам-Калам. Он у нас отличный эксперт по этому делу.

Еще бы не отличный... Пленник собственных превращений. Отрубленная голова шахского аманата. Немота ребенка, напуганного нечистой силой. Неволя юноши, заживо вмурованного в крепостную стену... Тут не захочешь, а станешь экспертом по этому делу.

Вудворд сражал эрудицией, цитировал Выготского и Хейзингу, Homo ludens, требовал творческой инициативы, раскрепощенного воображения, игры. Создание мнимых ситуаций — это основа игры. Это новая ступень абстракции, произвольности и свободы. Будьте свободны, моделируя мнимые, произвольные кризисные ситуации, — тем больше шансов, что вы совладеете с реальностью. Тут работает простой, но гениальный, как все простое, механизм: произвольно смоделированная ситуация обладает способностью полностью овладевать игроками. Кроме того — слушайте вое! — она дает вам восхитительное чувство команды, принадлежности к сообществу, которое решает задачи, непосильные для других. Если вы не ощутите это свое отличие от других, вам лучше не взваливать на себя ношу каунтертерроризма...

...Но ведь свое отличие от других осознается и террористом, который из этого выводит свое особое право распоряжаться жизнью других людей!

Правильно, говорит Вудворд, именно так осознает себя террорист, но вы никогда не одолеете его, не противопоставляя ему свое особое право изничтожать терроризм в корне. Ощутите себя свободным среди неволи других, играйте и побеждайте!

И тут Салам увидел Галдава. Ражден стоял в толпе журналистов, как равный среди равных. Это было его ремеслом, его профессией — везде быть как бы своим среди своих.

— Ты что здесь делаешь?

— Играю, как ты!

— Я не играю — это моя работа.

— Если это твоя работа — поезжай на Запад. Элефант ждет. Я приехал за тобой по его просьбе. Поехали!

— Как только с этим разделаемся...

— С этим вы разделаетесь через час...

— Не уверен. Американцы вызвали группу захвата.

— Ну, потешные! Поедешь со мной, — покажу, как это делается в натуре...

— Меня в заложники возьмете?

— Как всегда — для понта. Для игры. Помнишь, как вы меня когда-то разыграли с Кязимом?..

— Согласен компенсировать. Как только освобожусь...

— Освобождайся поскорее. Я подожду...

Галдава смотрел на Салама и насылал воспоминания. Как Цуцурма своим звонком жене заложника. Воспоминания побеждали террор. Фильм ужасов прервался. Пошла какая-то довоенная комедия. Будто ошибся киномеханик и вставил в проектор другую ленту...

(Продолжение следует)

Армен Зурабов

Возвращение к будущему



Перемена понимания смысла жизни не только не невозможна, но, напротив, только она одна может вывести людей из тех бедствий, от которых они страдают, и потому перемена эта неизбежно рано или поздно должна совершиться.

Л. Толстой

О социализме теперь стыдятся говорить — как о пройденном юношеском увлечении, которое раз и навсегда разочаровало в возможности любви. А между тем если можно еще говорить всерьез о будущем (и тем более — России), то, скорее всего, в связи с социализмом. И вот почему.

1

Давно известно, что основной принцип жизни на Земле сводится к борьбе за выживание: сильный побеждает слабого. Давно известно и то — и это отражено в священных книгах многих народов, — что смысл жизни человека в Любви.

Противоречие между стремлением выжить и извечным — данным Богом — стремлением любить — источник бед не только в жизни отдельного человека, но и целых народов и всего человечества. Преодоление этого противоречия — приведение принципа существования человека в соответствие со смыслом его жизни — и есть цель и содержание человеческой эволюции, или путь нравственного совершенствования.

Мудрецы всех времен предвидели гибельность для человека борьбы за выживание (как цели жизни) и приходили к одному и тому же выводу: способ существования людей, заимствованный у животных (и естественный для них из-за отсутствия выбора), должен быть заменен у людей разумной организацией жизни в соответствии с ее высшим духовным назначением. Этот вывод закреплен в заповедях почти всех религиозных учений.

В разные времена и у разных народов находились великие люди (то есть совершенные настолько, чтоб, забывая о себе, думать о других), которые даже осмеливались осуществить такую организацию жизни. Пифагору еще в VI веке до нашей эры удалось построить разумное государство — город, возглавляемый его учениками, и он просуществовал около двадцати лет и был уничтожен в результате нашествия извне.

Итак, речь идет о таком изменении жизни людей, при котором инстинкт выживания, разделяющий людей, подчинится наконец объединяющей власти разума. Возможность такого изменения жизни людей реальна:

во-первых, потому что в человеке изначально заложена потребность любить себе подобных и объединяться с ними. (Первое, что делают даже дети, это заводят друзей.) Нравственная шкала всех народов и во все времена определяется способностью

человека любить: добро — все то, что идет от любви (щедрость, самопожертвование, милосердие, бескорыстие), зло — все то, что противостоит любви (эгоизм, скупость, жестокость, трусость). Людям как бы с самого начала даны ориентиры, ведущие их к любви, а значит — и к объединению как к первой и главной задаче их пребывания на Земле;

во-вторых, все происходившее в мире до сих пор, начиная с изобретения колеса, великих завоеваний, открытий новых земель и до создания современных средств связи и сообщения, вело и ведет к взаимопроникновению народов, к взаимозависимости их и единению. Сегодня становится ясным то, что казалось неясным еще сто лет назад, — жизнь каждого зависима и неотрывна от жизни всех. Представление о силе как о превосходстве одного над другим вытесняется осознанием ее единственного предназначения: сильный должен помогать слабому, а не побеждать слабого;

в-третьих, человеку дана способность самостоятельного выбора, что возводит его, единственного из всей живой природы, на уровень сотворца Бога. Ему дано выполнить волю Бога не только в извечно заданных обстоятельствах жизни, но и в создании новых обстоятельств, без которых невозможно дальнейшее развитие мира. Первый понял это и развил в своем учении о ноосфере Вернадский. Ему выпало жить в XX веке, наглядно показавшем возможность дальнейшего развития жизни исключительно на основе разума.

Одно из самых, казалось бы, непредвиденных обстоятельств, созданных человеком, — выход в надземную реальность космоса — определило не только еще одно условие дальнейшей жизни человечества, но и рождение нового планетарного содружества людей, перед которым все, что разделяет их, становится архаизмом. Таким же определяющим дальнейшую жизнь людей становится компьютер. Фантастический «интеллект» компьютера, очевидно, уже сегодня вполне реально и безукоризненно объективно, без издержек человеческого вмешательства, может осуществить программу разумного планирования жизни, если такую программу заложить в него.

Но ни могущество компьютера, ни даже изобретение колеса, определившее на многие тысячелетия жизнь людей, не сравнимы со значением того нового *разумного принципа* организации жизни людей, к которому неотвратимо — каждый по своему пути — идут все государства и народы мира, завершая первый эмбриональный этап развития человечества (когда жизнь человека определяется инстинктом выживания). Принцип этот воплощает основные заповеди всех религий — и прежде всего те, что призывают любить и не стремиться к богатству, то есть для большинства людей воплощает новое понимание смысла жизни.

XX век явился временем первых государственных попыток осуществления нового способа жить — не только потому, что созрели объединяющие людей условия, а уже и потому, что жизнь по прежнему стихийному принципу стала невозможной: научившись расщеплять материю, человек впервые принял на себя ответственность за судьбу мира, и с этих пор разумная организация жизни людей стала единственным спасением от всеобщей, прежде всего экологической, гибели.

2

Уже в 1918 году Александр Блок писал о предстоящей перемене жизни как о конкретной задаче: «Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью».

По существу это означало: создать условия, при которых жизнь человека будет определяться не страхом смерти, а доступным только ему стремлением преодолеть этот страх и жить в осознании своего духовного бессмертия — устремления к нравственному идеалу.

Перемена эта предусматривает прежде всего освобождение человека от «добычи пищи» как главной задачи жизни (включая в это понятие и трагикомическую бессмысленность приобретения богатства) — освобождение его мыслей и чувств для того, что только и оправдывает наличие у него разума, — для познания тайн Божьего замысла и претворения его в непрерывном процессе сотворения мира. Кстати, как

правило, почти все мыслители и творцы мира, от древних философов и поэтов до создателей современных космических кораблей, были свободны от бытовых забот (за исключением редких случаев, трагизм которых еще нагляднее подтверждает это правило).

Но и для простого смертного самое унижающее его обстоятельство то, что вынуждает использовать грандиозные возможности своего разума для того, чтобы быть сытым или победить в борьбе с тем, кто тоже хочет быть сытым. (К понятию «сытости» для человека можно отнести и удовлетворение таких странных его позывов, как тщеславие). Это обстоятельство порождено «правом сильного», перенесенным из мира животных в мир людей. В мире животных это право обеспечено физической силой, в мире людей — ее усложненным аналогом — частной собственностью.

Краткое напоминание:

С древнейших времен земля как источник жизни была главным объектом в борьбе за выживание. «Сильный», умевший захватить у «слабого» больше земли, не только заставлял кормить себя, но и придумывал правила («законы»), по которым и дети, и внуки, и все последующие потомки побежденного должны были кормить его детей и его потомков. И хотя на протяжении истории правила не раз изменялись (процесс этот и составляет содержание истории), но в результате происходило только то, что победитель и побежденный менялись местами и еще и еще раз подтверждали неизбежность борьбы за существование как единственный принцип жизни, а тем самым и право «сильного» грабить «слабого».

В XII веке еврейский философ Маймонид писал: «Если ты получаешь доход, не зарабатывая его, то наверное кто-нибудь работает, не получая дохода». Почти то же, через восемь веков, писал Л. Толстой: «Если у одного человека есть много лишнего, то у многих других недостает нужного». Вот это лишнее как следствие незарабатываемого — в конечном итоге, отнятого у других! — дохода, превращаемого в новые источники такого же дохода, то есть в еще большую возможность отнимать его у других, и представляет то, что по существу является аналогом физической силы в мире животных, и названо «частной собственностью» и провозглашено священным правом человека.

Иначе говоря, частная собственность по существу своему воспроизводит стихийную жизнь бессознательной природы в мире людей и тем самым вновь и вновь питает человеческий эгоизм и порождает *иллюзию* его непреодолимости.

Но есть в самом возникновении частной собственности нарушение *естественного права*, то есть права, бесспорного для всех живых существ, населяющих Землю, — права всеобщего пользования землей.

Генри Джордж, известный американский экономист, писал: «Собственность на землю подобна собственности на рабов, по самому существу своему отличается от собственности на предметы, созданные трудом... Ограбленные люди могут вновь приобрести то, что у них было отнято, но отнимите у народа землю — и ваш грабег будет продолжаться вечно».

Кант считал, что все люди с самого начала и «прежде всякого юридического акта находятся во владении землею».

3

Страна, называвшаяся Союзом Советских Социалистических Республик, возникла на основе отмены частной собственности и впервые в истории явила миру последствия этого все определяющего акта.

Известный английский фантаст Герберт Уэллс, приехавший в Россию в 1919 году и написавший после этого свою знаменитую «Россию во мгле», встречался с Лениным. Ленин рассказал ему о планах предстоящего строительства. Уэллс назвал Ленина в своей книжке «кремлевским мечтателем». Известные западные писатели приезжали в Россию и в 30-х годах, когда Ленина уже не было, в самый разгар обещанного Лениным строительства, и видели реальность, казавшуюся Уэллсу в 19-м году фантастической: строились не только заводы, электростанции, железные дороги, шахты, города, но и школы, больницы, институты, библиотеки, Дома культуры, музеи, театры, возникала

первая очередь Московского метро, удивлявшего своей дворцовой мраморной красотой.

Но главным в этом рождении первого в истории «государства разума» (так его назвали в 20-х годах махатмы Индии в своем приветствии Ленину) было не создание его государственной мощи в небывалые сроки, не победа в войне, опровергшая последние надежды на его уничтожение силой, не фантастический выход в космос, ставший результатом развития самой современной науки, а рождение *нового миропонимания*.

В своем обращении к молодежи Л.Толстой писал: «Как растет человек, так растет и человечество. Сознание любви росло, растет в нем и доросло в наше время до того, что мы не можем не видеть, что оно должно спасти нас и стать основой нашей жизни. Ведь то, что теперь делается, это последние судороги умирающей, насильнической, злобной, нелюбовной жизни».

Это было написано в самом начале XX века. Почти за две тысячи лет до этого Евангелие призывало полюбить врага своего. Человечество готовилось к осуществлению этой заповеди всей своей историей, изживая неверие в Любовь и оправдывавшую это неверие «философию» эгоизма, которая противостояла не только любви к врагу, но и любви к ближнему.

У знаменитого поэта средневекового Китая Бо Цзюйи есть стихотворение со странным названием «Я сшил себе теплый халат». Речь там действительно о том, как автор (герой стихотворения) сшил себе теплый халат, избавивший его от мук холода. Затем происходит непредвиденное:

...Но как-то среди ночи
 Меня испугала мысль.
 Халат я нащупал,
 Встал и заснуть не мог!
 Достойного мужа
 Заботит счастье других.
 Разве он может
 Любить одного себя?
 Как бы добыть мне
 Халат в десять тысяч ли,
 Такой, чтоб укутать
 Люд всех четырех сторон.
 Тепло и покойно
 Было бы всем, как мне,
 Под нашим бы небом
 Не мерз ни один бедняк.

4

В Новом Завете, в «Первом соборном послании святого апостола Иоанна Богослова» есть такие слова: «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиной».

Любовь «делом и истиной» определяла мораль нового советского общества. Труд только ради заработка, тем более — обогащения, становился стыдным. Слова «выгода» и «карьера» выходили из употребления. «Материальные ценности» жизни уходили на второй план — на первом оказывались духовные. Молодые со школьной скамьи мечтали не о богатстве, а об изобретениях, открытиях, строительствах, поисках... (Помню, еще в 40-х и 50-х годах самой заветной была профессия геолога.) И естественно, что одним из главных «предметов первой необходимости» становилась книга, то есть то, что больше всего питало духовную жизнь.

К середине 30-х годов — в течение десяти лет после принятия закона о всеобщем образовании, была ликвидирована почти поголовная безграмотность недавно еще крепостных крестьян. Книги издавались тиражами в десятки и сотни тысяч экземпляров

(и их не хватало), еще большими тиражами выходили толстые литературные журналы (и их тоже не хватало). Цены на книги и журналы были самые низкие в мире.

Читали все — и дети, и взрослые. Читали дома, в метро, в многочисленных библиотеках. Помню, запись в школьную библиотеку была обязательна, и на многие книги устанавливалась очередь. Книгу дарили на день рождения, подписывая ее как лучший подарок на всю жизнь.

Подарком был и билет в театр. Билеты доставали с трудом. Заранее. Цены на билеты (как и цены на книги) были самые низкие в мире. В театр ходили как на праздник. После спектакля устраивали обсуждения — тут же, в театре, или увозили артистов к себе на завод, на фабрику, в воинскую часть, в институты и школы. С отдельными спектаклями театры выезжали в деревни, выступали в сельских клубах, в избах-читальнях, а то и просто — под открытым небом. Артисты одними из первых награждались орденами и званиями, были знамениты и любимы народом.

Почти повседневной необходимостью для всех (и в городе и в деревне) было кино. В фильмах узнавали свою жизнь, и как бы она ни приукрашалась, проблемы и чувства в них были понятны и волновали. Имена героев становились нарицательными, отдельные фразы их входили в жизнь как афоризмы и поговорки.

Артисты, музыканты, ученые, инженеры, конструкторы, педагоги, врачи — люди всех профессий, вступающие в жизнь еще в 30-х годах, учились в 20-х годах уже в новых школах, театральных студиях, академиях художеств, университетах, институтах, техникумах. Образование было бесплатное, то есть все расходы брало на себя государство (которому в то время самому было не больше двадцати лет). Брало на себя государство расходы и на лечение, и на бесплатный (или почти бесплатный) отдых. Санатории и дома отдыха, построенные на лучших курортах, напоминают и сейчас дворцы.

Огромное государство объединяло входившие в его состав республики не только общим для всех новым устройством жизни, но и общим производством: в создании станка, машины, самолета или ракеты на разных его стадиях участвовали разные республики и тем самым взаимодействовали друг с другом в процессе труда.

Национальное происхождение человека — понятие, давно ставшее условным, и особенно в XX веке (развитие цивилизации неизбежно вело и ведет к смешанным бракам), — сменялось понятием национальной культуры, тем, что всегда выражало и выражает истинную жизнь народа, его вечное устремление к Идеалу.

В республиках возникли — во многих впервые — национальные театры, киностудии, консерватории, издательства, академии наук, академии художеств... Самых талантливых посылали в прославленные уже на весь мир учебные заведения Москвы и Ленинграда.

Все это (и многое другое), что необходимо для духовной (истинной) жизни человека, требовало немалых средств. Средства были государственные — *то есть все тот же возвращенный народу результат его труда*. Еще больших средств требовала создаваемая в это же время индустриальная основа государства и еще больших — вооружение. После неудавшихся попыток уничтожить новоявленное государство еще в колыбели, сразу после его рождения в 17-м, открыто, на виду у всего мира готовилось его уничтожение руками германского фашизма.

Войну ждали, к ней готовились, но никогда в зависимость от нее не ставилось будущее, потому что не было ни малейшего сомнения в исходе войны. Лозунг тех лет: «Наше дело правое — победа будет за нами!» — вполне достоверно выражал веру не просто в победу, но в справедливость истории, которая делала эту победу неоспоримой.

Эта вера явилась *высшим достижением* двадцатилетнего существования нового государства. Она подтверждала факт становления единого народа и общей для всех национальностей, составляющих этот народ, родины. А это, в свою очередь, означало, что новое устройство жизни оказалось не «утопическим призраком», а реальностью, которая в самой страшной за всю историю войне подтвердила свою материальную и духовную прочность.

Победа над фашизмом была победой идеи объединения человечества над идеей его разъединения. И в этом смысле наглядно подтвердила, что человечество движется не по кругу (несмотря на утверждение ветхозаветного Экклезиаста), а, как писал французский богослов и поэт Ламене, «от состояния низшего к высшему, не задерживаясь в своем росте, предел которого в самом Боге», и если не по прямой, во всяком случае — по спирали, которая могла показаться в медлительном движении древней цивилизации и замкнутым кругом.

5

Понимаю, что читающий эти строки уже готов напомнить о «цене побед» — и в войне с фашизмом, и в создании на пустыре послереволюционной России за каких-нибудь двадцать с лишним лет одной из великих сверхдержав мира. Да, диктатура, или, как принято сегодня говорить, тоталитаризм, нарушение единого для всех времен нравственного закона, цензура, и репрессии, и сотни тысяч жертв...

Но когда, в какой самой демократической стране, даже такой классически демократической, как Греция времен Перикла (кстати, именно в этот «золотой век» был казнен в Афинах Сократ), когда методы, которыми пользовалась власть, претендовали на соответствие нравственному закону?

Память человечества хранит и ужас геноцида американских индейцев, и торговлю неграми в «просвещенном XIX веке», и многолетние крестовые походы, благословляемые Папой Римским, и кровавые расправы со всяческой оппозицией, в том числе и религиозной, и, наконец, апофеоз безнравственности власти — брошенные по приказу президента Америки на два *мирных* города Японии атомные бомбы, унесшие в течение нескольких секунд более трехсот тысяч жизней и уносящие их до сих пор, — этот, так и оставшийся безнаказанным факт, протяженностью в пятьдесят лет, и еще не исчерпавший своего смертоносного назначения.

У Гверрацци в его «Осаде Флоренции» есть такое определение критерия нравственности в политике: «Преступление в политике начинается лишь там, где кончается необходимость».

Коммунисты в России взяли на себя ответственность не только за построение новой жизни — в корне отличающейся от той («лживой, грязной, скучной, безобразной»), которой так трагически долго жило человечество, — но и за победу в неминуемой схватке со «старой жизнью».

Иначе говоря, с одной стороны, надо было создать жизнь, которая понравится людям больше, чем та, которой они жили до сих пор, а с другой — установить в стране положение близкое к военному: с единовластием, дисциплиной и верой в общую цель. Задачи эти казались взаимоисключающими и в то же время были связаны. Победу в предстоящей войне определяло не только и не столько вооружение, сколько человек, который впервые должен был пойти защищать не свою прежнюю национальную родину, а общую для всех населяющих ее народов единую новую родину.

Кинохроника последних лет войны сохранила кадры приезда Черчилля в Москву: он проходит вдоль почетного караула молодых солдат и с нескрываемым удивлением, то и дело останавливаясь, вглядывается в их лица. Участник и организатор почти всех войн XX века Черчилль словно пытался разглядеть в лицах этих парней (скорее всего, еще и не побывавших на фронте) силу, которая остановила фашизм. Против этой силы Черчилль и объявил «холодную войну», которая довела напряженность послевоенной экономики Союза до уровня, которого не было и во время войны.

«Холодная война» не оставляла выбора — социализм вынужден был (обязан был) защищать себя и тем самым защитить первые достижения на пути человечества к новой цивилизации. И чем больше развивалась военная техника потенциальных врагов, тем большие средства требовались на оборону. В 80-е годы, после принятия в Америке программы космического вооружения СОВИ, необходимость противостояния ей стоила Союзу почти 80% годового бюджета. В этих условиях производство товаров потребления оказывалось недостаточным — появились полупустые прилавки и очереди. Признаки этого очевидного спада стали относить за счет системы социализма. И это выглядело достаточно убедительно — особенно для поколения, вступавшего в жизнь во времена этого спада. В нем видели результат прежде всего политического режима, исключавшего зависимость власти от общества.

Хотя, по существу, именно *целенаправленное многолетнее давление извне* создавало ту сложность внутри государства, которая приводила к противоречию между идеологией и практикой жизни, а это, в свою очередь, и создавало недоверие к идеологии и стремление «жить, как все» (как весь остальной мир) — то есть заимствовать принцип жизни у той самой западной, материальной, цивилизации, которая, благодаря именно этому принципу (сильный побеждает слабого), уже с начала нашего века ясно вела мир к духовной, а значит, и к физической — экологической — гибели.

6

Бывший Госсекретарь США Джеймс Бейкер недавно сделал официальное сообщение: «Мы истратили триллионы долларов за последние сорок лет, чтобы одержать победу в «холодной войне». Победа одержана: СССР исчез с карты мира».

Сегодня разрушение этой страны, последовательно и неукротимо безжалостно проводимое не только «последние сорок лет», но с самого ее рождения в 17-м, названо «самопроизвольным крахом социализма», следствием «нежизнеспособности» его экономики. Утверждение это опровергается не-только всей историей XX века, наглядно подтвердившей невиданную жизнеспособность этой системы, не только грандиозным явлением социалистического Китая, невозможного без социализма в России, но и тем, сегодня уже открытым всему миру результатом перераспределения собственности, которое совершилось в России за последние шесть лет, — практическим результатом перехода от государственной собственности к частной. (Под «практическим результатом» имею в виду прежде всего нравственный результат, который потому и считаю всеопределяющим, что только в нем вижу конечную цель существования любого государства и любой человеческой жизни.)

Итак, нравственный результат совершенного в России капиталистического переворота — возвращения от государственной собственности к частной: прежде всего мгновенное (в течение года) разделение людей на богатое (чудовишно и стремительно разбогатевшее) меньшинство и нищее (до уровня почти полного отсутствия средств к существованию) большинство; вместо постоянной работы (жестко гарантированной и реально защищенной государством) — полная зависимость от воли частного владельца, страх потерять работу и, естественно, еще более ожесточенная борьба за выживание, не оставляющая стимулов для жизни духовной (и уж во всяком случае, не приближающая, а еще больше отдаляющая от смысла человеческой жизни вообще); вместо объединяющего республики общего производства — разрыв экономических связей, а затем — политических и культурных, разрушение Союза (наперекор народному референдуму и здравому смыслу, в результате борьбы за власть), разрыв, пустивший республики по миру, потому что жизнь в них определялась их взаимозависимостью, нарушение которой обрекало их на сомнительную (если не трагическую) самостоятельность, лишенную каких-либо реальных основ, — ситуация, словно специально созданная для разжигания национальной розни, уничтожения национальной экономики и культуры»; межнациональные столкновения и войны, *неутомимо продолжающие друг друга в самых разных местах*, от Молдавии до Таджикистана и от Прибалтики до Кавказа; рождение в хаосе распада мафиозного спрута, опутавшего не только органы порядка, но и правительства, парализовавшего первую и основную функцию любой власти — защищать жизнь и безопасность своих граждан; нескончаемый поток согнанных с родных мест, никем не защищенных, беспомощных в своем бесправии и бессилии полуголодных людей разных национальностей, получивших в средствах информации вечный и безнадёжный статус новой нации «беженцев», — и все это там, где уже возникал единый народ и многонациональное содержание его обретало свое истинное выражение в культуре. И это вполне совмещалось с необходимым в таком государстве единым государственным языком: выступления по радио и телевидению представителей разных республик «бывшего СССР» и даже недавних «врагов», лидеров так называемых «чеченских боевиков» на отличном русском языке и сейчас еще привычно сочетаются с их нерусскими лицами, и это ничуть, кстати, не мешало им говорить на своем языке, создавать на нем свою литературу, театр, кино, для чего государством из общего котла отпускались немалые средства.

С потерей государственного финансирования, после торопливой или, точнее, беззастенчиво-преступной передачи государственных средств производства в частные руки, самые мрачные ожидания превзошло и падение культуры. И дело не только в том, что в *сотни и больше* раз упали тиражи книг и журналов и так же катастрофически — для большинства людей — взметнулись цены на книги, на билеты в театр, и кино, и концерты, и даже в музеи; и не только в том, что еще недавно переполненные кинотеатры превратились в пустующие залы, отдаваемые в аренду под казино, мебельные магазины и игральные автоматы; и не только в том, что резко уменьшилось

количество библиотек, а такие всемирные хранилища книг и картин, как Библиотека Ленина, Эрмитаж и Третьяковка, оказались в условиях губительных для их уникальных экспонатов; и не только в том, что несправедливо оскудело государственное телевидение, вынужденное пойти на содержание к новым миллиардерам (которые открыто заказывают за свои деньги и свою «музыку» — это уже к вопросу о «свободе слова и гласности»); и не только в том, что стремительно организованное вторжение дешевой западной киномакулатуры подорвало до основания прокат, обанкротило тем самым киностудии (в СССР в год производилось по всем студиям около 150 фильмов) и фактически полностью уничтожило советский кинематограф, лучшие достижения которого вошли в сокровищницу мировой культуры; и не только в том, что основа современного государства — наука — и основа будущего в этом государстве — образование — обескровлены до состояния полной финансовой дистрофии, когда доктора и кандидаты наук подбираются на свалке разграбленной экономики, торгуя сигаретами, пивом и сникерсами, чтобы не умереть с голоду, а крупнейшие институты, создававшие уникальнейшую в мире технику, производят ограды для могил или стальные двери и жалюзи для насмерть перепуганного рэкетом обывателя-спекулянта (именуемого нынче «бизнесменом»), не говоря уже о великой армии школьных педагогов, по несколько месяцев не получающих зарплату и прерывающих свою работу разве только для законопослушной однодневной забастовки, потому что даже в этой разрушенной, повергнутой в отчаяние стране нет большего преступления перед Богом и людьми, чем предавать детей. И все-таки дело не только во всем этом, а дело в том, что с *четко организованной планомерностью* делается все, чтобы уничтожить *нравственную основу* государства — этот реальный результат грандиозного духовного опыта русского народа, отраженный в его культуре и истории.

Невежественно-уверенное отрицание *достоверности русского идеализма* как основы исторического развития России и примитивное, самонадеянное навязывание ей западного прагматизма не только чужды, но и враждебны русскому миропониманию. Для этого достаточно прочитать великих русских писателей XIX века, создавших образ не укротимого никакими доводами самосохранения устремления к Идеалу как единственной реальности человеческой жизни — образ, который в Европе еще в XVI веке был так трагически высмеян Сервантесом. (В России «исправители мира» никогда не были смешны — герои русских романов в той или иной степени все — «рыцари печального образа».)

Один из самых дальновидных политиков Европы — «железный Бисмарк» еще в конце XIX века предостерегал от попыток завоевать Россию — в ее духовной неистребимости он видел предназначение судьбы. Словно понявший это предупреждение Бисмарка как указание искать иные пути уничтожения России, директор ЦРУ США Аллен Даллес весной 45-го года, еще до капитуляции Германии, успокаивая встревоженный победой России американский сенат, говорил о планах *невидимого* разрушения России изнутри.

На этот раз ставка делалась на истребление той самой русской духовности, которая представлялась Даллесу, да, вероятно, и американским сенаторам, чем-то вроде первобытных предрассудков уничтоженных в свое время индейцев. Ей, этой русской духовности, предстояло теперь стать всего лишь объектом для достаточно соблазнительной рекламы западного образа жизни (в сочетании, естественно, с *некими усилиями* по изменению политической и экономической системы), чтоб Россия добровольно, раз и навсегда приняла наконец философию того «здорового западного эгоизма, на котором держится весь цивилизованный мир».

Сегодня эта новая глубинная агрессия против России перестала быть «невидимой»: смена политического и экономического режима (точнее — разрушение того и другого до состояния хаоса) выплеснула новую «философию» на самую поверхность жизни: на домах, столбах, автобусах, трамваях, троллейбусах, в метро — изнуряюще истеричные призывы на английском и русском языках: «купить», «разбогатеть», «выиграть», «поехать на Канары», «не упустить счастье в казино»; и бешеные телевизионные клипов, рекламирующих западные боевики, и мексиканские сериалы, в свою очередь, рекламирующие в паузах (ради которых их показывают) средства против перхоти, жвачку «с устойчивым вкусом» и американские сигареты; и «эротические» короткометражки, где проститутки рассказывают о рабочих деталях своей профессии;

и объявления в газетах о сексуальных услугах разных видов; и нищие в переходах, и музыканты, те же нищие, вымалывающие милостыню своими беспомощных скрипок, саксофонов, гитар; и старики и старухи с сигаретами и хлебом, до полуночи дежурящие у входов в метро; и «целлофановые» заморские продукты в «маркетах» и «супермаркетах», куда простые смертные заходят, как в музей; и новая массовая «литература», этот зловонный набор беллетризованных инструкций по грабёжам, порнографии и убийствам, упакованных под призывными пестрыми обложками; и перекрывающая все это, сливающаяся в единый образ, наглая, красномордая, самоуверенная торжествующая пошлость — высокое знамя нового времени и «свободной» жизни.

7

В Ленинграде, на набережной Невы, у здания Академии художеств стоят два сфинкса. Им больше трех тысяч лет. Они возвышаются над гранитным парапетом набережной, и на черных огромных пьедесталах их — древние египетские письмена. Их задумчивые лица плывут в облачном северном небе и обращены не к людям, стоящим внизу, а словно видят что-то, что важнее и людей, и самой жизни, и есть единственное, что заключает в себе смысл и источник происходящего во вселенной и того, что непостижимо для смертного, но дано ему в мгновенном прозрении. И пока смотришь на сфинкса, мгновение это бесконечно повторяется: возникает и тут же исчезает, и не можешь удержать его и продлить, чтоб что-то разглядеть, потому что не выдержит жалкий разум смертного того, что ему откроется... А сфинксам это открыто, и они все знают про тот и этот мир, и смотрят вдаль и в самих себя, их темные гладкие лица тронуты едва заметной улыбкой, полны печали и надежды... А тяжелые несдвигаемые львиные туловища утверждают их неистребимую реальность.

Чуть ниже сфинксов, там, где ступени с набережной ведут к Неве, раздвинутые к этому спуску края парапета завершают маленькие бронзовые львиные головки, оскаленные в ярости. Их готовность к безумной и вечной борьбе противостоит величавой тайне сфинксов — то ли по замыслу строителей-архитекторов, то ли по естественному выражению в них суетного екатерининского ренессанса XVIII века (когда сфинксы были привезены в Петербург).

Это незаметное с первого взгляда и в то же время такое наглядное воплощение двух разделенных тысячелетиями цивилизаций напоминает о двуединой природе человека: как в жизни отдельного человека берет верх то духовное его начало, то плотское, так и в бесконечной спирали развития человечества духовные витки его сменяются материальными, создавая новые импульсы движения человеческой истории.

Краткое напоминание:

Начало новой материальной цивилизации отмечено двумя знаменательными событиями I века новой эры — разрушением Иерусалимского храма, этим последним актом победы римлян над восставшей Иудеей, окончательно прекратившим существование иудейского государства, и возникновением христианства — религии, впервые ясно провозгласившей Любовь как *единственное содержание человеческой жизни* и взявшей на себя предуготовление человечества к Божьему царству. (К жизни, построенной на заповедях Христа, или что то же — на выводах разума.)

Первое событие породило народ без земли и государства, который, и рассеянный по миру, оказался, однако, готовым к такому существованию благодаря изначальной уверенности в своей «богоизбранности» и спасительной преданности единой национальной религии. В борьбе за выживание народ этот направил все силы в единственно доступную ему сферу — в индивидуальное творчество: от искусства приумножения денег, этого обезличенного эквивалента всех отнятых у него богатств и создания на их основе всеохватной финансовой империи (невидимо подчинившей себе весь мир), до научных открытий и изобретений, вот уже несколько веков оснащающих человечество новыми энергиями и скоростями, все более увеличивающими «вместимость» его земного существования. Иначе говоря, разрушение Иерусалимского храма породило всемирных евреев, народ, подобно египтянам в древнем мире создавший и возглавивший цивилизацию нового материального витка всемирной истории.

Второе событие — возникновение христианства — явилось как бы гарантом неистребимости духовной перспективы человека, даже когда он, человек, достигнет высшего самоубийственного умения расцеплять материю (возвращать ее в энергию, из которой она сотворена), гарантом его готовности к новому духовному витку, который единственно может повести человечество дальше — уже объединенное техническими связями и способное к осознанию своей единости. (Не в этом ли главное назначение материальной цивилизации, во всяком случае, в той ее части, что доступна сознанию?)

Что касается нравственных достижений этой цивилизации, то вершиной ее явилась «свобода личности», ставшая основой беспредельного индивидуализма, все больше и больше отрывающего человека от общества и человечества в целом. Иначе говоря, «свобода личности» обернулась невиданным никогда прежде рабством перед торжествующим эгоизмом.

И как древняя египетская скульптура воплотила невозмутимое величие духовного могущества человека, так искусство нашей цивилизации (и нагляднее всего кино, рожденное этой цивилизацией) воплотило в своих лучших творениях и непредвиденную (в условиях материального всемогущества) трагедию рабства духа (или, как принято это теперь называть, — «бездуховности»), и неистребимую надежду на духовное возрождение.

Тема трагедии «свободы» оглушительно прозвучала в фильме великого Феллини «Сладкая жизнь», в этой пронзительно правдивой, монументальной панораме изнемогающего от вседозволенности и богатства современного «высшего общества» — обездоленного духовно до готовности к самоуничтожению.

В «Восьми с половиной», фильме, снятом сразу после «Сладкой жизни», в этой бесстрашной перед миром и безжалостной к себе исповеди Феллини яростно и тщетно ищет свободу внутри себя, в пределах собственной личности, обретшей, по утверждению современных устроителей жизни, освобождение от всяческих «духовных предрассудков». От этой «освобожденности» герой фильма — режиссер, снимающий фильм, — кончает жизнь самоубийством. Фильм остается незаконченным, разбираются громоздкие конструкции декораций, а действующие лица, сбросив маски своих персонажей и взявшись за руки, под детски наивную, печальную и счастливую мелодию уходят с экрана и словно переходят в реальный мир, призывая и всех в мире вот так же взяться за руки и *преодолеть то, что их разделяет*. На экране остаются только трое клоунов, они персонажи не фильма, а жизни, это они наигрывают на своих инструментах мелодию, которая ведет людей, — и, задержавшись на миг, они уходят вслед за всеми, смешно ступая в такт собственной музыке...

Уходит со сцены истории еще одна великая эпоха, давшая миру небывалые до этого возможности жизни, удлинившая ее сроки и убедившая в беспредельности человеческих сил, поставившая людей перед неизбежностью осознания своего единства — главного условия спасения от самоуничтожения. И в то же время породившая страшное препятствие для этого осознания — иллюзию независимости от жизни других людей, «свободу личности» или, говоря проще, *свободу только для себя*, тот высший индивидуализм, который отвращает человека от единственного, что делает его человеком, — жизни ради других: «Ты для себя лишь хочешь воли» — эта строчка из «Цыган» Пушкина может быть поставлена эпиграфом ко всему уходящему на наших глазах тысячелетию.

Наступает новая эра.

8

Недавно «Литературная газета» перепечатала из итальянской «Униты» интервью с Ивом Кусто, ныне уже покойным. Интервью посвящено условиям сохранения жизни на Земле. Вот несколько выдержек из него: «И все-таки я лично придерживаюсь мнения, что сохранение жизни на нашей планете возможно при условии борьбы с неравенством... Когда мы за рулем, а на светофоре загорается красный свет, мы останавливаемся и не считаем, что красный сигнал светофора — это покушение на нашу свободу. Наоборот, мы понимаем, что он нас охраняет. Почему же мы не можем

руководствоваться тем же принципом и в экономике... нам нужна новая революция — революция культурная, глубокое преобразование нашего образа мышления».

«...Крах системы коммунизма вызвал ликование на Западе. Какое заблуждение!.. рыночная система в том виде, в каком она у нас существует, вредит планете больше, чем что-либо, поскольку все у нас имеет цену, но не рассматривается как ценность».

В этой простой формуле — самый страшный результат материальной цивилизации: обесцененность ценностей жизни. Собственно, этот результат скорее дает право говорить о крахе сегодняшней западной цивилизации, чем «системы коммунизма». Потому что коммунизм, или точнее, социализм в России — следствие не столько экономической теории Маркса, сколько тысячелетнего развития русского самосознания, которое больше всего не сочеталось с материальной цивилизацией Запада, и поэтому Россия раньше других отказалась от нее (когда только эта цивилизация стала проникать в ее жизнь) и создала систему, которая соответствовала ее устремлениям еще со времен принятия христианства.

Именно поэтому октябрь 17-го года прежде всего — *вершина русской национальной идеи*, и никакого «краха системы коммунизма» не произошло и не могло произойти, потому что речь идет не о конкретной государственной структуре (в которой неизбежно для первого в истории опыта были и кровавые социальные поиски, и трагические заблуждения, и великие жертвы), а речь идет о вызревавшей в течение веков изначальной устремленности человечества к всеобщей справедливости, которая остается и *единственным спасением* от всеобщей гибели.

А «остановка» на этом пути, которую так поспешно называли сегодня «крахом», столь же необходима для продолжения пути, как необходим привал, чтоб очиститься от приставшей в дороге грязи, уточнить дальнейший путь и обновить силы.

И не свирепость патологического двуглавого орла, торопливо извлеченного со свалки истории, а колосья, обрамляющие орудия труда, — этот самый необычный герб самого необычного в мире государства — останется символом дальнейшего движения истории; и не рудимент тысячелетнего рабства — «господин», а «товарищ» — это ясное повседневное напоминание о том, что идущие к одной цели прежде всего товарищи, останется знаком отношения между людьми; и не заимствованное у животных право сильного побеждать слабого, а заповеданное мудрецами стремление сильного помогать слабому станет основой того *всемирного социализма*, которому не будет угрожать уже ни агрессия извне, ни рожденный ею тоталитаризм изнутри, и к которому так самопожертвованно первой вышла Россия, и идут теперь уже и полутора миллиардный Китай, и крохотная Куба, и, осторожно приглядываясь к их опыту, — все человечество.

Время — река, в нее нельзя войти дважды. И путь России к третьему тысячелетию не может быть возвращением к пройденному. Скорее это возвращение к будущему. Никто сегодня не может знать, каким оно будет. Но все больше людей во всем мире начинают понимать: история выходит на новый виток в своей вечной спирали, начинается новая духовная цивилизация человечества, обещанная христианством еще в I веке нашей эры (неслучайно с этого времени — с рождения Христа — исчисляется наша эра) и готовая осуществить учение Христа без преступного приспособления его к социальному неравенству, этому высшему воплощению антихристианства.

Людмила Синицына

Жена тополя



Не заметить эту девушку я не могла. Потому что впервые за все время своих поездок по Таджикистану увидела настоящую восточную красавицу, каких рисовали на миниатюрах и каких воспевали персидские поэты. Бархатистая персикового цвета кожа, тонкие темные брови — ее не портило даже то, что она, как и все местные модницы, соединяла брови усьмой в одну линию. Зеленовато-карие глаза. Длинные густые ресницы. Нежный румянец...

От неожиданности (представьте, что в глухой деревушке вам навстречу вдруг выходит Шарон Стоун или Найоми Кэмпбелл) я так и застыла на улице, чуть не забыв о том, что должна выполнить поручение Сайера-апы — загнать корову.

По сравнению с российскими — тучными, вальяжными, местные коровы — костлявостью и способностью пробираться по скалистым отрогам — напоминали скорее коз. И по извилистым улочкам они проходили не медленно и степенно, а топотали спорым шагом. И корова Сайера-апы вполне могла проскочить мимо. Пришлось бы потом ловить ее в другом конце кишлака.

Красавица, загнав мосластую коровенку, скрылась за глухим глинобитным забором.

Стадо прошло дальше. Пыль улеглась. А у меня, пока я задвинула запор загородки, куда прошла корова, в памяти всплыло название душещипательного индийского фильма «Цветок в пыли». Действительно, цветок...

Солнце скользнуло за вершину. И густая тень горы покрывалом легла на кишлак. Здесь уже начался вечер. А другой, противоположный берег реки все еще оставался залитым ярким солнцем. Там день продолжался. Контрасты, которые возможны только здесь, в горах.

Постепенно, у меня на глазах, темная тень переползла через границу реки и начала наступать на сияющий разноцветный мир.

И к тому времени, когда Сайера-апа вернулась домой, темнота восторжествовала.

— Хай! Какая девушка! — покачала головой Сайера-апа в ответ на мой вопрос, когда мы сидели за чаем. — У Нигины три мужа умерли.

И мне вспомнилась тень печали, лежавшая на лице красавицы.

— Кто ее теперь возьмет? Никто не возьмет. Все боятся, — продолжала Сайера-апа.

— А отчего у нее мужа умирали? — поинтересовалась я. Если от одной и той же болезни, тогда еще можно понять, почему в народе прошла молва, что она наводит порчу.

Оказалось, что первый муж, за которого Нигину выдали против ее воли, был большим начальником в соседнем совхозе и породниться с ним считалось большой удачей для семьи. Никто не знал, что начальник этот болен раком желудка. Болезнь свалила с ног крепкого на вид мужчину буквально за несколько месяцев: он пожелтел, похудел и вскоре после операции умер.

Когда прошел срок траура, за Нигину посватался местный охотник. Мужчина из себя не очень видный. Может быть, поэтому чрезвычайно ревнивый.

Сайера-апа, покачав головой, привычным жестом подвернула широкий рукав сначала верхнего — более яркого, — а затем нижнего — чуть посветлее — платья. И рассказала, как охотник, случалось, возвращался с полпути домой, чтобы проверить, не прячет ли его молодая жена кого дома. А когда Нигина однажды улыбнулась своему бывшему однокласснику, — избил и ее и этого парня. Кто знает, чем бы кончилась такая семейная жизнь для Нигины — в очередном припадке ревности муж вполне мог покалечить ее, — если бы однажды, погнавшись за горными козлами, он не поскользнулся. Упал охотник в общем-то с невысокой скалы. И вполне мог отделаться легким испугом. Но, судя по всему, во время неудачного падения он повредил позвоночник, потому что не смог сам добраться до дома. Его нашли не сразу. И, судя по всему, умирал он от пневмонии, потому что задыхался, кашлял и в полубреду проклинал Нигину, кричал, что она порченная. Погубила первого мужа, а теперь вот и до него дошла очередь.

А когда третий муж Нигины попал в аварию, уже никто не сомневался, что все дело в ней самой. Хотя муж-водитель сел за руль в пьяном виде.

Нетрудно представить, какой тягостной стала жизнь молодой женщины. Как-то сразу она осталась без подруг, потому что сверстницы боялись, как бы тень проклятия не перешла на них, и, конечно же, стали ее избегать. Ни на одно торжество Нигину не звали. Не приглашали и на хошар: те работы, которые испокон веков женщины селения делали сообща, как, например, изготовление кошмы, вышивание сюзане или шитье куроков (поскутных покрывал).

В доме престарелой тетушки, к которой перебралась Нигина, появлялись только пожилые одинокие женщины или старухи.

— В субботу к нам в кишлак фолбин приедет. Будет Нигину замуж за тополя отдавать, — закончила Сайера-апа.

— За тополя? — переспросила я недоуменно, вспоминая серебристый ствол, выглядывавший из-за глухого забора, за которым скрылась Нигина.

Моя собеседница неторопливо допила последний глоток чая, аккуратно поставила пиалу на дастархан (скатерть, которую в кишлаках расстилают на полу) и кивнула.

— Зачем? — спросила я, догадываясь, что услышу в ответ, но мне хотелось получить подтверждение от самой Сайера-апы.

— Если не засохнет, потом ее другой муж возьмет.

Вот оно что! Меня обрадовало не только то, что у молодой женщины появится возможность освободиться от клейма, но еще и то, что я, наконец, увижу знаменитую фолбин, о которой слышала давно, но которую мне никак не удавалось застать в кишлаке. Приезжала сюда, вниз, она нечасто. А в те места, где она жила, трудно было добраться.

Но тут Сайера-апа огорошила меня, признавшись, что собирается исполнить давнее желание: устроить свои поминки.

Увидев, что брови у меня, как я ни сдерживалась, поползли вверх, она степенно объяснила, что хочет совершить поминки при жизни, потому что не может положиться на сына. Хотя он и соблюдает мусульманские обряды, но все равно, как многие современные мужчины, и курит, и водку пьет. Поминки он, конечно, устроит, но кто знает, какие они будут? Уж лучше самой проследить за тем, чтобы все прошло как полагается.

— А разве так можно? — спросила я, стараясь скрыть нотки сомнения.

Оказалось, что можно. И, главное, все старухи — подруги Сайера-апы — очень поддержали ее в этом. Как только прошел слух, что фолбин наконец-то собирается приехать в кишлак, Сайера-апа решила не откладывать давно задуманное дело.

Я была знакома с ее сыном, с ее внуками и другими родственниками — все они, как и полагается, заботились о старушке. И сено для коровы всегда заготавливали вовремя, без напоминаний, и уголь, который в здешних местах нелегко достать, у нее лежал в сарае задолго до наступления холодов. Одним словом, Сайера-апе грех было бы жаловаться на невнимание.

Но моя своенравная хозяйка вбила себе в голову, что лучше, если она сама проследит за тем, как пройдут поминки, чтобы душа ее беспрепятственно проследовала туда, куда полагается благочестивой мусульманке, — в райские кущи.

Кто такая фолбин, я не стала у нее спрашивать. Одним словом этого не объяснишь. Никто этого звания «официально» не присваивает. Далеко не всякая набожная женщина, знающая молитвы, знающая обряды, может стать фолбин. Для этого требуется особый дар. Иногда он наследуется. Иной раз женщина открывает его в себе только в зрелом возрасте, а иной раз и на старости лет.

Фолбин снимает порчу, изгоняет злых духов, когда они начинают донимать человека, занимается лечением. Одним словом, к ней обращаются в тех случаях, когда никто другой помочь не может.

Слушая рассуждения Сайера-апы о том, почему она решила совершить обряд, я лихорадочно думала, как бы мне попасть и на «свадьбу» и на «поминки». Ведь и сама фолбин, и старухи вполне могли заартачиться и отказать пустить меня. Причем отказ мог бы явно и не прозвучать. Просто Сайера-апа вынуждена была бы юлить и скрывать от меня, когда и где состоится сбор.

У этнографов на эти случаи всегда имеются заготовки. Елена Михайловна Пещерева — личность легендарная — рассказывала мне, как ей удавалось преодолевать такого рода препятствия. Елена Михайловна начала свою работу в двадцатые годы, когда басмаческие отряды захватывали то один, то другой район. Когда еще не были проложены дороги и путники на узких, обрывистых тропах чувствовали себя и в самом деле «как слеза на реснице». Когда малярия, тиф и холера — свирепствовали повсюду. И когда от умения найти подход к людям зависела не просто достоверность записок. Это был бесценный материал. Этнографы сумели в невероятно трудных условиях записать рассказы очевидцев о том, что затем было сметено с лица земли.

Много полезных советов дала и другой этнограф — Антонина Константиновна Писарчик, личность не менее яркая и замечательная.

Это были не просто ученые, оставившие заметный след в своей области. Для них народ, культуру которого они впитывали, стал своим народом. Его судьба становилась и их судьбой. (Недаром Антонина Константиновна Писарчик, сохранявшая до последних дней поразительную ясность ума, удивительную память и работоспособность, умерла вскоре после того, как вынуждена была покинуть Таджикистан. Так увядает растение, которое пересадили в другую почву.)

Что касается «моего случая», то самым верным было бы придумать подобающий сон, который я завтра утром и перескажу своей хозяйке. Содержание сна не должно оставлять никаких сомнений в том, что мне срочно нужна помощь фолбин. Причем тому, что я вообще-то принадлежу как бы к другой вере, как ни странно, никто не станет придавать значения. Раз такой сон приснился, значит, нужна фолбин — какие могут быть разговоры! И я, перестав быть просто сомнительным праздным свидетелем, чужеродным элементом, перейду в разряд полноправных участников церемоний.

Сайера-апа, закончив читать молитву, провела по лицу, словно умывалась.

Пора было ложиться спать. Я начала собирать одеяла, чтобы выйти во двор. Там, на топчане я обычно и устраивалась — под открытым небом, глядя на громадные, как хризантемы, звезды, которые завораживали своим неземным сиянием.

Сайера-апа хмуро покосилась на меня. Сколько раз я отправлялась спать на топчан, столько раз она неизменно начинала отговаривать меня от этого страшного дела, пугала дэвами, духами, которые ночью залетят ко мне в рот, поселятся внутри и будут терзать долгими неизлечимыми болезнями. Это был один из самых главных ее доводов. И, казалось, она искренне верит в него. Я помню до сих пор, как сильно она рассердилась, когда я в первый свой приезд, выйдя на порог дома, с размаху выплеснула воду из таза под куст с розами. «Так нельзя!» — внушала мне Сайера-апа сердито, потому что духи, занятые своими делами, могли не заметить, что я собираюсь сделать, а поэтому не успели отодвинуться в сторону. Обидевшись, что с ними обошлись так невежливо, они могли начать досаждать мелкими и крупными неприятностями. «Надо так», — показала она и, постояв на пороге, чтобы духи успели ее заметить, неторопливо, степенно, вылила воду. Еще можно было прочесть молитву или просто вежливо попросить духов расступиться.

С тех пор я, следуя наставлениям Сайера-апы, всегда предупреждала духов, если

собиралась заняться чем-то, и бралась за дело без всякой суеты. Резким движением тоже можно было ненароком задеть или толкнуть зазевавшегося невидимого глазу дэва, а их такое невнимание и непочтение могло рассердить. Острые предметы: иголки, ножи, ножницы — тоже ни один здравомыслящий человек не стал бы оставлять где попало, чтобы потом уколовший палец дэв не обратил на него свой гнев.

И не то чтобы эти духи ходили прямо-таки толпами — куда ни кинь, всюду наткнешься на них, — но, по закону подлости, стоит сделать что-то не так, как полагается, и тут же попадешься. Дэвы-то невидимые. Как угадаешь: остановился он тут или находится в каком другом месте? Поэтому Сайера-апа обращалась с дэвами как с местным начальством: без особенной сердечности или любви, но выказывая им все необходимые знаки уважения и почтения.

Так же придирчиво она следила за тем, чтобы я, забывшись, по своей городской привычке не взяла лепешку левой (нечистой) рукой, — после этого ее даже собакам не отдашь; чтобы не стряхивала руки после мытья, а давала воде стечь с пальцев, — иначе можно было утратить благодать и даже осквернить еду; чтобы соблюдала строгую очередность, здороваясь и прощаясь. И облегченно, как церемониймейстер, вздыхала, когда все проходило должным образом. Ее самолюбию льстило, когда старушки отмечали, что ее постоялица ни в чем не проштрафилась.

И в том, что касалось моей ночевки на топчане, как я догадывалась, Сайера-апу беспокоило не только то, что я — ночью — окажусь без всякой защиты наедине с джиннами и пери. В общем, она была человеком вполне трезвым и понимала, что со мной — не мусульманкой и к тому же горожанкой — вряд ли какой дух станет связываться. Если мы живем в домах, где прямо в квартире (!) находится туалет и ничего с нами не случается, то вряд ли какая сила решится причинить мне вред.

На самом-то деле Сайера-апу смущало другое: а что скажут соседи, если, не дай Бог, точнее, не дай Аллах, случайно узнают, что ее гостья не желает спать в комнате? Вдруг мне не нравится запах в доме или я недовольна постелью? Словом, это могло вызвать пересуды, и Сайера-апа, вполне естественно, старалась избежать их.

Тем не менее, привычно поворчав, Сайера-апа успокоилась. Старушка она была достаточно независимая, умела постоять за себя, отбрызнуть обидчиков и остроумно высмеять их, из-за чего мало кто осмеливался перемывать ей косточки, чтобы потом не получить по заслугам. Ей случалось даже курице голову отрубать, когда поблизости не оказывалось ни одного мужчины, к которому она могла обратиться с просьбой. Конечно, Сайера-апа, как положено в таких случаях, привязывала к поясу морковь. Но из ее подруг-старушек ни одна — хоть им десять морковок привяжи, — не решилась бы выполнить чисто мужское дело. А Сайера-апа не только осмелилась, но потом, посмеиваясь, описывала, как она все это проделала.

Поскольку во всем остальном я не перечила Сайера-апе, она мирилась с непонятной для нее причудой.

Устроившись под теплым ватным одеялом, чувствуя, как лицо овеивает прохладный горный воздух, я смотрела на раскрывшуюся передо мной бездну, полную трепещущих звезд, и снова переживала то удивительное состояние восторга, полноты чувств и понимания какого-то особого смысла жизни, которое невозможно выразить словами.

Конечно, стихия леса, тайги, как и любая другая стихия, способна заморозить. Но, к сожалению, у меня возникает ощущение, что сами деревья не дают возможности увидеть «леса», как далеко он простирается.

Море — слишком беспокойно, оно постоянно находится в волнении, пытается урвать у стихии земли спорную территорию. А когда оно вдруг погружается в дрему, то перестает быть морем. Оно становится бульоном, в котором, едва шевеля плавниками, как варенье, плавают рыбы, если до того медузы не успели раствориться в нем киселеобразной массой.

Стихия земли, сосредоточенная в громаде гор, переходит в иное качество. Она становится массой покоя. И действие, которое производит эта масса покоя, наверное, можно было бы измерить, как измеряется сила притяжения, сила гравитации. И тогда было бы можно выдавать точный показатель: в городе — одна сотая той массы покоя, которую переживает человек, оказавшийся на высоте тысяча метров над уровнем моря.

Но чтобы у читателя не возникло ощущения, что я слишком идеализирую или поэтизирую увиденное, расскажу об одном случае. Любимый внук Сайера-апы — Манончик — впервые оказался в городе Душанбе, куда его привез старший брат.

Тогда еще в горном кишлаке, где жил Манон, не установили ретрансляционную станцию, и про телевизор он только слышал.

Поэтому мальчик, едва дождавшись, когда вспыхнет экран, прильнул к нему и почти весь вечер просидел как замороженный. Он смотрел все подряд: гонки яхт, интервью с академиком, документальный фильм об африканском заповеднике, потом какой-то фантастический фильм о пришельцах...

Мы несколько раз посматривали в его сторону, пытаюсь понять, что же на него произвело самое сильное впечатление.

Промелькнула заставка. И вдруг Манон, обернувшись, что-то стал говорить своему старшему брату, с воодушевленным видом указывая на экран. Из всего увиденного — диковинного и непонятного — его больше всего поразила... собака, которая, оказывается, была похожа на ту, что жила у его друга в кишлаке.

Не так ли и мы. Оказавшись в самых необычных местах, в самых неожиданных ситуациях, — отзываемся всей душой на то, что нам близко. Что нам как бы уже з н а к о м о. А все остальное пропускаем мимо — слишком это непривычно и ни на что не похоже. Вроде той кошки, над которой провели эксперимент: с самого первого дня рождения она могла видеть только горизонтальные линии — и ни одной вертикальной. И когда на пути уже ставшей взрослой кошки поставили палку, она не увидела ее и попыталась пройти невидимую преграду насквозь.

Не исключено, что и мой рассказ состоит из своего рода «вертикалей» или «горизонталей».

В тот приезд и остроту, и радость переживаний отравляло только одно: смутное предчувствие гражданской войны.

Я отправилась в горный кишлак с ощущением, что, быть может, не скоро смогу снова побывать в тех местах. Но мне даже в голову не приходило, что разлука окажется столь долгой...

Лежа на топчана и глядя в темную бездну (сияние звезд только усиливало темноту), я почти физически ощущала бесконечность пространства. Здесь оно не было умозрительным понятием. Край топчана непосредственно упирался в него.

И я заснула, словно растворилась в этой бездне.

Утром Сайера-апа, выслушав жалобы на головную боль, а главное, странный сон, приснившийся мне, всплеснула руками и быстро заговорила:

— Я когда вниз спускаюсь — у меня тоже голова болит. Врач сказала — давление. Как сюда приезжаю, все проходит.

— А что сон означает? — напомнила я, стараясь направить разговор в нужное русло. Во сне мне «явилась тетушка, умершая несколько лет назад, и просила, чтобы я не забывала ее».

Сайера-апа задумалась. И тогда я осторожно подсказала:

— Может, фолбин поможет. Наверное, моей тетушке нужно устроить угощение? Может быть, мне тоже купить мяса, риса, масла — сделаем плов. И душа ее успокоится?

Моя собеседница продолжала сосредоточенно думать.

Я понимала, чем она озабочена. С одной стороны, если я возьму часть расходов на себя, ей будет легче. Но, с другой стороны, прилично ли экономить на собственных поминках?

В кишлаке большинство людей живет более чем скромно. На еду, на одежду, на повседневные нужды уходит не так уж и много. Все откладывают деньги на главные события в жизни, которые требуют по-настоящему серьезных затрат: обрезание мальчика, свадьба и похороны. Поминки — последнее торжество в бренном мире — требовали полной самоотдачи.

И вместе с тем Сайера-апа помнила о том, что у старшего внука вот-вот должна была состояться свадьба...

Желая вывести мою собеседницу из ступора, я начала выпрашивать, сколько именно мяса мне купить. И где лучше это сделать? Ведь до приезда фолбин я

собиралась побывать у своей знакомой Халиды — в кишлаке, который располагался еще выше в горах.

Это сразу перевесило чашу весов. В тех местах мясо можно было купить намного дешевле, а значит, побольше. Сайера-апа оживилась. В глазах ее вспыхнули огоньки. Движения сразу стали быстрыми, стремительными. Она тут же подвернула рукава верхнего платья — признак особенного воодушевления — и начала давать мне наставления, загибая пальцы, чтобы я не перепутала чего.

Мы обговорили все, что нужно, после чего Сайера-апа отправилась узнавать, поедет ли в очередной рейс на своей машине племянник одной из ее подружек и не захватит ли он меня с собой. Она ушла. Чуть более быстрым шагом, чем следовало бы ожидать от старушки ее возраста. Но когда речь идет о чем-то действительно важном, тут не до стоящих на пути невидимых духов или пери. Земные заботы заставили ее на время забыть о потусторонних силах.

А я взобралась на корявую, сбитую кое-как лестницу, что вела на чердак, села на перекладину, чтобы полюбоваться восходом солнца. Я смотрела не только на горы, но краем глаза заглядывала в соседний двор, — там рос тополь, который на какое-то время по воле фолбин станет супругом Нигины. И постепенно начала испытывать к нему совершенно непонятное враждебное чувство. Словно он был всему виной.

Тополь — незаменимая вещь при строительстве дома в этих местах, где жители давно свели на нет леса, некогда покрывавшие склоны гор. Ровный длинный ствол как нельзя лучше подходит для матицы — основы кровли. Отсюда и обычай: сажать дерево при рождении ребенка.

Когда подъезжаешь к кишлаку, особенно весной, — тонкие деревца издалика кажутся прозрачно-сероватыми, тающими вверх столбиками дыма.

Во дворе, где жила Нигина, тополь был довольно крепкий. Ну а вдруг обнаружится, что ствол его начали подтачивать жуки? Из слов Сайера-апы я поняла, что на красавицу стал поглядывать известный во всем районе борец, богатырь-пахлавон, неизменный победитель всех соревнований. Его небольшие, как у героя индийских фильмов, усы, наверное, сводили с ума не одну девушку на выданье. Вдруг какая-нибудь ревнивица возьмет и польет дерево купоросом? Или лопатой повредит корни? Кора тополя такая нежная, мягкая, легкоранимая.

И тогда клеймо останется навсегда.

Слухи в кишлаках, когда они возникли, трудно погасить. Они, как лесной пожар, долго могли тлеть, чтобы при всяком удобном случае вспыхнуть снова. Не только байские замашки местного начальства, не только чиновничий произвол, от которого негде искать защиту, но в придачу еще и злые языки, которые «страшнее пистолетов», — вот они прелести сельской жизни!

И место, где я переживаю ощущение невероятной наполненности, для такого человека, как Нигина, представляется если не адом, то чистилищем.

Я, приехав в кишлак, высвобождалась из своей привычной жизненной сетки. А та, которой подчинялась Нигина, кроилась не на меня. Из нее я тоже выпадала. (Взять хотя бы то, что ни одна из местных женщин не могла сидеть за дастарханом с мужчинами. А для меня делалось исключение.) Мое пребывание здесь превращалось в своего рода свободное парение.

Вот что порождает «синдром Синдбада-морехода». Тот, кто пережил это, стремится повторить ощущение свободного парения вновь и вновь...

Хлопнула калитка. Я повернула голову. Во двор вошли мальчик и девочка с огромным цинковым ведром в руках. Вернее, огромным оно казалось, потому что детишки рядом с ним выглядели такими маленькими. Девочке, одетой в бордовое платьице и зеленые в цветочек штапельные изоры-штанишки, наверное, еще не минуло пяти лет, а ее брату — трех. Одетый в рубашонку, босой, как и его сестра, он цеплялся с другого конца за цинковое ведро, оттопырив в сторону пухлую ладошку.

Мальши собралась двинуться к загородке, когда я неловко шевельнулась. Лестница скрипнула. Они одновременно подняли головы, да так и застыли в полном онемении.

Хоть я и носила в кишлаке таджикское платье, изоры и платок на голове, но все равно и цвет волос, и лицо, да и манера держаться, — все во мне выдавало чужого человека. Но то, что этот чужой человек к тому же сидел на лестнице, — еще более

сбило малышей с толку. Наверное, на какую-то долю секунды они готовы были поверить, что перед ними то ли пери, то ли тот самый дэв, которым запугивала меня Сайера-апа... Все это так явственно отразилось на их изумленных личиках: округлившиеся глаза, полуоткрытый рот.

Еще секунда, и они, может быть, оставив ведро, бросились бы наутек.

Чтобы поскорее развеять их страхи, я негромко и нараспев, как было принято здесь, поздоровалась с ними, спросив, как чувствуют себя их мать, бабушка, дедушка, как остальные братья и сестры? Чем длиннее перечень, тем больше внимания к собеседнику вы проявляете. (Известный археолог В. А. Ранов шуточно говорил, что сведущий в политике человек должен не забыть поинтересоваться, «как растет тополь в вашем дворе?».)

Знакомые слова подействовали успокаивающе. Страх перед непонятым и чужим прошел. И девочка, закивав в ответ, также нараспев, принялась, как положено, отвечать на приветствие.

А у меня в памяти промелькнуло воспоминание, как мы, классе в третьем, впервые отправились в горы небольшой группкой, без сопровождения взрослых, за подснежниками. И нам нужно было миновать кишлак. Глухие дувалы, сплошные, без окон, стены домов, непривычный запах кизяка, домашних животных — все казалось странным. И... враждебным. Мы шли, и нам повсюду чудилась опасность.

А кишлачные ребятишки (осмелившиеся выскочить вслед за нами, только когда мы оставили позади последний дом) тоже держались стайкой и, наверное, ждали от нас любой выходки.

Да что кишлак! Вспомните хотя бы свой первый выход на соседнюю улицу. Каким же безумством храбрых представлялся тогда пятнадцатиминутный проход по ней. (Многие деревенские жители в России вспоминали, что точно так же боялись, когда приходилось идти в школу через соседнюю деревню, — и мальчишки, и парни гоняли «чужаков».)

И жестокие убийства, последовавшие во время гражданской войны в Таджикистане, поражавшие бессмысленностью (помимо ненависти к идеям, не соответствующим представлениям о том, что есть «правда», а что нет), выдавали этот почти генетический страх перед «чужой одушевленностью». Уничтожая противника, та и другая сторона словно пытались выкорчевать из самых глубинных пластов сознания страх перед другими. Беспощадная расправа над врагом порождала иллюзию, что таким образом удастся искоренить этот страх навсегда...

Пока мы переговаривались, сзади к малышам успел подкрасться петух — птица злая и коварная. Громадный, с корявыми шпорами, крепким острым клювом, он всех ревновал к своим курам. Сайера-апа, потирая ушибленное место, не раз грозилась резать его. Но петух и в самом деле был хоть куда. Весь его гарем несея исправно.

Я кышнула, чтобы отогнать злодея, который приготовился клюнуть мальчика в отставленную ручонку. Малыш испуганно бросился за спину сестры, которая выставила перед собой цинковое ведро и, загораживаясь им, как щитом, начала продвигаться вдоль загородки, что отделяла стойло коровы от двора.

Наверное, мальчику да и девочке петух представлялся таким же громадным, как мне африканский страус. А может, как сказочная птица Симург, которой ничего не стоило схватить человека и унести неизвестно куда.

Спрыгнув вниз, я схватила хворостину и решительно двинулась к петуху. Он, клопоча от негодования, отступил.

Мальши прыснули за спасительную перегородку и, тотчас забыв про меня, принялись сгребать в ведро — прямо ручонками — слегка подсохшие коровьи лепешки, не выказывая при этом ни малейшей брезгливости.

Коровьи лепешки — вещь в этих местах незаменимая. Обмазанный коровьим пометом (смешанным с глиной) пол, подсохнув, надолго оставался гладким и чистым. Пыль к нему не приставала. И в комнате еще долго стоял нежный, едва уловимый терпкий запах — лучшее средство от тараканов, муравьев и прочей напасти городских квартир. Зимой лепешками, смешанными с соломой (иногда с угольной пылью), топили печи. В кишлаке — в прямом смысле слова — ни одна коровья лепешка не пропадала даром.

Наполнив ведро, мальчик и девочка подхватили его с двух сторон и потащили по

извилистой улочке, останавливаясь через каждые несколько шагов отдохнуть и сменить руку.

Ох и долгим же, наверное, было для них это утреннее путешествие — настоящее хождение, во время которого им довелось пережить столько необычного, натерпеться таких страхов, каких хватило бы на долю любого отважного мореплавателя или купца-путешественника. Это был поход, равный подвигу Геракла, отправившегося за яблоками Гесперид.

И даже ненасытная детская душа, несмотря на способность вмещать необъятное, была, наверное, переполнена новыми впечатлениями.

К тому времени, как вернулась Сайера-апа, я уже заварила чай. В отличие от своих подружек, она пила не зеленый, а черный. Он считался «горячим» напитком, в то время как зеленый относился к «холодным». Точно так же и мясо делилось на «горячительное» (например, баранина) и «холодящее» (козлятина). И даже варенье из лепестков роз — в зависимости от цвета розы (красный или белый) — могло оказаться разнесенным по разным полюсам. По складу характера Сайера-апе следовало бы употреблять больше «холодного» питья. Но со своим пристрастием к черному чаю она ничего не могла поделать. Только подбеливала его козьим молоком, чтобы уменьшить вредные свойства.

— Скоро приедет за тобой, — сообщила она, с довольным видом усаживаясь на топчан.

Понятие «скоро» в Средней Азии довольно растяжимое. Это могло означать и час, и два, а то и полдня. Поэтому я и не думала торопиться (не то что раньше).

В первые дни приезда Сайера-апа не позволяла мне поливать ей на руки перед едой, подавать чай, но через какое-то время с удовольствием отдавала один за другим свои рубежи.

Я разворачиваю перед ней дастархан и ставлю пиалки, тщательно вымытые в ручье с песком. Идеально чистые.

Чистота — понятие ритуальное. Что мне стало особенно ясно после рассказа русской медсестры Любви Андреевны, которая после распределения оказалась в кишлаке и вышла замуж за таджика. С того времени, когда Любовь Андреевна перешла порог мужниного дома, прошло более тридцати лет, но она все никак не могла спокойно вспоминать, каким трудным было вживание в новую среду. «Пришла я, посмотрела: ну, думаю, какая у них грязь! Надо чистоту и порядок наводить. Купила ведро извести. Весь дом побелила, все перестирала, занавески на окна повесила. Да еще борщ приготовила — без свинины, — знаю, что им нельзя. Жду, когда они придут, и радуюсь — пусть посмотрят, как надо по-человечески жить. И ты представляешь! Мать и его сестры покосились на все, но ни слова не сказали, хотя вижу — не очень-то и довольны. И за ужином: ни одна не притронулась к моей еде. Ничего, думаю, голубушки, отвыкнете от своей грязи, потом сами благодарить будете. Так что оказалось? Я через несколько дней не выдержала, говорю мужу: ты у них потихоньку выясни, почему они мою еду не едят? Мне же интересно и... обидно. Ну он и вызнал. Оказывается, им нельзя есть еду, приготовленную «нечистым» человеком. А я, на их взгляд, «нечистая», потому что после того, как с мужем посплю, из кувшинчика не подмываюсь! А по их законам полагается так: сразу иди совершай омовение. Иначе с тобой никто есть не сядет. И смех и грех. Я-то по-своему думаю, как чистоту навести. А они по-своему. Но много времени прошло, пока я пригляделась и поняла, как они за собой следят».

В книге американских этологов приводилось описание многолетнего эксперимента над шимпанзе, которых поселили в семье глухонемых, благодаря чему обезьяны выучили язык жестов. И не просто выучили, но и стали смело давать определения новым, дотоле неизвестным им вещам. Впервые попробовав редис, они назвали его «овощ-щипать-язык». А когда они, зная на вкус дыню, в первый раз получили на десерт арбуз, то, почти не задумываясь, выдали сочетание «вассер-мелоне», которое, как сказал исследователь, «угрожающе близко подошло к аналогичному немецкому определению».

Но еще более «угрожающей» выглядит ситуация, когда шимпанзе, раскладывая фотографии людей, обезьян и свои собственные, — положили свои в ту сторону, где лежали фотографии людей (рядом с Мэрилин Монро и другими кинодивами), а не в ту

кучку, где лежали фотографии обезьян. О своих сородичах подопытные шимпанзе отозвались с нескрываемым отвращением: «грязные, вонючие животные».

Выходит, что неспособность осознать ценность другой культуры — предубеждение, вынесенное нами еще из мира животных.

Машина — любимый и уважаемый здесь «козлик» — остановилась у калитки перед обедом. И в самом деле — «скоро».

На самолете до того места, где жила Халида, лету минут двадцать. На машине добираться — часа два. Потому что дорога все время идет вверх. И за это короткое время мы минуем одну природную зону и оказываемся в другой.

Горы — это еще и та стихия, которая способна спрессовать время. Здесь на небольшом отрезке пути можно проехать от пустынь и полупустынь, которые располагаются у подножия, до альпийских лугов, а от них — до Северного полюса, — такой же мертвенный холод царит на вершинах гор. Каких-нибудь семь-восемь километров, но, по сути, они сравнимы с семью тысячами километров. От одного конца России до другого.

Водитель — молодой парень — явно не прочь полихачить, но ему никак не удастся разогнать машину. Хотя дорога хорошая, заасфальтированная. (Как-то сейчас выглядит эта дорога? Раньше каждую весну — после зимних заносов — ее приводили в порядок, на что уходило немало денег. А откуда их взять сейчас?)

Истощено воя, машина преодолела последний крутой подъем. Перед нами расстилось плато. Здесь основное население кишлаков — киргизы. Земледелием, как внизу, в долине, они занимаются мало. В основном выращивают скот.

Халида приехала в Душанбе из Татарии, поступила в пединститут, закончила его, вышла замуж за парня, который тоже учился в институте, и уехала вслед за ним, в его родные места. В киргизской школе она преподавала русский язык.

Познакомились мы с ней благодаря ее письму в газету. Она прочитала рецензию на новую книгу и просила выслать адрес «Книга-почтой», чтобы заказать ее.

...Халида вышла ко мне навстречу с годовалой девочкой на руках, еще одна девочка — трехлетняя — шла за ней, цепляясь за подол, мальчики пяти и восьми лет старались держаться независимо, но все время оказывались рядом со старшей сестрой — двенадцатилетней девочкой.

Муж Халиды — Ильхом — не очень хотел последнего ребенка, но Халида писала мне, что до смерти боится абортов: «лучше я пять раз рожу, чем один раз на аборт пойду», — и родила-таки. Хотя уже давно не могла похвастаться особым здоровьем.

Поэтому среди прочих подарков я везла противозачаточные таблетки, чтобы ей в следующий раз не пришлось стоять перед трудным выбором.

В большой комнате, куда она приводит меня, — одна стена вся в шкафах с книгами. На полках — не только русская, но и зарубежная литература.

Когда у нее в гостях оказался наш друг Мишель — фотокорреспондент из Парижа, Халида с гордостью показала на одну из полок:

— Здесь у меня Стендаль. Я больше всего люблю роман «Красное и черное».

— А кто такой Стендаль? — удивился Мишель.

— Анри Бейль, — напомнили мы.

В ответ — пожатие плечами.

— У вас был знаменитый фильм с Жераром Филипом...

Взгляд, полный недоумения:

— А кто такой Жерар Филип?

Как стремительно меняется современная мода. И молодой человек не считал нужным рыться в сундуке, который оставил его отец, не говоря уже о дедушке. Мишель, даже слыхом не слышавший о классике французской литературы (что по нашим тогдашним представлениям казалось непостижимым), объездил чуть не весь мир, побывал в самых «горячих» точках, знал и понимал тайные пружины, которые запускали механизм многих событий. У него было замечательное чувство стиля. И его фотографии печатались в достаточно престижных журналах.

Такой библиотекой, которую собрала Халида, могли похвастаться не все, но

каждый директор школы, главврач, агроном, а то и бухгалтер полагали себя обязанными отвести несколько полок в «стенке» подписным книгам. Многие из них, так же как и Халида, получали несколько журналов. Но для Халиды и книги, и журналы служили ниточкой, которая давала ей возможность ощущать себя причастной ко всему, что происходило в стране. Сейчас до нее не доходят даже письма.

Ильхом вывел машину из гаража, и мы отправились на летовку, где паслись отары.

Годовалая девочка капризничала и ладошкой сердито хлопала Халиду по лицу, дергала за волосы. Халида терпеливо пересаживала дочку с одной стороны на другую, ни разу не рассердившись, не раздражившись в ответ. Так обращается со своим ребенком не только она. Я ни разу не видела, чтобы в кишлаке кто-то шлепал ребенка. И маленькие дети в кишлаках кажутся избалованными. Но в три-четыре года они вдруг превращаются в покладистых и спокойных малышей. Старшая дочь и два средних мальчика Халиды давно стали ее незаменимыми помощниками, и ей редко приходится напоминать им о том, что надо подмести двор, принести воды, вскипятить чай для гостя.

Но идиллии нет и здесь. Во всяком случае, Халида, отводя руку дочери, в ответ на мой рассказ о Нигине и о том, что ей предстоит побыть какое-то время женой тополя, — описала педсовет, на котором разбирался очередной случай самоубийства выпускницы их школы. Девушка облила себя бензином. Ожоги были такие страшные, что спасти ее не удалось.

— ... сначала прыгали с обрыва, потом пили уксус, несколько лет назад возникла мода глотать иголки. Теперь обливаются бензином.

Так девушки протестуют против домашней тирании, против того, что их вынуждают идти замуж за нелюбимых, когда родителей прельщает хороший калым.

Живые факелы один за другим вспыхивают в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении. Когда удается, местное начальство старается утаивать эти случаи от вышестоящего руководства. А правительство изо всех сил делает вид, что не видит в этом ничего, кроме отдельных «нежелательных» выходок (тоже боятся нагоняя из Москвы).

И мы с Халидой приходим к единодушному выводу, что самоубийства — тоже «предчувствие гражданской войны». Выражение смутного протеста, глухого недовольства, которые, накапливаясь, ищут выхода.

Социологи, с которыми я разговаривала в Душанбе на эту тему, объясняли растущее напряжение невероятной плотностью населения. В каждой семье по восемь—десять человек. А земли, пригодной для жизни, в Таджикистане семь процентов, остальные девяносто три — занимают горы. Никакой программы, никакой работы в этом направлении никто не ведет. Матерям-героиням продолжают выдавать медали.

Слушая выводы социологов: «природа не способна выдержать такую нагрузку», я не могла отделаться от впечатления, что уж слишком механистически-биологическим выглядит такой подход... Но именно в тех местах, которые на разворнутых передо мной картах были заштрихованы наиболее густо, и полыхнуло жарче всего. И как только жизнь в этих местах налаживалась, как только плотность населения достигала «критической массы», — следовала очередная вспышка. Историки видели в новой кровопролитной войне очередной всплеск давнего противостояния.

Халида вздыхает, ее огорчает, что на педсовете обсуждали только одно: как подать эту новость в район. А когда она заикнулась, что надо разобраться, понять, отчего же девушка решила на такой отчаянный шаг, на нее обрушились коллеги: дескать, тебе хорошо, это не в твоём классе произошло! И больше всех лицемерили партийные работники. За свои места боялись.

Ильхом, крупный, начинающий полнеть мужчина, сосредоточенно молчал всю дорогу. Мне кажется, что в этот раз он не очень рад моему приезду, и размышляю, не связано ли это с покупкой мяса. Как выяснилось вскоре, дело было в другом.

Машина миновала заросли шиповника, усыпанные нежно-желтыми цветами. И словно в пандан к ним — на просторной поляне, куда поднялась машина, — то там, то здесь виднеются такие же пронзительно желтые пятна цветущего адониса. Художники называют это сочетание «яичница с луком». На картине получается пошло. А в жизни — глаз не оторвать.

Впереди, на склоне уже можно различить пасущееся стадо.

Дальше к юртам нам придется идти пешком.

Воздух разреженный и чистый. Небо такого ультрамаринового цвета, какой бывает только в горах. Все насыщено запахами и красками.

Первые несколько шагов идешь, словно опьяненный. А потом понимаешь, что состояние легкого головокружения возникает не только от чистоты воздуха. Это сказывается высота.

Начинаешь ощущать биение сердца в груди. Слово за спиной — не три-четыре километра (на глаз сразу не скажешь), а все двадцать.

Нас встречает родственница Ильхома, пожилая киргизка, в «традиционном» наряде — цветастое платье, черная бархатная жилетка с перламутровыми пуговицами и ичиги (мягкие сапожки) с калошами, — вводит в юрту, чтобы мы передохнули с дороги. Когда мы садимся, облокотившись на подушки, я замечаю, как она переставляет мои ботинки сантиметров на десять ближе ко входу. Значит, я поставила их не там, где нужно.

В юрте места не так много, как в доме. И чтобы сохранить порядок, надо строго следить, чтобы не нарушались границы «столовой», «спальни», «прихожей» и «гардеробной». Тут и пять сантиметров имеют значение.

Для киргизов кочевье — привычный образ жизни в отличие от таджиков. Таджикские пастухи, отправляясь в горы со своими отарами, даже если занимаются этим из года в год, все равно воспринимают кочевки как нечто временное. У них, как правило, быт устроен кое-как. Чайник может лежать рядом с курпачой. Возле ящика с продуктами валяются галоши.

Киргизская юрта своим устройством символизирует космос. Оттого и невозможно нарушить порядок, что это может повести к крушению мироздания.

А для таджика символ мироздания — кибитка. И когдаходишь внутрь дома и видишь стопку ватных одеял, сюзане, куроки (поскутные покрывала и коврики), создается впечатление, будто сбылась детская мечта — и ты оказался внутри калейдоскопа.

Старшие дети уговаривают Халиду подняться вверх по склону холмистой горы за кислячкой (ревенем), разлапистые листья которой хорошо видны даже из юрты.

Со мной остается все та же пожилая киргизка, что встречала нас, и заводит типично женскую беседу, с которой начинаются все разговоры в любом уголке Средней Азии. Киргизского я не знаю, но точно так же, как это делали таджикские женщины, когда я только осваивала азы языка, — киргизка слегка похлопывает себя по животу и показывает шесть пальцев. Значит, у нее шесть человек детей. Рука скользит по длинным косам — и она показывает четыре пальца. Соответственно мальчиков двое.

Я уже знаю, как она отреагирует на то, что у меня всего один ребенок. Большинство женщин всякий раз с трудом скрывают сожаление: надо же! Правда, в тот же вечер во время чаепития (как мне потом перевела Халида) женщины отмечали, насколько моложе своего возраста я выгляжу. «Городские себя жалеют, не как мы», — приходит к выводу свояченица Халиды.

А ведь горный воздух не сравнить с тем, чем горожанкам приходится дышать внизу. И образ жизни здесь кажется намного здоровее. В чем же дело? Почему горожанки и в самом деле, как правило, выглядят моложе?

Помимо частых родов, от которых изнашивается организм, есть еще один важный момент.

Уважение, которое оказывают старухам и пожилым женщинам в Средней Азии, заставляет каждую молодую женщину невольно стремиться поскорее достичь такого возраста, когда и они смогут пользоваться таким же почетом.

Из юрты видно, как дети, ломая толстые, сочные стебли кислячки, гуськом спускаются вниз по тропинке, идут мимо пастуха, который, подвернув полы чапана (халата), как фалды фрака, ловко разделяет тушу только что зарезанной для угощения козы. И женщины так сноровисто уносят то один таз с внутренностями, то другой, что возле туши не остается ни малейших следов расправы. Даже капелек крови.

А на очаге уже готовится деликатес.

Что он из себя представляет, я узнала только тогда, когда мне на блюде (как

Саломее) подали жареную голову козы. Халида, когда мне протянули нож, объяснила, что я, как почетный гость, должна отрезать и съесть самые лакомые кусочки (например, щеки).

Несмотря на все свое стремление следовать положенным обычаям, я, извинившись не один раз и сославшись на строжайшую диету, предписанную врачами (мне нельзя есть «холодящую пищу» — на ходу сочинила я), отказалась от изысканного угощения в надежде, что хозяева сами насладятся им от души.

Детишки, хоть и были привычны к высоте, быстро уgomонившись, заснули. Их бережно уложили на курпачи и накрыли теплыми одеялами.

А мы продолжали сидеть «за столом».

Мужчины степенно вели беседу, обсуждая, что творится в Чили, что в Южной Африке и с какой речью выступила Маргарет Тэтчер.

Впервые я столкнулась с тем, насколько живо откликаются на международные вопросы жители горных кишлаков, когда отправилась вместе со своей студенческой группой в дальний турпоход, к Фанским озерам.

После очередного долгого утомительного перехода мы оказались возле сада, ограда которого была выложена из камней до половины человеческого роста. Небрежно-грубоватая кладка из плоских камней, положенных друг на друга и кое-как скрепленных смесью глины и извести, была по-своему очень красивой.

Но мы смотрели не столько на кладку, сколько на абрикосы. От их тяжести ветки гнулись вниз. И мы слышали, как спелые плоды падают в траву. Будто идет град.

Соблазн протянуть руку и сорвать несколько плодов был так велик, что многие из нас не удержались.

Увидев стоявшего у калитки хозяина, мы смутились. Но он, поздоровавшись, пригласил нас зайти в сад, отдохнуть. Что, впрочем, никого, кто прожил какое-то время в Таджикистане, не удивило. (Однажды — это уже было много позже — когда с другой туристической группой мы спускались по ущелью вниз, откуда-то сверху раздался крик. Мы остановились. С вершины той горы, половину спуска с которой мы уже преодолели, бежал какой-то человек и, отчаянно размахивая руками, звал нас. Мы решили, что у него что-то стряслось, может быть, нужна помощь, и, несмотря на усталость, начали снова подниматься вверх по крутой тропе. Запыхавшийся мужчина — ему тоже пришлось пробежать изрядный отрезок, когда мы, наконец, сошлись где-то посередине, — спросил огорченно: «Зачем мимо прошли? Почему в гости не зашли? Даже пиалку чая не выпили!»)

Усадив всю нашу группу на топчаны, хозяин поставил большие подносы, полные спелых, только что собранных абрикосов самых разных сортов, и завел с нами беседу на политические темы. И к стыду своему, мы не смогли ответить ни на один из его «коварных» вопросов. И он, продолжая радушно угощать нас, чувствовалось, торжествовал победу. Наверное, ему доставляло удовольствие выказывать такую осведомленность не просто туристам, но еще к тому же студентам университета — пусть и первокурсникам.

Безобидный и гостеприимный сфинкс, который поджидал путников в своем густом тенистом саду. Впрочем, плату он все же потребовал. Вернее, пожаловался на то, что сели батарейки транзисторного приемника, по которому он слушал все новости. Батарейки можно было достать только в большом городе. Мы, разумеется, с готовностью пообещали прислать их, продолжая налегать на необыкновенно вкусные абрикосы.

Хозяин как бы между прочим заметил, что лучшие сорта привез его прадед. Это были три косточки от абрикосов, которыми угощали при дворе эмира бухарского. Прадед тайком спрятал их в рукав халата, поскольку садовник эмира не отдавал саженцев на сторону, никто не смел претендовать на то, чтобы и в его саду росли столь же вкусные плоды. За свою смелость прадед мог поплатиться головой. Такого рода «легенды» потом я выслушала не от одного владельца сада в разных уголках Таджикистана. Какое счастье, что эмир не дождал до такого позора, когда все простые смертные имели возможность вкушать плоды неземного вкуса.

Один из абрикосов ударил кого-то из нашей группы по спине. И это был весьма чувствительный удар. Казалось, что дерево совершает усилие, стремясь освободиться от них. Абрикосины не просто падали, а летели, словно кто-то метнул их вниз.

Неужто, в силу человеческого несовершенства, войны — такая же попытка природы «освободиться от плодов», которые становятся обременительными для нее?

Мне удалось все же незаметно перевести разговор с глобальных мировых проблем, с «горячих точек», что пылали в разных концах земного шара, до местного уровня. Мне хотелось подробнее расспросить: возможно ли здесь столкновение между таджиками и киргизами, какое произошло в городе Оше, на территории Киргизии? В том районе таджики были в меньшинстве и жаловались, что власти ущемляют их, отводят меньше воды. С требования устроить передел — и началось столкновение, которое закончилось кровавым побоищем. Больше всего свидетелей — газетчиков и телекорреспондентов — поражала бессмысленная жестокость, с которой киргизы и таджики расправлялись друг с другом. Писалось об этом мало, тогда еще было не принято смаковать сцены жестокости, показывать самые жуткие кадры. В новостях только промелькнули скудные сообщения, по которым трудно было представить, что происходит на самом деле. Но по кадрам, которые показывали нам знакомые фотокорреспонденты, да по выражению их лиц мы представляли, что они пережили там, на месте.

Здесь все было с точностью до наоборот: киргизы жаловались на то, что таджики их притесняют. Больше всех горячился самый молодой парень. У него еще не было ни жены, ни детей, он не был обременен семьей, и поэтому он жестче всех повторял, что надо требовать: начальником в области должны ставить не таджика, а киргиза.

Ильхом хмуро слушал его, не вмешиваясь в разговор.

В ответ на мой вопрос, может ли здесь произойти что-то вроде «ошских событий», — как деликатно писали газеты, — собеседники на секунду замялись. Первым вскинулся тот же парень:

— Они сами начинают!

— Что? — не поняла я.

— Так неправильно!

— Да о чем речь? — все никак не могла я взять в толк.

— ... в нижнем кишлаке таджики купили автомат. Мы только пистолеты покупали, винтовки, а они автомат!

Ильхом еще больше насупился.

И только сейчас я поняла, что его озабоченность не имеет никакого отношения ко мне. Просто все мужчины поселка обсуждали, где добыть оружие. (Тогда еще патроны не продавались так, как продаются семечки.) Они жили не предчувствием гражданской войны, а «пара беллум» — готовились к ней.

— Зачем? — продолжала допытываться я. — Зачем вы покупали пистолеты?

— Как — зачем? — пожал плечами парень. — А если они нападут, как мы будем защищать женщин и детей? Теперь мы достанем пулемет.

В газетах это называется «эскалация» войны: нагнетание напряжения. Когда пытаешься развязать узел и тянешь его не за тот конец, он затягивается. Так затягивался узел отношений и здесь. Его тянули не за те концы.

Никто не хотел осознать, что происходит, из-за чего может вспыхнуть конфликт и что надо сделать, чтобы этого не случилось. Начальство надеялось, что рассосется как-то само собой. Открыто поднять такой вопрос означало одно: лишиться своего доходного места. Выгоднее молчать. (Как это происходило и с самоубийствами.)

Но были и такие политики, которые, почувствовав силу напряжения, что зрела по всей республике, а не только в этом районе, решили, что, выпустив «джинна насилия», сумеют использовать его в борьбе за власть.

Только джинн этот оказался далеко не таким покладистым, каким был старик Хоттабыч.

Почти ни один из тех, кто решился использовать этого демона насилия, не достиг своей желанной цели. Ураган вышвырнул их за пределы страны.

А на месте кишлаков, где вскоре пройдут междоусобные бои, останутся обвалившиеся стены, выгоревшие сады. Выстреливающие со своих веток абрикосы уже не нарушат ленивой летней тишины. И по покосившимся дувалам будут бродить одичавшие кошки и собаки.

Ни одна фолбин не в состоянии справиться с тем джинном, которого выпустили политики. Тут ее заклятия оказываются бессильны.

Холодный ветерок, дохнувший с высот, где никогда не тает снег, шевельнул полог юрты. Наступило утро.

Но тревожное ощущение, которое осталось после вчерашнего разговора, не растворилось вместе с восходом солнца.

Ильхом с сумками уже спустился к машине. Нам с Халидой оставалось только собрать детишек. Мой самолет вылетал в десять утра.

Из иллюминатора я рассматривала сложный дактилоскопический узор гор; цепочка кишлаков тянулась вдоль реки, повторяя ее прихотливые извивы; крошечные распаханые площадки на каком-нибудь из склонов. Внизу земли не хватало — ее начинали осваивать все выше. Иной раз площадка занимала места не больше, чем двор дома. Казалось бы, стоило ли городить такой огород? Но, должно быть, стоило, если кому-то не лень было взбираться так высоко. А когда-то расстояние от одного кишлака до другого в этих местах равнялось одному, а то и двум переходам на лошади. Сейчас — кибитки лепятся одна к другой...

Сайера-апа и я сноровисто начали разбирать привезенные пакеты. Развернув один, моя хозяйка от неожиданности чуть не выронила его из рук. На нас смотрела, щерясь, голова козы. Хозяева не позволили себе посягнуть на угощение, предназначенное гостю. Не съела — бери с собой.

Отогнув ворот платья, Сайера-апа поплевала, пробормотав: «Э, тоба, тоба, тоба!» (заклинание, похожее на наше «тьфу, тьфу!»), чтобы легкий испуг, который она перенесла, не оказал вредного действия. После чего с явным удовлетворением отложила голову козы в сторону.

Таджики, живущие в кишлаках, что располагались в долине, уже давно научились ценить киргизскую кухню, и не исключено, что Сайера-апа собиралась попотчевать козой именитую гостью.

Фолбин меньше всего напоминала шаманку, хотя в самом обряде, как считали этнографы, сохранились остатки древних верований. Лицо у нее было небольшое. Кожа тонкая и шелковистая, как высохший лепесток шиповника. Вот только перламутровые глаза (как у многих стариков) смотрели несколько отрешенно. Ходила она с трудом. Ее ввели под руки две пожилые женщины — ее помощницы.

Усадив фолбин на почетное место, в комнате, которую ее помощницы уже успели окурить хазор-испаном (считалось, что эта трава помогает от всех болезней, и высушенные и истолченные семена хазор-испанда шли на воскурения). Ромбовидная сеточка из крупных семян (между ними были вплетены разноцветные ленточки из сатина) висела на стене, чтобы защитить помещение от дурного глаза. Во всех углах комнаты и на подоконниках уже горели чирогии (глиняные светильники, в которые заливается масло).

Все присутствующие сели только после того, как следом за фолбин сели и ее помощницы.

Первой начала монотонным голосом читать молитву одна из почитаемых старушек кишлака. И только через какое-то время к ней присоединилась фолбин. Она так долго бормотала незнакомые мне слова молитв своим слегка надтреснутым голоском, что я почувствовала, как у меня начинают слипаться глаза. И не только у меня одной. Полумрак, огонек светильника, легкий чад, однообразные покачивания — действовали и на других женщин. То одна, то другая начинала клевать носом, потом спохватывалась и резко вскидывала голову.

Чтобы взбодриться, я несколько раз как можно сильнее ущипнула себя за руку.

Нигина в нарядном платье сидела в «красном» углу. Она потупила взор и тоже, казалось, впала в ступор. Особенно после того, как помощницы фолбин начали ритмично бить в бубен.

Зато фолбин словно набиралась сил все это время. В ее движениях появилась уверенность, сила. Голос тоже окреп, стал резче, сильнее, и в какой-то момент она вдруг легко поднялась со своего места, взяла в руки бубен и закружилась.

Следом за ней поднялись и помощницы.

Волны теплого воздуха начали расходиться по комнате. Светильники замигали. Темные тени заматались по стенам.

Подхватив ветку тополя, перехваченную посередине платком, как все мужчины обвязывали халаты, фолбин легкими шажками обошла Нигину и положила ветку рядом с ней с той стороны, где положено сидеть жениху.

Нигина смотрела прямо перед собой. Ее глаза казались темнее из-за бледности, проступившей на лице. Казалось, она даже не решается вздохнуть.

Помощницы выкрикивали вслед за фолбин не понятные уже никому слова. Били в свои бубны и кружились, повторяя движения старушки, словно ее тени.

Каким образом их длинные темные ряды косичек ни разу не пересеклись друг с другом и не запутались, трудно понять. Разве только признать силу заклинаний фолбин. Последний удар бубна. Фолбин подносят лепешку, и она разламывает ее пополам. Теперь ничто не может расторгнуть брачные узы.

Помощницы подхватывают старушку под руки и снова усаживают на мягкие курпачи.

В комнате сразу наступает такая тишина, что кажется, будто слышишь шорох ползущих по стене теней, — пламя светильников еще долго не могло успокоиться.

Затем женщины поднесли Нигине и ее «жениху» чисто символические подарки: вместо толстых отрезков парчи, модного японского шелка, атласа — на кошме оставляли ситцевый платок или небольшие куски сатина, такими кусками одаривают всех на любых праздниках, они имеются в должном количестве во всяком доме. Это дежурный подарок.

И когда Нигина заживет нормальной жизнью, она будет приносить в дома, куда ее будут приглашать, такие же вот куски материи. Из них часто шьют куроки (изделия из лоскутов) особенной значимости. Ведь благодать каждого праздника, всех добрых пожеланий «собирается», сосредоточивается в такого рода отрезках. Остается только сшить их соответствующим образом. Вместе с изделием в дом придут и счастье и удача, богатство и здоровье. Они помогут отвести дурной глаз, примут на себя всю его силу и нейтрализуют ее.

А на следующий день Сайера-апа, словно забыв о своем возрасте и о том, что можно нечаянно наступить на ногу злему духу, вернулась домой быстрым шагом и, качая головой, посоветовала мне уезжать как можно быстрее.

— Фолбин уже увезли в верхний кишлак. Все говорят, нехорошо стало, — с сомнением в голосе говорила она, не в силах поверить слухам.

Но слухи оказались наивнее, простодушнее и безобиднее того, что преподнесла действительность. Война вспыхнула вовсе не между киргизами и таджиками. Это была гражданская война.

Прощаясь, мы были уверены, что сможем увидеться. Что я непременно приеду посмотреть, как Нигина будет выходить замуж за борца.

Вот что я узнала из последнего письма, которое нашло меня только через год после того, как его отправили.

У Сайера-апы погиб сын и два старших внука. Самый младший остался инвалидом. Ее дом сгорел. И она перебралась к внуку. Те, кто ее видели, говорили, что она сильно сдала. И в последнее время не встает с постели. Но одно утешение у нее есть: поминки она себе уже справляла. Наверное, это были последние мирные поминки в кишлаке. Все остальные проходили во время войны.

Известный во всем районе борец со своей спортивной командой погиб в первые же дни. В машину, на которой он ехал, попал снаряд. «Столько мужчин погибло, столько парней и мальчиков, что теперь не только Нигина останется женой тополя. Большинству молодых девушек и женщин не на что надеяться», — горько заметила Халида.

И мне вспомнились девчушка и ее брат, которые несли цинковое ведро по узкой улочке.

Чего только не навидались эти малыши с тех пор, как закончилось их долгое путешествие за коровьими лепешками.

Страшный джинн прошел по долине, сея ужас и смерть.

Если малыши остались живы, то девочка, наверное, скоро станет невестой.

Чьей? Неужели тополя?..

Владимир Дегоев

Мирянин

Имам Шамиль по ту сторону войны и политики



Кавказская война¹ всегда была благодатным сюжетным полем для историков и писателей. Она привлекает не только предельной насыщенностью драматическими событиями, отразившими сложные взаимоотношения России с Кавказом, но и тем, что в ней сошлись яркие судьбы незаурядных людей. На ее «сцене» блистали необыкновенно колоритные герои. Одни, отыграв свою роль, уходили с первого плана в тень, другие — «за кулисы», третьи — в мир иной. И лишь единственному персонажу — Шамилю суждено было стать непреходящим символом и неким синонимом Кавказской войны.

По сохранившейся до сих пор традиции интерес исследователей сосредоточен скорее на деяниях имама, чем на его личности. Последняя удостоивается внимания в основном в литературных произведениях. Однако художественная «реанимация» исторического образа осуществляется по своим законам, с деятельным участием воображения и фантазии. В этом ее сила и ее слабость. Что до, условно говоря, научной реконструкции, то она опирается прежде всего на документальные источники, в чем тоже есть свои преимущества и свои ограничения. С одной стороны, воссоздается вроде бы «правдивая» картина, с другой — эта же самая «правда» в какой-то степени сковывает свободу творческого домысла и интуитивного познания. Возможно, поэтому портреты Шамиля, написанные историками, статичны и маловыразительны, а исполненные писателями — слишком «живописны», романтичны и далеки от оригинала. Шамиль — фигура эпохального масштаба — не заслужил ни того ни другого. Но меньше всего он заслуживает тех примитивных оценок, которые в конечном итоге сводят его противоречивую, таинственную натуру к одномерным понятиям — «положительный» или «отрицательный», «прогрессивный» или «реакционный», «освободитель» или «тиран». Предлагаемый очерк — попытка подняться над ними.

* * *

Шамиль, как всякая выдающаяся личность, воплощал в себе великое и обыденное. Зачастую вождь и человек в нем вели себя по-разному: если одному приходилось быть жестоким, подозрительным, хитрым и коварным, то другой бывал добрым, нежным, доверчивым и даже простодушным. В то время как Шамиль-вождь не знал страха и сомнений, жалости и сострадания, являя собой фигуру монументального величия, Шамиль-человек не был чужд эмоций и слабостей отца, мужа, послушника. Его порой мучил вечный вопрос «быть или не быть». Иные ситуации, в которые он попадал, со стороны казались просто смешными. Это раздвоение во многом обуславливалось тем, что политическая сцена и домашняя обстановка требовали разных моделей поведения и разной степени психологической мобилизованности. Но дело не только в этом. Мирское в Шамиле служило как бы естественным продолжением

¹ Так принято называть вооруженную борьбу горцев Дагестана, Чечни и Черкесии против России в первой половине XIX века.

того сурового и иконописного образа, которому он был вынужден соответствовать, и своеобразной внутренней, нравственной компенсацией за «первородный грех» человека, прикоснувшегося к власти, и за те злодеяния, которые ему во имя и от имени этой власти приходилось совершать.

Семейный круг служил главной обителью для мирской ипостаси Шамиля. Только здесь мог он себе позволить быть самим собой. Конечно, в той мере, в какой он вообще был способен на это после долгих лет публичной деятельности, приучившей его к определенному типу поведения на людях. Со временем образ вождя-мюршида, олицетворявшего для других высокий пример во всем, стал неотторжимой частью его человеческой сущности. Вероятно, если поначалу имам надевал политическую маску по осознанной необходимости, то впоследствии он делал это без особых усилий над собой. Усилия требовались скорее для того, чтобы снять ее.

Даже в собственной семье Шамиль не имел возможности полностью раскрыться психологически. Мешал строгий домашний этикет, свойственный горцам, тем более мусульманам. Он включал целый набор предписаний и тонкостей, едва ли поощрявших бурное проявление чувств. Кроме того, между многочисленными домочадцами имама существовали довольно сложные взаимоотношения, основанные на некоей «табели о рангах» и вовсе не свободные от интриг, соперничества, коллизий. Тут велась своя «малая» политика с установленными правилами игры, в которой Шамилю приходилось участвовать поневоле. Но зачастую она превращалась в политику «большую», поскольку в данном случае речь шла о семействе первого лица в имамате. С ростом могущества Шамиля вмешательство его ближних родственников в государственные дела становилось все заметнее.

У Шамиля в течение всей его жизни было восемь жен. Но лишь о некоторых из них можно составить определенное представление. Правда, за неимением подробной информации — весьма приблизительное. Внутри этого гарема действовали два вида иерархии — формальная и фактическая. Статус первой, главной жены принадлежал Зейдат (Шамиль женился на ней в 1845 или 1846 г.; в 1860 г. ей было 30 лет) — очень умной и властной женщине, не только тонко разбиравшейся в премудростях горского этикета и в требованиях Корана по отношению к «слабому» полу, но и истово следовавшей им. По понятиям ее социального окружения, Зейдат обладала великоцветскими манерами. С успехом овладела она и такой непростой материей, как характер Шамиля, что позволило ей обеспечить себе значительное, хотя внешне незаметное, участие в принятии государственных решений первостепенной важности. Чаще всего это влияние осуществлялось в корыстных интересах ее родственников и фаворитов, образовавших своеобразную придворную камарилью со своими интригами, склоками, заговорами. Вместе с тем Зейдат умело вела большое домашнее хозяйство Шамиля, играя, судя по всему, немалую роль в приращении материального благосостояния семьи имама, в том числе за счет источников неясного происхождения.

Прочность позиций Зейдат в гареме и вне его объяснялась не просто ее личными качествами, а куда более важным обстоятельством: она была дочерью воспитателя Шамиля — Джемалэддина, пользовавшегося огромным уважением в народе. Брачный союз с такой девушкой считался хорошим тоном и удачным политическим ходом. То, что Зейдат, по описаниям, не блистала красотой и женственностью, не имело в данном случае принципиального значения. Не похоже, чтобы Шамиль испытывал к своей «главной» жене глубокие чувства. Он жил с ней скорее по необходимости, с годами превратившейся в привычку. А. Руновскому Зейдат казалась чем-то вроде «домашней язвы, прикосновение к которой становится тлетворным для всех, кто имеет несчастье вступать с нею в какие-либо сношения». Имам тем не менее уважал ее достоинства и терпел недостатки, как терпят неизбежное зло. При всякой робкой мысли о разводе перед взором Шамиля возникал образ глубоко почитаемого Учителя и призрак общественного осуждения. Когда произошел острый конфликт между Зейдат и ее более молодой и красивой соперницей по брачному ложу Аминат, осмелившейся отпускать шутки в адрес старшей жены, имам без колебаний встал на сторону Зейдат и подверг строгому наказанию нарушительницу внутригаремной дисциплины.

Если разум Шамиля не противился этой предписанной обычаем иерархии, то душа его решительно восставала против насилия над собой. В ней царили свои, неисповедимые законы, точнее говоря — свое иррациональное беззаконие чувств,

слабостей, вкусов. В сердце имама непререкаемо властвовала другая жена — Шуаннат, женщина, счастливо соединявшая в себе красоту и привлекательность с гибким умом, мудростью, образованностью и тактом. Она резко отличалась от остальных обитательниц гарема. Смиренная на вид, Шуаннат знала о своем превосходстве над ними. Это давало ей ту самую уверенность в собственных возможностях, которая порождает в обладателях такого качества — конечно, когда ими бывают люди умные, — великодушие и терпимость. Понимая, сколь многое зависело от ее взаимоотношений с Зейдат, Шуаннат всячески старалась если не угождать, то, по крайней мере, не раздражать опасную соперницу, дабы не осложнять себе жизнь. Она воспринимала принадлежавший Зейдат формальный статус «первой леди» имамата со спокойной снисходительностью и никогда не посягала на него, ибо Шуаннат безраздельно владела гораздо большей ценностью — любовью Шамиля.

История ее замужества достаточно экзотична. Дочь армянского купца из Моздока, урожденная христианка, она была захвачена горцами во время одного из набегов. Шуаннат доставили к Шамилю, и это оказалось последним принудительным действием по отношению к ней. Все остальное свершилось при полной взаимности чувств, быстро и естественно. Шамиля пленило в ней, помимо красоты, то, чего ему не хватало в других женщинах. Чем ее обворожил имам — вопрос более тонкий. Никто, кроме нее, не смог бы на него ответить. Да и ей самой, возможно, было бы трудно объяснить это внятно, как трудно иной раз вообще объяснить природу любви. Во всяком случае, можно предположить, что дело здесь вовсе не в женской слабости к знаменитым мужчинам.

С замужеством все на жизненной сцене Шуаннат изменилось совершенно, от декораций быта и природы до действующих лиц. Пришлось принять новую веру, выучиться другому языку и обычаям, отказаться от прежних привычек, вкусов, удобств, расстаться с близкими людьми и сродниться с людьми чужими и чуждыми. Нужно было уберечься от многих опасностей, подстерегавших ее в незнакомой среде, и прежде всего овладеть мудреным искусством гаремной дипломатии. Шуаннат удалось блестяще справиться с этими проблемами. Ради Него, своего возлюбленного, кумира и повелителя.

Все радости и тревоги жизни Шуаннат сосредоточились на Шамиле и на их дочери Софият, страдавшей какой-то глазной болезнью. После пленения имама, глубоко обеспокоенная дальнейшей судьбой мужа, она писала брату в Моздок: «Молитесь за него (Шамиля. — В. Д.) так же горячо и искренне, как молимся мы, и вы окажете нам услугу, единственную, какую только мы можем от вас принять и за которую душевно будем вам благодарны».

Шамиль не остался в долгу. Трепетные чувства к ней он сохранил в первозданном виде до конца своей жизни. Впрочем, трудно сказать — когда они были сильнее: в тот момент, когда счастливый жених, обложившись священными книгами, с упоением искал в них богоугодное, символизирующее благочестивость имя (Шуаннат), которое он даст своей будущей жене (в христианстве Анне) после обращения ее в ислам, или когда он на склоне лет, уже в Калуге, в ожидании ее приезда с Кавказа пришел в такое волнение, что не мог притронуться к еде и скрыть — даже при его уникальном самообладании — душевное смятение.

Как-то в Калуге, когда еще не было известно, разрешат ли семье Шамиля приехать к нему, он высказал опасение в вероятности вынужденного возвращения Шуаннат в лоно христианства. Его спросили, примет ли он ее в таком случае в качестве жены. «Да», — не раздумывая, ответил Шамиль.

Вместе с тем Шамиль был готов проявлять терпимость скорее к чужой религии, чем к нарушителям установлений Корана. Однажды, желая доставить имаму удовольствие, ему преподнесли фотографический портрет Шуаннат. Увидев изображение любимой жены, переставшее, вопреки строгим исламским обычаям, быть тайной для довольно широкого круга людей, Шамиль произнес: «Лучше бы я увидел ее голову, снятую с плеч!»

Остальные жены Шамиля, по сравнению с Шуаннат, играли гораздо меньшую роль в его жизни. Но все же они оставались неотъемлемой частью этой жизни. О первой жене — Фатимат — почти ничего не известно, кроме того, что она родила Шамилю трех сыновей и умерла в относительно молодом возрасте. Джаварат была убита в 1839 г. во время бегства из Ахульго. Гимринка Фатимат Вторая к моменту

пленения имама находилась в почтенном возрасте. Шамиль женился на ней якобы для того, чтобы поддерживать в порядке домашнее хозяйство, управляться с которым молоденькие Зейдат и Шуаннат не успевали. История женитьбы Шамиля на Хории из Гимр и чеченке Зайнаб вообще окутана мраком. С первой он состоял в браке 3 дня, со второй... 3 часа. Немного больше сведений о кистинке Аминат. Однако с этой миловидной и простодушной проказницей связаны зафиксированные очевидцами редчайшие эпизоды, слегка приоткрывающие плотные шторы, которые всегда охраняли интимный мир имама, не лишенный страстей, волнений, простых человеческих желаний. Хотя Шамиль мог жестко одернуть Аминат, когда та слишком увлекалась подтруниванием над Зейдат, в глубине души он с большой нежностью относился к этому прелестному созданию и был не прочь оказывать ей супружеское внимание чаще положенного. Чувствуя его слабость к себе, Аминат по-детски забавлялась ею в свое удовольствие, иногда — весьма рискованным образом. Однажды поздним зимним вечером Шамиль решил навестить в покои Аминат. Он пересек внутренний двор своей огромной резиденции и вошел в комнату жены, где ее не оказалось. За всем этим она наблюдала с игривым любопытством из укромного местечка неподалеку, вовсе не собираясь покидать его. Ей было интересно узнать, как поведет себя грозный владыка гор в этой не совсем приятной для него ситуации томительного ожидания на морозном воздухе. Она явно преследовала какой-то женский умысел — то ли испытать пределы его терпения, то ли проверить силу его желания, то ли просто пошалить со скуки. Между тем Шамиль несколько раз прошелся по галерее, очевидно полагая, что Аминат вот-вот вернется. Время шло, а ее все не было. Тогда, чтобы не привлекать к себе внимания, он спрятался за угол дома. В эти минуты Шамиль был таким, каким его не видел никто, — невинным грешником, мерзнувшим в предвкушении любовного свидания, наивно прячущим свою слабость от посторонних глаз. Так стоял он довольно долго, пока наконец холод и ощущение неловкости перед самим собой не взяли верх. Возможно также, Шамиль, знакомый с повадками Аминат, догадался, что участвует в затейной ею маленькой комедии. Это вполне остудило его пыл, и он вернулся в свой рабочий кабинет. На другой день имам пребывал в хорошем расположении духа. Не было и тени неловкости из-за ночного конфуза. Даже если Шамиль все понял, он предпочел не подавать виду. Иначе пришлось бы наказывать Аминат, чего делать явно не хотелось. Деспот, совершенно нетерпимый к тем, кто смел идти против его воли, становился неожиданно великодушным и снисходительным к женским проделкам, которые простому горцу могли показаться вовсе не безобидными.

Особое место в душе Шамиля принадлежало детям. Отцовские чувства и слабости имама были налицо, хотя проявлялись они подчас весьма скупо: горцу согласно этикету не приличествовало открыто выказывать любовь к близким. Нежная забота Шамиля о сыновьях и дочерях, не мешавшая, однако, держать их в строгости, вполне сочеталась с его политическими планами. Через детей имам не прочь был породниться с авторитетными людьми Дагестана, укрепить свое положение среди них еще и династическими связями. Этот вопрос выходил далеко за рамки сугубо отцовского или семейного дела, становясь очень деликатной составляющей большой политики. Здесь любое неосторожное решение грозило неприятными и долговременными последствиями. Внутрисемейные отношения лидера такого масштаба, как Шамиль, не могли оставаться замкнутой сферой. Они преломлялись в политике и преломляли ее в себе. Их взаимовлияние сказывалось прямо или опосредованно, благотворно или пагубно, но сказывалось непременно, что находит неоднократные подтверждения в источниках.

У Шамиля было три сына — Джемалэддин, Гази-Мухаммед и Магомет-Шеффи, с которыми он связывал большие надежды. В 1848 г. имам провозгласил Гази-Мухаммеда наследником «престола», готовя его в восприемники своего дела. Вероятно, первоначально эта роль предназначалась для Джемалэddина — любимца Шамиля, отданного русским в заложники еще в юном возрасте. В России мальчик попал в придворные «структуры» — сначала в пажеский, затем в кадетский корпус, где он возмужал и получил прекрасное образование. По окончании его зачислили на службу в гвардейский полк. Становление Джемалэddина проходило под опекой Николая I, к которому молодой горец проникся чувством сыновней привязанности. Когда в 1854 г. представились благоприятные обстоятельства, Шамиль потребовал возвращения Джемалэddина. Увидев сына после 15-летней разлуки совсем взрослым человеком, он

не смог сдержаться слез. Это был один из тех редчайших случаев, когда «железному» имаму не удалось совладать с собой. Да и не до того ему было.

Еще не успев обнять Джемалэддина, Шамиль энергично принялся за исправление результатов российского воспитания. Было приказано снять с него русский мундир, который носили враги-нечестивцы, и переодеть в одежду, достойную правоверного мусульманина. Только тогда имам позволил себе дать волю чувствам. Можно лишь догадываться, чего стоила эта мучительная, но необходимая пауза отцу, уже потерявшему надежду на встречу со столь близким существом, в ком он страстно желал найти свое продолжение.

Шамиль употребил немало сил и вдохновения, чтобы наверстать упущенные отцовские годы. Он самолично принялся за образование Джемалэддина — читал ему Коран, пояснял сложные для понимания места, вводил в курс политических дел имамата, учил этикету и обычаям. О более искушенном наставнике человек, вступавший на трудное поприще горской политики и жизни, не мог и мечтать. Народ постепенно осваивался с мыслью, что государственное хозяйство перейдет в наследство вовсе не Гази-Мухаммеду. Шамиль как бы намекал на это во время торжественных публичных богослужений, предоставляя самое близкое к себе место в сановой свите Джемалэддину.

Но все надежды имамата наталкивались на глухую преграду. Сыну были глубоко чужды идеалы отца. Он их не понимал и не принимал, поскольку слишком рано расстался с той средой, где они прививались, и слишком поздно вернулся из того мира, где исповедовались совсем иные ценности. Против духовного притяжения России Шамиль был бессилен. Ему оставалось смириться с тем, что это уже далеко не тот мальчик, которого у него забрали 15 лет назад, а мужчина с прочно сложившимся мировоззрением, воспитанным, к сожалению, другой страной, другой культурой. Теперь этот повзрослевший отрок сам пытается открыть отцу нечто неведомое и важное, вселить в его душу сомнение, заставить переосмыслить священное и незыблемое. Он осмеливается вводить Шамиля — стоического ненавистника соблазнов — в греховное искушение взглянуть на мир не так, как он делал это всегда. Джемалэддин много рассказывал имаму о своей второй родине и своем благодетеле Николае I, призывал заключить с ним мир.

Угрюмо слушая сына, Шамиль осознавал, насколько бесполезен педагогический пыл отца, отчаянно стремившегося пробудить в нем интерес к новой жизни. Не меньше огорчала имамата развивавшаяся в Джемалэддине душевная апатия. Однако к горечи примешивались недоумение, любопытство и какая-то потаенная, безотчетная гордость за сына, овладевшего богатствами чужой цивилизации. Состояние Джемалэддина передавалось Шамилю, вызывало мучительные раздумья над тем, что раньше казалось простым и ясным. В глубине сознания он уже не был уверен в полноте и справедливости своих представлений о России — стране, разлука с которой, оказывается, способна доставить человеку такие страдания. Чем же эта ненавистная и загадочная Россия пленила Джемалэддина? Почему так беззаветно его чувство к ней? Как объяснить отеческую заботу русского царя о сыне своего заклятого врага? От подобных вопросов голова шла кругом. Ответы на них Шамиль найдет позже, уже попав в Россию, где он по-настоящему поймет Джемалэддина. Но и до этого имам кое о чем смутно догадывался. Во всяком случае, не он склонил сына к переоценке ценностей, а, скорее, наоборот, хотя признаться в этом, кроме как самому себе, было выше его сил.

Подавленность Джемалэддина, тосковавшего по России, стала угнетать Шамиля, не знавшего, чем ему помочь. Имам думал уже не о подготовке политического преемника, а о том, как вывести сына из опасной депрессии. Известие о смерти Николая I настолько усугубило ее, что у Шамиля пропало всякое желание торжествовать по поводу случившегося. Кончина «главного гяура» не принесла ему той радости, которую в иной ситуации он бы, вероятно, испытал. Теперь же это означало, что умер человек, заменивший Джемалэддину родного отца. Почти на исходе жестокой Кавказской войны как-то странно и драматично звучали из уст Шамиля слова сочувствия, обращенные к Джемалэддину: «Действительно, он (Николай I. — В. Д.) был моим и твоим благодетелем: мне он возвратил сына, а тебя сделал человеком».

Стараясь поднять дух Джемалэддина, Шамиль перестал докучать ему своими назиданиями, не мешал желанию побыть одному и даже выписывал для него из России

книги, журналы, предметы обихода, игнорируя появившиеся слухи о тайных сношениях имама с русскими, якобы нарочно приславшими к горцам Джемалэддина в качестве своего агента. Но тщетно. Джемалэддин никак не мог найти себя среди гор, где он родился, среди тех картин природы, войны и быта, которые отложились в его первых сознательных впечатлениях, среди знакомых с детства звуков родного языка, среди братьев и сестер. Он был не в состоянии вернуть все это в естественный круг своих нравственных и физических потребностей. В нем было слишком много России и русского, чтобы осталось достаточно места для каких-то других привязанностей. Психологически надломленный Джемалэддин угасал на глазах. Через 3 года он скончался. По внешним признакам — от простуды организма, по сути же — от жестокой «простуды» души.

Для Шамиля это стало подлинной трагедией, сопоставимой разве что с гибелью другого его детища — имамата. Вдобавок он терзался чувством вины и, вероятно, сожаления по поводу своего непоколебимого желания вернуть сына на родину. Искренне веря, что он спасает Джемалэддина от презренных гяуров и тем самым выполняет долг отца и мусульманина, Шамиль фактически погубил его. Этот невольный грех омрачал его совесть до конца жизни.

Однако имаму было не только чем оправдать себя перед самим собой и Аллахом, но и кем утешиться. У него оставались сыновья и дочери, которые не имели несчастья побывать в России и неизлечимо заболеть ею. Для дочерей Шамиль не уготовлял большого политического будущего, хотя любил их от этого не меньше. Порой казалось, будто все тепло и нежность отцовского сердца доставались тем, кого природа обделила заботой, — девочкам с физическими недостатками. У старшей из них — юной красавицы Наджават — вследствие полученной в детстве травмы развилась сильная косолапость, уродовавшая ее походку и просто мешавшая передвигаться. Это обстоятельство делало весьма призрачными шансы на приличное замужество. Бедная Наджават, все прекрасно понимая, очень страдала. Она была готова на любые операции, чтобы избавиться от недуга. Как-то она сказала А. Руновскому сквозь слезы: «Пусть совсем отрежут мои ноги, только чтоб этого не было!» Осматривавшие ее медики бессильно разводили руками. Мучения Наджават доставляли Шамилю острую душевную боль, которая становилась невыносимой при мысли о том, что в лучшем случае он обречен отдать ее в жены либо молодому безродному недоумку, либо выжившему из ума старику. В худшем она оставалась вообще без мужа: для горской девушки участь незавидная. Впрочем, в Шамиле еще теплилась надежда найти хирурга, способного вернуть Наджават к нормальной жизни. Он говорил, что отдал бы «все и самого себя на придачу» — лишь бы помочь дочери.

* * *

Сызмальства Шамиль, не без влияния суровых жизненных условий и религии, выработал в себе некую внутреннюю нравственную дисциплину. С годами она, заметно утратив фанатичную окраску, оформилась в устойчивую, но пластичную систему отношений с окружающим миром людей, вещей и явлений. В принципе Шамиль хотел этот мир переделать сообразно собственным, почерпнутым из Корана представлениям о его идеальном устройстве. Все, кто осмеливался препятствовать этому, имели сомнительное удовольствие испробовать силу его гнева и непримиримости. До беспощадности строгий к себе, имам не видел оснований проявлять снисходительность к остальным. Вместе с тем, при всей одержимости преобразованиями, он с неиссякаемым интересом и уважением воспринимал главный объект реформ — народную жизнь, поскольку сам был ее частицей. От природы наделенный творческим типом мышления, Шамиль понимал невозможность абсолютного, тем более принудительного вытеснения одних основ мироздания другими и знал, где нужно остановиться. Разум и интуиция в нем дополняли друг друга и сдерживали чрезмерные порывы его деятельной натуры. Не только в общественном сознании и вкусах, но и в себе самом Шамиль так и не смог преодолеть раздвоение между новым и старым, между исламом и традицией, между искусственным и естественным. Эта двойственность

то и дело ощущается в обыденной жизни имама, особенно в той ее части, что прошла в России.

В быту Шамиль был весьма непритязателен. За ним никогда не замечали тяги к роскоши или излишествам, чего нельзя сказать о его сподвижниках. Суфизм, нашедший гостеприимную почву в его складе ума и характера, выработал у имама четкие понятия о земных потребностях человека. Последние должны удовлетворяться ровно настолько, чтобы не пробуждать страсти к порокам и не мешать главному — духовному совершенствованию. Повседневную норматику Корана он соблюдал неукоснительно, зачастую поднимая ее до уровня аскезы. Ел мало, в основном — простую, доступную каждому горцу пищу, и, как правило, в одиночестве. Убранство кабинета, где он проводил большую часть домашнего времени, было скромным и безыскусным. Впрочем, здесь находилось едва ли не самое главное богатство Шамиля — арабские книги по богословию, литературе, истории, естествознанию. Он читал их с упоением, соединенным с какой-то особой пытливостью, жадной познать путь к истине. Его оригинальный ум не ограничивался сохранением усвоенного в виде мертвого энциклопедического груза. Все это тщательно перемелывалось в жерновах его взыскующей мысли, принимая новые, порой неожиданные формы. Шамиль не всегда искал в книгах то, чего он не знал. Иногда ему требовалось лишь дополнительное, авторитетное подтверждение собственных пророческих догадок и предчувствий. Имам нуждался в изысканной пище для раздумий, и в ней он проявлял куда большую разборчивость, чем в ежедневной трапезе. Шамиль относился к своей библиотеке почти как к одушевленному существу. Когда по прибытии в Калугу он получил известие о ее пропаже, потом оказавшееся ложным, это вызвало у него такую же печаль, как и отсутствие обнадеживающих сведений об участии его семейства.

Шамиль любил уединение, которому он, будучи публичным политиком первой величины, мог предаваться преимущественно ночами. В тиши кабинета, окруженный священными книгами, он молился, читал, размышлял. Очевидно, здесь, в общении с Аллахом и самим собой, имам был предельно открыт. О чем думал и страдал властелин сотен тысяч горцев? Каким представлял свое и их будущее? В чем сомневался? Тут позволительно лишь предполагать. Любые попытки историков ответить на эти вопросы в категоричном тоне рискуют остаться досужими вымыслами. Вероятно, склонность к затворничеству развила в Шамиле чувство духовного одиночества, и без того характерное для людей, находящихся на остроконечной вершине безраздельной власти. Там не было места ни для кого другого, даже для исповедника, если бы вдруг имам захотел иметь его рядом. Самое сокровенное Шамиль доверял только тому, кто обитал в недосыгаемой высоте и был доступен лишь для самозабвенной молитвы избранных.

Очасти, быть может, одиночеством объяснялась его странная на первый взгляд привязанность к пестрой некрасивой кошке, подаренной ему пленным русским солдатом. Она жила у Шамиля в кабинете, ела одновременно с хозяином приготовленную им пищу, удобно устроившись рядом с низким обеденным столиком имама. К радости Шамиля, считавшего это добрым знаком, ежегодно приносила котят, как правило на его шубе, а однажды еще и во время заседания Верховного совета. Наверное, это домашнее животное было единственным существом, которое, умея оно говорить, могло бы приподнять завесу тайны над тем, чего не знал и не узнает никто, — содержанием «бесед» Шамиля с Аллахом.

История с кошкой интересна, помимо прочего, как свидетельство о сохранившемся в имаме языческом суеверии. Образцовое олицетворение мусульманского благочестия, Шамиль тем не менее не смог окончательно порвать духовную связь с тотемическим миром народных верований. Кошка не только скрашивала его одиночество, она была для него чуть ли не объектом преклонения, живым талисманом, приносящим счастье. Когда она умерла, Шамиль, терзаемый дурными предчувствиями, мрачно сказал: «Теперь мне худо будет!» Кошку обмыли, обернули в саван и похоронили, как человека.

Истый мусульманин все же не мог окончательно вытеснить в Шамиле обыкновенного горца со всеми его патриархальными добродетелями, в том числе гостеприимством. Правда, в случае, о котором речь пойдет ниже, это гостеприимство было весьма своеобразным. Взяв в заложницы грузинских княгинь из рода Чавчавадзе, имам старался окружить этих гяурских женщин комфортом, какой только возможен среди суровых гор. Разумеется, он хотел обменять их на своего сына Джемалэддина,

а для этого они должны были быть здоровыми и сытыми. Вместе с тем статус пленниц не мешал Шамилю относиться к ним скорее как к гостям. И дело тут не только в отцовском прагматизме, но и в уважении к священной обычаю предков. Нельзя также исключать, что в противоречивой натуре теократа и диктатора оставалось место для элементарного человеколюбия. Имам лично следил за ходом обустройства жилья для княгинь (вплоть до переделки камина). А когда обнаружил, что скупая Зейдат кормит их не так, как нужно, укорял ее долго и гневно, после чего на столе у пленниц появилось все, чем располагало кухонное хозяйство Шамиля.

* * *

Огромное значение для понимания сложной личности Шамиля имеют наблюдения людей, тесно общавшихся с ним уже в России. Ряд психологических надломов, связанных с драматическим окончанием Кавказской войны и внезапным погружением в совершенно иную, поражающую своим внешним блеском цивилизацию, заставили экс-имаму произвести переоценку ценностей.

Сразу после падения Гуниба Шамиль, уверенный, что его ждет тюрьма или что-нибудь похуже, покорно ждал своей участи. Он слишком хорошо помнил, чем закончили Шейх-Мансур, Кази-мулла, Хаджи-Мурат и другие. Правда, помнил он и то, как царь честно сдержал слово во время переговоров об обмене захваченных Шамилем грузинских княгинь на Джемалэдина. Ему также было известно о щедрости, с которой привечала и прощала Россия высокопоставленных ренегатов, бежавших из имамата. И все же надежд на подобное отношение он, доставивший России куда больше неприятных хлопот, чем кто-либо иной, почти не питал. Тем сильнее было недоумение имама, когда он обнаружил, что с ним обращаются с глубоким почтением, не видя в нем преступника и врага. А. И. Барятинский оказывал пленнику и его семье особые знаки внимания, обычно адресуемые главе иностранного государства, хотя бы и побежденного.

Еще более пришлось удивиться Шамилю по дороге в Петербург, куда имама отправили для окончательного решения его судьбы. Под Харьковом он встретился с Александром II, прибывшим туда на смотр войск. Царь принял Шамиля как почетного гостя, заслуживавшего по меньшей мере уважения со стороны российского монарха. Кроме желания воздать Шамилю должное таким приемом, он испытывал любопытство: как выглядит и что из себя представляет знаменитый вождь «диких горцев», которого не могла одолеть гигантская империя в течение четверти века? Для Александра II, как и для всех тех, кому еще предстояло лицезреть имама, он являлся не просто достойным противником России, но и выдающейся достопримечательностью. Расставаясь с ним, царь сказал: «Поистине ты не раскаешься в своем приходе ко мне». При этом он обнял и расцеловал Шамиля, о чем тот потом часто вспоминал, едва сдерживая слезы.

Долгое путешествие в Москву, Петербург, а затем в Калугу (место, назначенное Шамилю для постоянного жительства), не сравнимое по расстоянию ни с одной из его военных экспедиций, совершенно перевернуло пространственно-географические понятия имама. Дагестан и Чечня, раньше казавшиеся ему внушительными территориями, в сопоставлении с необъятной Россией сузились в его сознании до крошечного клочка земли. Под воздействием этого открытия он однажды признался: «Если бы я знал, что Россия так огромна, то никогда не стал бы воевать с ней». Даже учитывая обычную для подобных риторических фигур долю преувеличения, можно полагать, что в Шамиле происходило трудное переосмысление некогда вроде бы напроць усвоенных вещей.

Русские столицы приветствовали имама восторженными толпами. Народ стекался посмотреть не на бунтовщика в клетке, а на легендарного Шамиля — полководца, правителя, героя. Публика была самая разноликая — от высокопоставленных военных и чиновников до солдат-«кавказцев», поседевших в боях против горцев, и просто зевак. В массовом порыве, собравшем всех этих людей воедино, слились чувства уважения, восхищения, любопытства. Толпа впивалась жадными взорами в этого уже немолодого человека экзотического на русский вкус вида, мысленно сверяя свои зрительные впечатления с теми многочисленными и невероятными рассказами о нем, которыми изобиловали газеты, журналы, книги. Если и были такие, кто пришел

не без злорадства, то лишь единицы. Незаурядная личность Шамиля наэлектризовала атмосферу вокруг себя слишком сильно, чтобы оставалось место для мелких страстей и прошлых обид. Долгая кровавая драма Кавказской войны и даже радость по поводу ее окончания отошли на задний план, поскольку на переднем оказался главный герой этой драмы, еще при жизни обреченный занять выдающееся место в истории. Такому прощалось многое. С ним — сложным персонажем и своеобразной жертвой исторической трагедии — сводить счеты было бы так же глупо, как и с актером, прекрасно игравшим столь же непростую роль на сцене театральной. И в одном и в другом случае можно лишь отдаваться зрелищу.

Однако именно то, что пестрая толпа, следовавшая за Шамилем по пятам, улавливала слепым инстинктом, выходило за пределы понимания самого имама. Действительность превосходила даже его самые оптимистичные надежды. Ему никак не удавалось взять в толк, почему народ, понесший в борьбе с ним столько потерь, встречает его с почестями, которых он не видел и от своих верных сторонников. Шамиль был явно растерян. Впрочем, это не мешало ему удивлять русское общество, ожидавшее встретить неотесанного горца, светскостью манер, безыскусным аристократизмом, сметливостью, нестандартными суждениями.

Ошеломленный сильными, диковинными впечатлениями, полученными в Москве, Петербурге, Калуге, он раскрыл перед своими новыми русскими друзьями и знакомыми те качества, наличия которых, вероятно, и сам в себе не подозревал. Во всяком случае, сведения дагестанских и русских современников Шамиля, знавших его в разные периоды жизни и в разных обстоятельствах, позволяют воссоздать два весьма отличных друг от друга портрета.

В России персона имама попала под пристальное внимание высокообразованных людей, испытывавших к ней большой интерес. В течение десятилетнего пребывания Шамиля в Калуге он предстает перед ними вовсе не тем грозным, несгибаемым и зачастую жестоким вождем, который наводил ужас на врагов и вызывал преклонение у приверженцев¹. Он открылся с совершенно другой, неожиданной стороны. Оказалось, что личность Шамиля гораздо богаче того величавого, невозмутимого, иконоподобного образа, который он, во имя сакрализации своей власти, сам же и культивировал в сознании и воображении народных масс. Когда необходимость в монументальной позе исчезла, обнажился очень интересный и глубокий человек со многими человеческими слабостями, что придавало ему неповторимый колорит и только усиливало притягательность. Чем дальше, тем больше поражал он — сын бедного аварского узденя — находчивостью мысли, умением, быстро схватив суть сложной идеи, выразить ее образно и просто, необыкновенным, поистине аристократическим чутьем в деликатных вопросах, оригинальным юмором. Внешность Шамиля, даже на исходе седьмого десятка лет, оставалась впечатляющей. М. Н. Чичагова — жена одного из приставов, опекавших имама, — набросала его словесный портрет: «С гордой осанкой, открытым, прямым, смелым взглядом, вошел ко мне бывший грозный имам. Высокого роста, атлетического сложения, со стройным станом, слегка смуглым лицом, с правильными чертами... длинную, красивую бороду, с выражением умным, серьезным, глубокомысленным, спокойным».

Внезапно вынесенный из бурного водоворота исторических событий в тихую заводь размеренной и комфортной калужской жизни, Шамиль, похоже, освоился с положением почетного не то гостя, не то ссыльного. По крайней мере, в высшей степени предупредительное обхождение с ним не давало повода к неудовольствию или обидам. Судьба Шамиля, совершив крутой поворот, предоставила ему уникальную возможность отдохнуть от войны, политики, борьбы, опасности. От постоянного психологического и физического напряжения, с ними связанного. От нужды делать не всегда то, что хочешь, казаться не тем, кто ты есть. С его плеч спал непомерный груз забот и ответственности, отчего немолодой и подуставший Шамиль, вероятно, не особенно огорчился. Он вступил в новый, последний период своей жизни смиренно,

¹ Матери в русских семьях со страхом прощались с мужьями и сыновьями, отправлявшимися на Кавказ. «Если уж идти на войну, — говорили они, — то лучше бы на европейскую, только не с дикими горцами». Большого горя, чем «попасться в руки страшному Шамилю», для них, казалось, не существовало (Чичагова М.Н. Шамиль на Кавказе и в России. Биографический очерк. СПб., 1889.С.140).

как бы следуя лучшим традициям исламского фатализма, за слепую приверженность которому он некогда упрекал Гамзат-бека.

Вместе с тем Шамиль произвольно раздваивался между желанием покоя и ностальгией по тому бурному времени, когда не он зависел от русского царя, а, напротив, от него зависела судьба царского владычества на Кавказе. Внезапная и полнейшая перемена обстоятельств не могла пройти для имама совершенно безболезненно в эмоциональном плане. Ему предстояло привыкнуть и к преимуществам и к издержкам его нового статуса. О трудностях такого привыкания свидетельствовал А. Руновский. Однажды в разговоре с ним Шамиль признался: «Моя борода седая... я крашу ее, так же как и некоторые мои земляки, для того, чтобы неприятели не заметили бы в наших рядах стариков и потому не открыли бы нашей слабости». И прибавил, печально вздохнув: «Но теперь уж этого, кажется, не нужно». В другой раз, когда он поставил под одним документом подпись «раб Божий Шамиль», его спросили, почему пропущен титул «имам». «Какой я имам! — ответил Шамиль, опустив глаза. — Я ничем не могу быть полезным тем, которые меня избрали имамом... Какой я имам!»

Вынужденный уход из большой политики Россия возместила Шамилю немалыми благами. В Калуге его поселили в просторном особняке, одном из лучших в городе. Во дворе была построена небольшая мечеть. Содержание дома, вместе с обслуживающим штатом, обходилось царской казне в 20 тыс. рублей ежегодно. На летнее время Шамилю бесплатно предоставлялась дача в окрестностях Калуги. Его обеспечили приличным экипажем для выездов. Пенсия имама составляла сначала 10, затем 15 тыс. рублей годовых. Сверх того, он и члены его многочисленного семейства (22 человека с прислугой) получили от Александра II и императрицы подарков на десятки тысяч рублей. Искреннее радушие проявило к нему калужское общество. Его визитов ждали в самых знатных домах с таким же нетерпением, с каким местный бомонд обычно ждет встречи с заезжей знаменитостью. Поначалу Шамиля разглядывали как диковинку, удивлялись уму и образованности горского самородка, причем делали это с восторженным простодушием и понятной снисходительностью людей, плохо осведомленных о богатой культуре «дикого» Кавказа. Впрочем, многие его суждения и взгляды были столь пронизательны, что заслуживали пристального интереса по меркам любой цивилизации.

Вскоре Шамиль стал для калужан почти своим. В том числе благодаря собственному гостеприимству. Двери его дома были открыты для всех, чем многие, на первых порах, невольно злоупотребляли, несмотря на официальную установку не докучать имаму. Каждый из посетителей считал, что именно у него есть извинительная причина для встречи с Шамилем.

Зная высокие духовные потребности Шамиля, можно утверждать, что смена великого и суматошного политического поприща, где он редко принадлежал себе, на уютный домашний быт имела для него по меньшей мере одно несомненное преимущество. Теперь он мог посвятить гораздо больше времени своим излюбленным занятиям — чтению и молитвам. По свидетельству А. Руновского, в Калуге имам читал книги с особым «ожесточением» и наслаждением. Возможно, поэтому падение с бессмертных высот власти на брэнную землю оказалось для него не столь болезненным, как для многих других исторических героев. Наблюдавшим его калужанам было трудно поверить, что этот тихий, любезный и даже слегка сентиментальный старик и есть прославленный Шамиль. Особенно — глядя на то, с какой трогательной нежностью и добродушием обращается он с детьми. Те, в свою очередь, мгновенно проникались к нему доверием, взбирались на колени, брали из его рук угощение. Такая идиллическая картина возникала всякий раз, когда Шамиль приходил в гости туда, где были малыши. Правда, иногда в его глазах, жестах, голосе чулось нечто такое, от чего пронимал холодок, заставлявший вспомнить о суровом горском деспоте, державшем в повиновении и страхе сотни тысяч своих «подданных». И все же достаточно часто общавшаяся с Шамилем М. Н. Чичагова была убеждена, «что в этой дикой натуре горца таится божественная искра любви к ближнему».

Однако перемены в Шамиле не стоит всецело приписывать воздействию нового культурного окружения. Оно во многих случаях не было коренной причиной этих перемен, а лишь способствовало проявлению тех скрытых черт противоречивого характера имама, которые в силу разных обстоятельств не получили развития раньше, в условиях Кавказской войны.

Шамиль вглядывался в русскую жизнь с пристальным и уважительным интересом, стремясь понять ее нравы и порядки. Всегда слышавший аскетичным приверженцем исламских законов, имам, как оказалось, был терпим к чужой культуре, в том числе религиозной. В свое время он разрешил русским перебежчикам отправлять православные обряды не где-нибудь, а в столице своего шариатского государства, в которой гяурская молитва звучала, казалось бы, неслыханным кощунством. Более того, всех, кто осмелился бы чинить препятствия или преследовать иноверцев, ждала кара. Конечно, это можно объяснить политическим прагматизмом Шамиля, заинтересованного в притоке русских дезертиров, обладавших высокой квалификацией в военном, в частности артиллерийском, деле. Но, похоже, существовала еще одна причина его идеологической лояльности. Суфизм, являвшийся неортодоксальной разновидностью ислама, оказал сильнейшее влияние на мировоззрение Шамиля, предрасположил его к философии религиозного космополитизма. Тут во главе угла стоял скорее сам принцип веры в единое верховное божественное существо, чем различие имен, которые дают ему разные религии, и ритуалов, связанных с поклонением Ему¹.

В свете этого не таким уж удивительным выглядит один на первый взгляд совершенно невероятный эпизод с участием Шамиля, имевший место в Петербурге. Во время посещения фотографа на глаза имаму попала гравюра с изображением Христа. Она надолго приковала внимание Шамиля, приведя его в состояние глубокого, благоговейного волнения. «Кто это?» — спросил имам, с трудом сдерживая чувства и, видимо, уже о чем-то догадываясь. Получив ответ, он поднес картину к губам и поцеловал ее. Другой случай произошел в Царском Селе, когда Шамиль застыл перед статуей Спасителя, пораженный выражением мучительного страдания на его лице. Это подействовало на бывшего повелителя правоверных так сильно, что он обещал молиться Христу. Политические соображения, идеологические каноны, догматы о превосходстве Ислама отступили перед высоким духом абсолютной Веры, который воспылал в Шамиле с необузданной страстностью. В Калуге, во время посещения местной семинарии, Шамиль увидел в семинарской библиотеке «Евангелие» на арабском языке, которое его очень заинтересовало. Попросив книгу на дом, он закрылся у себя в кабинете и больше ни на что не отвлекался, пока не прочитал ее. Судя по всему, гяурское «Евангелие» не оставило Шамиля равнодушным. По его признанию, в этой книге было «много хорошего написано», в том числе такого, чего он не знал, и такого, чего русские не исполняют.

Неожиданную для многих духовную широту натуры он демонстрировал не только в конфессиональной области. Найдя в русских обычаях много полезного, Шамиль решил следовать им в соответствующих ситуациях и, дабы делать это безошибочно, попросил А. Руновского не стесняться подсказывать ему, что принято и что предосудительно в русском обществе, пообещав ему быть очень прилежным учеником. Он не скрывал, что меньше всего ему хотелось бы выглядеть в этом обществе смешным и несуразным, даже по уважительной причине незнания его законов. Но и без уроков А. Руновского Шамилю с его врожденным аристократизмом, внешние проявления которого в принципе универсальны и распознаваемы для любой цивилизации, такая перспектива не грозила нигде — ни у себя на Кавказе, ни в императорских дворцах, ни в рафинированных столичных салонах.

Сквозь набожность Шамиля, сквозь его требовательность к собственной благочестивости и благочестивости других все же пробивался живой, непосредственный характер горца, воспитанный традиционной культурой. Имам не смог умертвить ее ни в себе, ни в своих «подданных». Эта могучая, непреходящая субстанция оказалась несокрушимой даже перед натиском такой фундаментальной идеологической системы, как Ислам, осуществлявшейся умом, талантом и железной волей такого выдающегося реформатора, как Шамиль. Народное начало в Шамиле особенно зримо дало о себе знать в России, где не было смысла его скрывать. Выяснилось, что строгонравный имам обожал музыку, которую он запретил в горах под страхом жестокого наказания,

¹ Разумеется, Шамиль, из утилитарно-политических соображений, никогда не стал бы проповедовать такую философию в условиях воинственного утверждения шариата и насаждения ненависти ко всему «нечестивому» внутри имамата и за его пределами. Однако в просвещенной душе Шамиля, в его высокоорганизованном духовном сознании всегда оставалось место для суфийской веротерпимости.

поскольку она, согласно Корану, развращала людей, а в обстановке непрерывной войны это представлялось недопустимым. Впервые услышав чарующие звуки небольшого органа, Шамиль замер от наслаждения и просидел, не шелохнувшись, в течение получаса, пока не закончилось исполнение. Потом поднялся, подошел к инструменту и долго рассматривал его устройство с любопытством и легким недоверием, время от времени повторяя слово «шайтан». Он глубоко чувствовал колдовскую природу музыки, но вовсе не сопротивлялся ее воздействию. Особенно пришлось ему по душе «Боже Царя храни». Когда Шамилю перевели еще и слова гимна, он велел своему нукеру Мустафе играть эту мелодию утром и вечером.

Острое, по-варварски безошибочное эстетическое чутье Шамиля в других областях искусства также шло от народных культурных корней. В Петербурге А. Руновский оказался свидетелем нечаянного эксперимента, уникального по своему содержанию и результатам. Он оставил бесценные для историка и культуролога наблюдения о посещении Шамилем балета. По сути говоря, А. Руновский дал нам возможность увидеть редкое явление, таинство в чистом виде — влияние магии классического искусства цивилизованного общества второй половины XIX века на представителя патриархальной эпохи и патриархальных традиций, с одной стороны, и исламской культуры, с другой. Давали спектакль на восточную тему. Быстро догадавшись о смысле сюжета, Шамиль, по словам А. Руновского, следил за его действием «с той ненасытной жадностью, которая может быть понятна только записным любителям балета». Он соперничал актерам так, как если бы перед ним разворачивалось не театральное действие, а сама жизнь. Впрочем, в моменты наивысшего эмоционального напряжения для него стиралась грань между реальностью и художественным вымыслом. Когда на сцене появился султанский гарем со всеми его атрибутами, Шамиль восторженно, но тотчас же принял важную позу обладателя кружившихся перед его глазами прекрасных одалисок, как будто они действительно принадлежали ему. Временами, очнувшись, он все же осознавал, что присутствует на зрелище, и в эти моменты особенно старался держать себя в руках. Но подчас имам вживался в происходящее настолько, что был не в силах справиться с захлестывавшими его чувствами, и тогда ему становилось не до мыслей о том, как воспримет его человеческие слабости находившаяся рядом публика. На вопрос, понравился ли ему спектакль, Шамиль ответил: «Пророк обещал нам это только в раю. Я очень счастлив, что успел еще на земле это увидеть».

При всем при этом Шамиль оказался весьма строгим театральным критиком, хотя и на свой, горский лад. Он с легкостью понимал и с удовольствием принимал пластический язык балета, но лишь до тех пор, пока не увидел танцующего в своем гареме султана. Не веря собственным глазам, имам вооружился биноклем. Убедившись, что глава правоверных не только не умеет скрыть своих вожделений, но и не стесняется выражать их причудливыми прыжками и двусмысленными движениями, Шамиль испытал настоящий шок. Теперь его переполнял не восторг, а негодование по поводу столь вопиющего вздора по адресу самого падишаха, который в действительности никогда не опустился бы до любовных объяснений с наложницами, да еще таким нелепым и непристойным способом. Трудно сказать, в какой форме выплеснулось бы возмущение имама в другой, менее публичной ситуации. Однако и в данном случае, несмотря на весь свой такт гостя по отношению к радушным хозяевам, он не смог сдержать злого и иронического смеха. Дело в том, что балетная хореография вызывала у него сомнения не как таковая, а как средство выражения сложных чувств. Для этого Аллах дал человеку язык, губы, глаза... Но не ноги. Что касается танцев вообще, то Шамиль, с его народной душой, их очень любил. В России ему особенно понравились бальные танцы, в которых не было претенциозности балета, а было лишь естественное желание потанцевать.

Однажды в Калуге к Шамилю привели известного фокусника Франсуа Кери. Наблюдая за его хитроумными трюками, имам превратился в совершенного ребенка, недоумевающего в безмерном восторге, как же это все получается. Возникшие из ничего предметы вызывали у Шамиля не суеверный ужас или оскорбленное чувство одуряченного человека, а детское восхищение и громкий, до слез, хохот. Он долго не мог забыть это представление и как-то, вспомнив о нем в очередной раз, сказал А. Руновскому то ли в шутку, то ли всерьез: «Зачем показали мне это! Теперь не могу Богу молиться...»

Еще более сильное впечатление произвело на Шамиля посещение цирка, в частности близкое каждому горцу искусство вольтижировки. Здесь, в отличие от иллюзионизма, все строилось не на обмане, а на высочайшей ловкости и силе рук, ног, всего тела. Имам не скрывал своего удивления и удовольствия: такого филигранного мастерства он не видел никогда, даже на Кавказе, где было немало прекрасных наездников.

Иными словами, сам принцип удовольствия и развлечения оказался весьма живучим именно в человеке, который долгие годы усердно изгонял его из себя и из общественной жизни имамата. Не принятым и не понятым оставалось для Шамиля не только то, что противоречило религиозным предписаниям, но и то, что разительно расходилось с правилами горского народного быта.

В России Шамиль никак не мог взять в толк, почему в цивилизованном обществе женщине дано так много свободы; почему за ней признана способность к умственной деятельности, право на уважение и поклонение мужчин; почему ей позволено появляться на людях с наполювину открытой грудью и обнаженными плечами? В беседах с А. Руновским имам высказал опасение, что русские фасоны дамской и мужской одежды, побуждающие к дурным мыслям и намерениям, могут повредить общественной нравственности. Когда в театре Шамиль обнаружил возле себя прелестную особу, естественно, в «безнравственном» костюме, он не знал куда деться.

Не возражая против посещений калужскими дамами его жен, он был категорически против ответных визитов из-за неизбежности их встреч с чужими мужчинами. На вопрос, позволит ли он своим дочерям брать уроки танцев, тот самый Шамиль, который с удовольствием приезжал на балы, чтобы полюбоваться танцующей публикой, решительно ответил: «Никогда!»

Мало изменений претерпели бытовые потребности и привычки Шамиля. Об этом красноречиво говорило аскетическое убранство его комнат — ни зеркал, ни картин, ни мебели. Ничего такого, что смущало бы строгий дух истового мусульманина и сбивало бы его с правого верного пути. В распорядке дня Шамиля осталось положенное число молитв (и даже больше), чтение священных книг, а в распорядке года — все необходимые посты и праздники. Он по-прежнему старался сообразовывать свои поступки с буквой Корана. Особое пристрастие имел имам к такому богоугодному делу, как раздача милостыни. Его странная любовь и невероятная щедрость к нищим стали в Калуге притчей во языцех. Однажды повстречав на улице калужского мальчугана, Шамиль принял снятую им в знак приветствия шапку за просьбу о подавании. Имам бросил на своего секретаря Хаджио повелительный взгляд, смысл которого тот понимал моментально. Но именно тогда у Хаджио не оказалось при себе кошелька. Сконфуженный Шамиль погладил мальчика по голове, объяснил, едва ли не извиняясь, ситуацию и попросил прийти к нему домой: «...И я с тобой поделюсь».

Сам Шамиль никогда не носил при себе денег и даже не притрагивался к ним. Получив от русского государя причитающуюся ему сумму, он решительно отказался взять деньги в руки и тем более пересчитать. Шамиль настаивал, чтобы они находились у А. Руновского и тот тратил их по мере надобности. Только когда его убедили в невозможности этого, он согласился сделать своим казначеем Хаджио.

И тем не менее в России взгляды Шамиля на многие вещи заметно изменились. Это видно хотя бы по той непринужденной откровенности, с какой он дискутировал с А. Руновским о самых деликатных вопросах. Невозможно представить, чтобы Шамиль в годы имамства обсуждал эти темы с кем-либо из своих приближенных.

Еще более явно подобная эволюция произошла с сыновьями Шамиля и его нукером Хаджио. Они быстро привыкли к удобствам калужской жизни, составлявшей разительный контраст строгому шариатскому быту. По-видимому, изрядно им утомленные, эти молодые, не искушенные в удовольствиях парни с жадностью осваивали новый для себя мир. Идеи мюридизма были преданы забвению. Рядом со светскими соблазнами цивилизации все, что подавляло порывы молодости, утрачивало привлекательность. Представители молодого поколения шамилевского дома с нетерпением ждали очередного выезда в люди, бала, спектакля или других увеселений. Особенно когда это происходило без Шамиля. Не чувствуя на себе его строгого взгляда, они совершенно раскрепощались — свободно говорили о своих чувствах к женам, высказывали собственное мнение о разных предметах, вели душевные беседы со своими калужскими знакомыми и даже танцевали лезгинку. Хаджио признавался А. Руновскому:

«В ваших собраниях мне гораздо ловчее, чем было на Гунибе... Ваши мужчины так обходительны, ваши дамы и девицы так добры и приветливы, что даже глупый человек в их обществе поумнеет, а всякому другому не захочется расстаться с ними ни на минуту!.. А насчет шариата я тебе скажу то, что прежде говорил: он запрещает все хорошее и позволяет все дурное...» Как и Шамиль, хотя во многом независимо от него, Хаджио, Гази-Мухаммед и Мухаммед Шефи стали либо радикально переосмысливать прежние ценности, либо утверждаться в тех крамольных сомнениях, которые уже давно не давали им покоя. Самый бойкий из них — Хаджио — заявлял об этом открыто. Не отрицая, что Шамиль — «большой» и «очень умный человек», он все же считал, что имам допустил ошибку, когда вводил в имамате основанную на шариате строжайшую систему запретов там, где они были излишни. Однажды Хаджио даже воскликнул в сердцах: «Да что тут толковать: у нас было запрещено все хорошее и не запрещено все дурное!» Впрочем, насаждаемый Шамилем всеобщий аскетизм носил, по мнению Хаджио, характер меры вынужденной и отчасти оправданной экстремальной обстановкой войны. В Хаджио, по крайней мере внешне, не осталось и следа от фанатической ненависти к нечестивой России, целенаправленно воспитывавшейся с помощью соответствующих идеологических установок. Бывало, он риторически вопрошал: «Аллах, Аллах! Зачем в горах говорили, что русские нехороший народ!»

Отнюдь не только тягу к развлечениям пробудила Россия у горцев. Младший сын Шамиля Мухаммед Шефи, увидев, по его словам, «очень много таких удивительных предметов, о которых до сих пор или вовсе не слышал, или слышал от покойного брата Джемалэддина, но совсем не верил», стал высказывать искреннее сожаление о своей необразованности и страстное желание учиться и «знать много наук».

Мало расположенной к аскетизму оказалась и женская часть семейства Шамиля — его жены и невестки. Наружно соблюдая шариатские приличия, больше из страха перед имамом, чем из внутренних побуждений, они с несказанным восторгом окунулись в европейский уют калужского дома. Прекрасная мебель разных стилей, ковры, драпировка, обои, зеркала, затейливый камин, яркое освещение лестниц, аромат сожженного одеколона, красивый водоем во дворе, обширный сад и, наконец, безукоризненная чистота кругом. Нетрудно догадаться, как все это могло подействовать на молодых горянок, выросших среди вещей, куда более скромных.

* * *

В России Шамиля — политика, полководца, человека — интересовало многое и многое поражало. Он изучал ее с той же обстоятельностью, с какой читал книги или вникал в суть самого сложного явления. До пленения имам сталкивался лишь с русской армией, но имел смутные понятия о стране, посылавшей свои войска на Кавказ. Рассказы Джемалэддина в определенной мере обогатили познания Шамиля. Однако это были не больше чем сведения из чужих уст, которым имам к тому же не всегда доверял: подчас уж очень невероятными они ему казались. Теперь же Шамиль мог сам проверить их достоверность, увидеть Россию изнутри, да еще и при таких благоприятных для любознательного гостя обстоятельствах. Иمامу старались показать все, что способно было произвести впечатление на вождя горцев, доставить ему удовольствие, отвлечь от тоски по родине. Хотя главный источник этого гостеприимства — августейшая забота об имаме — не вызывает сомнения, тут, по-видимому, также присутствовало некое педагогическое стремление дать ему осознать всю глубину его заблуждений относительно возможности устоять против такой великой державы, как Россия. Удалось ли это и в какой степени — вопрос трудный. Во всяком случае, повторим, не стоит безоговорочно принимать на веру слова Шамиля о том, что он не стал бы воевать с Россией, знай наперед о ее размерах и могуществе. Это признание могло быть обычным риторическим приемом, употребленным под влиянием минутного порыва. Кроме того, оно как-никак было сделано *post factum* и не кем-нибудь, а полководцем, который в течение 25 лет видел перед собою многократно превосходящего противника и тем не менее не прекратил борьбы. Впрочем, выяснять, как действовал бы Шамиль, имея исчерпывающее представление о силе России, — занятие довольно бесплодное.

В то же время нельзя отрицать, что пребывание в России оставило яркий отсвет в душе имама. Его мировоззрение стало пластичнее и шире за счет новых, неожиданных познаний о вещах и людях. Первые не давали отдыха его мыслям, вторые — чувствам. Под Харьковом Шамиль присутствовал на смотре русских войск, где его, человека, непосредственно причастного к военному делу, впечатлили вид, экипировка, вооружение стройно маршировавших колонн. Вероятно, уже тогда, проехав половину Европейской России, он начал верить в то, что принимавшие участие в смотре войска — какими бы внушительными по размерам они ни были — составляли лишь малую часть русского армейского организма.

В России Шамиль увидел технические чудеса XIX века — железную дорогу и телеграф. Горцу, впервые за всю жизнь выбравшемуся из своих тесных ущелий, было очень трудно осмыслить эти изобретения в рациональных категориях. Легче и привычнее было назвать их игрушками шайтана. Но такое простое объяснение не могло удовлетворить непростой интеллект имама. Он понимал, что существует ему пока еще не известное, хотя и вполне постигаемое сцепление причин и следствий, приводящее в движение тяжеленную махину паровоза с вагонами. Доступна разуму и та невидимая сила, которая позволяет в мгновение ока пересылать письменные сообщения на умопомрачительные расстояния. Нужно лишь владеть знаниями в соответствующих областях.

В Петербурге Шамиля пригласили в Инженерную Академию, где ему показали превосходные модели новейших фортификационных сооружений. Он жадно рассматривал изящные копии знакомых предметов и живо догадывался о назначении незнакомых. Высказанные им соображения носили весьма профессиональный характер. В то же время Шамиля, по его собственному признанию, угнетала мысль об ограниченности его познаний, лишавшей его возможности вникнуть во все тонкости дела.

Имам, случалось, сам просил уважить его интерес к тем или иным сторонам российской жизни. Этот интерес никогда не был праздным любопытством, за ним непременно стояла жажда узнать что-то новое, хотя некоторые просьбы Шамиля, похоже, несколько озадачивали опекавших его людей. Так однажды он изъявил желание познакомиться с бытом русского солдата. Его повезли в калужские гарнизонные казармы. Имама удивило там практически все: наличие тюфяков, нар, одеял и подушек, свежий воздух, необыкновенная чистота и порядок в помещениях, картины на стенах, киот с образами, ротная кухня с соблазнительными запахами, бодрый и сытый вид солдат. С точки зрения горского воина, это выглядело небывалой роскошью. Из казарм Шамиль отправился к батальонному командиру и выразил благодарность за гостеприимно доставленную ему возможность увидеть солдатское житье. Этот шаг имама совершенно умилил А. Руновского, заметившего, что не всякий европеец додумался бы до такого изысканного реверанса.

Глубокий ум Шамиля, быстро схватывавший суть сложных явлений, порой становился совершенно беспомощным перед лицом элементарных для России и Европы правил. Когда во время посещения калужского дворянского собрания ему объяснили, что избрание губернского предводителя происходит с помощью деревянных шариков, каждый из которых означает поданный «за» или «против» голос, его изумлению не было предела. В голове имама совершенно не укладывалось, как можно доверять судьбы многих людей этим ничтожным предметам. Он долго и недоуменно вертел их в руках, но так ничего и не понял. Шамиль вконец запутался, узнав, что все дворяне губернии собираются голосовать за одну и ту же кандидатуру: если так, то эти шарики не нужны тем более.

Как ни сильны были полученные Шамилем впечатления от атрибутов цивилизации, все же главным его открытием в России стали русские люди. И те, кто были рядом с ним по долгу службы, и те, кто искали встреч с ним по велению сердца, и те, кто приходили посмотреть на него просто из любопытства. Все они питали к Шамилю самые добрые чувства, и он щедро отвечал им тем же, к немалому удивлению простодушных обывателей, наслушавшихся небылиц о кровожадном горском тиране. «Разумные русские патриоты, — писал М. А. Казембек, — не ненавидят Шамиля, не гнушаются имени его: победа и мир в недрах Дагестана выкупили все; он все-таки герой и создатель героев; а теперь смиренный наш гость».

После пышных, до слез растрогавших Шамиля приемов в Москве и Петербурге, после восторженных толп, осаждавших гостиницы, где он останавливался, или вокзалы,

где он садился на поезд, казалось, уже ничто не сможет вывести его из эмоционального равновесия. Но впереди Шамиля ждали не менее волнующие переживания.

По приезде имама в Калугу его пришли приветствовать знатные горожане. Предводитель калужского дворянства обратился к Шамилю со словами: «Мы в тебе чтим героя, мы радуемся, видя тебя среди нас, несмотря на то, что еще так недавно ты видел в нас своих врагов. Мы от души желаем, чтобы, поживши с нами, ты признал нас лучшими своими друзьями». Смущенный Шамиль долго не мог собраться с мыслями для ответа. Наконец он справился с волнением и произнес: «У меня нет слов, чтобы высказать вам то, что я чувствую, приязнь и внимание приятны для человека, в ком бы он ни встретил их; но ваша приязнь, после того как я вам сделал так много зла, — совсем другое дело: за это зло вы, по справедливости, должны были растерзать меня на части; между тем вы поступаете со мною как с другом, как с братом... Для меня это очень приятно; но я не ожидал этого, и теперь мне стыдно, я не могу смотреть на вас прямо и всей душой был бы рад, если бы мог провалиться сквозь землю...» Шамиль был сконфужен еще и потому, что не видел для себя возможности достойно отблагодарить калужан за столь дружеский и великодушный прием. Признавшись в этом, он закончил свою речь так: «Я каждый день молюсь за Государя, теперь буду молиться и за вас».

Понадобилось всего два месяца, чтобы Шамиль по-детски привязался к Богуславскому — предшественнику А. Руновского на должности пристава при имаме. Шамиль, редко ошибавшийся в людях, проникся к Богуславскому беспредельным доверием едва ли не с первого взгляда. Пристав окружил его теплотой и вниманием, не жалел ни сил, ни времени, чтобы скрасить первые, самые тяжелые дни плена, полные неизвестности и тоски по родным. Шамиль всем сердцем отозвался на заботу человека, который еще совсем недавно был для него совершенно чужим. Узнав, что Богуславского переводят на другую должность, имам потерял покой, с тревогой думая о том, кого пришлют на его место. В день расставания Шамиль стал сам не свой. Бесцельно бродил из комнаты в комнату, на полуслове прерывал начатую фразу, рассеянно отвечал на вопросы. Когда настала пора прощаться, имам, не обращая внимания на сильный мороз, вышел без верхней одежды за Богуславским к экипажу. Он еще долго смотрел вслед уходящей карете, шепча слова благословения. Свидетель этой сцены А. Руновский писал, что так отец обычно провожает своего сына. Не менее сердечные отношения сложились у Шамиля и с самим А. Руновским.

Узнав однажды, что в калужском гарнизоне служат солдаты, побывавшие у него в плену, имам попросил А. Руновского о встрече с ними, устроить которую не составляло никакого труда, ибо те сами рвались повидаться с «бывшим хозяином». Шамиль подолгу вел с ними душевные разговоры, возвращавшие собеседников к уже далеким, но незабываемым временам. И «хозяина» и его «пленников» тесно связывали воспоминания, быть может, о самых ярких и самых счастливых годах их жизни. Представители разных народов, они говорили на одном языке, языке Кавказской войны, и поэтому понимали друг друга с полуслова. Шамилю было приятно найти в Калуге, за тысячи верст от Кавказа, людей, способных разделить с ним его чувства и мысли по поводу великой исторической драмы. Теперь главное действующее лицо этой драмы и ее скромные статисты искренне искали человеческого общения. Расстояние между ними, некогда огромное, исчезло. Они нуждались друг в друге, как нуждаются люди в иллюзии возвращения в прошлое, которое их объединяет.

Шамиль подробно расспрашивал их, кто где жил, находясь в плену; как звали их хозяев, хорошо ли их кормили. Выяснялось: чем ближе к резиденции имама поселяли пленников, тем легче была работа, тем лучше с ними обходились. Оказалось, что один из посетивших Шамиля в Калуге солдат смотрел за его детьми, и те очень любили свою «няньку». Однажды пришел солдат, бежавший из плена несмотря на то, что жилось ему там вполне прилично. Увидев имама, он бросился к нему и поцеловал его руку в знак уважения, по обычаю, принятому у мусульман. Позже удивленный А. Руновский спросил солдата о причине столь пылкой реакции. Тот ответил, что сделал это по побуждению сердца, поскольку Шамиль — «стоящий человек», хоть и не верует в Христа, «одно слово — душа!». По его словам, имам сам никогда не обижал пленных и не позволял никому другому. Если до него доходила жалоба, тотчас забирал к себе пленника от хозяина и строго наказывал последнего.

Внимательно изучая Россию и русских, Шамиль и сам являлся объектом их изучения. Образованное общество не упустило шанса понаблюдать выдающегося представителя патриархально-мусульманской культуры почти в лабораторных условиях цивилизации. В этой личности, исторической уже при жизни и не разгаданной до конца и поныне, вызывало интерес буквально все. Вплоть до мелочей, на которые мало кто обратил бы внимание, обнаружив их в менее значительной персоне. В характере Шамиля не было случайных, без нужды приобретенных черт. В нем преобладали цельность и органичность. Противоречивость его натуры являлась лишь своеобразным продолжением этих начал, как и видимые перемены, происшедшие с ним в России. Русские, общавшиеся с Шамилем достаточно долго, обстоятельно записывали его рассказы и рассуждения, тонко схватывали нюансы в его поведении, собирали впрок разные любопытные подробности. Их стараниями образовалась ценнейшая мемуарная литература, примечательная прежде всего теми сведениями, которые бесполезно искать в источниках дагестанско-чеченского происхождения. Русские современники, будучи «иностранцами» по отношению к Шамилю, смотрели на имама во многом иначе, чем его соотечественники. Последним в иных случаях и в голову не пришло бы анализировать то, что для них являлось обычным и потому малоинтересным. Но именно это составляло предмет особого внимания для русского человека.

Одно из первых ощущений, испытанных А. Руновским после знакомства с Шамилем, было «действие его зеленоватых глаз». Выдержать их пристальный взгляд стоило немалого труда. Иногда он приобретал поистине гипнотическую силу, давил «как кошмар», вызывая испарину на лбу у тех, кому он предназначался. Говорил Шамиль, как правило, спокойно, размеренно, время от времени прибегая к помощи жестов, каждый из которых имел четкий смысл. Имам не любил досужей болтовни ни о чем. В беседе он видел способ узнать нечто полезное и высказывать свои мысли, если ими кто-то интересовался. Умея слушать собеседника, он всегда вносил в диалог логику, предметность и завершенность, строил его чуть ли не по канонам риторической школы.

Как полководец, Шамиль отдавал справедливость и тем, кого он побеждал, и тем, от кого терпел поражения. В частности, он высоко ставил генерала Пассека, убитого в 1845 г. в ходе экспедиции в Дарго, и искренне сожалел о его гибели.

Шамиль обладал редким для авторитарного властителя свойством — самокритичностью. Признаваясь, что у него в имамате было много беспорядка, он винил в этом не только «скверный характер горцев», но и себя, свои недостаточные познания о вещах, «полезных стране и народу». «Младенческие понятия» Шамиля относительно этих вещей подтверждал и А. Руновский.

Русские наблюдатели заметили в Шамиле хорошо развитое чувство юмора. Причем той деликатной и добродушной его разновидности, которая никого не ранит. Вместе с тем чувство юмора напрочь отказывало ему в совершенно неожиданных, порой анекдотичных ситуациях. Однажды Шамилю показали живого рака. Никогда прежде не встречавшийся с подобной зоологической экзотикой, он взял рака в руки и стал рассматривать с величайшим любопытством, пока тот не ущипнул его за палец. Шамиль бросил рака на пол и продолжал наблюдать. И тут произошло непонятное. Увидев, что это черное существо жутковатого вида еще и передвигается каким-то дьявольским манером, имам страшно рассердился, пнул рака ногой и велел убрать его с глаз долой, после чего еще долго не мог прийти в себя. По-видимому, это зрелище вызвало у Шамиля смутные ассоциации суеверного характера. «Подлее этого животного, — говорил имам, — я не видывал. Если я воображал себе когда-нибудь черта, то представлял его именно таким, как рак».

Даже в преклонном возрасте Шамиль не утратил способности быстро приобретать новые навыки. Его увлекал сам принцип познания, хотя бы и мелочей. А. Руновский вспоминал, как в Калуге приближенные имама во время трапезы отчаянно пытались воспользоваться вилками, но после тщетных усилий сердито бросали их на стол и принимались есть по горскому обычаю — руками. Лишь один Шамиль действовал этим инструментом с такой непринужденностью, которая невольно заставляла задаться вопросом — где и когда он успел этому научиться?

* * *

Пожалуй, одной из немногих вещей, так и оставшихся для Шамиля не до конца понятыми, было великодушие, проявленное к нему русскими. Он, выросший в стране кровной мести, усвоивший как аксиому, что всякий обидчик должен понести наказание, не всегда мог объяснить самому себе — почему Россия не просто простила своего непримиримого врага, но еще и принимает его с царскими почестями, как героя. Его душу теснили доселе маловостребованные чувства вины, смущения, благодарности, недоумения. Он искал любой возможности, чтобы выразить их, облегчить эту тяжесть и, быть может, таким путем уразуметь то, что выше разума. Когда Шамиля спросили о его общем впечатлении о России, он задумался, потупил взор и ответил короткой, но многозначительной фразой: «Теперь я понимаю, отчего мой сын Джемалэддин умер!» Услышав такой же вопрос в другой раз, он заявил: «Если бы я знал, что здесь мне будет так хорошо, я бы давно сам убежал из Дагестана». Из Калуги Шамиль велел передать своим соотечественникам на Кавказе, что «в войне счастья нет».

В обществе русских людей, готовых слушать его бесконечно, он избегал говорить о своих военных подвигах, очевидно опасаясь показаться невежливым гостем. Возможно, это объяснялось еще и его природной скромностью, как полагал А. Руновский.

В калужский, внешне безмятежный период жизни Шамиля, когда все самое трагическое, казалось, осталось позади, безжалостная судьба вновь подвергла его изможденную страданиями душу тяжелому испытанию. От скоротечной чахотки умерла его дочь Нафисат. Отец самолично совершил положенный обряд над покойницей. Чего это ему стоило — лучше не представлять. Ее тело отправили на родину. Все расходы взяло на себя русское правительство.

Шамиль, сам переживший немало утрат, к старости стал глубже понимать и чувствовать горе других людей, особенно друзей. Когда скончался пристав Чичагов, имам первым приехал выразить соболезнование его вдове. Не сдерживая слез, он говорил: «Вы думаете, что вы одни все потеряли? Я, я все с ним потерял! Никогда уже более не будет у меня такого друга, который бы так меня понял и так заботился бы обо мне! До последней минуты своей жизни буду я его помнить».

* * *

В России Шамиль приобрел много друзей и доброжелателей. Но был один человек, отношения с которым имели для него особый смысл и особый подтекст. Царь Александр II. Самодержец гигантской империи, внушавшей своей военной мощью страх и уважение всей Европе и в то же время оказавшейся бессильной перед горсткой кавказских горцев во главе с Шамилем. После 25-летней кровавой эпопеи, стоившей обеим сторонам неисчислимых жертв, Шамиль пленен и отдан на милость победителя. Осквернитель державной славы, живой укор имперской самоуверенности, он преподавал Николаю I жестокий, но полезный урок, научил его если не уважать, то хотя бы считаться с интересами и волей «туземных» народов. Александру II пришлось решать — чего же достоин этот самозванный аварский «учитель» русских государей — мести или великодушия? В принципе Шамиля можно было бы казнить, как Пугачева, или посадить в соловецкую тюрьму, как Шейх-Мансура. Такой приговор не удивил бы ни самого имама, ни его соотечественников, признававших право на уничтожение врагов и за собой и за этими врагами. Но Александр II рассудил иначе. Он хорошо понимал, что мертвый или третируемый имам обретет мученический ореол и подвигнет многих горцев к непокорности. Реставрация мюридистского движения легла бы опасным бременем на Россию, изнуренную Крымской войной и нуждавшуюся в некоем внутреннем покое, чтобы сосредоточить свои силы для выхода из кризиса. Кроме того, у Александра II, в отличие от Николая I, не было, так сказать, личных счетов с Шамилем. Не чувствуя себя оскорбленным унижительными поражениями русской армии на Кавказе в 1840-х гг., он не имел и прямого повода мстить обидчику. Напротив, у преемника Николая I, пришедшего к власти в 1855 г., были все основания для удовлетворения: при нем Шамиль неизменно терпел поражения, за которыми

последовали полный разгром и долгожданная для русского общества капитуляция имама, что, несомненно, шло в актив Александру II. Эйфория победителя и трезвость прагматика склонили его к великодушию. Немалую роль, безусловно, сыграло и чувство уважения к знаменитому противнику. И, конечно, — к самому себе: унижать прославленного, пусть и поверженного, имама казнью или тюремной клеткой — значило опуститься до мелочного, житейского сведения счетов, недостойного высокой императорской персоны. Не лишенный эстетического инстинкта и политического вкуса, Александр II, по-видимому, не хотел портить триумфальный для себя финал кавказской драмы банальным и некрасивым эпилогом. Не располагали к суровости и смягчившиеся общественные нравы второй половины XIX в.

Перед Шамилем накануне его пленения стояла совершенно иная дилемма: повторить подвиг Казимуллы и тем самым проторить себе дорогу в рай или сложить оружие, по настойчивым просьбам его ближайшего окружения, и ждать приговора судьбы в лице русского царя. Имам выбрал второе не потому, что не хватало мужества для первого: никто никогда не подвергал ни малейшему сомнению наличие в нем этого качества. Дело в другом. На Гунибе, в той безнадежной обстановке, над ним тяготело чувство ответственности за жителей аула — женщин, детей, стариков — за всех тех, кто не хотел умирать вместе с ним. Он уступил их настояниям, в каком-то смысле пожертвовав собой и своей славой, ибо сам факт пленения негибнущего народного вождя нес печать позора. Но однажды решившись на такой шаг, Шамиль готов был до конца испытать горькую чашу поражения и делал это со смиренным достоинством. Чтобы привыкнуть к положению пленника, от имама требовалась огромная сила духа, в сравнении с которой решение погибнуть представлялось более простым выходом. Сразу же после Гуниба Шамиль оказался в крайне незавидной психологической ситуации: позади был позор капитуляции, впереди — полная неизвестность, не предвещавшая, по его мнению, ничего хорошего. Хотя он знал, что таков удел побежденных, и принимал его безропотно, мучительное ожидание изматывало имама. Вскоре духовное напряжение сменилось не менее сильным эмоциональным состоянием — удивлением и растерянностью. Вместо ожидаемой Шамилем кары на него обрушились неслыханные царские милости, совершенно обескуражившие его. Ему не нужно было объяснять, почему врагу мстят кровью, но он не мог уяснить, почему в его случае мстят великодушием и щедростью. Не исключено, что поначалу в этой монаршей заботе Шамилю чудился тайный, иезуитский умысел, нечто вроде обычая откармливать жертвенное животное перед закланием. Вскоре всякие основания для подобных опасений исчезли, однако легче от этого не стало. На склоне лет Шамиль столкнулся с какой-то неведомой логикой человеческого поведения, опрокидывавшей все его прочно устоявшиеся представления о законах взаимоотношений между людьми. В нем начал происходить мучительный и небезопасный для психики перелом, будораживший беспокойные мысли, которые никогда дотол не приходили в голову, и чувства, в которых раньше не было надобности. Если допустить, что Александр II хотел отомстить Шамилю великодушием, то он реализовал этот изощренный план. Для сложной, не чуждой ранимости и впечатлительности натуры имама награды царя порой были хуже наказания, ибо они терзали его совесть, заставляли сомневаться в незыблемых истинах, порождали искушение покаяться. Они невольно лишали Шамиля удовольствия и законного права подвести главные итоги жизни без сожаления и стыда. В принципе Шамилю проще всего было сделать вид, хотя бы перед самим собой, будто ничего не произошло, чтобы не нарушать свой душевный покой проклятыми вопросами бытия. Его почтенные годы и накопившаяся усталость вполне извиняли такой выбор. Но имам, будучи личностью неординарной, нашел в себе мужество для радикальной переоценки ценностей, которая даже в гораздо более молодом возрасте происходит болезненно и требует огромного расхода духовных сил. А тут вдобавок речь шла — ни много ни мало — о пересмотре того, что относилось к смыслу уже прожитой, не подлежащей исправлению жизни.

После поселения в Калуге Шамиль дважды встречался с Александром II и всякий раз возвращался из Петербурга смущенный теплым приемом и царскими щедротами. Мухаммед-Тахир свидетельствовал, что имам покидал императора «скованный и плененный цепями оказанных ему милостей и связанный по рукам путами проявленного в отношении его почтения». Когда он упоминал имя царя, ему стоило труда унять дрожь в голосе. «...Каждая милость Государя, — говорил Шамиль своим калужским

знакомым, — очень, очень для меня дорога, но вместе с тем она режет мое сердце, как самый острый нож: когда я вспоминаю, сколько я зла делал великому Государю и его России и чем он меня теперь за это наказывает, мне стыдно становится, я не могу смотреть на вас и готов закопать себя в землю!» «Бог знает, что я ... прошу у него только двух милостей: здоровья и благоденствия для Государя, а для себя — какого-нибудь случая заслужить его милости и доказать, что я достоин их». В письме к А. И. Барятинскому (декабрь 1862 г.) Шамиль вообще ударяется в чрезмерную патетику: «Время скупое на таких царей!» Получив в октябре 1860 г. известие о кончине государыни императрицы, он обязал своих домашних носить траур.

Удивление имама по поводу неожиданного обращения с ним в России разделяли и те его соотечественники в Дагестане, до которых доходили сообщения о жизни калужского пленника. Учитель Шамиля, почтенный старец Джемалэддин, писал своему знаменитому ученику: «...И желайте добра царю. Мы уже слышали о великом его милосердии и хороших поступках с многочисленными милостями к вам. Несмотря на то, что вы были в отношении его злодеями, с какими благодеяниями он отнесся к вам?! И если он так относится к злодеям, то каковы же поступки его в отношении доброжелателей?!»

После нескольких лет, проведенных в Калуге, Шамиль в апреле 1866 г. обратился к Александру II со следующим посланием: «...Я и моя семья боимся внезапной смерти, прежде чем сумеем доказать покорность тебе, семье твоего дома и всем правителям русским верность наших сердец и чистоту нашего убеждения путем искренней клятвы, в подлинности нашего довольства. О, величайший царь и мой добродетель! Ты победил оружием меня и тех, кто был в моем владении из жителей Кавказа. Ты даровал мне жизнь. Ты обрадовал мое сердце своими благодеяниями над моей чрезмерной старостью, меня, поработанного твоей милостью и щедростью. Я поучаю своих детей тому, что должно быть проявлено ими в отношении русского государства и его великих владетелей, и благовоспитываю их на этом.

Я завещаю им постоянную благодарность тебе за твою бесконечную ко мне милость и распространение известий о ней. Я завещаю им также быть среди искренних подданных русского государства, повинованием приносить пользу их новой родине и служить, не принося ущерба и не изменяя. О царь, окажи милость моей старости, прими присягу от меня с моими детьми в любом городе, в каком только ты пожелаешь, — в Калуге, Москве, Петербурге, — это по твоему благому выбору.

Истинно, мы все поклянемся перед лицом свидетелей в том, что мы желаем находиться в среде искренне преданных тебе подданных в вечной покорности. Я призываю в свидетели Аллаха всевышнего и его посланца Мухаммеда, да будет молитва Аллаха всевышнего над ним и мир, в чистоте моих тайных помыслов в отношении тебя и клянусь в этом Кораном и душой моей дочери Нафисат, умершей в эти дни, которая была для меня из моих детей самой любимой. О царь! Ответь на мою просьбу согласием».

От имени Александра II ответил военный министр Д. А. Милютин, одобрявший решение Шамиля и выразивший уверенность, что российское подданство имама станет «назидательным примером».

Получив это письмо, Шамиль направил царю пространное послание-клятву, смысл и тон которого передает следующая выдержка: «Истинно, я принимаю на себя обязательство в том, что я вместе со своими семьями будем вечными подданными, искренними и покорными славному из славнейших его величеству императору Александру Павловичу, самодержцу всего российского государства».

Немного позже губернатор Калуги в присутствии именитых людей города торжественно принял присягу Шамиля. Обращаясь к этой аудитории, имам сказал: «Я стар, трудами своими не могу доказать Государю и России той истинной преданности, которую чувствую до глубины души моей, но мне остается еще одно счастье: молить Бога, да продлит он жизнь возлюбленного монарха на многие лета, а детей моих научит, чтобы они всеми силами души и тела старались принести новому моему отечеству (подчеркнуто мною. — В. Д.) ту пользу, которой оно ожидает от верных и преданных сынов своих». Кстати, в связи с принятием присяги возник вопрос о «приятном подарке» имаму в знак ответной приязни. Эта проблема весьма озадачивала официальных лиц, в переписке которых подчеркивалась ее особая

деликатность, ибо «всякого рода драгоценности... не доставляют Шамилю, как истинному мюриду, никакого удовольствия».

В 1866 г. на свадьбе царевича Александра Александровича в Петербурге бывший имам произнес на арабском языке речь, оканчивавшуюся словами: «Да будет известно всем и каждому, что старый Шамиль на склоне лет своих жалеет о том, что он не может родиться еще раз, дабы посвятить свою жизнь на служение белому царю, благодеяниями которого он теперь пользуется!»

При наличии, казалось бы, прямых оснований считать поведение имама банальным раболепием, было бы ошибкой поддаваться этому обманчивому искушению. Дело в том, что Шамиль действительно испытывал искреннюю, человеческую благодарность к Александру II и выражал ее в тех стилистических формах, которые являлись обычными для арабско-мусульманского (и вообще восточного) этикета. Внешне они, особенно в глазах наших современников, выглядят излишне цветисто, что и создает ложное впечатление, невольно заставляя видеть в них больше, чем следует. Но таковы были правила общения «на высшем уровне», к сожалению, забытые сегодня.

Не стоит ли нынешним политикам России и Кавказа поучиться филигранному искусству «межличной» дипломатии у того же Шамиля и Александра II? Быть может, именно в неспособности овладеть этой тончайшей и исключительно важной сферой большой политики коренятся истоки чеченской трагедии конца XX века.

С сентября 1859 г. до своей кончины Шамиль вел теплую, дружескую переписку с А. И. Барятинским. В последнем, предсмертном письме (14 января 1871 г. из Медины) он препоручал своих жен и детей великодушным заботам князя, прося его «не отвратить... милосердных взоров» от них, «чтобы они не остались как овцы в пустыне без пастыря». В этом своеобразном завещании имам не забыл еще раз выразить неизменное благодарение государю «за все его явные милости и постоянное внимание». Просьба Шамиля была удовлетворена. После кончины имама его семья не осталась «без пастыря»: на ее содержание российская казна отпустила солидное годовое пособие.

Предъявляя Шамилю даже самый строгий счет, можно сказать, что он достойно и мужественно прошел через все выпавшие на его долю испытания — будь то испытание жестокой Кавказской войной или почетным и комфортным пленом. В сущности, имам не предал ни свои высокие идеалы, ни свой народ, ни самого себя. Исторические обстоятельства, в конце концов, оказались сильнее его, и их с лихвой хватило бы, чтобы оправдать нашего героя. Если бы он нуждался в оправданиях.

Шамиль завершил свой земной путь далеко от России (в Медине¹), но мысли его даже пред ликом вечности пребывали с теми, кого он оставил в этой стране, на полечение своих бывших врагов. Впрочем, не только в этом грустная ирония его удивительной судьбы. Она и в том, что ему, всю жизнь ходившему по скользкому лезвию кинжала, так и не суждено было найти красивую, героическую смерть в священной войне. Имам отошел в мир иной как-то тихо, обыденно и устало, с думами о любимом семействе и благословенном покое под сенью райских кущ. Воистину: никому не дано умереть, кроме как с позволения Аллаха! И, оказывается, вовсе не обязательно — на поле брани...

¹ В 1870 г. русское правительство удовлетворило просьбу Шамиля, позволив ему совершить паломничество в Мекку. Вскоре после осуществления хаджа имам скончался (1871 г.).

Владимир Познер

По ком звонит колокол?



В Москве продолжается процесс над местной общиной Свидетелей Иеговы. Он длится уже около двух лет. Был прерван еще в ноябре прошлого года из-за явной неподготовленности прокурора, затем был возобновлен в феврале, а потом, в начале марта, снова прерван — на этот раз по требованию судьи создать так называемую экспертную комиссию, которая бы подготовила свое мнение, опирающееся на знания в области религиоведения, языкознания, ну и чего-то там еще.

В связи с этим новым перерывом, вызванным, как это понимают уже все, тем, что обвинение явно беспомощно и никакими фактами, свидетельствующими о нарушении закона московской общиной Свидетелей Иеговы, не располагает, защита созвала пресс-конференцию. Она состоялась прямо в здании суда.

Когда я приехал туда, то застал прелюбопытную картину: переминаясь с ноги на ногу, стояли человек семьдесят, среди которых явное большинство составляли «братья и сестры», то есть члены общины. Было несколько журналистов, представлявших информационные агентства России — Итар-ТАСС и Интерфакс, — плюс две телевизионные компании, Рейтер (Великобритания) и Си-Би-Эс (США). Ни одной российской теле- или радиокomпании не было. Равным образом не наблюдалось присутствия каких-либо российских газетных репортеров.

На самой пресс-конференции выступили: адвокат общины, два религиоведа, двое американских представителей Свидетелей Иеговы, двое российских представителей общины, депутат Госдумы Валерий Борщев и ваш покорный слуга. Строго говоря, все выступавшие были лицами, прямо заинтересованными, кроме Борщева и меня.

Я — человек не религиозный. Скорее, атеист, ну, как минимум, агностик. Следовательно, мой приезд и стремление выступить не диктовались соображениями религиозного характера. Более того, я постоянно и публично вступаю в конфликт с церковью, главным образом, с русской православной, но не потому, что имею счёты именно с ней, а потому, что именно она в России главенствует и, на мой взгляд, делает все возможное, чтобы ограничить свободу действия всех прочих религий. В особенности, так называемых «нетрадиционных». Именно она, РПЦ, явилась главным лоббистом закона о свободе совести, который на самом деле является антидемократическим и направлен на борьбу с другими верами.

Попытка запретить московскую общину Свидетелей Иеговы на самом деле является «пробой пера», основанной на этом законе. Если проба окажется удачной, можно не сомневаться, что аналогичные процессы пройдут по городам и весям России, и не только над Свидетелями Иеговы, но и над множеством других общин, которые за счет более умелой, более умной работы отнимают паству у РПЦ.

Повторюсь: я не их сторонник; если бы шел процесс над РПЦ, я бы точно так же выступил в ее защиту. Почему? Да по одной весьма простой и очевидной причине, о которой я уже имел честь писать в этом журнале: потому что я рассматриваю ущемление прав и свобод любого человека, любой группы людей, любой организации как ущемление моих личных прав, моей личной свободы.

Я не стану вновь ссылаться на пастора Мартина Нимолера — те из вас, кто регулярно читают этот журнал, помнят, я надеюсь, его знаменитые и глубоко меня взволновавшие слова. Пожалуй, вспомню своего любимого английского поэта елизаветинской эпохи, в молодости выпивоху, забияку и гуляку, а уж потом священника, доросшего до сана архиепископа Кантерберийского — Джона Донна, чьи слова Эрнест Хемингуэй взял в качестве названия и эпитафии к своему роману «По ком звонит колокол»:

Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа и также, если смоем край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе.

Яснее, кажется, некуда.

Каждый из нас — часть общего, нас все касается, но... с каким же трудом мы усваиваем эту истину!

Я не помню точно, кому писал Вольтер, да и помню-то не наизусть, что он написал, но помню очень близко к тексту: я не согласен с вами, но готов умереть за ваше право выражать свое мнение.

Это все из той же оперы.

Чуть-чуть о другом, хотя и о том же.

Не так давно в Новосибирске учинили погром в местной синагоге. Забрались туда ночью, разбили, разрубили, осквернили все, что смогли. Оставили на стенах соответствующие надписи.

Никакой реакции не последовало. Я не имею в виду — со стороны правоохранительных органов, я имею в виду — со стороны населения «нееврейской национальности».

Не сомневаюсь, что, если бы осквернили точно таким же образом православный храм или мусульманскую мечеть, положение было бы точно таким же: если бы и последовала реакция, то только со стороны непосредственно задетых, со стороны пострадавших.

Степень разобщения людей — не только в нашей стране — огромна, и в ней, по моему убеждению, причина наших самых глубинных бед.

Время от времени судьба дарует нам личностей, которых справедливо называют маяками, людей типа Донна, Вольтера, Нимолера. Мы же, надев темные очки эгоизма и безразличия, делаем вид, что света маяков не замечаем.

И тем самым создаем все предпосылки для того, чтобы самим стать жертвами собственной темноты.

Владимир Леонович

Продолжение диалога

Памяти Игоря Дедкова



Долг погоняет нас, долг!

«И долг русский долг», как писал Владимир Леонович.

*И тридцать костромских лет прошло, и еще сколько-то московских,
может, жизнь прошла, — и все погоняет.*

Там погонял, тут погоняет...

Поистине долг. И неустраним. И прекрасен.

Мы дружили. В Москве в последние его годы виделись редко. Гораздо чаще — в начале семидесятых, когда они с Тamarой и детьми жили в Костроме, а я работал в сельской школе в дальнем Вохомском районе, потом в плотницких бригадах, — восполняя недостаток филологического образования и вылезая из инвалидности послеармейской... Видясь и переписываясь или не видясь и не переписываясь, мы были с Игорем в состоянии диалога и неперенной оглядки, так сказать. Для меня это было благотворно.

Приведенный курсив — зачин его последней, так и не увиденной им книги «Любить? Ненавидеть? Что еще?..». Я стараюсь это состояние диалога длить, а потому, вообразив, что сию минуту под востряковским холмиком он шепчет: «...т а м погонял, т у т погоняет», — и, уверившись, что так оно и есть, переписываю взволновавшие его стихи:

У двух могильных ям я мерз два года кряду.
Неправда, что друзьям т а м ничего не надо.

Висит мусеничок из капельных пылинок.
Осенний паучок настроил паутинок.

И, в сапоги обут, плетешься ты по грязи
среди алмазных пут вот этой смертной связи.

И каждый божий день — поднимаешься зарею —
встречаешь не один: вас двое или трое...

И мил и близок свет, которого не видел...
И вот тебе завет и жизни лишний выдел.

Вошла судьба в судьбу, и долг российский долг —
и ноша на горбу, и дождик, и проселок...

В нас сидело недоосуществленное народничество, поэтому ироничный Дедков — факультетская ирония журналистов — все же находил какие-то высокие слова, отзываясь о моем учительстве. Я же помалкивал о том, что это было бегство, и не первое, от любви, и подвига в этом двухлетнем затворе не было никакого. Подвиг

поневоле не бывает. Если и было что — то в области лирики: бежать было труднее, чем остаться и «победить».

При последнем побеге я оставил в беспорядке свои бумаги; среди того, что захватил, оказалось несколько писем Дедкова. Моих у него много, но Тамара еще не весь архив мужа успела разобрать.

16.06.72

Володя,

я виноват перед Вами. На то письмо Ваше просто так, обычно — отвечать было нельзя, да и отучили меня некие люди доверяться письмам. А потом я так и не написал о книжке, хотя все надеюсь это сделать. Про Шалошниковых, скажем, много легче писать, чем про Вас. А не написав про книжку, не смог написать и письма. Нескладно и суетно. Книжка Сережи у Вас, конечно, есть. Но на всякий случай высыпаю. М. б. подарите кому — хотя бы подательнице сего — вестнице от Вас. Как Вы там задержались так долго и, говорят, думаете задержаться еще? Доброго Вам здоровья и — не сильно ругайте меня. Игорь.

Письмо это — из Костромы в Николу Вохомского р-на. Душное лето пожаров. Да, я остался в школе после того, как мои девятиклассники повисели у меня на шее, а уж совсем было собрался покинуть светелку окном на руину великолепного когда-то Николо-Вознесенского храма. «Некие люди», возможно, раньше Игоря читали мои письма к нему, как читали они мои письма и еще в 55-м году арестовали их адресата: он был «антисоветчик» вполне — я еще нет. Но слезка началась еще тогда. В 57-м году на факультетской вечеринке мой следопыт, а их «источник» пьяно и покаянно рыдал у меня на груди: «Вовка, я за тобой слежу!..» О моей книжке «Во Имя» Дедков вот-вот напишет, одна строка понадобится ему для названия собственной первой книги: «Во все концы дорога далека». Книга Сергея Дрофенко у меня была, мы с Леночкой Аксельрод, стараясь не реветь, составляли ее вскоре после страшной Сережиной смерти. Назвал он ее сам: «Зимнее солнце».

...И зимнего солнца холодный огонь —
Все-все настоящее, русское было...

Дальше у Некрасова — о бессмертных Русских мыслях. Мыслями этими мы ж и л и. Потому так неуютно и сиротливо в его последние годы жить было ему и мне сейчас, когда они осмеяны нынешними нигилистами.

Тем летом 72-го года с девятым классом ушли мы в поход, угадав как раз на каторжный путь Вохма — Павино — Никольск, по которому гнали в тридцатых цвет костромского крестьянства. Угнали — ударенье на первом слоге — бабушку Коли Герасимова, первого ученика в классе, оторвав от ее груди младенца, Колиного отца. Деревенские молодки выкормили... Угнали о. Феодосия, священника и учителя математики, чей сын кочегарил в школе и не просыхал никогда: «Ливмя не льет великая вода / — сочится из небесных тесных сит. / Олеша мало пьет, но пьет всегда, / как этот мелкий дождик моросит...»

19.02.73

Дорогой Володя,

очень благодарен Вам за стихи и за портрет Сережи. Я рад, что Вам иногда приходит в голову написать мне. В стихах Ваших я нахожу очень много близкого, хотя не всегда я понимаю их до слова сразу. Может быть, это и хорошо; я возвращаюсь к ним и делаю это без насилия над собой.

Вашей сосредоточенности я завидую. Ваша жизнь будто не в миру, хотя знаю, что и не без омирщения. Во всяком случае, у Вас будто (будто! — как точно! — В. Л.) больше свободы. Я же очень дорожу Домом и Семейей. Прямо-таки с Большой Буквы.

В ноябре—декабре я долго был в Москве. Из новомировцев видел (и был у него) И. Виноградова. И разных других видеп. Я ведь кое-что полисываю; для газеты — редко. М. б. как-нибудь отвечу тем же — рукописью.

То, что Вы вернулись в эту Николу, поразительно и прекрасно.

«Напишут наши имена...»

Даже если не напишут...

Хочется верить, что человек живет сейчас. И то, что он делает сейчас, важно в абсолютном смысле. Ни для кого, ни для чего — для неба и огромного мира.

Наверное, и у Вас утрами такое солнце, и так хорошо жить. И ни о чем не жалеете, Володя. Но что думает Ваша мама? У мамы болит сердце? За сына.

Всегда Ваш Игорь Д.

Февраль, первые насты, свет. Еще до света я бегу к Вохме, достаю пешню из-под снега, обновляю пролѹбу — польнья откроется потом — ныряю — где мыло? Ага... — снова ныряю... «До полудня — вспомнишь — и хватает / оторопи этой ледяной! / Еле-еле край мой рассветает — / низкорослый, северный, лесной». Портрет Сережи помню, красивый. Его мама Раиса Антоновна и моя дружили, мама лечила Сережу. С ним мы работали в газете «Металлургстрой» на Запсибе... «Много близкого?» — весь XIX век, у меня выборочно и многое поверху, у Игоря основательно. Но мои спецкурсы — Белинский, Герцен. Некрасов — наизусть. «Еду ли ночью по улице темной...» Да, близкое, больше того: родное. Со статьи про Акакия Акакиевича, мне подаренной, начинался, кажется, Игорь как критик. «Напишут наши имена!» — такой пафос редкая вещь у Игоря, тут, правда, улыбка. Но понадобился пафос... Моя свобода с маленькой буквы и его Семья с большой — есть о чем подумать, но эта мысль уведет далеко, оставим ее. А то, что человек «делает сейчас, важно в абсолютном смысле», — максима Игоря, ощущение бытия в быте, в быту, вечное в сегодняшнем дне и сиюминутном делании. Я ему читал: «Мелкие прижизненные хлопоты / по добыче славы и денег / к жизненному опыту / не принадлежат».

Слущкий невольно обнажил тут драму осознанной миссии Дедкова, непременно, чуть не в каждой статье писавшего о *главном*, о том, *во имя чего* вся эта суета и рутина, и прямо говорил или подводил и оставлял читателя перед основной, задушевной целью автора, о котором писал. Или это *благо отечества*, или это нечто совсем другое. Драма состояла в простой антиномии: отдать — взять. Игорю было что отдать и становилось этого все больше — парадокс Руставели...

Важно в абсолютном смысле. Вот и свет тебе на бумагу. И не говори, что ничего от тебя не зависит, и не повторяй «я человек маленький». Не маленький. Зависит. И кончится единоборством, и другого не будет дано.

А строчка о маме... Его тревога о м о е й маме — вот Игорь. Вот что важно в абсолютном смысле. И потому мне так важно было тогда получать такие письма, а сегодня их напечатать.

27.12.73

Дорогой Володя, с Новым годом!

Продолжения всего хорошего, светлого желаю тебе — продолжения Леоновича и Галактиона, с которым ты так славно выглядел и говорил со всех страниц, особенно «Лит. Грузии». Прости, что не отозвался тогда; жена болела, долго лежала в больнице, я крутился с мальчиками и т. п.

Спасибо тебе за присланное, хотя мне и не удалось дать ему ход.

Но ты, должно быть, доволен таким своим участием в юбилее Галактиона? Правда, хорошо, и я порадовался за тебя, т. е. мы порадовались.

Теперь бы тебя издать так и более того.

Не удивляйся объему письма. Прошу, почитай этого человека, вроде бы парень неплохой, не дуб; пишет же, никуда, ни в какие двери не тычась. Скажи, что ты думаешь о нем — кратко, пожалуйста. (Он — здешний.)

Как твоя негрузинская — русская жизнь? Не попадешь ли сюда с (нрзб)?

Всего тебе самого доброго. Привет тебе от моей жены.

Игорь Д.

Я переводил Галактиона Табидзе, вдохновясь его подвигом:

Чей стыд ты искупил, старик, — и в небо?

Семь лет перевожу твой крик: — ТАВИСУПЛЕБА!

Стыд принадлежал толпе русских писателей, топтавших Бориса Пастернака в

октябре 1958 года. В марте 59-го к больному Галактиону пришли мальчишки ГБ с бумагой, где уже красовались чьи-то подписи, чтобы и Галактион Табидзе, первый поэт Грузии, потоптал русского гения, — Галл выкинулся из окна. В молодые годы так звала его жена, Ольга Окуджава. Он и был молод в тот миг 17 марта 1959-го. Потом эти несчастные приходили плакаться к нашему грузинскому «дядьке» Георгию Маргвелашвили... Уже не 7, а 27 лет я вдальбливаю в родной рабский менталитет то, чего никак он не вместит. То, что сделал Галактион, было просто и прекрасно и так же окончательно и ярко, как его стихи: колокола разбивают колокольню! Просто... «Но сложное понятней им» — очень грустное наблюденье Пастернака. Была бы понятна и простительна слабость старого, изработавшегося, увядшего человека: подпишу, только отстаньте. И еще бездна извинительных сложностей. Но тот алмаз *главного*, откуда и игра вся, тот грузинский ж е с т, который есть истина момента и может оказаться истиной навек, — это неслышанно просто! Как ересь, если продолжать Пастернака. Портрет Бориса Леонидовича висел у Игоря в костромской квартире — висит и сейчас в опустелой московской. Игорь понимал, отчего переводить грузинского гения мне было «легко и приятно», что и услышали по телевизору друзья в Костроме. Я переводил: «Где по мраморному алтарю / жилка мерзлая — Черная речка — / Там тебе только нож да овечка. / Слышишь, чернь? Я тебе говорю. / Я тебе говорю: воронье! / Весть о жертве, о жесте высоком / Ты встречаешь желудочным соком. / Ты всегда получаешь свое». Переводы были вольные, так я и писал на форзаце одной из книжек, вышедших в Тбилиси, — в попытке вернуть достоинство этому жанру фантазий или подражаний и проч., что третирировалось как отсебятина теми, кто основной добродетелью считал безличность и послушание — директиве ли, подстрочнику ли...

Да, в этом юбилее я участвовал, и это было оправданно, но прочих официальных восторгов чуждался, а их было немало... «Лит. Грузия» была для некоторых из нас дыхательной соломинкой, этому попускала власть — для отчета перед Западом. А пачка стихов принадлежала Юрию Бекишеву, в котором Дедков не ошибся. Он и Александр Бугров в Костроме, Сергей Потехин в Галиче, Татьяна Иноземцева и Ольга Колова в Парфеньеве, Елена Балашова в Чухломе, Леонид Фролов в Вохме... Игорь знал и этих людей, и многих других. «Отправляясь на областное совещание молодых, — пишет Иноземцева, — я молила Бога, чтобы руководителем семинара был Дедков. Мы, начинающие, отличали его среди других. Если прочие учили профессионализму, то Дедков делал дело куда более серьезное и глубокое: он учил нравственности в литературе... И не только мы, молодые, слушали его, разинув рот».

Книга Бекишева «Сны золотые» только что мне прислана и, как говорят в селе Николе, ошшо не открывана.

17.06.74

Дорогой Володя,

спасибо большое за книжки, за стихи.

Не писал тебе долго, так как сразу после твоего отъезда заболел, и долго было неясно, когда мы отправимся в Щельково. Теперь мы уже здесь. Если у тебя будет возможность, заезжай сюда. (Следует описание пути от Москвы до того дома, где остановились Дедковы. Это дом Виктора Бочкова, зам. директора по научной части. — В. Л.) Приезжай...

Игорь Д.

Нет, не было такой возможности. «Свободная профессия» кабалит крепко. Не помню, какие книги я ему посылал, какие стихи. Но, листая солидную библиографию, составленную работниками Костромской библиотеки, где тридцать лет он осваивал славное прошлое края, читал классиков и периодику, я наткнулся на статью о моих грузинских переводах. Тогда понимал и теперь соображаю: культурному читателю надо было знать и в Костроме и в Чухломе, что это за штука — поэтический перевод, кто такие Отар Чиладзе и Отар Челидзе, Анна Каландадзе и Гиви Гегечкори и о чем такая затейливая книжца «Литературная богема старого Тбилиси». Это теперь ничего никому знать не надо: рухнули национальные редакции в издательствах, которые стали, с воцарением рынка, выживать... из себя, порваны были тонкие и незаменимые связи талантливых людей России и теперешнего «зарубежья». К чести «Дружбы народов»,

она еще держит, как связист под огнем, оборванные концы, пытается протянуть новые ниточки...

Щельково. Там, окончив пединститут, стала работать моя выпускница Нина Большакова. В классе она была одной из «студенток» — сидела на первой парте, конспектировала мои импровизации и приводила меня в смятение, потом их пересказывая. В первом этаже избы-семистенка был интернат — жили дети из обреченных на вымирание деревень, где ни школ, ни магазинов, ни клубов — ничего, а в светелке жил я. Большеглазая маленькая Нина поднималась ко мне каждый вечер, после первых фраз тихонько начинала фыркать в ладошку, потом уже смеялась во весь рот какой-нибудь моей шутке, сама надо мной подтрунивала на тему поварихи Веры, что жила в другой светелке и подкармливала меня. Так и вижу мою ученицу на тропинке через голубое льняное поле, оно ей чуть не по плечи, и представляю ее в окрестностях Щелькова, описанных Игорем: медленная речка в ивняке, ромашковый луг, за ним церковь Николы в Бережках, июньское небо...

Игорь любил, как бы оставляя статью, уходив от нее «на этуды» — отключиться вместе с читателем, передохнуть. Вот его первые минуты в Костроме: раннее лето, все еще цветет... цветастые платья... старушечьи платки... гармонист выводит «На сопках Маньчжурии», догорает костер из прошлогодней листвы...

«Дети играли в лапу. И ловкая девчонка, высоко подпрыгивая, увертывалась от азартно пущенного мяча. Чувство, вдруг охватившее меня, было неожиданным, но знакомым. Когда оно подступает, сердце сжимается, как от любви и жалости к близкому и родному человеку. И еще при этом ощущаешь, как бы угадываешь свою малость в сравнении с тем, что неизмеримо больше тебя, и надежнее, и не знает времени и срока...»

Чувство родины. Мы этих двух слов не произносили, но оба знали, что это н а в с е г д а. И я не рассказывал ему, когда и как это чувство во мне очнулось... Два рассказа умещу здесь в десяток строк.

В огромный дедовский дом на Пастуховской улице съехались все семеро детей и поют Некрасова, поют волжские песни и те еще, что певала бабушка — слышанные ею от народников в юность ее в Кологриве. И самая тут голосистая — мама, известная певунья «Олинька Боголюбская», с шести лет стоявшая на клиросе Воскресенской церкви на Дебре. А я притаился на печи, мне стыдно, что текут непонятно зачем и какие слезы...

Летний день, жарко. На Волге пахнет плотами, ноги вязнут, как в болоте, в размоленной щепе и коре: тут вековые катища, гигантские костры бревен от воды до самой набережной. Захожу, увязая по колено, в воду, а когда зашел по шейку, Волга меня и понесла... Сразу отнялись ноги, я тонул и видел желтую воду и слюдяную верхнюю пленку, выныривал на миг и видел нестерпимо синее небо, плоты, схваченные парной блестящей цепью, лаву и баб на ней, красную школу на берегу. Баба, как была в сапогах, плюхнулась в воду, доплыла, ухватила меня за волосы, вытащила и на берегу отшлепала сердечно... Это теперь я соображаю: могли вместе утонуть. Волга меж плотами бурлила. То В о л г а была, а не череда отстойников, к чему угнетенный человек уже привык. Или нет? И еще я знаю: Бог не захотел, чтобы мы потонули, и на будущее лишил меня страха в положениях, подобных только что описанному. Жива или не жива уж та, что полоскала белье на лаве, увидела мальчишку?..

И сегодня в лица
я вглядываюсь костромских старух —
и каждой, каждой надо поклониться.

Тамара Дедкова принесла мне еще не опубликованные листочки «Дневника». Ага, это для д и а л о г а!

«Я — московский муравей» — это, кажется, из песенки Окуджавы. Приятная песенка. Если бы стали петь «Я — муравей...» или, вообразим, «Я — провинциальный муравей...», то, разумеется, почудилась бы какая-нибудь неприличность и пришло бы в голову, что тут умаляют человеческое достоинство. А вот «московский муравей» — звучит почти гордо.

Окуджаву Игорь любил, ирония — не ему и напоминает мне иронию

Чернышевского: как чихнул да как крякнул великий человек Лев Толстой. Ирония брошена как пригоршня меди — в толпу. И только.

«Осенний муравей олонских кровей / куда-то волочет бревно по кой-то черт. / Тропу свою кропит, цедя последний спирт, / пока мурашник спит, / поскольку холода и хмурый день как ночь... / Зачем бревно волочь неведомо куда / от общежитья прочь? / Иль выйти просто так, с собой наедине, / не может он, чудак, без ноши на спине?» Это стихи — Игорю. Долг... Погоняет... И еще были ему стихи — колесный буксир тащит сплотку вверх по Волге: «Натягивается, провисает, / как в прорву уходит канат. / Костер на откосе мерцает, / светила над Волгой стоят. / Невидимо, бремя какое, / невидимое самому, / он тащит, буксуя и воя, / приветствуя Кострому».

«Без даты», — пишет Тамара на следующем листочке. Опять место диалоговое... Да разве мне одному тут приглашенье к диалогу, и только ли сочувственное? Все мелькает и все пролистывается.

По журналу мод можно одеваться, но — оказывается — можно и жить. Всякий раз ты заново вписываешься в изменчивый интерьер времени, и эта гармония повышает твои шансы на успех. По Костроме водят и возят туристов. Люди как люди: есть свободное время, есть любопытство, есть деньги. Сегодня в продаже: иконы...надцатого века, Россия, деревянные церкви, лапти, горшки и горшочки, святая Русь и белоснежные березы, златоглавый Ипатий.

Сегодня в продаже Россия — не слабо сказано?

Это на внешний рынок. А что у нас внутри в аспекте нравственно-историческом? В клубе смотрят «видуху». Казна вроде ни при чем, умыла руки. Вот где «пилатчина», Михаил Афанасьевич! У казны руки заняты делом. Но в Николе-селе кто-то недоволен происходящим. Некрасовская Саша сидит в секс-порно-клубе — что-то приключится с ней дальше?

Казна давала пенки... Но это коленкор
другой — пишу Губенке как мыслящий селькор.
Поплатится натурой за непотребный мрак
не тронутый культурой российский молодец.
И вот какая тонкость какой иглой блестит:
сперва убили совесть — теперь изводят стыд.
Вот замысел программный. За стыд, за совесть — на
кусочек свободы срамной, несчастная страна!

Записи в третьем лице... Со стороны: каков он, который я? Записи ad se ipsum — во втором лице:

Был миг, ты подумал, как хорошо-то быть там и там — своим, там и там, в Зальцбурге или Лодзи, где угодно, — идти, держать за руки детей, жить — гражданином мира, беспаспортным, фантастическим человеком, пересекающим безграничное пространство — легко и без цели, потому что жизнь — не цель, а счастье присутствия — одновременного — с родными и близкими — здесь и сейчас.

Был такой миг, пришло же в голову, что ты вот мог бы «там и там» быть, и тотчас на месте «мог бы» возникла Невозможность, абсолютная, горчайшая, и ты понес ее в себе, как занозу, но — души.

Так несерьезно было это «мог бы» — игра, каприз воображенья, но — платишь тихой болью, похожей на ту, что сопутствует мысли о смерти: равная Невозможность — избежать и достигнуть.

А мне, как Юре Бекишеву, тоже сон снился — один и тот же, но не золотой... Разоблачили меня и выдворили за рубеж. И вот ползу я обратно, ночью, через нейтральную полосу, и вот зашарил по кустам прожектор, а я на голом месте, и вот свет в упор, и я просыпаюсь — то ли на этом, то ли на том свете... Да я об этом писал, а ты читал: книжка «Явь» вышла в черном 93-м году — тебе еще два года жить оставалось. Но в Москве мы мало говорили, будучи оба несколько не в своей тарелке. Ты как-то пришел со стопкой журналов — редактором стал Пьецух, ты отказался — и теперь обозревал содержание «ДН» за год, говорил слова, и говорило те же слова, и больше, твое лицо. Дошел до меня: «...тексты этого автора... всегда...» Не помню слов, а лицо помню. Совершенно родное. Ну можно ли, позволительно ли нам умирать в таких-то долгах!..

Сам не заметил, как сбился на письмо Игорю.

Еще не были Игорь и Тамара мужем и женой, это было время писем:

Я был глуп и не сомневался, что письма читают только те, кому они адресованы. И я не таился...

Почему-то я вспомнил сегодня (запись 70-х лет, дата не проставлена. — В. Л.), что о н и прочли — чуть ли не каждый день, верно, читали! — в этом заключалась существенная часть их ответственной службы по охране государства и партии, — о н и прочли, может быть, все до единого наши с тобой письма... Наверно, они вдоволь посмеялись и вдоволь надругались над нами, над нашими словами.

Мне кажется, презрение к н и м похоже на тяжелый жидкий металл, тяжелее свинца, который надо как балласт залить в трюм — пусть стрелой ляжет по килю от носа до кормы. Эта тяжесть не подведет, судно будет устойчиво. Такую тяжесть я чувствовал в разговорах с Булатом Окуджавой. Его «корабль» глубоко сидел... И вот резюме Дедкова:

А о н и пусть продолжают читать, на то и грамота, на то и страх, они продолжают бояться.

Я читал Игорю:

Железными гвоздями в меня вбивали страх.
С разбитыми костями я уползал впотьмах.

Но призрак Чести вырос, как статуя во мгле:
вернулся я и выгрыз позорный след в земле.

И стал я набираться железных этих сил...
И стал м е н я бояться т о т, кто меня гвоздил.

А мне теперь, ей-богу, не много чести в том,
и радости не много в бесстрашии моем.

Давние стихи, не пропущенные цензурой. Перед Игорем у меня было преимущество «битого» непосредственно. А уж давал он за меня или не давал «двух небитых», не знаю. В одной главной... ну, в одной из главных мыслей мы сходились. На недавнем собрании «шестидесятников», которое устроил Игорь Виноградов, Анатолий Стреляный говорил не без упрека, что Дедков верил в «хороший социализм» и с этой верой, «расстроенный и ожесточенный, сошел в могилу». Эти слова я записал, а теперь хочется спросить оратора, верит ли он в «хороший» рынок в России, да и в любую «хорошую» формацию — в монархию, например, с Никитой Михалковым на троне? «Циника я предпочитаю романтику», — еще и так он сказал, но я не нахожу до сих пор положения, где это преимущество было бы бесспорным. Циник — хам по определению, позволяющий себе топтать чужие верования... Нет, увольте от такого предпочтения. Пушкин вразумлял младшего брата: думай о людях самое худшее, это избавит тебя от тяжелых разочарований... Подозреваю, что это правило годилось для подготовительного класса: Левушка только-только вступал в жизнь «света», и надо было предупредить юношу о ч е р н и. Цинический совет исходил от романтика, оставившего нам заповедь доверия к людям. У с и л и е м в е р ы он мог опровергать даже свершившийся факт жизни, ревизуя, по-видимому, обстоятельства сего последнего.

Оставь герою сердце — какая русская заповедь! Как без нее прожить в стране воря и жулья сверху донизу? Романтизм тут — прямое милосердие, а уж мастером милосердия Пушкин был отменным!

Среди Тамариных листочков — характерным Игоревым почерком с наклоном влево:

В застольном слове о Пушкине, произнесенном 7 июня 1880 года... Островский, подчеркнув, что будет говорить не как ученый человек, а как человек убежденный, сказал, в частности:

«Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть...»

Пушкин «завещал нам искренность, самобытность, он завещал каждому быть

самим собой, он дал всякой оригинальности смелость, дал смелость русскому писателю быть русским».

Кострома моего детства: с вокзала идешь через кладбище, где сохранным еще лежал мой дед, известный далеко по губернии фельдшер Алексей Васильевич Боголюбский, автор двух книг по своей специальности. Потом кладбищенские кости перемешал жилой квартал. Спускаешься к Черной речке, оставляя по правую руку расположение 3-го ЛАУ, где мама лечит курсантов, ругает щеголей — там много было «сынков», форсивших в хроне или в ботиночках, а морозу только того и надо. В чем ходил курсант Солженицын? Заходил ли вообще в санчасть?

Идешь по Советской мимо тюрьмы — оттуда слышна веселая песня. Советская, которая становится и все никак не станет, судя по табличкам, Русиной, была еще в булыжниках, на булыжниках — слой навоза. «Лошадь — враг социализма». Ну, если так, то мы с Игорем тем более за социализм с лошады и навозом: много земель поистошилось без него... По правую руку — больница, где озорной мой дед пользовал молодух — разные тут недуги и разговоры тут разные. Бабушке нашептывали: «Погуливает твой-то...» На что полная достоинства многодетная Александра Андреевна отвечала: «Нагуляется Иван, останется и нам». Дальше по правую руку — библиотека имени Крупской. Под вывеской этой здание живет до сих пор — несмотря на газетную кампанию, имевшую целью разобраться, кто есть кто, и дать библиотеке имя Дедкова: 30 лет работал он там...

Советская-Русина выводит на площадь. Здесь много неба, и за знаменитыми костромскими рядами ничего не торчит возмутительного. Запись Т. Дедковой: «Игорь был среди тех, кто отстоял самый центр Костромы от нелепой застройки. Баландин (секретарь обкома), взяв в пример Ярославль, надумал поставить новое десятиэтажное здание обкома партии. И где? На месте бывшего собора на высоком берегу Волги... Старики костромские — архитекторы, реставраторы — взяли в поддержку свою Дедкова, его тогда уже известное имя. Писали в ЦК, повсюду...» Успенского собора, утраченного весь берег, давно уж нет. На этом месте парк, а чуть подальше — огромный чугунный Ленин, которого догадливые люди водрузили на чужой постамент: здесь должен был трепетать крыльями двуглавый орел. Гранитное сооружение, весьма помпезное и вычурное, воздвигнуто было к 1913 году, к празднику 300-летия династии. Что же в итоге? Ч е м у памятник?

К нему чуть было не приспособили имя Ленин-на-Волге — так хотели перекрестить Кострому, но возвышаться стал другой вождь, и беда миновала. Книга Виктора Бочкова о костромских улицах читается как драма и полна сочувствия к тем, кто живет на Базовой, Газетной, Дорожной, Интернатской, Коллективной, Линейной, Овощной, Силикатной, Торфяной, Участковой, на Кишбазе, наконец. Тяжелым утюгом гладят и гладят костромичам мозги: возлюби родную серость, перестань слышать слово! По-над Волгой идущая исконная Нижняя Дебря, так же как Русина, еще продолжает бороться с цепким названием Кооперации... И как тут не сказать, что моя книжка «Нижняя Дебря» вышла в Москве в 1983 году? Стучите — и откроют вам. Но если внутри спят? «Спи, кто может...» Словами Некрасова я пытался будить земляков, затеяв газетную м и р н у ю б е с е д у на историко-литературно-нравственно-психологические темы, привязанные к двум конкретным именам: Дедкова и Крупской. Что же вышло? Да, дорогой читатель, вышел базар. Утюгом сплющенные мозги не хотят принимать знания. И ни о чем не говорит человеку, лишенному воображения и памяти, что улица Яна Кульпе, председателя Костромской губЧК с 1918 по 1923-й, ведет от улицы Крупской прямехонько к пустырю и песчаному карьеру.

В свое время Надежда Константиновна вдохновляла чистки библиотек, боролась с детской сказкой, с приключенческой книгой, была причастна к Указу ЦИК-СНК от 07.04.35 г., позволявшему расстреливать 12-летних «врагов»...

Спите, товарищи, спите,
кто ваш покой отберет?..

В еще не опубликованных беседах Флоренского с художницей Н. Я. Симонович-Ефимовой я прочел такую фразу (не ставлю кавычек, не надеясь на память): конечно, не знать — большой грех, но не желать знать — уже преступление.

Прекрасные часы — библиотечные штудии Дедкова. Один только пример. Журналист Михаил Меньшиков, 80 лет назад расстрелянный красными сотрудник «Нового времени», «верный сторожевой пес царской черной сотни» в оценке Ленина, в оценке Дедкова выглядит иначе. Игорь не поверил, что Меньшиков «выброшен на свалку истории», у Игоря возникло опасение произвола и клеветы. Этот «враг трудящихся» пишет: «У русского простонародья недостаток питания, одежды, топлива и элементарной культуры». В стране «постыдная, нигде в свете не встречаемая детская смертность». «Из трех парней трудно выбрать одного, вполне годного для армии... От худо кормленных и плохо работающих, недоедающих и переливающих мужиков нельзя ждать здорового потомства». «Недоедание внизу, переедание наверху...» Еще «враг трудящихся» так о них говорит: «Столь огромный, добрый, даровитый народ, каков наш, приносит безмерные жертвы, чтобы содержать культуру... имеет право требовать от образованного круга, чтобы он был действительно образованным, чтобы благородство духа, вкус и здравый смысл поддерживались бы неизменно на той высоте, какая доказана как возможная». И следует едкий дедковский абзац:

Но оставим эту тему как не отвечающую господствующим веяниям дня. В ней запечатлены старые, изживаемые представления об отношениях народа и культуры, народа и интеллигенции. Другой вопрос, удастся ли их изжить, заместив благородство духа благородством коммерции? Или тогда мы станем какой-то другой страной, которая сама себя не узнает?..

Эти выдержки — из последней книги, это открытая боль Игоря Дедкова, великого гражданина посреди нашей смуты, как совершенно справедливо назвал его Сергей Яковлев.

Входите тесными вратами...

Эти врата называются е д и н о б о р с т в о м. Бесспорные привилегии — знание, совесть, мужество — оставляют человека в конце концов наедине с эпохой и ее господствующей векторной силой — равнодействующей множества малых, мелких и мельчайших составляющих сил и силенок. Одно из любимых слов Дедкова — *главное*. С главной силой времени оказался он наедине и в отношениях немирных. Исход был ясен и предвиден моим прекрасным другом уже давно. Это прочитывается в нескольких местах. И уже в последней книге он повторяет пережитое еще двадцать с лишним лет назад при чтении сёминского «Нагрудного знака ОСТ». Не любя риторики, Игорь заслоняется цитатой — но какой! «...Даже если бы осуществился самый жуткий бред, и только кто-то один, на самом краю света... ценой жизни победил бы грозные обстоятельства, то это и было бы человеческой мерой». Не «героизм», не «подвиг» — норма. А если «только один» — что ж поделаться!

В 1938 году немцы вступили в притихшую Чехию. На пустынной дороге их встретил чешский офицер, приказавший солдатам уйти в лес. Быть может, он хорошо учился, сидел в библиотеках...

«Понесена
Добрая весть,
Что спасена
Чешская честь».

Это Цветаева.

Закончу вопросом Дедкова:

«Так что же возможно и что невозможно? Что по силам человеку в дурных, грозных, калечащих его обстоятельствах?..»

Андрей Турков

В защиту поэзии и поэтов

Осенью 1956 года на вечере, посвященном творчеству Павла Антокольского, Вениамин Каверин, напомнив известное выражение: «Юбилей — это день заслуженных преувеличений», сказал, что наша литература в минувшие десятилетия знала много незаслуженных преуменьшений, и поэтому ему особенно хочется сказать юбиляру доброе слово, даже, как весело добавил сам еще не вошедший в столь «торжественный» возраст Вениамин Александрович, похвастаться им, как мальчишка — старшим братом.

Почти полвека минуло, и бесконечно много переменялось с той поры. Не только незаслуженно преуменьшенные, но и просто ославленные или начисто вымаранные из тогдашних курсов истории литературы имена взошли в зенит славы. И все же не без причины припомнился мне вышеописанный эпизод при чтении книги Владимира Корнилова «Покуда над стихами плачут...».

И не потому только, что, если переиначить давно сказанное, пришли иные времена, ушли другие имена — или, уж во всяком случае, в свою очередь преуменьшены. Ныне и вся поэзия вкуче с остальной художественной литературой уже не пользуется прежней популярностью. Как говорится во вступлении к книге, «в силу разного рода причин стихи сейчас читают все меньше и меньше».

Конечно, среди этих причин есть такие горестно-серьезные, грубо и пронижительно «материальные», что подумаешь о них — и язык не повернется укорить «отступников». Если уж, по известной поговорке, голодное брюхо к учению глухо, то больше ли шансов быть услышанной у «изящной словесности»?!

Однако есть и другие, куда менее уважительные причины — от стойкого равнодушия к литературе, усвоенного еще

со школьных лет, часто не без помощи унылых или попросту невежественных учителей, до всевозрастающего наступления пресловутой массовой культуры, буквально до зубов оснащенной самой новейшей техникой. Среди армии юнцов в наушниках и с плеерами вряд ли сыщется хоть один, на чьей кассете — стихи.

И есть что-то почти донкихотское в заявленном в первых же строках книги Корнилова желании «пробудить любовь к стихам» у старшеклассников и у их учителей. Легко себе представить иронические ухмылки, которыми могут быть встречены слова автора: «Если время стихов действительно уходит, то этот уход грозит великими бедствиями». Найдутся и остряки, ернически преобразующие название первой части книги («Что такое стихи»), — «Что такое?? Стихи?!» Нашел, мол, о чем писать! Небось, втайне и сам понимает, что — безнадега. Вот и, даря книгу литератору-ровеснику, надписал: «На память о нашем давно прошедшем». Словом, как в стихах одного из его любимых поэтов: «Он кажется мамонтом. / Он вышел из моды. Он знает — нельзя: / Прошли времена и — безграмотно».

Остроты — остротами, но хочется думать, что, даже бегло пролистав эту книгу и вволю потрунив над ее названием («ну кто ж над стихами плачет в наше-то время!»), безусые скептики все же учуют ее особый «звук», тон — открытость и откровенность, непохожесть на обычную популяризаторскую продукцию, к которой можно бы отнести ее на первый, поверхностный взгляд, руководствуясь оглавлением: «Что такое стихи... Кто такие поэты...»

Да, в книге стихотворца-практика, как целомудренно аттестует себя автор, не желая поминать всуе высокое слово «поэт», есть главы «Рифма», «Ритм и размер»,

«Интонация», но приводимые в них стихи отнюдь не выглядят лишь как иллюстрация, как пример. Их строки начинают жить своей жизнью, обрастают ассоциациями, размышлениями, воспоминаниями, полемическими замечаниями, даже публицистическими «репликами» по злободневным вопросам, наконец — собственными авторскими стихами на затронутые темы. В такой же манере написаны и «портреты» отечественных поэтов — от Державина до Слуцкого. Корнилов считает нужным характерно оговориться, что его рассказ о них «далек от беспристрастности, и в нем ума *холодных наблюдений* меньше, чем *сердце горестных замет*». И тут неохота даже упрекать автора в излишней скромности, потому что в книге и впрямь царят неподдельная любовь к литературе, к поэтам, восторг от их удач и горечь от «грехопадений», редкостная искренность и прямота в оценках и самооценках: мало у кого можно встретить, к примеру, упоминание об «одной статье (которой нынче стыжусь)», — и ведь не было в ней ничего поистине постыдного, просто теперь автор иначе трактует позднее творчество Заболоцкого и досадует на свою былую категоричность. В некоторых его суждениях прорывается свойственная ему с юных лет горячность (например, в оценке стихов Исаковского о Сталине).

Биография, подобная корниловской (активнейшее участие в протестах против былых позорных акций вроде суда над Даниэлем и Синявским, исключение из писательского союза), кому другому могла «подсказать» особую резкость и безапелляционность в суждениях об иных собратях. Однако в книге преобладает благородная объективность, последовательно противостоящая очередным «преуменьшениям». По его убеждению, «рассуждая об отношениях интеллигенции и диктатуры, опасно прибегать к «вселенской смази». Это высказано в статье о Николае Тихонове, достаточно жесткой, но завершающейся на примечательной ноте: «Многое из того, что случилось с Тихоновым потом, вспоминать не хочется. К чему лишний раз укорять поэта должностями и регалиями? Несмотря на них, его стихи останутся в русской поэзии. Лучшие из них замечательны...» Там же говорится, что «при всех роковых ошибках, заблуждениях и слабостях трагически мятущегося Горького нельзя его равнять с Алексеем Толстым, натурой столь же талантливой, сколь циничной». Вступается

Корнилов и за Багрицкого, которого «так упорно поносили», и его «Думу про Опанаса» — «поэму великой жалости, поэму исторической безысходности, в которой оказались все ее персонажи и прежде всего главный герой...». И, даже предъявив самый беспощадный счет «агитатору, горлану-главарю», автору «может быть, самой сервильной поэмы двадцатого века — «Хорошо!», которую, едва она появилась, перекрестили в «Хорошо-с», призывает не забывать о «звонкой силе поэта»: «...набат его стиха был прямо-таки державинский, перво-зданный... Жаль, что девять десятых написанного Маяковским погублено разного рода рассуждениями о вреде или пользе, но даже в этих девяти десятых гул строк побеждает их риторику». Холодно относись к Некрасову, Корнилов тем не менее «смиряет себя, становясь на горло собственной» антипатии, и завершает главу о нем пространной цитатой из воспоминаний Бориса Слуцкого о «новых неслыханных ни у кого других звуках» некрасовской поэзии и о своей «длящейся всю жизнь любви» к ней.

С другой стороны, и те, кто автору книги особенно дорог и близок, кого он мог бы, подобно тому же Слуцкому, назвать: «мои старики, мои боги, мои педагоги», вовсе не имеют в его лице слепого, неизменно восторженного поклонника и последователя. Пронеся сквозь всю свою жизнь любовь к Ахматовой, посвящая ей стихи, да и в этой книге обращаясь к ее стихам, мыслям, примеру поведения в жизни, пожалуй, больше, чем к чьим-либо другим, Корнилов не умалчивает о своих несогласиях и спорах с ней, например с некоторыми ее суждениями о Блоке и Цветаевой (притом, что и у него самого немало претензий к последней, быть может, в свою очередь не всегда справедливых). И главу «Великие антагонистки» завершает словами: «Не берусь измерить, чье горе — цветаевское или ахматовское — глубже, как не отвечу, чей дар выше... Будем же благодарны их несхожести...»

Другая вечная корниловская любовь — Пастернак, тоже отчасти запечатленный в книге и пером мемуариста, сохранившего несколько примечательных реплик Бориса Леонидовича («Каждая фраза строит глазки», — отозвался он об одной повести Леонида Леонова). Однако и в его творчестве автор книги не все принимает, весьма критически отзываясь, например, о некоторых произведениях военных лет:

«...Стих, несмотря на всю свою внешнюю свободу и замечательную звучность, в лучшем случае легковесен... восторг Пастернака искренен, но исторического чутья в них ни на йоту. Хочется спросить поэта его же словами (адресованными Маяковскому. — А. Т.):

Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

И, едва ли не лучшая, глава — о Борисе Слуцком, чьей строкой озаглавлена вся книга, — проникновенный рассказ о его жизни и стихах, представляющий мне внутренне созвучным, родственным строкам, которыми тот оплакивал погибших друзей, — тоже лишена какой-либо «ретуши», когда дело касается его живучих иллюзий или злосчастного выступления на собрании, посвященном «делу» Пастернака.

А последний «комплимент» книге Владимира Корнилова хочу начать с... полемики с автором. В «некрасовской» главе он вспоминает, как «в школе нам... в основном талдычили о социальных мотивах», и замечает: «А ведь стихам куда больше социальных мотивов необходимо волшебство, красота, языковое чудо». И не в том дело, что сказанное несправедливо по отношению к советской школе (увы, во многом справедливо) или что «социальные мотивы» нужнее таланта или красоты. Но не слишком уж часто в последние годы нам, так сказать, в пику «проклятому прошлому» усердно талдычат совсем иное: будто эти «мотивы» — вообще нечто лишнее для искусства?

Когда Альбер Камю в недавно опубликованном письме признавался Пастернаку, что «был бы ничем без русского XIX века», неужели «социальные

мотивы» Гоголя, Толстого, Достоевского тут вовсе ни при чем?

Да и одна из притягательных черт книги самого Корнилова — нередкий «выход» за пределы «чисто литературного» разговора и то, что здесь «сердца горестные заметы» касаются острейших проблем прошлого и настоящего и недвусмысленно свидетельствуют об отношении автора и к нынешнему «периоду Большого Хапка», как он брезгливо выразился, и к некоторым новомодным (а в сущности — куда как устарелым!) политическим «рецептам. Так, упомянув о броском лозунге «вперед к Пушкину», Корнилов замечает: «Собственно, этот лозунг так же ничем не наполнен, как призыв нынешних дней возродить Россию. Кроме того, что не слишком ясно, какую именно Россию надо возрождать, он еще и внеисторичен. Россия следует не возрождать, ей нужно помочь выкарабкаться из развалин прошлого...» С этим перекликается сказанное в главах об Иннокентии Анненском («...что такое самодержавие, он понимал отлично; в то время никто из здравомыслящих и порядочных людей не строил себе на этот счет иллюзий») и о Блоке («Из семидесятилетнего коммунистического рабства или из сегодняшнего развала режим Николая II, возможно, кое-кому и покажется привлекательным, но Блоку и его либеральным современникам сравнивать царизм было не с чем, и они его откровенно презирали»).

«Эмоциональное оскудение» людей, которого страшится Владимир Корнилов и которое во многом побудило его написать свою книгу, — вполне реальная опасность в наш «прагматический» век, и все, что сопротивляется, противодействует этому, — благо и заслуживает живой благодарности.

П. Басинский

Юроды и уроды

Борис Евсеев, сорокалетний прозаик, проживающий недалеко от старинного Радонежа под Москвой, принадлежит к той редчайшей нынче породе русских писателей,

которые свою «русскость» не декларируют, но выражают судьбой и стилем. О судьбе Бориса Евсеева мне известно немногое, но этого вполне достаточно, чтобы

проникнуться к ней уважением. Он классический правдоискатель, то есть человек, органически не способный делать на своем инакомыслии (опять-таки органическом) какую-либо карьеру. Мне известно, что он в свое время «пострадал», но известно ровно настолько, чтобы понять: не стоит расспрашивать человека дальше, его инакомыслие — его личное дело. И пусть это растворяется в писательстве, а не в устном (либо публицистическом, что почти одно и то же) слове. Вообще: говорить о судьбе при живом человеке — не очень верно.

Вернее говорить о стиле. Борис Евсеев принадлежит опять-таки к редчайшей породе «работников со словом». Это означает, что слово не служит для него простым передаточным звеном между пишущим и читающим, но в то же время не становится и забавой в руках пишущего. Тем более он не испытывает к слову тот садомазохистский «интерес», когда выламываются суставы русской речи (этого, по выражению Бунина, бессмертного дара), и все — ради достижения одинокого эстетического сладострастия. Разумеется, этим сладострастьем может заражаться и читающий. Но это еще не делает его «читателем», но только «проходящим» рядом с текстом или, в крайнем случае, кратковременным соучастником расправы со словом, за которую «проходящий» не несет ответственности. Его «соблазнили», «заинтересовали» — ну и ладно...

Сначала меня поразил рассказ «Баран», напечатанный в прошлом году в «Новом мире». В общем контексте новомирской прозы, очень часто папахивающей нафталином, этот рассказ был страшно современным. Именно страшно, потому что Борису Евсееву вдруг удалось передать жуткое ощущение опасности, розлитой в воздухе времени. Опасности, вот именно логически не объяснимой, когда не знаешь, что может случиться в следующую минуту, а в то же время понимаешь, что может случиться все, что угодно. Рассказ был о жертвенном баране, убежавшем в Москве от кавказцев. Беглец возвратился в свои горы, а вот гонявшиеся за ним кавказцы полегли под пулями владельца казино. История невероятная, но мне совершенно ясно, что она непридуманная. Или — придуманная ровно настолько, чтобы остаться куском подлинной реальности. Поразило еще — лексическое богатство вещи. Ни одного затертого, проходного слова! Словесное богатство, пожалуй, даже избыточное для пространства одного-единственного рассказа. Но эта избыточность, эта нерасчетливость явно указывали

на то, что автор просто не избалован печатным пространством (то есть, грубо говоря, его долго не печатали). Он «настоялся». Именно «настоялся», не «застоялся» — громадная разница! Повесть «Юрод», опубликованная в питерско-московском малотиражном журнале «Постскриптум», подтвердила это впечатление. «Юрод» — о войне сумасшедших против юродивых. Весь мир поделился на юродивых и сумасшедших, на юродов и уродов. Картина мрачноватая, в духе Леонида Андреева. Но напрасно в редакционном «постскрипту» ее назвали «сказкой». Это не «сказка», но очень точная художественная диагностика реальности. Никакие постмодернистские теории никогда не опровергнут антиномической расколотости мира. Бог и дьявол. Добро и зло. Верх и низ. Можно и нельзя. Чтобы от этого избавиться, надо стать уродом, то есть искривить нравственное зрение. Но и это будет только иллюзией, кратковременной отсрочкой прозрения. Но всякая отсрочка губительна. Никакие магические пассы и скошенные глаза не спасут Хому Брута от неизбежного столкновения со злом лоб в лоб. Зло «играет» до поры до времени, затем просто «поднимает веки». Однако ж Борис Евсеев не был бы истинно современным писателем, если б в качестве альтернативы злу предложил эдакого Павку Корчагина от добра. Это было бы прежде всего неправдой. Он находит в русской истории куда более верное средство против уродства — юродство. В рамках небольшой статьи нет возможности подробно об этом распространяться. Достаточно сказать, что юродство как формула духовного спасения вовсе не есть нечто старое, сугубо историческое. Значительных юродивых в XX веке оказалось едва ли не больше, чем в XIX. В юродивые уходили епископы, как это сделал, например, отец Варнава (Беляев), автор капитальнейшего труда «Основы искусства святости». Оттенок юродства несомненно виден и в жизни позднего Толстого, и в поведении многих советских писателей (Шаламов, Глазков, Пастернак).

В повести Бориса Евсеева, как и в «Баране», происходят невероятные события. Например, одним из ключевых персонажей является зомбированный петух-киллер. Примерно половина сюжета отводится психиатрической клинике, являющейся частью всемирного «заговора» уродов против юродов.

Все это было бы очень сомнительным, если бы не художественный талант Бориса Евсеева, способного виртуозно реализо-

вывать в образах самые дерзкие метафизические намеки и параллели. И даже если читатель не пожелает в них «вчитываться», не останется в дураках. Он прочтет грустную историю о том, как трудно идет к

христианской вере обычный московский человек. Сколько опасностей стоит на его пути. Сколько темного, но и светлого в современной жизни.

Игорь Кузнецов

Глазами постороннего

Всякое время, если только оно не обладает каким-то особенно свирепым оскалом, оставляет человеку довольно широкую свободу выбора. Тем, кому сегодня хотя бы немного за тридцать, еще хорошо памяты последние «застойные» годы, вялотекущие и словно бы окутанные вечным туманом. В этом туманном состоянии были и свои прелести — женщины тогда в большинстве своем не требовали от мужчин «социальной успешности», человеку творческому вполне достаточно было известности в самых узких кругах, на скромную (и вполне достойную) жизнь легко было заработать, подвизаясь сторожем, дворником или инженером в каком-нибудь НИИ.

На переходе же от конца 80-х к началу 90-х, казалось, все изменилось: открылись вдруг все стороны света, вчерашние инженеры и поэты бросились зарабатывать деньги — возможности выглядели для всех равными. Но как-то уж очень быстро все вернулось на круги своя — только социальное расслоение теперь слишком явно бросалось в глаза. На этой «неокапиталистической» почве бурным цветом расцвела жанровая литература (женский роман, детектив-триллер) — для нее столь «неравноправное» состояние общества явилось прекрасным питательным бульоном. В литературе же «нормальной» по отношению к бурной современности преобладал тон ироническо-сатирический, будто бы писатели и так довольно искореженную действительность рассматривали исключительно в отражениях кривых зеркал.

Однако в самое последнее время наступил, кажется, определенный перелом — точка зрения изменилась, хихикать поднадоело, захотелось на все происходя-

щее посмотреть трезвым спокойным взглядом. И оказалось, что та самая современность, коя выплескивается на нас с телеэкранов и газетных полос, вполне может служить «материалом для творения» (особенно если учитывать при том личный опыт «выживания», философически и художественно переосмысленный).

Представляется вовсе не случайным появление почти одновременно трех романов на «новорусскую» тему («новорусскую» прежде всего в том смысле, что речь идет о новой русской жизни, в которой все смешалось: богатство и бедность, подлость и благородство, свобода и необходимость). Хочется верить, что сам факт их появления симптоматичен — что-то главное в мире устоялось и жизнь потихоньку налаживается (хотя бы как в известном анекдоте). Речь идет о «Самоучках» Антона Уткина, «Даре слова» Эргали Гера и «Свободе» Михаила Бутова.

В узко-привычном смысле роман Михаила Бутова наименее «новорусский»: среди действующих лиц нет супермиллионеров, живущих в роскошных апартаментах и разъезжающих по Первопрестольной в джипах и шестисотых «мерседесах». То есть они, конечно, существуют (куда же им деться?), но где-то за кадром, почти вне сферы жизни и размышлений главного героя, от лица которого и ведется повествование. Но в то же время — в более или менее «чистом» варианте — в романе представлены основные «модели поведения», из которых может выбирать современный российский мужчина «в расцвете лет», то есть уже обремененный немалым жизненным опытом, но еще не растерявший окончательно жизненные силы.

Главный герой, уволенный с работы, некоторое время пытается войти с

реальностью в какие-то понятные (и отчасти знакомые по прежней жизни) отношения: подрабатывает погрузочными халтурами, служит сторожем, параллельно приторговывая фальшивыми иконами. И это его вроде бы вполне устраивало, ибо «забота о хлебе насущном еще казалась по старой памяти попечением слишком непламенным и потому — постыдным». Но — на смену одной эпохе уже приходила иная, и «непредсказуемая судьба сделала пируэт». Настоятель одной из возрождающихся церковей предложил издавать книги под маркой своего прихода. Герой рьяно взялся за дело, но вскоре выяснилось, что издавать книги гораздо легче, чем их продавать. Таким образом, героя и из церкви попросили. Приятель-дьякон, посоветовав не переживать, со знанием дела заявил: «Бог кому захочет — он и в окошко подаст». По словам дьякона и вышло.

Первым делом под расчет герой получает очень приличную сумму денег. Была у него и крыша над головой — друг-гляциолог отправился в экспедицию в Антарктиду и оставил на попечение квартиру. Накупив дешевых продуктов долгого хранения, оставшиеся деньги герой обменял у соседа на доллары. Так и началось его новое существование — почти вне времени и в пространстве, по большей части ограниченном стенами квартиры.

Наступила эдакая натурфилософическая праздность в своеобразном и почти мирном симбиозе с иными обитателями квартиры — тараканами, мышами и крысами (эти, самые неприятные, по счастью, возникали лишь в полуфантомном виде, причиняя страдания скорее психологического толка). Зато с пауками, точнее, с одним паучком, свившим паутину у изголовья кровати, случилась у героя настоящая трогательная дружба. Паучку он дал имя Урсус и, можно сказать, приручил его. Однако недолго продолжалась сия идиллия — Урсус погиб, и, наверное, с этого самого момента хрупкая гармония в душе и сознании героя дала окончательную трещину. Не спасали уже ни философические размышления, ни попытки структурировать мысли в виде максим, записываемых в книжицу с китайским рисунком, ни даже элементарное чувство самосохранения: герой оказался не только близок к самоубийству, но даже попытался его осуществить вполне всерьез, но, впрочем, способом столь экзотичным, что попытка эта едва ли могла окончиться успешно. Хотя — как знать... Но, в любом случае, на сцену в этот момент явился старый друг Андрюха, и жизнь вновь обрела какое-то новое измерение.

Андрюха — человек совсем иного склада, чем главный герой. Вполне классический тип незадачливого предпринимателя, беззлобного афериста, от афер которого в конце концов хуже всего ему самому. В итоге — его и прибили (причем в буквальном смысле — гвоздями к рекламному щиту в подземном переходе) бандиты за не отданные вовремя долги. Вольный путешественник по жизни, вечный турист, он и главного героя в свое время втянул в довольно опасный и в немалой степени бессмысленный турпоход на зимний Север, где друзья едва не погибли (впрочем, северные красоты и особое экзистенциальное ощущение каких-то особенных мгновений этого похода оставили в душе героя следы отнюдь не лишние).

Понятное дело, что Андрюха со своим неумным темпераментом смог не только расшевелить захандрившего героя, но и втянуть его в сферу своей абсурдно-предпринимательской деятельности. Столь же ясно с самого начала, что ничего путного из этого выйти не могло. И не вышло. Разве что каким-то мелким бандитам удалось сплавить оружие, которое откуда-то притащил Андрюха. И это была едва ли не последняя его афера. Кстати, о его будущей смерти читатель узнает еще в середине повествования, — и в этой связи напрашивалась бы аллюзия на «Криминальное чтиво» Тарантино, если бы все было не в шутку, а вполне всерьез: в «новой жизни» Андрюха-предприниматель был заранее обречен.

Друг-гляциолог, в чьей квартире обретается главный герой, показывает — напротив — пример вполне успешного обретения реальности. Какое-то (переходное) время посвятив театрально-режиссерским экспериментам, он возвращается к своей основной специальности, отправляясь в антарктическую экспедицию. Из его письма ясно, что он не только умудрился найти в Антарктиде любимую женщину, но и дальнейший смысл существования (главный же герой и женщину свою потерял и смысл этот все никак не нащупает).

Долларовый сосед готовится к эмиграции. Иных уж нет, а те — далече. И что же наш герой? Неужто?.. Нет, у него все хорошо. Ему вроде как само все в руки пришло («Бог в окошко подал»): хорошая работа в компьютерной фирме, бесплатное жилье — загородная зимняя дача и, главное, жена и ребенок. Жизнь-то наладилась? Его — да. Частным образом. И это оказалось не так уж сложно. Стоило только взглянуть на мир и самого себя глазами постороннего. И посторонним быть перестать.

Федор Тютчев

Вы — мои единственные корреспонденты в Москве...



Любителям поэзии Ф. И. Тютчева хорошо известен его непревзойденный любовный «Денисьевский» цикл стихотворений, посвященный последней любви величайшего русского лирика — Елене Александровне Денисьевой. Сравнительно недавно во второй книге Литературного Наследства была опубликована часть записок Александра Ивановича Георгиевского (1830 — 1911), мужа сводной сестры Денисьевой — Марии Александровны Георгиевской. В них мемуарист, хорошо знавший «незаконную» семью Тютчева, Елену Александровну и ее детей, рассказывает о своем знакомстве и дружбе с ними в 1862—1866 годах, широко цитируя при этом письма поэта к нему. Но так как «в цитации нет определенной системы, почти все письма разорваны на отдельные, не связанные между собою куски, целостность их как документа утеряна». К сожалению, так и остались неизданными почти три десятка писем поэта к М. А. Георгиевской, также широко цитируемые в воспоминаниях и по той же причине разрозненности потерявших значение документа.

Нам как бы заново удалось отыскать копии писем поэта к А. И. и М. А. Георгиевским, отцу и матери Льва Александровича Георгиевского, автора этих копий и чрезвычайно интересных комментариев к письмам. Определенные наблюдения дают нам право предположить, что публикаторы воспоминаний Георгиевского и писем к нему поэта совершенно безосновательно проигнорировали эту, давно хранившуюся в Пушкинском Доме, написанную карандашом рукопись Л. А. Георгиевского. Это тем более непонятно, потому что подлинники писем поэта к Георгиевским, хранящиеся в РГАЛИ, имеют довольно плохую сохранность и трудно читаемый почерк.

Приведением в порядок хранящихся в их семье писем поэта занимался еще сам А. И. Георгиевский, когда работал над воспоминаниями, а после его смерти дело продолжил сын Лев Александрович.

Вероятно, читателям будет интересна судьба детей Георгиевских, о которых упоминается во многих письмах поэта, а также и судьба рукописи Воспоминаний Георгиевского, рассказанная мне его внуком, академиком Борисом Николаевичем Делоне. Судьба свела меня с ним и в некотором роде сдружила в конце семидесятых, я тогда работал над разысканием литературного наследия сына поэта Ф. Ф. Тютчева.

«У Георгиевских было четыре сына и две дочери, — не без юмора рассказывал мне Борис Николаевич. — Старший сын Владимир Александрович, глупый, но красивый офицер Семеновского полка, женился на богатой особе, дочери строителя Юго-Западных железных дорог. Получал от тестя каждый год по сто тысяч рублей. Рано умер.

Лев Александрович второй сын, умный, но странный. Влюбился в одну статс-даму,

на пятнадцать лет старше себя, но очень красивую. Ему было девятнадцать, ей — тридцать четыре года. Он развел ее с мужем и хотел жениться, но дед (отец Л. А.) воспротивился. Отправил сына учиться в Германию, в город Тюбинген, в университет, на три года. Но Лев приехал обратно и все-таки женился на своей любви, тете Оле. Она была дружна с Александром Вторым. Дядя Лева часто играл в шахматы с Великим князем Константином Константиновичем, впоследствии получил большой пост — директора Царскосельской гимназии. Писал учебники по латинскому вместе с Манштейном. Потом быстро сделал карьеру, был директором Катковского лицея (имени цесаревича Николая) в Москве. Он считал гениальными трех человек: Каткова, Леонтьева и канцлера Горчакова. Впоследствии стал членом Государственного Совета. Ольга Адамовна, его жена, умерла в возрасте девяноста девяти лет, намного пережив своего молодого мужа.

Третий сын, Борис Александрович, был детским врачом.

Младший, Михаил Александрович, считался неподходящим человеком, его сделали директором имения в Сувалках. Он хотел рано жениться, его связали и выпороли, он стрелялся, но неудачно.

Старшая дочь, Надежда Александровна, мать Бориса Николаевича Делоне, была много моложе мужа, очень красива, прожила долгую жизнь. Ее муж Николай Борисович Делоне — потомок француза, участника Отечественной войны 1812 года, оставшегося в России, — профессор-математик, один из основателей русского планирования.

Младшая, Софья Александровна, обладала ярко выраженной грузинской внешностью. Грузинскую кровь она унаследовала от бабушки, второй жены А. И. Денисьева, происходившей из древних грузинских родов Дадиани и Дадашкелиани. Софья Александровна очень странно вышла замуж за помощника своего отца, который был у того что-то вроде секретаря. Был Штанников, стал Анников. Поженились молодые против воли отца. Получив двенадцать тысяч приданого, Анников занялся спекуляцией земельных участков, стал миллионером, скопил 3 млн. рублей.

Чрезвычайно обаятельным был и сам академик-математик Борис Николаевич Делоне. Он еще в начале века одним из первых начал заниматься альпинизмом в России, лет до восьмидесяти занимался горновосхождениями, зимой ходил легко одетым, без шапки и все собирался пережить возрастом свою мать (что ему благополучно удалось!). А каким рассказчиком, обладавшим прекрасной памятью, был Борис Николаевич! Вот у него-то в Москве, в квартире на Ленинском проспекте и хранилась примерно до начала 1970-х большая, около тысячи страниц машинописного текста рукопись воспоминаний его деда. Зная ей цену как историческому и литературному памятнику, он неоднократно предлагал ее в Музей-усадьбу Мураново имени Ф. И. Тютчева ее директору Кириллу Васильевичу Гигареву. Но и милейший Кирилл Васильевич, правнук поэта, тоже хорошо знал цену рукописи и никак не хотел, чтобы она «ушла» из семьи. Он лишь согласился на то, чтобы снять копию с тех мест, где было рассказано о Тютчеве и Денисьевой.

А рукопись, по непонятным причинам, вскоре исчезла, отданная, вероятно, кому-то для прочтения. Вот почему, на наш взгляд, так ценны сейчас свидетельства о тех далеких днях очевидца — Льва Александровича Георгиевского: собранные воедино, аккуратно переписанные и квалифицированно откомментированные письма поэта к его отцу и матери. И если первая их часть уже была опубликована в Литературном Наследстве, то сегодня мы впервые публикуем вторую часть этих писем, по возможности сохраняя и очень ценные для нас комментарии к ним очевидца.

В письмах к сослуживцам, приятелям, общественным деятелям, даже к своим домашним Тютчев нередко представлялся нам как серьезный публицист, мыслитель-философ, как человек, умеющий за сухой официальной, сдержанностью скрывать свои чувства. Здесь же, в письмах к лучшему другу по душе, по страданиям — сестре своей незабвенной Лели, поэт предстает перед нами совсем в другом качестве. Нередко лишенный душевной теплоты в собственной семье, построенной на европейский, немецкий, лад, он после смерти Елены Александровны и ее двух детей только в семье Георгиевских находил поддержку своей измученной душе, оттаивал в доброй, сердечной обстановке, созданной Марией Александровной и ее детьми в их московской квартире на Малой Дмитровке.

При всей своей занятости и светской чопорности поэт, оказывается, мог с

нежностью хранить в памяти имена и фамилии многих женщин, окружавших Марию Александровну, как недавно и его Лелю, вплоть до горничных и нянюшек. Вероятно, его русской душе всегда так не хватало именно той «умилительной заботливости его дядьки Николая Афанасьевича и благочестивых обычаев маменьки Екатерины Львовны». Вот почему Федор Иванович при каждом удобном случае во время пребывания в Москве так спешит на спасительную чашку чая в прекрасную семью Георгиевских. (И каким диссонансом, например, звучит строка из письма Анны Федоровны об отце в письме к сестре Китти в мае 1855 года: «Дома он очень угрюм, и обычно мы видим его только спящим. Едва поднявшись, он уходит. Слово безрадостный было придумано специально для нашего дома. Я всегда с тяжелым сердцем возвращаюсь оттуда. Кажется, что дыхание жизни покинуло его...»)

С грустной, очень грустной ноты начинается и его переписка с Марией Александровной Георгиевской...

1

Женева. 6/18 октября 1864*

Дорогой, бесконечно дорогой друг мой! Позвольте мне сказать Вам, что Вы, впрочем, отлично знаете и без того, — что с тех пор, как ее не стало, ничто не существует для меня, кроме того, что ей принадлежало, что имеет отношение к ней. Представляю Вам судить после этого, какое место Вы занимаете в моем сердце. Ах, чего бы только не дал я, чтобы быть теперь среди Вас и Вашего мужа... Да, после нее, для меня существуют только те, которые ее знали и любили, хотя теперь все мне говорят о ней с живым сочувствием — слишком поздно, увы! слишком поздно. Одной из тех, кто говорил мне об ней с наибольшей симпатией, была недавно Великая Княгиня Елена Павловна, которая обещала мне всю поддержку для моей маленькой Лели¹, которую она повидает у г-жи Труба по возвращении своем в Петербург... Ах, если бы это не ее дети, я знаю, где было бы теперь мое место. Ничто не изменилось, как Вы видите, и я все по прежнему чувствую себя, как на другой день после ее смерти...** Пишите мне, ради Бога, до востребования в Ниццу, — вы и Ваш муж, если у него найдется для этого время. Целую и благословляю Ваших дорогих детей. Ах, дорогой мой друг, я очень несчастлив.

*Приписка на франц. яз. к письму А. И. Георгиевскому от того же числа. Перевод Л. А. Георгиевского.

¹ Дочь Ф. И. Тютчева от Е. А. Денисьевой, которой было в то время 13 лет и которая воспитывалась в модном тогда в Петербурге и аристократическом пансионе г-жи Труба, что и свело ее преждевременно в могилу. Кроме этой дочери Елены у них были еще дети: сын Федор 4 лет и новорожденный младенец Николай.

** Е. А. Денисьева скончалась от чахотки 4 августа 1864 года.

2

Петербург. 17 мая 1865

Это письмо для Вас обоих, но начну с Вас, моя добрая, очень, очень дорогая Мари*. Мне кажется, что я не довольно Вас благодарил, что недостаточно высказал, насколько Ваше присутствие было для меня дорого и утешительно¹. Это впечатление не было бы ничем омрачено, если бы не мой суеверный страх, который все более и более овладевает мною, что всякое проявление расположения ко мне обращается в

Примечания, отмеченные арабскими цифрами, сделаны Л. А. Георгиевским, звездочками — ** — составителем (прим. ред.).

Из 30 цитируемых писем 3 были опубликованы в 1984 году (Соч. 1984. Т. 2). Но, понимая историческую ценность всего материала, мы сочли возможным не лишать читателя полного прочтения всех писем Ф. И. Тютчева к М. А. Георгиевской (прим. ред.).

ущерб для того, кто его оказывает мне, и что, следовательно, это путешествие, предпринятое из дружбы ко мне, пожалуй, ухудшит состояние Вашего здоровья, и без того столь мало удовлетворительное. Позвольте же мне по этому случаю повторить мои настоятельные советы, а чтобы они имели какой-либо практический результат, дайте их прочесть Вашему добрейшему мужу. Состояние Вашего здоровья требует серьезного лечения. Вы не должны так невнимательно относиться к удручающему Вас небольшому, но злокачественному кашлю. Да не будет потерян для Вас мой бесконечно горький опыт, дважды повторенный. Прежде всего дайте себя выслушать кому-нибудь из очень искусных и опытных врачей (друг Ваш Чацкий**, может быть и имеет все достоинства, кроме однако же большой опытности), и пусть не будут потеряны летние месяцы в интересах Вашего здоровья.

Что касается до планов Вашей тетушки*** и экскурсий, которые они должны были повлечь за собою для Вас, то отсрочьте их, прошу Вас, до моего приезда в Москву. Ничего еще не решено относительно того, что будет делать Ваша тетушка. Возможно и даже вероятно, что Ваша тетушка поселится с Федей и его няней в Лесном или в Парголове, где воздух гораздо лучше. Впрочем, петербургский климат дает чувствовать свое пагубное влияние еще не в эту пору года, а к осени придется принять какое-нибудь полезное решение относительно этого бедного ребенка, который, кроме гемеопатического лечения Бока, будет брать в течение этого лета соленые ванны. А кстати о детях: я очень нежно обнимаю Ваших детей, сначала всех троих, а потом отдельно *Володю*. Увы! я так уж создан: у меня всегда была слабость к любимчикам, особенно когда они милы и привлекательны.

Здесь все еще в ожидании прибытия эскадры². Полагают, что это произойдет послезавтра, в среду. Уполномоченные иностранных дворов начинают съезжаться. Еще несколько дней волнений, и все будет окончено, рана закроется; останутся одна или две болячки, которые в свою очередь со дня на день будут все более заживать.

А теперь перехожу к Вашему мужу...

* Письмо писано по-французски. Перевод Л. А. Георгиевского.

¹ Мать моя, получивши известие о смерти 2 мая своих племянницы и племянника, поспешила в Петербург на эти двойные похороны и провела у своей тетки с оставшимся в живых сыном своей сестры Федей около недели, выдаясь, конечно, ежедневно с Федором Ивановичем. После этого пребывания ее в Петербурге и было написано настоящее письмо.

** Чацкий Исаак Андреевич (1832 — 1902) — врач, публицист.

*** Денисьева Анна Дмитриевна (? — 1880).

² Эскадра, которая морем перевозила тело цесаревича Николая Александровича из Ниццы в Кронштадт и в Петербург.

3

Петербург. 29 мая 1865*

Ваше молчание очень меня беспокоит, и я никак не могу себе его объяснить успокоительным образом. Заболели ли Вы или кто-нибудь из Ваших? Ради Бога, дайте мне признак жизни.

Ф. Тютчев¹.

* Записка на франц. яз. Перевод Л. А. Георгиевского.

¹ Опасения Ф. И. Тютчева на счет здоровья моей матери были действительно вызваны большою мнительностью, развившейся в нем под влиянием тяжелых перенесенных им за этот год потерь. Матушка моя дожила до глубокой старости, скончавшись летом 1916 года, 85 лет от роду, и всю жизнь свою пользовалась прекрасным здоровьем.

4

Петербург. 2 июня 1865*

Благодарю, горячо благодарю Вас, моя добрая и дорогая Мари (позвольте мне, сделайте милость, так называть Вас: это и короче, и вернее) за несколько

дружественных строк, которые Вы решились мне написать. Я простил бы Вам и позднее их получение, если бы они были более удовлетворительны на счет Вашего здоровья, вот Вы уже вынуждены третий день лежать в постели. Это уже более чем полуболезнь; но по крайней мере верно ли то, что Вы больше не кашляете? Это было бы уже шаг вперед. Ах, здоровье, здоровье! Позвольте мне Вам повторить, дорогой мой друг, что забота о Вашем здоровье должна быть Вашим первым делом... Дайте мне Вас убедить, что здоровье — это единственная вещь, которой Вам не занимать для того, чтобы быть счастливой в очень достаточной мере. Ибо, конечно, не в привязанностях у Вас недостаток... Как бы хотелось мне как можно скорее обратиться к Вам устно со всеми этими уверениями, не прося у Вас за этот труд другой награды, как одной или двух чашек чаю, которые Вы мне показали в приятной перспективе. Великая будет для меня радость неожиданно явиться к Вам в Ваше новое жилище, которое я еще не знаю**. Я не могу еще в точности определить время моего приезда в Москву, но мне очень улыбается считать его близким.

Дорогая Ваша тетушка, которой я только что сообщил о получении одного только Вашего письма, только что наняла себе дачу за Лесным институтом вместе с Марьей Павловной и с г-жею Ляпуновой¹ — только ждет наступления солнечных дней, чтобы поселиться там вместе с Федей, здоровье которого, слава Богу, довольно хорошо. Я навещаю его, конечно, каждый день, но это жилье Вашей тетушки, я должен Вам признаться, хотя я и чувствую потребность ежедневно там бывать, в то же время служит для меня постоянным разочарованием. О, какая пустота, какая пустота!.. Бываю я также у Вареньки Белоруковой², но не испытываю от этого большого удовлетворения, и у К. Ремизовой³, и они обе поручили мне передать Вам тысячу поклонов.

Данное мне Вами поручение для Аннушки⁴ будет мною исполнено сегодня же. Острова, которые мы вместе посещали, очень хороши в настоящую пору. Но, без лести, я гораздо больше любил их тогда...

До скорого свидания, дорогой мой друг. Я охотно повторяю сам себе это уверение. Поцелуйте Ваших милых детей, для которых вы должны беречь себя. Не оставляйте меня слишком долго в неведении обо всем, что Вас касается. Да хранит Вас Господь под кровом Своим!

Сердечно Вам преданный Ф. Т.

* Перевод с франц. яз. Л. А. Георгиевского.

** Георгиевские жили в доме Шиловского на Малой Дмитровке.

¹ Марья Павловна Шишкина и г-жа Ляпунова — старушки-приятельницы Анны Дмитриевны Денисьевой.

² Варвара Арсеньевна Белорукова была подругой по институту и осталась на всю жизнь лучшим другом Е. А. Денисьевой.

³ Ремизова была также близка и хороша с Е. А. Денисьевой.

⁴ Старая няня Феде Тютчева.

5

Петербург. 12 июня 1865

Благодарю Вас, мой добрый и дорогой друг, за Ваше последнее письмо и за приложенную к нему фотографическую карточку, которую я нахожу довольно удачною, так что могу временно ею удовольствоваться. Правда, что погода, на которую мы обречены, не может содействовать восстановлению пошатнувшегося здоровья. Я сам на себе испытываю ее неблагоприятные последствия. Уже несколько дней, как у меня появились неопределенные боли в ногах, которые больше меня пугают, чем заставляют страдать, угрожая лишить меня самой дорогой для меня свободы, — свободы передвижения... В том настроении духа, в которое я постоянно впадаю, мне невыносимо все, что вгоняет меня в самого себя, и вот потому из всех болезней я охотно согласился бы на одну — окончательную, последнюю, от которой нельзя уже перейти в себя.

Завтра исполняется год, как я уезжал в Москву, покидал Вашу сестру, не пытаюсь даже сдерживать себя и подавлять рыдания в подушках, сопровождаемый до вокзала желанной, дорогой моей маленькой Лелей. Я и не подозревал, что оставляю позади

себя все мое прошлое, которое должно было оторваться от меня, а это прошлое было всею моею жизнью... Как бы хотелось мне в эту минуту вместо того, чтобы писать к Вам, придти беседовать с Вами...

6

Петербург. 29 июня (1865)

Как бы я желал иметь возможность ответить на Ваш призыв: еду, уехал, прибываю... Но вот в ту самую минуту, как я был готов действительно пуститься в путь, другая нога, которая до сих пор была здорова, увлекаясь, как я предполагаю, излишеством симпатии, принимается также меня мучить. Правда, что, будучи выведен из себя таким препятствием, я прикинулся, что не принимаю во внимание этой несчастной ноги, и продолжал обращаться с нею, как с совершенно здоровой; так, например, вчера, в воскресенье, я отправился к Вашей тетушке на дачу. Там много гулял вопреки всем протестам этой больной ноги, и вот сегодня она мне совсем отказалась служить. Хорошо еще, что для писем к тем, кого любишь, не имеешь нужды в своих ногах. Но я льщу себя надеждой, что день-другой отдыха, и ущерб будет устранен, и я буду в состоянии выбраться отсюда в конце недели.

Гораздо серьезнее, чем плохое состояние моих ног, озабочивает меня то, что Вы сообщаете мне о состоянии здоровья Вашего мужа и что он сам мне пишет об этом. Его здоровье есть дело существенной важности и первой необходимости, тогда как мое здоровье есть дело только одной роскоши. Переселился ли он уже на дачу и начал ли купаться? Но что ему всего нужнее, это отдых, отдых и отдых. А Вы, дорогая Мари, и Ваши милые дети, как Ваше здоровье и где Вы? Неправда ли, Вас можно найти все еще на Малой Дмитревке?.. *(Далее следовало по-русски лично А. И.)*

Засим снова возвращаюсь к Вам. Сегодняшний день — памятный, роковой день в моей жизни. Год тому назад в этот самый день Ваша сестра переселилась в тот дом, которому суждено было стать последним для нее жилищем на земле. Меня не было тут, и я не видел, как она вступила в него, но я видел, как ее выносили из него... рискуя показаться неблагодарным носителем тех лиц, которые выказали мне с тех пор столько приятни и из которых некоторые мне очень дороги, я должен признаться, что с той поры не было ни одного дня, который бы я не начинал без некоторого изумления, как человек продолжает еще жить, хотя ему отрубили голову или вырвали сердце. И однако же, дорогая Мари, прежде чем исчезнуть, я желал бы снова свидеться с Вами.
Вам всею душою преданный Ф. Т.

7

Петербург. 14 июля 1865

Да, милая и дорогая моя Мари, Вы отгадали. Только что я отправил к Вам мое последнее письмо, и принужден был лечь если не в постель, то на канапе, и пролежал так, мучаясь от жару, без ног и без движения, почти две недели.

Было, помнится, время, когда и это все имело часть своей доли приятности, но при данных условиях это было решительно наобум. Физическое страдание должно бы быть исключительною принадлежностью живого человека. Теперь, однако, ноги начинают поправляться и, вопреки всем Вашим сомнениям, не замедлю явиться к Вам на чашку чаю по обещанию. Жалко очень, что не поспею к завтрашнему великому дню, которым открываются и мне очень, очень памятные Ваши семейные праздники¹. Помню, как третьего года мы² праздновали их с Вами.

Вам, милая Мари, поручаю расцеловать за меня завтрашнего именинника и убежден, что Вы достойно исполните мое поручение. Не теряю надежды, что попаду, по крайней мере попаду на один из последующих праздников Ваших.

Много Вы меня порадовали — буде это не хвастовство — известием о Вашем здоровье. Непременно ожидаю возможности убедиться собственными глазами в действительности Ваших показаний. Если они окажутся справедливыми, то рассчитывайте

на мою полную признательность в моих глазах: первая добродетель всех тех, кого я люблю, это их чувство *самосохранения*.

Засвидетельствуйте это от меня и мужу Вашему, которому, как я полагаю, предписанное лечение на даче, при этой превосходной погоде, должно было принести пользу. И при этом случае — кстати или некстати — сообщите ему от меня вот что... (Далее следует несколько фраз, адресованных А. И. Георгиевскому.)

Вы сетуете на Вашу тетушку за ее упорное молчание. Да будет это самым тягчайшим горем Вашей жизни: худшего положения Вам я и придумать не могу. Впрочем, я был у нее третьего дня на даче, она здорова, часто грустит и плачет, и это-то составляет нашу взаимную связь. Мой бедный Федя целует Ваши ручки. И все это — и детство, и старость — так только, сиротливо и так мало убедительно...

Господь с Вами!

Ф. Тютчев

¹ Это был день именин моего старшего брата, которому было в это время 6 лет. Остальные же семейные праздники падали в году на 20, 22, 27 и 31 июля.

² Вместе с Е. А. Денисьевой.

8

(Овстуг)* Понедельник. 16 августа (1865)

Благодарю Вас, милая Мари, за письмо Ваше, хотя и французское, но зачем же французское? Мы, кажется, условились упразднить его. Впрочем, я буду рад Вашим письмам даже и на арабском языке.

Надеюсь, однако, на продолжение нашей переписки. Я все больше убеждаюсь в том, что для меня было сомнительным, а именно, что мое здешнее пребывание не приведет ни к каким существенным улучшениям, по крайней мере здоровье мое от него не улучшается. Я продолжаю чувствовать не положительную боль, но какую-то *несообразность* то в одной ноге, то в другой. Как бы то ни было, после 20 числа я решительно отсюда уезжаю. Здешнее место не отзывается ни на одно из моих воспоминаний и вместе с тем не представляет никакого развлечения, хотя, правду сказать, я и в виду Средиземного моря не мог найти ничего утешительного во всем том, что не было в связи с моим единственным прошедшим и вот почему меня тянет в Москву или, лучше сказать, на Малую Дмитревку.

Поблагодарите Володю за его расположение и надеюсь, что в скором времени он мне сам подтвердит свое заявление с высоты козел, на которых мы торжественно воцарим его по возвращении моем в Москву. Что здоровье Вашего мужа? Неужели он и теперь еще, при этой весьма положительной осенней свежести, продолжает свою водную процедуру? Здесь, по крайней мере за исключением 5 часов в день, мы решительно мерзнем.

Благодарю редакцию «Московских Ведомостей» за ее обо мне попечение. В этом отчуждении от всего живого и современного — появление «Московских Ведомостей» имеет нечто умиляющее и питающее в душе веру в провидение... Удивительный край, эта Россия — у нас переезд с места на место вещь иногда довольно трудная, но из 19-го столетия в какое-нибудь давно прошедшее, этот переход осуществим очень легко...

Простите, до скорого свидания. Знаете ли, почему я пишу карандашом? — Мои подлые нервы до того расстроены, что я пера в руках держать не могу. Господь с Вами. Вам от всей души преданный

Ф. Тютчев

* А. И. и Л. А. Георгиевские ошибочно считали, что Тютчев отдыхал в это время в Старой Руссе.

9

Петербург. 27 сентября (1865)

Благодарю, милая Мари, за письмо; но грустно и отрадно было читать его. Пусто и мне, расставшись со всеми Вами. До сих пор все еще каждое утро собираюсь идти пить чай с Вами. Что-то уже очень давно не присутствую при Вашем суде и расправе над Левой и Володей. Не могу представить, куда девались эти уютные, приятные три-четыре комнаты Шидловского дома, которые еще так недавно всегда были у меня на перепутьи, куда бы я ни пошел.

Да, моя милая Мари, тому, для кого жизнь не жизнь, а бессонница, очень, очень отрадно было забыться этим (тревожным) сном. Крепко обнимите за меня детей, скажите Вашему мужу, что я по многим приметам жду с нетерпением его приезда в Петербург.

Вы и ныне берегите себя; что Ваша нога? Обходитесь ли без пивок? Были ли вчера на вечеру у Катковых и вспоминали ли о последнем воскресении? Не было ли от бессовестной Новиковой приглашения Вашему мужу идти слушать ее пение в семь часов утра?¹ Вы видите, как я люблю припоминать все эти подробности; мне кажется, что даже и о князе Назарове² потолковать нам с Вами на досуге не без некоторого удовольствия, и надеюсь, что мне удастся возобновить наш разговор в скором времени: вот каким подарком я предполагаю порадовать себя ко дню моего рождения.

Здесь по возвращении я очутился на моем прежнем слишком мне знакомом жилище. Анне Дмитриевне я передал Ваш поклон, за который она благодарит. Она все-таки несимпатична; дорога мне многим — шероховатая изнанка моих лучших воспоминаний. Раз на прошлой неделе я пил у нее чай... как во время оно. Жалкое и подлое творение человек с его способностью все пережить!

На этот раз *политический отдел* моего письма будет очень неудовлетворительный — скажите это Александру Ивановичу — хотя я почти ежедневно выдаю с князем Горчаковым. Знаю только, что он жалуется на нигилизм Каткова в отношении к нему, и не он один. Вообще желательно было бы, чтобы в споре Каткова его постоянное *forte* сменялось иногда переходом на *riano*. Впрочем, со дня моего отъезда из Москвы я не получал ни одного номера «Московских Ведомостей», отчего это?

Но Вы, прошу Вас, не подражайте в этом памятуемой редакции и помните, что Ваши письма мне еще нужнее передовых статей даже и «Московских Ведомостей». Господь с Вами.

Весь Вам преданный Ф. Т.

¹ Новикова (рожд. Киреева) Ольга Александровна (1840—1925), жена дипломата, сыгравшая впоследствии немалое значение в английских политических кругах. При добрых и дружеских отношениях моего отца с семьей и Киреевых, и Новиковых в приглашении отца послушать пение в утренние часы — 7 часов, конечно, преувеличение — ничего необыкновенного не было.

² Князь Назаров Николай Степанович, один из сотрудников «Московских Ведомостей». Однажды на одном из шумных пикников произвел на Тютчева отрицательное впечатление.

10

Петербург. Вторник, 3 октября (1865)

Опять пишу к Вам, милая Мари, и не пугайтесь моего *частописания*: сегодняшнее письмо мое почти что деловое, и вот в чем дело. При частых моих свиданиях с Милютиным (Варшавским)* я имел случай заметить, что им хотелось бы усилить редакционный состав «Инвалида» и что они охотно бы возобновили порванную связь с Александром Ивановичем. Я, разумеется, ничего не высказал им определенного, но и не лишил их всякой надежды на успех. Теперь жду от Вас дальнейших инструкций по сему делу. Но Вам, может быть, не захочется расставаться с Москвой, и с Москвой, где живет Соц¹ и режется Назаров (видите, какой вышел великолепный шестистопный этюд).

Еще несколько слов дал бы дельных. Вероятно, статья «Московских Ведомостей» своей отповедью газете «Весть» порадовала всех здравомыслящих и сочувствующих «Московским Ведомостям». Нельзя было резче, разумнее и вместе с тем благороднее отделиться и выгородить себя от всякой солидарности с самоуверенной бессмыслицей этих выпадов каторжной русской шляхты².

Но довольно, теперь пойдемте в Вашу комнату и давайте пить чай при содействии Раиды³ и постоянных набегов Левы и Володи, если не под тенью, то по крайней мере в виду все лучше и лучше зеленеющих тропических растений Ваших. Поклонитесь им от меня, особливо тем из них, которых мы ездили покупать с Вами. Помните, какой это был чудный, тихий, солнечный день и как мало похож на то, что у меня в эту минуту происходит перед окном: какая-то мокрая снежная пыль на каком-то невозможном небе.

Что-то теперь здоровье Ваше и все прения относительно Вашего здоровья? Не оставьте почтить меня добросовестным ответом на этот незатейливый, но крайне интересный вопрос, а вслед за этим буду просить у Вас менее нужных, но все-таки любопытных известий, как, например, в утренних музыкальных беседах Александра Ивановича с милою Новиковою, о съездах у не менее милой Софьи Петровны⁴, и даже о порядках и всевозможных распоряжениях домохозяйственной Надежды Ивановны Соц, буде Вы с нею видаетесь, в чем я впрочем несколько сомневаюсь... Но обоим Мещерским⁵ не забудьте от меня поклониться.

Не забудьте также напомнить обо мне и самой себе и о моем постоянном и неослабном желании с Вами поскорее свидеться. Ко многим другим проблемам этой поездки в Москву присоединится вскоре новый, весьма увлекательный мотив⁶. Угадайте!

Весь Ваш Ф. Тютчев

* Милютин Николай Алексеевич (1818—1872), в 1864—1866 гг. статс-секретарь по делам Польши. Тютчев всячески хотел перетянуть Георгиевского в Петербург и использовал для этого любой повод протекции. В частности, здесь речь идет о газете «Русский инвалид».

¹ Соц Надежда Ивановна состояла в это время начальницей Московской 1-й женской гимназии, получивши это место при содействии моего отца и самого Ф. И. Тютчева. Своими заботами об устройстве своей участи она не раз возбуждала иронические замечания Тютчева.

² Передовая статья в № 215 «Московских Ведомостей» от 2 октября 1865 г. в ответ на нападки газеты «Весть» на администрацию Западного края и с объяснением истинного значения дворянства, органом которого считалась «Весть».

³ Горничная моей матери.

⁴ Каткова Софья Петровна (рожд. княжна Шаликова), жена М. Н. Каткова. У Катковых собирались по воскресеньям вечером.

⁵ Речь идет о семье княгини Александры Михайловны Мещерской, вышедшей потом вторично замуж за Ларме. Она была связана самую нежною дружбою с Е. А. Денисьевой.

⁶ Этот мотив был предполагавшаяся в январе 1866 г. свадьба старшей дочери Федора Ивановича Анны Федоровны, бывшей воспитательницы Великой княгини Марии Александровны, с И. С. Аксаковым.

Успокойтесь, моя милая Мари: ни одно из Ваших писем не пропало и все они дошли до меня во всей возможной целостности и исправности, и если я так долго не писал к Вам, тут было большое недоразумение, и немножко злости — да, злости на Вас.

Не получая так долго никакого отзыва от Вашего мужа на мое письмо к нему, я вообразил, что по крайней мере Вы ко мне напишете, непременно напишете, и это ожидание перешло в упрямство. Вообще говоря, согласие между супругами вещь хорошая, вещь законная... Но тут оно принимало вид *стачки*, вид заговора. Мне показалось, что Вы с общего согласия, и тот, и другая, отрекаетесь от меня. Это была хандра, может быть; за все это последнее время я имел полное право хандрить. Не будучи болен, я все это время *пользовался* таким скверным, таким некомфортабельным здоровьем, что я сам себе опротивел, и потому мог вообразить, что опротивел и другим. Вы видите, моя милая Мари, что пора мне в Москву, для излечения. Не знаю, с чего взяла моя премудрая сестра¹, что это не состоится прежде конца зимы: свадьба

имеет быть в первой половине января², а я располагаю явиться к Вам гораздо прежде. Очень, очень этого жду и желаю; хочется опять очутиться в Вашем тропическом углу между детьми и растениями Вашими.

Поздравляю от души Александра Ивановича, победителя Галлов³, но вижу, что ему не легко будет решиться перейти за Рубикон, а его Рубикон — это «Московские Ведомости». С Деляновым я непременно переговорю и надеюсь устроить дело удовлетворительно. Желал бы не ограничить этим моего служения; впрочем, я очень понимаю, что в данных обстоятельствах Вам надо будет дожидаться решения Московского университета, но ни на минуту не изменяя разумному убеждению, что для Вас казенная служба необходима.

На днях возвратившийся в полном восхищении из Москвы Катакази* много рассказывал мне обо всех Вас. Он также нашел, что пессимизм почтенного Михаила Никифоровича** несколько преувеличен; он сам себе служит оправданием: только в живой и живучей среде могла создаться та нравственная сила, которой он располагает.

Сегодня Kitti отправляется в Москву, проживши все время своего пребывания исключительно в Царском⁴. Я с нею мало виделся. Проводя ее, я пойду пить чай к Анне Дмитриевне. Когда-то у Вас? Бедная жизнь моя разорвана на клочки, но лучший уцелевший лоскут хотел бы Вам отдать на память. Господь с Вами!

Ф. Тютчев

¹ Сестра Ф. И. Тютчева, Дарья Ивановна (1806—1879), была замужем за Н. В. Сушковым (1796—1871) и жила постоянно в Москве, где у Сушковых жила и упоминаемая ниже дочь Федора Ивановича, фрейлина Екатерина Федоровна (Kitti).

² Свадьба Анны Федоровны Тютчевой с Аксаковым происходила 12 января.

³ Победителем Галлов Тютчев называл моего отца потому, что им была окончена и представлена в это время диссертация «Галлы в эпоху Г. Ю. Цезаря».

* Катакази К. Г., чиновник особых поручений при вице-канцлере, сын сенатора Г. А. Катакази.

** Катков М. Н.

⁴ Вторая дочь поэта — Дарья Федоровна была камер-фрейлиной и жила при дворе, и у нее-то в Царском и провела время Екатерина Федоровна.

12

Петербург. Суббота, 27* ноября 1865

От души благодарю Вас, милая Мари, за Ваше милое, грустное и тревожное письмо, которое я исправно получил в самый день 23 ноября**, этот пустой, выморочный день, совершенно утративший *raison d'être*, и все-таки благодарю Вас, что вы вспомнили о нем... Вижу и по содержанию, и по тону Вашего письма, что Вам нелегко живется, и это еще усилило во мне потребность видеться с Вами, что, надеюсь, теперь и не замедлит осуществиться. Человек так глупо создан, что вопреки своему сто раз сознанному и испробованному бессилию и собственной беспомощности, он все-таки воображает, что своим присутствием ему удастся оградить и как бы застраховать от беды тех, кого он любит. То, что Вы говорите мне в письме Вашем о здоровье Александра Ивановича, меня сильно беспокоит, особенно при мысли о всех тех условиях, необходимых для улучшения его здоровья, которые для него недоступны. Ему бы нужен был отдых, вполне обеспеченный отдых и другой климат, а где их взять? Страшно подумать об этом роковом, всемогущем влиянии среды на человека, и как редко бывает ему возможно, даже при очевидной необходимости, изменить ее.

Но что такое случилось с Володей, что Вас так сильно напугало и как Вы могли не досказать мне этого? Разве их здоровье не Ваше? Обнимите их от меня и позаботьтесь о том, чтобы они меня не совершенно забыли до моего возвращения в Москву... Я на-днях проводил туда Аксакова, который пробыл здесь с неделю; я Вам писал, кажется, что свадьба его с Анной должна состояться в первой половине будущего января, но я положительно приеду раньше; поводов к тому ускорению отъезда у меня очень много, но и одного слишком довольно.

Скажите, что сделалось с нашей добрейшею А. М. Лярме¹, и отчего она меня так упорно игнорирует? Не случилось ли что с нею или с ее дочерью? И в той, и в другой я, как и всегда, принимаю самое большое участие и всегда готов по возможности доказать им это на деле.

Ну, а Галлы Вашего мужа, когда же они триумфальным маршем вступят в Петербург и что, наконец, они завоюют для Вас?² Есть ли теперь полная уверенность, что Вы получите кафедру в Москве: вот что меня в высшей степени интересует. Не ленитесь, ради Бога, написать обстоятельно обо всем этом. Я не считаюсь с Вами письмами, но считаю Ваши. Господь с Вами.

Ф. Тютчев

* У Л. А. Георгиевского стояла цифра «25».

** Поэту в этот день исполнилось 62 года.

¹ А. М. Лярме — (см. выше) княгиня А. М. Мещерская.

² Как видно из письма, Тютчев уже получил в это время экземпляр магистерской диссертации моего отца... защита которой была назначена на 4 декабря.

13

Петербург. Четверг, 30 декабря 1865

Вас первых, моя милая, добрая Мари, хочу поздравить с Новым годом; Вам по праву принадлежат мои первые, свежие, еще не ополненные, еще не высокие пожелания. Знайте, что и в наступающем году я решительно возобновляю подписку на всю Вашу дружбу ко мне и всю Вашу доверенность.

Отрадно было мне читать в письме Александра Ивановича, что Вы ждете моего приезда для какого-то совещания, вот почему я и настаиваю на доверенности.

Наконец, говоря о моем приезде, я могу определить и самый день этого несбыточного доселе события, по просьбе Анны я решился проводить ее, а она выедет отсюда 8 января. Итак, часам к 11 утра ждите меня к чаю. Все это, разумеется, при оговорке так глубоко человеческой: *если Богу угодно*.

На днях был и обедал у меня Щебальский¹, которого, разумеется, я много расспрашивал о всех Вас. Но его показания были гораздо утешительнее тех известий, которые письмо Вашего мужа сообщало мне о его здоровье. Щебальский также уверял меня, что его шансы на получение кафедры в Москве совершенно верны, в письме же вижу сомнения, и все это еще более усиливает нетерпение мое с Вами видеться.

Но говоря о письме Александра Ивановича, я чуть-чуть не забыл упомянуть о вручительнице письма нашей умной, любезно-практично-домостроительной M-lle Sotz, приехавшей сюда, по ее уверению, с единственной целью поздравить всех тех, кому она считает себя обязанной. Я нашел ее в наилучшем настроении. Она положительно похорошела и вдобавок еще сняла очки. Так что явление ее было вполне удовлетворительное и отрадное.

Знаете ли Вы, милая Мари, что у Вас одной тетушкой меньше стало? Бедная Александра Дмитриевна кончила свою страдальческую жизнь, все-таки пережившую две другие жизни, имевшие, казалось, более права на существование. Но простите: до близкого свидания. Обнимаю от души Вас и всех Ваших.

Ф. Тютчев

¹ Петр Карлович Щебальский (1818—1886) был одним из постоянных сотрудников «Московских Ведомостей», начиная с 1863 года, и бывал в доме моих родителей.

14

(Москва). Пятница, 21 января (1866)

Сейчас отправляюсь к кн. Трубецкому для переговоров¹, а от него прямо к Вам, пить с Вами чай. Итак, до свидания.

Весь ваш Ф. Т.

¹ В бытность Ф. И. Тютчева в Москве в январе 1866 года по случаю свадьбы его дочери, являясь мысль, поданная Н. И. Соц, хлопотать через почетного опекуна князя Трубецкого (Николая Ивановича), заведывавшего Московскими женскими гимназиями, о назначении моего отца инспектором этих гимназий на место г. Виноградова.

15

Петербург. Середя, 2 февраля 1866

Благодарю Вас, милая Мари, за письмо. Вы, конечно, догадались, почему я замедлил ответом: письмо Ваше пришло в самый разгар событий. В прошлое воскресенье, то есть 30 января, Мари Бирилева¹ в 7 часов вечера родила дочь и, кажется, благополучно. По крайней мере до сих пор состояние ее удовлетворительно, но сегодня только еще третий день; я знаю по опыту, как в подобных случаях следует остерегаться, слишком рано торжествовать победу. Что усилило тревогу, неразлучную в подобных происшествиях, это то, что за два дня до онаго, бедный Бирилев испытал весьма неожиданно два довольно сильных припадка, свидетельствующие о неослабном, вопреки всем лекарствам, продолжении болезни. Теперь он опять поправился и возвратился, по-видимому, в свое прежнее положение; но возвращение припадков без всякой осязаемой причины все-таки не отраднo. Все эти известия, хорошие и дурные, передайте милой *нашей* Анне Алексеевне², на которую, как Вы видите, я торжественно предъявляю свои родственные права. Впрочем, и то сказать, такая симпатичная натура, какова она, всем сродни.

Отчего Вы сомневаетесь о моем приезде в Москву будущей весной? Я, по крайней мере, *не сомневаюсь*.

Касательно дел Ваших я преисполнен какого-то смутного усердия, которое меня просто бесит своею бесплодностью; мне кажется, что другой на моем месте давно бы что-нибудь придумал и устроил... Я говорил с Деляновым о слухах, сообщенных мне Вами по поводу Вышнеградского³, он им плохо верит; от оседланного дурака трудно ожидать, чтобы он сам собою сбросил седока. Здесь после сенатского выговора двум одесским гласным, о котором, как слышно, уже жалеют, ничего нового, годного для сообщения не имеется, следовательно, и я закончу на этот раз письмо знакомым далеко не новым — каким Вы думали? — детей обнимаю, Александру Ивановичу мой усердный поклон.

Ф. Тютчев

¹ Младшая дочь Ф. И. Тютчева, Мария Федоровна, вышедшая в 1865 году замуж за моряка, флигель-адъютанта Николая Алексеевича Бирилева (1823—1882). Герой еще Синопа, Н. А. Бирилев был контужен в голову в Севастопольскую кампанию, во время одной из лихих вылазок; последствием этой контузии явились припадки падушей болезни.

² Родная сестра Бирилева Анна Алексеевна была в Москве замужем за А. А. Благово. Она воспитывалась в Смольном институте вместе с моею матерью, а в Москве они были близки и часто виделись между собою. В доме моих родителей с нею и подружился Тютчев.

³ Николай Алексеевич Вышнеградский, впоследствии, в царствование Александра III, брат министра финансов, был в это время директором Петербургских женских гимназий.

16

Петербург. 22 февраля 1866

Скажите, ради Бога, кто из Вас запрещает один другому писать ко мне? ... (*Далее идут несколько абзацев плохочитаемого текста.*)

Собственно-то даже и тени нет ни на одном из бесчисленных столбцов

вышеозначенной газеты; словом сказать, я в совершенных потемках и прошу осветить.

Здесь, кроме меня, все здоровы, или хороши, или поправляются. Даже моему Феде здесь гораздо лучше, кашель унялся, и он может выходить на воздух. Он становится очень мил, и мне все грустнее и грустнее бывает на него смотреть. Дарье тоже лучше и она после праздников собирается ехать за границу. Ей бы очень хотелось меня увезти с собою, но не увезет: там еще (тоскливее мне, и это я) испытал на деле.

Знаете ли, что Вы — мои единственные корреспонденты в Москве, то есть, если можно назвать корреспондентом лицо не пишущее. К Аксаковым по приезде из Москвы я еще ни разу не писал. Вы одни тревожите во мне эту заглохшую способность к начертанию букв. Такие исключительные условия заслуживают и с Вашей стороны некоторое одобрение.

Итак, в самом даже неблагоприятном предположении не позднее как *дня через три* я жду Вашего отклика; но там увидите.

Ф. Т.

17

(Петербург. Конец марта 1866)

Милая моя, дорогая и очень, очень справедливо негодующая на меня Мари, дайте мне прежде всего благодарить Вас за все, и за письмо, и за беспокойство обо мне, и за негодование, и особенно за радостную весть об избрании Вашего мужа¹, поздравить Вас от души с этою неминуемою удачею, как и с неминуемым предстоящим праздником*.

Отчего я так долго не писал к Вам, по крайней мере видимо и осязательно, потому что *мысленно* не проходило дня, чтобы я не отправлял к Вам пространных писем, со всевозможными подробностями, но все это, кажется, к Вам не дошло. А грубо (содержащих?) писем Вы оттого, вероятно, от меня не получили, что я сам собирался явиться к Вам на праздники, и непременно это бы сделал, если бы не грустное и с некоторых пор даже тревожное положение моей бедной Дарьи. Вот уже который месяц она решительно не может оправиться и даже все последнее время ее состояние заметно хуже. Расстройство нерв усилилось, силы не возвращаются, все способы лечения испробованы и безуспешно... Думаем с общего согласия отправить ее за границу, но решаем как и с кем? Железной дороги она не переносит, до открытия пароходства еще далеко — воли в ней никакой нет, она утратила всякую самостоятельность, а между тем решать, хотеть и жить за нее некому. Здесь для ее существования есть физическая невозможность, а за границей — нравственная... Все это меня сильно беспокоит, и я бы эту тревогу еще живее почувствовал, если бы во мне еще жила прежняя, не притупленная способность страдать и тревожиться, но все это пережито. Бирилевы переехали от нас на свою квартиру. На прошлой неделе были у них крестины. Государь был крестным отцом и лично присутствовал, крестною матерью была графиня Муравьева**. Здоровье брата Вашей милой Анночки значительно лучше. Передайте ей это от меня.

Эти несколько строк не ответ, а только вступление к письму — продолжение до завтра и будет длительным обращением к Вашему мужу, я имею о многом ему сообщить. На днях с Одоевским*** отправил в редакцию (немецкую газету Вашему мужу). Не прощаюсь.

¹ Избрание моего отца в совет Московского университета доцентом по кафедре всеобщей истории состоялось 12 марта 1866 года.

* Вероятно, с предстоящей Пасхой.

** Муравьева (рожд. Шереметева) Пелагея Васильевна (1802—1871), жена графа М. Н. Муравьева, двоюродная сестра Ф. И. Тютчева.

*** Одоевский Владимир Федорович, князь (1803—1869), литературный и музыкальный критик. С поэтом у него поддерживались долгие дружеские отношения.

Петербург. Вторник, 12 апреля (1866)

Вчера получил письмо, моя милая, добрая Мари, и спешу поблагодарить Вас за него... Да подкрепит Вас Господь Бог и помилует!.. Не унывайте, не падайте духом... Хотелось бы не писать к Вам все это, а высказать живым языком и, поверьте, не много слов нужно мне было бы, чтобы убедить Вас в моем полном, неизменном сочувствии.

В первых числах мая мы непременно увидимся в Москве, а если бы Вам недостаточно было главного ручательства, то есть желанья видеться с Вами, то вот и другие, как, например, то обстоятельство, что Аксаковы в мае месяце уезжают в Самару. Благодарю Вас за память о Дарье; ее положение все то же, то есть самое грустное и жалкое. Не то чтобы болезнь грозила опасностью, но жизнь-то сама становится невыносимою. Сегодня день ее рождения, который с прошлого года сделался днем траурным¹, а в нынешнем году будет праздноваться в Зимнем дворце, под влиянием самых тревожных и грустных впечатлений².

Вчера у Феокистовых³ встретил я приезжих из Москвы, из рассказов которых видно, что настроение умов в Москве ничем не уступает тому, которое здесь, между нами, очевидцами события... Назначение М. Н. Муравьева и в Москве, вероятно, всех порадовало и успокоило⁴. Ему удастся, можно надеяться, обнаружить корень зла, но вырвать его из русской почвы — на это надо другие силы... Не случайным, конечно, совпадением событие 4 апреля вяжется с делом «Московских Ведомостей». Это также было своего рода предостережение, но более серьезное и лучше мотивированное, и данное уже не нами, а нам, самоуверенным раздавателям необдуманных предостережений... Слишком явно стало, на чьей стороне правда и понимание вопроса, и кому была бы на радость всякая мера, могущая повлечь за собою закрытие «Московских Ведомостей»; но с тем же полным убеждением все люди, серьезно сочувствующие этому направлению, *жалуют*, что Катков, без малейшей нужды, ослабил несколько свою позицию непомещением предостережения; это также факт неоспоримый и вне Вашей среды не подлежащий ни малейшему сомнению... Как глубоко хватит реакция, вызванная последним событием, будет зависеть от тех открытий и обличения, которые воспоследуют. Пока кн. Долгоруков дал своим примером спасительное указание⁵, но... довольно. Все время говоря о постороннем, я думал о Вас и многое, многое думал... Господь с Вами.

¹ 12 апреля 1865 года скончался в Ницце Цесаревич Николай Александрович.

² Вследствие покушения Каракозова на жизнь Государя 4 апреля.

³ Феокистовы Евгений Михайлович (1829—1898) и жена его Софья Александровна.

⁴ Назначение гр. М. Н. Муравьева председателем Высочайше учрежденной следственной комиссии для выяснения события 4 апреля. Катков приветствовал его самым горячим образом в № 76 от 11 апреля.

⁵ Тогдашний шеф жандармов и личный друг Государя кн. В. А. Долгоруков; в самый день покушения Каракозова просил Государя об увольнении его от должности без прошения. На его место, по его же указанию, был назначен гр. П. А. Шувалов.

Петербург. 26 апреля (1866)

Я так и думал, милая моя Мари, что не Вы виноваты в перерыве переписки, а нездоровье Ваше; и потому не сердился и тревожился... И вижу теперь, что не даром... Очень, очень тяжело мне знать Вас и физически страдающей, и нравственно расстроенной¹. Но все это письменное сочувствие так вяло и безотрадно, авось либо живое слово окажется действительнее. В будущем месяце непременно явлюсь к Вам, но еще не могу назначить дня моего приезда.

Я полагаю, что еще до получения этого письма Вы уже виделись с возвратившимся из Петербурга Щебальским, и что он, кроме известий обо мне, сообщил Вам впечатления свои, вывезенные отсюда. Вероятно впечатления эти в Москве еще более, чем здесь, согласуются с тем, что я писал Вам по делу Каткова, которое не перестает

занимать всех. Сочувствие к нему полное. Никто не допускает мысли, что «Московские Ведомости» прекратятся. Но все очень искренне озабочены вопросом, каким путем вывести дело из этого затруднительного положения. Никто из ему сочувствующих — а их имя легион — не верят, чтобы он сам желал сойти со сцены и в сознании этого желания преднамеренно поставит вопрос, как он именно поставлен; это было бы, не говорю, не патриотично, но просто не совместно с такою благородною личностью, как Катков. Для выяснения дела весьма достаточно у него одного того справедливого раздражения, овладевшего при виде этого, не то бессмысленного, не то злонамеренного противодействия.

Восторжествовать над этим противодействием окончательно было в полной его возможности, но он сам усложнил задачу, поставивши вопрос таким образом, что решение его затрагивает и самую личность Государя, не при совсем благоприятных условиях, как бы то ни было, при теперешних обстоятельствах и настроении умов, последнее слово должно остаться за Катковым, и так оно и будет... Но довольно. Есть дело еще важнее и этого, и это дело — Вы и Ваше здоровье. Обнимаю детей, скажите Вашему мужу, что я все-таки жду от него несколько слов, Господь с Вами!

Ф. Тютчев

¹ По случаю переживаемой в то время «Московскими Ведомостями» невзгоды.

20

Петербург. 19 июня 1866

Вот Вам два письма разом, моя милая Мари, мое и Ваше. Это последнее было вскрыто мною по недосмотру и возвращается к Вам *недочитанным*. Вот как я уважаю, в назидание нашей позиции, тайну частной переписки, особливо супружеской... Мое же письмо Вы смогли бы оставить вовсе нечитанным. Так оно бедно содержанием... Все существенное, что я бы мог Вам сказать, было уже, конечно, передано Вам Вашим мужем.

Теперь мне от Вас ждать новостей, тех именно, которые в данную минуту исключительно меня интересуют, так как относятся к Вашему делу. Я преисполнен надежды на успех, и что Вы уже будущей осенью возвратитесь в Петербург. Еще вчера говорил я с Деляновым об Александре Ивановиче, и он надеялся, что гр. Толстой теперь же назначит его по особым поручениям и увезет с собою в свой ученый объезд. Это было бы лучше и дачи, и диссертации.

Что дела Каткова и подвинулись ли они к счастливому исходу вследствие приезда в Москву гр. Толстого? Во всяком случае я надеюсь, что эти дела и для Вас, как и для меня — будут иметь интерес чисто гражданский и общественный, и что Вы не будете с этим связаны никакой положительной солидарностью.

Здесь стоит погода чудная, и это кажется так натурально и легко, что не понимаешь, отчего бы ей измениться. Но у нас с хорошею погодою то же, что с хорошими стихами, которые только с виду кажутся легки; можно сказать, что нам солнце не без труда дается, хотя теперь его даже слишком много, по крайней мере для меня в моей подсолнечной квартире. Зато как теперь у Вас должно быть хорошо.

Ждете ли Вы меня? Обнимаю детей и кланяюсь Вашему мужу.

Господь с Вами. Ф. Тютчев

21

Петербург. 13 июля 1866

В ответ на письмо Вашего мужа, пишу к Вам, моя милая, добрая, справедливо на меня негодующая Мари. Мне все как-то кажется странным, что мои к Вам ежедневные, хотя, правда, и не писанные письма не доходят до Вас; пора бы, кажется, изобрести такой телеграф, который тем, кого мы очень любим, передавало бы сам собою наши мысли и чувства, как только они в нас зарождаются; от такого телеграфа

Вам бы тоже отбою не было, и Вам бы пришлось жаловаться на преувеличенную деятельность моей корреспонденции.

Вижу с признательностью из писем Вашего мужа, что здоровье Ваше довольно хорошо; прошу продолжать; известие, что с Вами теперь сестра Ваша Ольга, и что я, вероятно, еще ее у Вас застану, меня как-то порадовало и возбудило во мне какое-то сердечное любопытство; напишите, на кого она похожа.

Так как для Вас всякое письмо, без некоторой прибавки политики кажется безвкусным, то я вменяю себе в обязанность, хоть бы для передачи, сообщить Вам следующее: здесь не совсем спокойно смотрят на невероятную уступчивость Наполеона и невольно подозревают, что под этим кроется что-нибудь недоброе для нас. Это все происходит от того, что до сих пор не хотят убедиться, вопреки очевидности, в полнойшей несостоятельности этого человека и с каким-то смешным упрямством отыскивают во всех его самых грубых, самых осязательных промахах глубину премудрости. Только в этом деле всемирной мистификации он поистине велик, но и тут большая доля заслуги принадлежит не ему, а человеческой глупости¹. Я все еще (*неразб. сл.*) что эта-то уступчивость со стороны Наполеона приведет ко взрыву во Франции и разрыву ее с немцами², и эта только что начавшаяся передрыга в Европе пойдет еще гораздо далее.

Я узнаю от Муравьевых, что Михаил Николаевич, который был несколько озадачен первым телеграфным сообщением Каткова, был очень доволен его письмом³. Желая, чтобы в свою очередь и Михаил Никифорович успокоился касательно моего, будто бы неосторожного, оглашения письма Вашего мужа. Все подробности, заключающиеся в этом письме, были уже общеизвестны и преимущественно в той именно среде, где их разглашение смогло бы вызвать недоброежелательство. Впрочем, даже избыток подобной предосторожности меня душевно радует, как новое ручательство за ненаветное процветание «Московских Ведомостей». Их возрождению все еще продолжают радоваться, как возвращению милого, дорогого гостя, о котором давно не имели известий; первые передовые статьи были очень замечены, особливо циркуляр «Московских Ведомостей» по поводу Высочайшего рескрипта⁴. Но в статьях об иностранной политике замечена была некоторая нерешительность и бледность, к которой мы, конечно, уже успели привыкнуть на практике и потому неохотно лишились бы некоторого за это вознаграждения в среде умозрительной политики⁵.

Муж Ваш пишет мне, что Вы неослабно стараетесь предохранить его от поползновений «предаться сердцем вновь раз изменившим обольщениям»⁶, и очень хорошо делаете. Возобновлять кабалу было бы с его стороны непростительною слабостью*.

Хотя Делянов живет теперь на даче, но я сегодня же вероятно увижусь с ним за обедом у княгини Кочубей и передам поручение Александра Ивановича. Завтра я собираюсь в Ораниенбаум к Великой княгине Елене Павловне и пробуду там и в Петергофе дня три или четыре, к возвращению моему в город надеюсь найти письмо от Вас.

Вот уже более недели, что я не видался с Вашей тетушкой, или, лучше сказать, тетушками. Последнее наше свидание было 5 июля; в этот день**, столько лет мною празднуемый, я обедал у Анны Дмитриевны и сам казался себе каким-то привидением.

Простите, до свидания, моя милая, добрая Мари, и не переставайте, прошу Вас, быть взыскательными. Детей обнимаю. Господь с Вами!

Ф. Тютчев

¹ Как бы отзвуком на это письмо Тютчева была передовая статья в № 157 «Московских Ведомостей» от 26 июля.

² Таким образом Тютчев за 4 года предсказал дальнейшие, пагубные для Наполеона III последствия его тогдашней политики.

³ Недовольство Каткова, вызвавшее его депешу к гр. М. Н. Муравьеву, по свидетельству моего отца, относилось главным образом к тому, что следственное дело о покушении Каракозова велось с большою таинственностью и не оглашалось.

⁴ Под циркуляром «Московских Ведомостей» по поводу Высочайшего рескрипта от 13 мая на имя председателя комитета министров Тютчев подразумевал передовую статью Каткова в № 138 от 2 июля.

⁵ С письмом этим от 13 июля разминутся № 146 «Московских Ведомостей» от 12 июля, в котором была напечатана передовая статья моего отца по восточному вопросу, заключающая

в себе немало очень сильных и решительных мыслей об Австрии, вполне совпадавших по взглядам на Австрию и самого Тютчева.

⁶ Относится к большим колебаниям моего отца, переходить ли ему на службу в Петербург по ведомству Министерства народного просвещения, о чем у него уже была речь с гр. Д. А. Толстым в бытность последнего летом 1866 года в Москве и о чем отец мой и сам хлопотал по настоянию и при ближайшем содействии Тютчева, или оставаться в Москве, в редакции «Московских Ведомостей» и вместе с тем в Московском университете, где он уже был избран доцентом по кафедре всеобщей истории.

* Тютчев считал, что Катков постоянно эксплуатировал Георгиевского в редакции.

** Возможно, это 5 июля 1850 года — день начала сближения Тютчева с Е. А. Денисьевой.

22

Петербург. 26 июля (1866)

Милая Мари, вот письмо, которое бы мне очень хотелось самому везти к Вам, как я и предполагал и надеялся, но чему-то или кому-то, видно, было неудобно, и пришлось мне поздравить Вас и с завтрашним и с прошлым Вашим праздником самым пошлым образом, то есть письменным. Когда же, наконец, графу Толстому заблагорассудится сократить это расстояние, несколько затрудняющее мои визиты к Вам? Вчера Делянов говорил мне, что он на днях писал к нему о Вас, настаивая на необходимости скорого решения. Теперь, как он мне сказывал, упраздняется место по редакции «Журнала Министерства Народного Просвещения». Это, я знаю, нечто весьма несущественное, не более как *ried-a-terre** на первых порах; но главное для Вас, чтобы Вы были здесь налицо и Вашим личным присутствием беспрестанно напоминали о необходимости окончательного удовлетворительного водворения.

Меня в это время не было в городе. Последние дни я провел в Царском Селе у Дарьи, которой положение самое грустное и безотрадное. Теперь к ней приехала Kitty. Настоящей опасности нет, но нет и большой надежды на выздоровление, и положение мучительное. Перед этим я был дня три в Ораниенбауме и Петергофе, гостил у Великой княгини Елены Павловны в самый разгар событий и имел случай много толковать о происходящем. Любопытно, но не сообщительно.

Неутешительны и мои беседы с князем Горчаковым**: полнейшее непонимание, так что приходится радоваться нашему бессилию, обрекающему нас бездействию, потому что действие было бы нелепо: мы непременно попали бы не в тот поезд, куда следует, но к счастью, денег не оказалось, чтобы заплатить за место. Скажите Вашему мужу, чтобы он сказал Каткову сообщить ему письмо, писанное от имени Ф.¹ Это полнейшее *testimonium* нашей политической *raupertatis*. Надеюсь, что оно вызовет приличное заявление.

Знайте, что я в будущем месяце непременно явлюсь в Москву и потому, что мне хочется, и потому, что надо. Пока простите.

Господь с Вами! Весь Ваш!

Ф. Тютчев

* Временное пристанище.

** Горчаков Александр Михайлович, князь (1798—1883), министр иностранных дел, с которым Тютчев был в доверительно-дружеских отношениях.

¹ Письмо это, по свидетельству моего отца, было, сколько ему помнилось, писано Каткову от имени кн. Горчакова Е. М. Феоктистовым.

23

(Петербург)* Пятница, то есть четверг (10 или 11 декабря 1866)

К крайнему моему сожалению, милая моя Мари, я не могу быть сегодня у Вас на крестинах¹. Я зайду к Вам в течение дня и расскажу Вам почему.

Господь с Вами! Ваш

Ф. Т.

* В это время Георгиевские уже переселились в Петербург.

¹ Крестины сестры моей Надежды Александровны (ныне Делоне), происходившие 11 декабря 1866 года.

24

(Петербург). Вторник (июнь или июль 1871 года)

Я говорил с Деляновым, милая Мари, и получил самые удовлетворительные заверения. Никто никогда не помышлял о назначении Вашего мужа на место вице-директора, и даже несообразность подобного назначения рассмешила добрейшего Ивана Давидовича, а хотя бы предложить Александру Ивановичу место покойного Пастельса¹, что, как Вы мне говорили, было бы совершенно согласно и с его собственным желанием. Вот и все.

Жаль мне очень, что мы вчера не попали к Идлеру². Но я до того чувствовал себя усталым, что мне самого себя гадко было. Прав, очень прав Пушкин: «Под старость жизнь такая гадость». Однако же Вы, по крайней мере, милая Мари, не слишком гордитесь Вашим старым и верным слугою.

Ф. Т.

¹ То есть место члена Совета Министров народного просвещения, на каковую должность действительно мой отец и был назначен тогда.

² Модный в то время загородный сад, усердно посещавшийся высшим светом Петербурга.

25

(Москва). Воскресенье. (14 июля 1863)*

Итак, мы едем в Царицыно! Погода обещает быть славною. Распорядитесь обедом, милая Мария Александровна; я привезу вина и явлюсь к Вам с коляскою к двум часам. Обнимаю Вас и всех Ваших.

Ф. Т.

* Записка, карандаш. Дата определена мною. — Г. Ч.

26

(Москва). Понедельник (1865)

Я сейчас должен отправиться в какую-то глупую палату по какому-то глупому делу и, Бог знает, когда вернусь. Итак, милая моя Мари, не ждите меня к чаю. Как мне ни прискорбно отказаться от Вашего чаю, но я буду у Вас непременно или до обеда, или после обеда, обедаю же я у княгини Мещерской¹, en petit comité с Катковым. Не знаю, кого из нас он уличит в государственной измене.

Весь Ваш

Ф. Т.

¹ Княгиня Мария Александровна Мещерская, рожд. графиня Панина. Муж ее князь Николай Петрович был впоследствии попечителем Московского учебного округа.

27

(Москва)

Я приказал Семену приехать в 12 часов, но убедительно прошу Вас, пошлите за ним и распорядитесь им, как Вам угодно и насколько угодно. Он мне решительно не нужен прежде двух часов, да и то дело прогулки с Вами же и детьми, как мы вчера предполагали.

Жду моего гемеопата и в ожидании его пишу письма в Петербург.

Ф. Т.

28

(Петербург). Четверг (1866)

Только воротясь домой в первом часу ночи, я получил записку Вашу, милая моя Мари. Это тем обиднее, что в продолжение двух часов моя карета простояла без дела в десяти шагах от Вас. Но я знаю, как трудно достать на этой неделе экипаж и потому очень сочувственно понимаю, в каком затруднительном положении Вы вчера могли очутиться, а если за (нахлынувшие) морозы Вы решили отправиться в санях, то ответственность за Вашу простуду ложится на мою совесть. Надеюсь, милая Мари, что Ваш Ангел-Хранитель, который, вероятно, следует за Вами и в маскарade¹, предохранит и меня от подобной ответственности. Весь Ваш

Ф. Т.

¹ Вероятно, маскарад, устроенный в Большом театре 23 октября 1866 года в пользу восставших против турецкого ига критян, на котором были новобрачные тогда наследник Цесаревич Александр Александрович и Цесаревна Мария Федоровна.

29

Петербург (1861)

Вот Вам карета, милая Мари; велите везти себя, куда Вам угодно, только чтобы дети не упирались в дверцы, которые слишком легко отворяются. Сейчас Делянов сказывал, что дело Ваше устроено¹. Вечером постараюсь быть у Вас.

Ф. Т.

¹ Предположительно, назначение моего отца членом Совета Министров народного просвещения. В таком случае записка эта относится к 1861 году.

30

Я надеялся, что буду в состоянии быть у Вас и попросить у Вас чашку чаю, но мои несчастные ноги пришли в такое отчаянное состояние, что я мог привезти их только домой. Если Ваш муж еще с Вами, то передайте ему от меня тысячу поклонов...
Всем сердцем Ваш*

Ф. Т.

* Записка на франц. яз. карандашом. Пер. Л. А. Георгиевского.

Десять лет, которые растрясали мир

Хроника «Дружбы народов»: 1989—1999

Рубрику ведет Лев Аннинский

1991. «Единая братская яма»

Ниже я открою, из чьей поэтической груди вырвалось это определение, а пока расскажу, насколько все это было неожиданно.

Как у Чехова: люди пьют чай, а в это время неслышно рушатся миры.

Впрочем, пили мы не чай, а пьянящее вино словесности со складов, разбитых в недавнем бунте.

1991 год, — если судить по публикуемым текстам, — совершенное продолжение 1990-го. Символично, что роман Марка Алданова «Истоки», начатый в 1990-м, продолжается в 1991-м. Ширится фронт «возвращаемой литературы»: истоки, предтечи; множатся последователи, сближаются континенты. Берберова, Горенштейн, Милославский (не романы — рассказы: романы уже усвоены). Алешковский-старший с «Синеньким скромным платочком» — не самое вызывающее произведение Юза, но все-таки сенсация. А рядом — младший Алешковский, Петр: новое поколение, новая проза. «Дикий лес» А.Бородыни. «Таласс-Таласс» О.Клинга. «Стаканчики граненые» и другие рассказы скандального русского американца Льва Наврозова. «Двор» — роман другого русского американца А.Львова. «Желтый князь» — роман украинского американца Василя Барки («Тут впервые, вопреки всем панегирикам о сталинском народолюбии, сказано о чудовищном голоде 1932—33 годов...» — из предисловия Леся Танюка).

Характерно: каждая вторая крупная прозаическая вещь идет или с предисловием, или с послесловием — авторы подняты из подполья, из тени, из запрета: читателя с ними надо специально знакомить. Характерна музыка названий. «Сожженный роман» Э.Голосовкера (первоначальное название — «Запись неистребимая») истреблен в 1936 году, восстановлен упрямым философом, имя которого до того помнили одни специалисты, а теперь должны узнать читатели массового журнала. «Белый саван» Антанаса Шкемы — исповедь литовца, бежавшего в 1944 году на Запад («Распад личности, крушение идеалов, ностальгия...» — гибель в автокатастрофе при возвращении с конгресса литовских писателей-эмигрантов в Чикаго в 1961 году). Ольга Трифонова-Мирошниченко — о Юрии Трифонове: «Попытка прощания». Звуки тризны меж звуками победных маршей демократии.

Еще два крупных прозаических полотна, меченных тем же «кровавым подбоем»: роман нашего израильянина Давида Маркиша «Полюшко-поле» — о батьке Махно и роман Эдварда Радзинского о судьбе Николая II, озаглавленный читатой, в которой увековечен «ляп»: «Господи... спаси и умири Россию» (Надо: «умири»).

Журнал продолжает работать на отвоеванных Гласностью направлениях: вводит силы в прорыв. Целый раздел: «Из литературного наследия» — посвящен реабилитируемым ценностям. Винниченко, Мандельштам, Мережковский. Дневники академика Вернадского — подобная же публикация, но уже в разделе «Очерки и публицистика». В разделе «Нация и мир» — недавно еще глухо-запретное фундаментальное сочинение А. Авторханова «Империя Кремля». Печатается с последующим обсуждением — то ли адаптирующим, то ли усугубляющим действие текста. Статьи Милована Джиласа и Томаса Венцловы. И наконец — написанная в тюрьме «Лента Мёбиуса» М.Казачкова. Воистину ни одно словечко из всех этих публикаций не могло бы появиться за пару лет до того. Но за год до того могли бы появиться все.

Впрочем, налицо и новые литературные имена, порожденные уже самоновейшей эпохой — временем «гнева на шестидесятников» (Курицын и Немзер — самые крутые, хотя и не до такой степени, как Галковский).

Открываются новые рубрики, свидетельствующие о поисках опоры в меняющейся ситуации. Путевые очерки А. Руденко-Десняка идут под рубрикой «Несентиментальное путешествие» (рубрика не удержалась). Не скрою моей гордости: придуманная мной персональная рубрика «Эхо», начатая в июльской книжке, удерживается до сего

времени; за восемь лет с той поры я не пропустил ни одного номера; не знаю, удачлив ли я в непривычной роли «колумниста» (жанр перенесен в нашу печать из печати западной), но, надеюсь, трудолюбив.

Внешние события, на фоне которых работает в 1991 году журнал «Дружба народов», можно подробно не описывать: они слишком известны. Январь — «бойня в Прибалтике», август — «путч», декабрь — «ликвидация» Советского Союза в Беловежской Пуще, где нашему новому президенту ассистируют руководители двух братских славянских народов.

«Белоруссия родная, Украина золотая, наше счастье дорогое...»

Вот показания очевидца о том, как сказались эти события на нашей редакционной жизни. «...Засомневались в правильности названия. Ходил даже местный редакционный анекдот: переименуем «Дружбу народов» во «Вражду народов» (Наталья Иванова. Хроника остановленного времени).

Как очевидец и участник тех же анекдотических обсуждений, подтверждаю: подобные предложения вносились. Под видом хохмы. Юмором пытались унять тревогу. Название — сохранили. Но переменили обложку: написали название журнала такими авангардистскими кляксообразными буквами, что прочесть слово «дружба» стало почти невозможно.

С весны журнал подписывает новый главный редактор: Александр Руденко-Десняк. Мартовский номер — последний, на котором стоит имя Сергея Баруздина. Уже в черной рамке.

Человек, за двадцать пять лет сделавший из «братской могилы» (он любил эту шутку) широко читаемый современный журнал, Сергей Алексеевич последние месяцы мучительно боролся с болезнью: материалы мы возили ему в госпиталь. Выписавшись, он устроил у себя дома что-то вроде встречи или заседания: собрал несколько человек, не редколлегию, нет, а просто пять или шесть сотрудников, по личной склонности... помню, рядом со мной сидел за накрытым столом молоденький Саша Архангельский, работавший тогда в отделе критики. Мы угощались, а хозяин полулежал, улыбаясь нашим тостам за его здоровье: ему самому уже нельзя было ни есть, ни пить с нами. Разговор шел пунктирно: мы обходили вопросы, которые считали неразрешимыми. Сергей же Алексеевич именно эти вопросы ставил. Например, о том, как бы вернуть журналу миллионный тираж. Слушал нас, кивал, смотрел, как мы пьем, и улыбался.

Когда через считанные дни он умер, я понял смысл той прощальной трапезы.

Мне показалось, что он умер не от болезни. Он умер, потому что почувствовал, как рушится то, чему он посвятил жизнь.

Журнал стал искать пути выживания. На титуле появились слова: «Учредитель — коллектив редакции». Исчезли слова: «Орган Союза писателей...» Возник Редакционный совет, в который вывели большинство членов широкой представительной редколлегии, сама же редколлегия сжалась до узкого круга. Так на борту воздушного корабля, теряющего высоту, оставляют только самое необходимое.

Наконец, о тираже. Зацепились за 200 000. До лета удерживали эту цифру. С июня пошло вниз: 170 000. В июле — судорожный скачок: 177 000. Далее — опять вниз... самое интересное — последние три цифры: август — 178 600, сентябрь — 178 900, октябрь — 178 200, декабрь — 178 100...

Не за миллион хватается — за сотню.

В заключение процитирую стихи, давшие строчку для заглавия этого этюда. Написала их Инна Кабыш, из того самого свежепришедшего поколения, которое вроде бы «выбрало пепси» и должно было плясать от радости на развалинах рухнувшей советской империи.

Это мы, дураки, полунищие и полукровки,
недобитые в проКлятом отчете дому,
атеисты, алканы, салонники, божьи коровки,
больше неба, где хлеб, возлюбившие тьму...

Это памятник старым и малым — гора Нарайама,
Это памятник левым и правым — Спитак,
А земля под ногами — единая братская яма:
Некто местные души скупил за пятак.

Это мы — уж такие, какие мы есть, не другие,
Все святое семейство, где каждый урод.
Отче наш! Помоги нам докаяться до литургии
И вернуть себе старое имя: народ.

Комментирую. Гора Нарайама — символ из известного японского фильма: место, куда «малые» оттаскивают «старых» и бросают, чтобы не кормить. Спитак — армянский город, имя которого после землетрясения 1988 года в объяснениях не нуждается.

DINA RUBINA. The Last Wild Boar of the Woods of Pontevedra.

In the center of the impetuous events of the new novel by D.Rubina there is the complicated life of the Jews who have come to Israel from Spain.

TATYANA RIDZVENKO belongs to the poets' generation of the 1990-s. She is intently observant, lynx-eyed and at the same time has a fanciful imagination which always takes forms of unexpectedly whimsical images. You're never bored with her verses.

VLADIMIR DEGOEV. A Man of Society.

In his essay on imam Shamil V.Degoev suggests a new outlook on the legendary figure of the formidable leader of the highlanders. The author shows him as a husband, a father, a prisoner of honor. The essay is based on documents and turns to be highly instructive in the light of the present day Caucasian situation.

LYUDMILA SINITSINA. The Wife of a Poplar.

It's a lyrical dipping into the everyday private life of a highland Tadjik village which opens a new unexplored world, where ancient traditions, superstitions and presentiment of an approaching war are mixed up.

TEIMURAZ MAMALADZE. Hallow, an Ass!

This is the first fragment of a book by a well-known publicist and ex-diplomat who once used to be a ghost-writer for Eduard Shevardnadze. The brilliantly written memoir-book by T. Mamaladze is full of very interesting episodes, deep thoughts, subtle humor and specific Georgian atmosphere. This year «DN» intends to publish two more extracts from this outstanding book.

ПОДПИСКА НА «ДРУЖБУ НАРОДОВ»

в любой рабочий день этого года на любой срок!

Она принимается непосредственно в редакции с 13 до 17 час.

Вы будете получать журнал в редакции сами —
это обойдется гораздо дешевле,
чем пользоваться услугами почты.

Любой номер, начиная с № 1 1999 года, можно купить в редакции.

121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.
Тел. 291-62-27

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Анна Селиверстова

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор — 291-62-27, заместитель главного редактора — 291-62-49, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, зав. редакцией — 291-62-27, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, факс: 291-63-54.

E-mail: dn@mail.sitek.ru, <http://www.infoart.ru/magazine/druzhiba/index.htm>

Сдано в набор 26.01.99. Подписано в печать 19.03.99. Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 7900 экз. Заказ 487. Цена свободная.

Типография «Красная звезда». 123826 ГСП Москва, Хорошевское ш., 38.

«Дружба народов» — 99

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ. Чудный олень вечной охоты. Книга о любви. Лауреат многих российских и международных премий, автор трагических книг «Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью», «Чернобыльская молитва», на сей раз обратилась к теме любви.

Виктор АСТАФЬЕВ. Затеси. Авторам эпических произведений подчас становится тесно в рамках многостраничного жанра...

Василь БЫКОВ. Волчья яма. Знаменитый белорусский писатель все чаще обращается к проблемам современности. Действие его новой повести разворачивается в мертвой Чернобыльской зоне.

Анатолий ГЕНАТУЛИН. Там, за холмами... Автобиографическое повествование известного писателя, жизнь которого неразрывно связана с Башкирией.

Даур ЗАНТАРИЯ. Каменный скол. Повесть. Действие этой отчасти фантастической истории происходит в сегодняшней Абхазии. Среди персонажей преобладают современные люди, но встречаются и неандертальцы...

Реваз ИНАНИШВИЛИ. Из настольной тетради. С золотой жилой сравнивают критики четыре исписанных толстых блокнота, обнаруженные после смерти замечательного грузинского писателя.

Анатолий КИМ. Собачонка Оори. Корейские байки. Мастер отточенной русской прозы недаром провел несколько лет на исторической родине.

Михаил КУРАЕВ. Новая повесть.

Анатолий КУРЧАТКИН. Победитель. Роман. В основе — подлинная история человека: герой гражданской войны — ответственный сотрудник НКВД, выполняющий за границей задания, разработанные Берией и Судоплатовым, — доживающий свой век пенсионер...

Афанасий МАМЕДОВ. Свержение президента. Короткий роман. Баку. Весна 1992 года.

Грант МАТЕВОСЯН. Возвращение. Повесть. Перевод с армянского. Фрагмент большой книги, над которой последние годы работает выдающийся армянский писатель.

Олег ПАВЛОВ. Карагандинские девятины. Новая повесть одного из самых ярких представителей молодой русской прозы.

Анатолий ПРИСТАВКИН. Долина тени мертвой. Роман-размышление на криминальные темы, написанный на богатейшем материале, проходящем через Комиссию по помилованию при Президенте РФ.

Мария РЫБАКОВА. Анна Гром и ее призрак. Роман.

Алексей СЛАПОВСКИЙ. Талий. Житейская история.

Светлана ШЕНБРУНН. Розы и хризантемы. Роман.

Свои новые произведения нам передают А. АЙВАЗЯН, Р. ГАБРИАДЗЕ, Н. ГОРЛАНОВА и В. БУКУР, О. ДАРК, Г. КАНОВИЧ, Р. КИРЕЕВ, Я. КРОСС, А. МЕЛИХОВ, В. ОТРОШЕНКО, В. ПЬЕЦУХ, М. СЛУЦКИС и другие.

В разделе поэзии представлены поэты всех поколений: С. ЛИПКИН, И. ЛИСНЯНСКАЯ, В. КОРНИЛОВ, Р. ГАМЗАТОВ, В. ЛЕОНОВИЧ, Е. КРЮКОВА, Т. КИБИРОВ, Г. САПГИР, И. ШКЛЯРЕВСКИЙ, Ш. НИШНИАНИДЗЕ (Грузия), П. КУЦЕНКО (Украина), А. РЯЗАНОВ (Белоруссия), Л. БРИЕДИС (Латвия), А. ВЯРБА (Литва), Ю. МАРЦИНКЯВИЧЮС (Литва).